

# Мэри Брэддон

## Победа Элинор

### Глава I. Возвращение домой

Утесы на нормандском берегу казались похожими на укрепленные стены и остроконечные кровли какого-нибудь разоренного города при знойном солнце, когда пароход «Императрица» быстро летел к Дьеппу, по крайней мере они казались таковыми в глазах одной очень молодой девушки, стоявшей на палубе парохода и жадно устремившей глаза на этот иностранный берег.

Было четыре часа пополудни в августовский жаркий день в 1853#м. Пароход быстро приближался к пристани. Несколько усатых джентльменов, разных лет и в разных костюмах, суетливо собирали дорожные мешки, складные стулья, газеты и зонтики, приготавливаясь к тому стремительному побегу на сушу, которым почти все путешественники по морю выказывают свое презрение к Нептуну, когда уже не нуждаются в его услугах и не боятся его мщения. Два или три английских семейства собрались группами, сделав все приготовления к высадке на берег, как только нор-

мандский берег замелькал вдаль, и, разумеется, двумя часами ранее, нежели следовало.

Несколько румяных молоденьких англичанок, собравшихся под материнским крылышком, с нетерпением ожидали морского купанья в заграничном приморском городе. Морские купальни еще не были выстроены и, может быть, Дьепп не был так популярен между английскими искателями удовольствий, как теперь. На палубе парохода было несколько почтенных британских семейств, но из всех почтенных матушек и хорошеньких дочек, собравшихся на палубе, ни одна, по-видимому, не имела никакого отношения к одинокой молодой девушке, которая прислонилась к борту парохода, перекинув через плечо свое манто, между тем как у ног ее лежал довольно поношенный дорожный мешок.

Она была очень молода. Платье ее было короче, чем согласовывалось с изяществом костюма пятнадцатилетней девушки; но так как ножки ее были малы и стройны, то напрасно было бы пенять на короткое платье, из которого очевидно выросла его хозяйка.

Эта одинокая путешественница была не только молода, но и хороша. Несмотря на короткое платье и на поношенную шляпку, невозможно было самой злобной из британских мисс утверждать противное. Она была очень хорошенькая, такая хорошенькая,

что на нее приятно было смотреть, в ее бессознательной невинности, и думать, какая красавица выйдет из нее со временем, когда эта блестящая девическая миловидность развернется во всем своем женственном великолепии.

Лицо ее было бело, но бледно – не сентиментальной или болезненной бледностью, а чудной алебастровой чистотой. Глаза у нее были серые большие и очень темные, или казавшиеся темными от тени длинных черных ресниц. Я не буду разбирать слишком подробно ее других черт, потому что хотя они были правильны, и даже прекрасны, во всех других чертах ее была какая-то материальная красота в сравнении с глазами. Волосы ее были мягкого, золотистого, каштанового цвета, блестящие и струистые, как река при солнечном сиянии. Глянцевитость этих роскошных волос, блеск этих серых глаз и живость прелестной улыбки делали ее лицо почти лучезарным, когда она смотрела на вас. Трудно было вообразить, чтобы она могла когда-нибудь казаться несчастною. Она была так оживлена и весела, что распространяла атмосферу радости и счастья вокруг себя.

Другие девушки ее лет забились бы в угол на палубе, может быть, чтобы скрыть свое одиночество, или держались бы поближе к какой-нибудь из семейных групп, чтобы заставить думать, что они не одни;

но эта молодая девушка смело прислонилась к борту, выбрав такое положение, с которого она могла надеяться скорее увидеть дьеппскую пристань, и, по-видимому, совершенно равнодушная к наблюдениям, хотя много взглядов устремлялось на высокий девический стан и на прекрасный профиль, резко отделявшийся от синего заднего плана летнего неба.

Но во всем этом не было ничего неженственно-го, ничего смелого или неприличного, это была одна невинная бессознательность веселой девушки, не понимавшей опасностей, какие могли окружать ее одиночество, и безбоязненность от своего неведения. Во время краткого морского путешествия она не обнаружила никаких признаков застенчивости или недоумения. Она не подвергалась никаким пыткам, свойственным путешественникам по морю. Она не страдала морской болезнью, и, действительно, не походила на женщину, которая могла подвергаться обыкновенным болезням, свойственным их слабой плоти. Вы почти так же легко могли бы вообразить богиню Гигею, страдающую от головной боли, и Гебу, лежащую в постели от горячки, как эту молодую девушку, с каштановыми волосами и серыми глазами, подверженную какой бы то ни было человеческой болезни.

Глаза многих, потускневшие от пароксизмов морской болезни, почти со злостью смотрели на это

счастливого лучезарное создание, когда оно порхало по палубе, отыскивая приятный морской ветер, игравший с ее струистыми волосами. Губы, посиневшие от страдания, сжимались, когда те, кому они принадлежали, смотрели на сэндвичи, глотаемые этой молодой девушкой, на сладкое пирожное, на торты с вареньем, которые она вынимала из своего поношенного дорожного мешка.

С ней был также том романа, длинное вязанье тамбурным крючком, однообразная белизна которого прерывалась иногда грязными местами, свидетельствовавшими, что руки, вязавшие эту работу, не всегда были чисты; это были такие хорошенькие ручки, что им было стыдно бывать иногда грязными; с ней был также пучок увядших цветов, завернутый в газету; с ней была также скляночка с нюхательным спиртом, которую она беспрестанно шохала, хотя не нуждалась в таком крепительном средстве, оставаясь свежей и румяной с начала до конца.

Я думаю, что если путешественницы на пароходе «Императрица» были жестоки к этой одинокой молоденькой девушке, не стараясь обласкать ее, то эту неласковость можно приписать тому нехристианскому расположению духа, с которым люди, страдающие морской болезнью, склонны смотреть на тех, кто не страдает ею.

Эта здоровая, румяная девушка, по-видимому, мало нуждалась в ласковости жалких страдальцев, окружавших ее; и бродила себе по палубе то прочитывая страницы три из романа, то повязав немножко свою работу, то разговаривая с рулевым, то лаская собачек, бегавших по палубе, всегда довольная, всегда счастливая и никого не беспокоя собою.

Только теперь, когда пароход приближался к Дьеппу, один из пассажиров, пожилой, седой англичанин, заговорил с нею:

– Вы, кажется, с нетерпением желаете приехать, – сказал он с улыбкою, смотря на ее личико, выражавшее действительно сильное нетерпение.

– О, да, очень желаю, сэр. Мы теперь близко или нет?

– Да, мы сейчас войдем в гавань. Вас, верно, кто-нибудь встретит?

– О, нет! – отвечала молодая девушка, подняв свои каштановые брови. – Папа встретит меня не в Дьеппе, а в Париже; он никак не мог приехать в Дьепп за мною и увезти меня в Париж: он не мог позволить себе такой издержки.

– Да, разумеется, и вы никого не знаете в Дьеппе?

– Я в целой Франции не знаю никого, кроме папа.

Ее лицо, веселое даже и в спокойствии, засияло новым блеском, когда она заговорила о своем отце.

– Вы, кажется, очень любите вашего папа, – сказал англичанин.

– О! Да, я очень, очень его люблю. Я не видала его уже более года. Поездка из Франции в Англию стоит дорого, а я была в школе в окрестностях Лондона, в Брикстоне – вы, верно, знаете Брикстон – но теперь я еду во Францию совсем.

– Неужели? Вы, кажется, очень молоды, вам еще рано оставлять школу.

– Я и не перестаю учиться, – отвечала молодая девушка. – Я поступлю в очень дорогую школу в Париже, чтобы окончить мое воспитание, а потом...

Она остановилась, не решалась продолжать и немножко покраснела.

– А потом что?

– Я поступлю в гувернантки. Папа не богат, теперь у него нет состояния.

– Стало быть, у него состояние было?

– Он был богат три раза...

Серые глаза молодой девушки засветились торжеством, когда она сказала это.

– Мой бедный папа был очень расточителен, – сказала она. – И три раза истратил свое состояние. Но за ним всегда так ухаживали и так им восхищались, что этому удивляться нечего. Он знал принца-регента, Шеридана, Бруммея и герцога Йоркского очень ко-

ротко; он был членом Бифстэкского клуба, носил серебряный рашпер в своей петлице, он очарователен в обществе, даже теперь, хотя очень стар.

– Очень стар! А вы так молоды.

Англичанин почти недоверчиво взглянул на свою одушевившуюся спутницу.

– Да, я младшая дочь папа! Он был женат два раза. У меня нет родных братьев и сестер. У меня только братья и сестры единокровные; они, знаете, почти не заботятся обо мне. Да и как им заботиться: они были взрослые, когда я родилась; я почти никогда их не видала. У меня в целом свете только один папа!

– Стало быть, у вас нет матери?

– Нет, мама умерла, когда мне было три года.

Пароход «Императрица» в это время входил в гавань.

Седой англичанин отправился отыскивать свой чемодан и картонку с шляпой, но тотчас же воротился к молодой девушке.

– Позвольте мне позаботиться о вашей поклаже, – сказал он. – Я схожу за ней, если вы скажете мне как спросить.

– Вы очень добры! У меня только один чемодан. На нем написано: «Мисс Вэн, Париж».

– Очень хорошо, мисс Вэн, я отыщу ваш чемодан. Позвольте, – прибавил он, вынимая свою карточку. –



Вот мое имя, и если вы позволите, я провожу вас в Париж.

– Благодарю вас, сэ. Вы очень добры.

Молодая девушка приняла услуги своего нового друга так же чистосердечно, как они были предложены. У него были седые волосы, и в этом одном, по крайней мере, он походил на ее отца. Этого было почти довольно, чтобы заставить ее полюбить его.

В таможне по обыкновению были суматоха и замедление – немножко ссорились; немножко подкупили таможенных, но все устроилось наконец. Многие пассажиры остановились в гостинице «Европа», некоторые в других гостиницах на каменной набережной, немногие поспешили взглянуть на собор святого Иакова, на статую Авраама Дюкесна, в шляпе с широкими полями и развевающимися перьями и в высоких сапогах, и купить персиков и абрикосов у шумных торговков. Другие бродили по скользкому рыбному ряду, со страхом и с удивлением рассматривая отвратительных морских угрей и других морских чудовищ, которые находятся в Дьеппе. Мисс Вэн и ее спутник вошли в темную церковь святого Иакова, в маленькую деревянную дверь. Несколько женщин стояли на коленях. Рыбак молился на ступенях маленькой капеллы, в торжественном мраке.

– Я никогда не была здесь прежде, – пролепетала

мисс Вэн. – Я ехала через Дувр и Калэ последний раз, но эта дорога гораздо дешевле, и я нисколько не боюсь продолжительного путешествия по морю. Благодарю вас, что вы привели меня посмотреть этот собор.

Через полчаса после этого оба путешественника сидели в первом классе вагона с другими пассажирами, французами и англичанами, которые летели по железной дороге мимо прекрасного нормандского ландшафта.

Мисс Вэн смотрела на горы и леса, на фруктовые сады, коттеджи с белыми кровлями, такие фантастические и прекрасные – и лицо ее сияло блеском ландшафта под горячими лучами солнца. Седой джентльмен со спокойным удовольствием смотрел на это чистосердечное личико, на серые глаза, сиявшие радостью, на раскрывшиеся губки, почти трепетавшие от восторга, когда солнечная панорама скользила мимо открытого окна.

Спокойное сердце старого холостяка пленилось чистосердечием, с каким его спутница приняла его простые услуги.

«Другая девушка, ее лет, испугалась бы постороннего мужчину, как дикого зверя, – думал он и начала бы жеманиться, но эта молодая девушка улыбается мне и полагается на меня почти с младенческой

простотой. Надеюсь, что ее отец человек хороший. Мне не нравится, что она говорила о Шеридане и красавце Бруммеле и о Бифстэкском клубе: это была не весьма хорошая школа для отцов, как мне кажется. Желал бы я для нее, чтобы мать этой бедняжки была жива. Надеюсь, что ее ожидают счастливый дом и счастливая будущность».

Поезд остановился в Руане, и мисс Вэн приняла чашку кофе и несколько бисквитов от своего спутника. Красное августовское заходящее солнце перешло в серые сумерки в это время, и первое сияние луны серебрилось на воде, когда они переезжали через Сену и оставляли за собою освещенный город. Седой англичанин скоро заснул, и в вагоне раздался тихий хор женского и мужского храпенья, только прерываемый время от времени, когда поезд останавливался у какой-нибудь фантастической деревни, походившей на коллекцию швейцарских игрушечных хижин при тусклом свете летней ночи.

Но пусть эти люди храпят и дремлют, сколько они хотят, для Элинор Вэн сна не было. Было бы святотатством спать при этом великолепном лунном сиянии, проезжая мимо этого прекрасного ландшафта.

Нет, блестящие серые глаза мисс Вэн ни разу не сомкнулись в это вечернее путешествие; и, наконец, когда поезд остановился у парижской станции, когда на-

чалась суматоха и беготня – молодая девушка высунула голову из окна и ее нетерпеливые глаза устремились на лица в толпе.

Да, тут был ее отец. Старик, аристократической наружности с белыми волосами, с тростью с золотым набалдашником. Элинор указала на него своему спутнику.

– Вот папа – вы видите – этот красавец. Он идет сюда, но он не видит нас. О! выпустите меня, пожалуйста, пустите меня к нему!

Она дрожала от нетерпения, и ее белое личико пылало от волнения. Она забыла свой дорожный мешок, свою книгу, свое тамбурное вязанье, скляночку с нюхательным спиртом, манто, зонтик и предоставила своему спутнику собрать все это, как только он мог. Она сама не знала, как она выбежала из вагона и очутилась в объятиях отца. Платформа опустела в одну минуту, все пассажиры устремились в большую залу ждать, когда осмотрят их поклажу. Мисс Вэн, ее спутник и ее отец были почти одни, и она смотрела в лицо старику при газовом свете.

– Папа, милый папа, какой вы красавец! все так же хорош как прежде, все так же!

Отец ее гордо выпрямился. Ему было более семидесяти лет, но он был очень красивый мужчина. Его красота была того аристократического типа, кото-

рый мало теряет от лет. Он был высок, широкоплеч, прям как гренадер, но не толст. Принц-регент растолстел и подвергался дерзким насмешкам своих товарищей и собутыльников; но мистер Джордж Моубрэй Ванделёр Вэн предохранил себя против того вкрадчивого врага, который похищает прелести многих пожилых мужчин.

Аристократическая осанка мистера Вэна придавала такой отпечаток его костюму, что нелегко было заметить ветхость его одежды; но одежда его была очень поношена, как ни старательно было вычищено его платье; оно носило на себе следы той продолжительной носки, которой скрыть нельзя, несмотря на все искусство носящего.

Дорожный спутник мисс Вэн видел все это. Чистосердечное и незастенчивое обращение молодой девушки так сильно заинтересовало его участие, что он медлил в надежде узнать что-нибудь о характере ее отца; но он чувствовал, что не имеет более предлога откладывать свой отъезд.

– Теперь я прощусь с вами, мисс Вэн, – сказал он ласково, – так как вы благополучно переданы на руки вашего папа.

Мистер Вэн поднял свои седые брови и вопросительно взглянул на свою дочь, ее спутнику показалось, что этот взгляд был даже подозрителен.

– О милый папа! – сказала молодая девушка в ответ на этот вопросительный взгляд. – Этот джентльмен ехал на пароходе вместе со мной и был очень добр ко мне.

Она вынула из кармана карточку, которую ей дал ее знакомый. Отец ее взглянул на эту карточку, раза три прошептал имя, написанное на ней, как бы стараясь придать ему некоторую важность, но очевидно ему это не удалось.

– Я не имею чести... знать это имя, сэр, – сказал он, приподнимая шляпу высоко со своей серебристой головы. – Но за вашу вежливость и ласковость к моей дочери, я надеюсь, вы примете мою признательность. Мне помешало одно важное дело... несколько дипломатического свойства, поехать за моей дочерью; я... не мог также послать моего слугу... но я благодарю вас за вашу вежливость, сэр. Вы, вероятно, здесь в первый раз. Не могу ли я сделать чего-нибудь для вас в Париже? Лорд Коули мой старый друг, всякая услуга, какую я могу оказать вам...

Путешественник поклонился и улыбнулся.

– Очень благодарен вам, – сказал он. – Я не первый раз в Париже. Позвольте проститься с вами. Прощайте, мисс Вэн.

Но мистер Вэн не хотел так скоро отпустить друга своей дочери. Он вынул свою карточку, пробормо-

тал еще напыщенное уверение в своей признательности, сделал еще несколько покровительственных предложений спокойному путешественнику, которого несколько стесняла вежливость мистера Вэна. Но, наконец, все кончилось и старик повел свою дочь отыскивать чемодан, в котором находилось все ее достояние.

Незнакомец пристально посмотрел вслед отцу и дочери.

«Надеюсь, что у нее будет счастливая будущность, – думал он несколько уныло. Старик бедный и чванный человек. Он говорит ложь, которая нагоняет краску на прелестное личико его дочери. Мне очень ее жаль».

## Глава II. Антресоли на Архиепископской улице

Мистер Вэн увез свою дочь со станции железной дороги во второстепенном дешевом экипаже, который катился по неровным камням длинных улиц, незнакомых Элинор Вэн, до тех пор, пока не выехал на величественно освещенный бульвар. Веселая пансионерка не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть от восторга, когда смотрела на ослепительные фонари, на театры, на кофейные, хотя она проводила летние каникулы в Париже только год тому назад.

– Как все это прелестно, пана! – сказала она. – Будто я никогда не видала этого прежде, а теперь я останусь здесь и никогда, никогда не разлучусь с вами, не буду уезжать так далеко. Вы не знаете, как я бывала иногда несчастлива, милый папа! Я тогда не хотела вам говорить, боясь вас растрогать; но теперь, когда все кончено, я могу вам сказать.

– Несчастлива! – проговорил старик, сжав кулак – Они не были жестоки к тебе, или они осмелились...

– О, нет, милый папа, они были очень, очень добры. Я была фавориткой в школе, папа. Да, хотя там было много богатых девушек, а я была только полу-



пансионерка, но мисс Беннетт и мисс Лавиния очень меня любили, а я бывала иногда беспечна и ленива – не нарочно, вы знаете, папа, я очень старалась учиться для вас. Нет, все были очень добры ко мне, папа, но я иногда думала, как я далеко от вас! Сколько миль лежит между нами и что если вы будете больны... я...

Элинор Вэн прослезилась, отец обнял ее и молча поплакал над нею. Слезы очень скоро выступали на прекрасных голубых глазах старика. Он был того сангвинического темперамента, который до конца сохраняет любимейшие мечты юности. Семидесяти пяти лет от роду, он надеялся, мечтал и обманывал себя так сумасбродно, как в семнадцать лет. Его сангвинический темперамент вводил его в заблуждение более, чем шестьдесят лет. Строгие судьи называли Джорджа Вэна лжецом; но, может быть, его жалкое хвастовство часто бывало скорее прикрашенной истиной, чем ложью.

Был уже первый час ночи, когда карета въехала в темный лабиринт тихих улиц за бульварами. Архиепископская улица была одна из тех грязных и узких улиц, в которых душно в теплую августовскую полночь. Экипаж остановился на углу перед маленькой лавочкой, ставни которой, разумеется, были закрыты в этот час.

– С сожалением должен я сказать, моя душечка, что

это лавка мясника, – извинялся Вэн, высаживая свою дочь на мостовую. – Но мне очень здесь удобно: так близко к бульварам.

Старик заплатил извозчику, который положил чемодан барышни на порог маленькой двери возле лавки мясника. Монета, данная на водку, была невелика, но мистер Вэн дал ее с видом принца. Он отворил низкую дверь и ввел свою дочь в узкий коридор. Ни привратника, ни привратницы не было; но на полке, в углу крутой лестницы, стояли свеча и коробочка со спичками. Извозчик отнес чемодан Элинора на антресоли, из уважения к тому, что ему дали на водку, но ушел, пока мистер Вэн отворял дверь комнаты, находившейся напротив лестницы.

Антресоли состояли из трех комнат, таких низеньких и маленьких, что мисс Вэн почти вообразила себя в кукольном доме. Вся мебель в этих маленьких комнатах носила на себе отпечаток своей национальности. Пестрые занавески, сиявшие грязными тюльпанами и чудовищными розами, позолоченные часы с треснутым циферблатом, пара бронзовых подсвечников, кресла, обитые полинялым зеленым бархатом с медными гвоздями, четверугольный стол со скатертью из одинаковой материи с занавесками, дополняли украшения гостиной. Спальни были меньше, теснее, жарче. Толстые шерстяные занавеси закры-

вали узкие окна и маленькие кровати, делая удушливую атмосферу еще удушливее. Низкие потолки точно висели над головой бедной Элинор. Она привыкла к широким, просторным комнатам, к окнам открытым, без занавесок.

– Как здесь жарко, папа! – Сказала она, тяжело вздыхая.

– В Париже всегда жарко в это время года, моя милая, – отвечал Вэн. – Ты видишь, что комнаты малы, но удобны. Вот эта будет твоя спальная, душа моя, – прибавил он, указывая на одну из комнаток.

Он, очевидно, привык к парижским квартирам и не видал никаких неудобств в полинялом великолепии, в жалком покушении заменить почерневшей позолотой и полинялым бархатом обыкновенные жизненные необходимости.

– А теперь дай мне взглянуть на тебя, моя милая, дай мне взглянуть на тебя, Элинор.

Джордж Моубрэй Вэн поставил подсвечник на камин и привлек к себе дочь. Она сбросила шляпу и широкое серое мантио и стояла перед отцом в тоненьком кисейном платье, каштановые волосы закрывали ее лицо и плечи и сияли при тусклом свете воскового огарка.

– Моя милая, какой красавицей ты выросла, какой красавицей, – сказал старик тоном нежной любви. –

Дадим же мы мистрис Баннистер хороший урок, Элинор. Да, наша очередь придет, душечка, я знаю, что умру богачом.

Мисс Вэн привыкла слышать это замечание от своего отца. Она унаследовала его сангвинический характер и очень его любила, следовательно, ей простиительно, если она верила его смутным видениям о будущем величии. Она ничего не видела в своей жизни, кроме исчезнувшего великолепия, долгов и затруднительных обстоятельств, Ее не заставляли стать с бедностью лицом к лицу в честной борьбе, которая облагораживает и возвышает крепкого бойца в жизненной борьбе. Нет, она скорее была принуждена играть в прятки с угрюмым врагом. Она никогда не выходила на открытую борьбу, никогда не смотрела своему врагу прямо в глаза твердо, решительно, терпеливо. Она освоилась со всеми низкими и жалкими увертками, посредством которых слабые и малодушные стараются обмануть врага, но ее никогда не учили употреблять те меры, посредством которых враг мог быть честно побежден.

Мистрис Баннистер, о которой говорил мистер Вэн, была его старшая дочь, которая была очень-очень к нему неблагодарна, но его словам, и теперь, на старости лет, давала ему такое маленькое содержание, что он мог занимать только антресоли над лавкой

мясника и обедать ежедневно в дешевых ресторанах Палэ-Ройял.

Мистер Вэн привык жаловаться на недостаток привязанности своей дочери в весьма горьких выражениях, пересыпанных цитатами из «Короля Лира». Право, мне кажется, он считал себя обиженным наравне с этим оскорбленным британским монархом и отцом, не зная одного довольно важного обстоятельства, что между тем, как сумасбродство Лира состояло в том, что он слишком щедро разделил свое состояние между недостойными дочерьми, мистер Вэн истратил то наследство, которое его дети получили от своей матери.

Мистрис Баннистер, побуждаемая своим мужем, протестовала, за несколько лет перед этим, против разных сумасбродных и расточительных поступков своего отца, которыми он растратил состояние, долженствовавшее принадлежать им. Она отказалась давать своему отцу, более того, жалкого состояния, о котором было упомянуто выше, хотя, так как она теперь была богатая вдова и, следовательно, властна располагать своими поступками, она могла бы сделать более.

– Да, моя душечка, – говорил Вэн, гордо любуясь красотой своей младшей дочери. – Мы справимся с мистрис Баннистер и со всеми остальными. Моя

младшая и любимая дочь даст им урок. Они могут запрятать своего старика-отца в крошечную квартиру, могут не давать ему денег на маленькие невинные удовольствия, но наступит день, моя душечка, наступит день...

Старик кивнул головой два или три раза с торжественной выразительностью. Я не думаю, чтобы дочь его имела хоть малейшее понятие о том видении, которое мелькало перед ним во все время его настоящей бедности, обманывало его туманной надеждой в далекой будущности. Я думаю, что даже и он едва ли мог бы объяснить его, он ожидал в будущем, его сангвиническая, впечатлительная натура, скованная жестокими кандалами бедности, не поддавалась этим цепям и, надеявшись всю жизнь и насладившись такими успехами и таким счастьем, какие достаются на долю весьма немногим людям, он продолжал надеяться и в старости, слепо доверяя, что какой-нибудь неожиданный и негаданный переворот в жизненном колесе выведет его из мрака и опять поставит на вершину, когда-то занимаемую им так гордо.

У него была куча друзей и множество детей, он промотал не одно состояние, не более заботясь о чужих деньгах, чем о своих собственных, и теперь в его бедности, в его одиночестве только одно дитя его преклонных лет любило его и верило ему. Может быть,

и он любил истинно и безусловно только одну Элинор, хотя часто плакал над неблагодарностью других. Может быть, он мог любить ее одну успокоительно для самого себя, потому что ее одну он не оскорблял никогда.

– Но, милый папа, – кротко заступалась младшая и любимая дочь старика. – Мистрис Баннистер, Гортензия, была очень добра – не правда ли? Она платила за мое воспитание мадам Марли, где она сама была воспитана. Это было очень великодушно с ее стороны – не правда ли, папа?

Мистер Вэн покачал головой и поднял свои седые брови.

– Гортензия Баннистер не может сделать великодушного поступка великодушным образом, моя милая. Ехидну можно узнать по ее жалобам, а Гортензию можно узнать по ее поступкам. Она дает, но она оскорбляет тех, кто получает ее милости. Прочитать тебе ее письмо, Элинор?

– Пожалуйста, милый папа.

Молодая девушка села на ручку кресла ее отца и обвилась своими нежными, круглыми ручками вокруг его шеи. Она любила его и верила ему. Свет, ухаживавший за ним и восхищавшийся им, пока у него были деньги и когда он мог похвалиться такими знаковыми, как принц-регент и Шеридан, лорд Кэстльрэй,

Питт и герцог Йоркский, отстал от него последнее время, и немногие старые знакомые, оставшиеся от этого умершего кружка, скорее избегали его, может быть, под влиянием воспоминания о том, что старик занимал у них то пятифунтовый билет, то мелкого серебра, и никогда не возвращал этих денег. Да, свет оставил Джорджа Моубрэйя Ванделёра Вэна, когда-то владельца Ванделёрского Парка в Чешире и Маубрэйского замка, близь Йорка.

Купцы, помогавшие ему тратить деньги, наконец перестали снабжать его. Он долго жил – он сам так говорил – преданиями прошлого, воспоминаниями о том богатстве, которое он промотал. Но теперь все кончилось, и он удалился эмигрантом в город, в котором играл роль знатного вельможи в великолепные дни реставрации, и принужден был вести низкую и пошлую жизнь, бесславя себя мелкими происками, чтобы достать денег, вполне унижительными для джентльмена.

Он не мог заставить себя сознаться, что он был счастливее в этой новой жизни и что приятнее было ходить прямо и гордо по бульварам, чем прятаться в темные переулки, скрываясь от докучливых кредиторов, как он это делал в свободной Англии.

Он вынул из кармана своего сюртука письмо своей богатой дочери, сюртука модного, хотя теперь по-



ношенного, который был сшит для него сентиментальным немецким портным, плакавшим об утраченном богатстве своего бывшего покупателя, и сшил ему в долг пару платьев. Этот сострадательный немец и не ожидал платы, платье было благодеянием, подарком, так же великодушно отданным, как всякая христианская милостыня, предложенная от святого имени милосердия, но мистеру Вэну приятно было вообразить, что он заплатит, он возмутился бы против мысли получить подарок от добродушного ремесленника.

Письмо от Гортензии Баннистер было недлинное. Оно было написано резкими и решительными параграфами и твердым, четким почерком. Элинор Вэн этот почерк показался жестоким.

Старик надел на нос двойной золотой лорнет и начал читать:

**Гайд-Парк, августа 13, 1853**

*«Любезный батюшка, исполняя вашу, беспрестанно повторяемую просьбу, я решила принять меры, которыми я надеюсь обеспечить будущее благосостояние вашей младшей дочери.*

*Я должна, однако, напомнить вам, что Элинор Вэн и я – дочери разных матерей и что, следовательно, она имеет менее прав на меня, чем родная сестра, и, признаюсь, что я никогда*

*не слыхала, чтобы одна сестра должна была обеспечить другую.*

*Вы должны также вспомнить, что я никогда не имела ни малейшей дружбы и любви к матери Элинор, которая была гораздо ниже вас званием...»*

Элинор вздрогнула, она была слишком пылка для того, чтобы бесстрастно выслушать это письмо. Отец ее почувствовал внезапное движение руки, которая обвивала его шею.

– Твоя мать была ангел, душа моя, – сказал он. – А эта женщина... все равно, что бы ни была она. Мои дочери вздумали важничать перед твоей матерью, потому что она была гувернантка и потому, что отец ее был обанкротившийся сахаровар.

Он воротился к письму, нервно ощупывая то место, на котором он остановился, кончиком своего тонкого пальца:

*...и которая была также косвенною причиною вреда, сделанного мне и моим сестрам, так как она участвовала в сумасбродной растрате, по крайней мере, некоторой части денег, принадлежавших нам по закону и по нравственным правам.*

*Но вы говорите мне, что вы не в состоянии никаким образом обеспечить вашу дочь, и что если я не помогу вам, то эта несчастная*

*девушка, в случае вашей смерти, останется без денег, без воспитания, совершенно неспособная доставать себе пропитание.*

– Она очень спокойно говорит о моей смерти, – проворчал старик. – Но она права: я уже недолго буду беспокоить других, моя милая, я недолго буду беспокоить.

Нежные ручки еще крепче обвилишь вокруг шеи Джорджа Вэна.

– Милый папа, – шепнул нежный голосок. – Вы никогда не беспокоили меня. Не продолжайте этого противного письма, папа. Мы не примем никакой милости от такой женщины.

– Надо принять, душа моя, для тебя, если я унижаюсь, то это для тебя, Элинор.

Старик продолжал читать:

*«При таких обстоятельствах я приняла следующее намерение. Я дам вам сто фунтов, а вы заплатите их мадам Марли, которая знает вас и получила много денег от вас за воспитание мое и моих сестер и, следовательно, согласится принять Элинор на выгодных условиях. Я уверена, что за эту сумму мадам Марли согласится приготовить мою единокровную сестру в гувернантки в благородное семейство, разумеется, если Элинор добросовестно воспользуется сама*

преимуществами, которые она может найти у мисс Беннетт.

Я напишу мадам Марли с этой почтой и употреблю все свое влияние на нее в пользу Элинор, и если я получу благоприятный ответ на это письмо, я немедленно пришлю вам сто фунтов, чтобы вы выплатили их мадам Марли.

Я делаю это для того, чтобы вы не могли показаться моей старой наставнице – которая помнит вас богачом – в положении нищего, но таким образом, щадя ваши чувства, а может быть, и мои собственные, я боюсь рисковать.

Позвольте мне предостеречь вас, что эти деньги последние, какие я заплачу для моей единокровной сестры. Истратьте их куда хотите. Вы часто обворовывали меня и, может быть, опять решитесь на это. Но помните, что на этот раз вы обворуете Элинор, а не меня.

Единственную возможность, какую она может иметь – дополнить свое воспитание, я даю ей теперь. Лишите ее этих денег – и вы лишите ее благородной будущности и на вас будет лежать ответственность за все несчастья, какие ей достанутся на долю, когда вас не будет на свете.

Простите мне, если я говорю жестоко и даже непочтительно: меня извинят ваши прошлые сумасбродства. Я выразилась сильно, потому

*что я желала сделать сильное впечатление и думаю, что я поступила к лучшему.*

*Раз навсегда помните, что я не приму больше никаких просьб относительно Элинор. Если она хорошо воспользуется помощью, которую я ей делаю теперь, я, может быть, решусь оказать ей и в будущем услуги – только без просьб. Если она или вы, дурно воспользуетесь этой единственной возможностью – я умываю руки от всех ваших будущих несчастий.*

*Деньги эти можно получить у гг. Блоунт, на улице Мира.*

*Я надеюсь, что вы бываете в протестантской церкви, на улице Риволи.*

*С искренним желанием вам счастья и земного, и вечного, я остаюсь, любезный батюшка,*

*ваша любящая дочь*

*Гортензия Баннистер».*

Джордж Вэн залился слезами, когда окончил это письмо. Как жестоко кольнула его эта добросовестная дочь, которую он, конечно, обворовал, но так великодушно, величественно и небрежно, что это воровство могло назваться скорее добродетелью, чем пороком. Как жестоко его старое сердце было истерзано этим горьким письмом!

– Как будто я дотронулся до этих денег! – кричал Вэн, приподняв свои дрожащие руки к низкому потолку.

ку с трагическим жестом. – Разве я был такой злодей для тебя, Элинор, что эта женщина обвиняет меня в желании лишиться хлеба тебя, невинную.

– Папа, пана!..

– Неужели я был таким жестоким отцом, таким изменником, лжецом, плутом, обманщиком, что моя родная дочь говорит мне такие вещи?

Голос его делался пронзительнее с каждой фразой, и слезы заструились по морщинистым щекам.

Элинор старалась губами отереть слезы, но он оттолкнул ее с пылкостью.

– Уйди от меня, дитя! Я злодей, вор, мошенник...

– Нет, нет, нет, папа! – Закричала Элинор – Вы всегда были добры ко мне, милый, милый папа!

– По какому праву эта женщина оскорбила меня этим письмом? – спросил старик, отирая глаза и указывая на скомканное письмо, которое он бросил на пол.

– Она не имела права, папа, – отвечала Элинор. – Она злая, жестокая женщина. Но мы отошлем ей эти деньги назад. Я лучше теперь же поступлю на место и буду работать для вас. Я лучше бы пошла в ученье к портнихе. Я могу научиться скоро, если буду стараться очень прилежно. Я немножко умею шить. Я сшила это платье, оно сидит очень хорошо, только я скроила обе спинки на одну сторону, и оба рука-

ва на одну руку, много пропало материи, и вот почему юбка немножко узка. Я скорее все согласна сделать, папа, чем принять эти деньги. Мне не хочется вступать в эту парижскую школу, а хочется быть с вами, папа милый. Только одного желаю я: Мисс Беннетт возьмет меня в учительницы и даст мне пятнадцать фунтов в год, а я все буду присылать к вам до последнего шиллинга, папа: тогда вам не нужно будет жить над этой гадкой лавкой, где от мяса пахнет так нехорошо в теплую погоду. Мы не возьмем этих денег, папа?

Старик покачал головой и сделал движение губами и горлом, как будто глотал какое-нибудь горькое питье.

– Да, моя душечка, – сказал он тоном невыразимой безропотности. – Для тебя я готов подвергнуться разным унижениям, для тебя я выдержу и это. Мы не обратим никакого внимания на письмо этой женщины, хотя бы я мог написать ей в ответ, что... но нужды нет. Мы пропустим ее дерзость, она никогда не узнает, как больно кольнула она меня здесь, здесь!..

Он ударил себя в грудь, и слезы выступили на его глазах.

– Мы примем эти деньги, Элинор, – продолжал он. – Мы примем ее милость, а может быть, наступит день, когда ты будешь иметь возможность отплатить ей –

полную возможность, моя милая. Она назвала меня вором, Элинор! – Воскликнул старик, вдруг воротившись к своей обиде. – Вором! Моя родная дочь назвала меня вором и обвиняет меня в низости, говоря, что я обворовал тебя.

– Папа, папа, милый папа!..

– Как будто твой отец может украсть у тебя эти деньги, Элинор, как будто я мог дотронуться до одного пенни из этих денег. Нет, помоги мне, Господь! Я не дотронусь ни до одного пенни из этих денег даже для того, чтобы не умереть с голода.

Голова его упала на грудь, и он несколько минут бормотал про себя отрывистые фразы, почти не сознавая присутствия своей дочери. В это время он казался старше, чем в ту минуту, когда дочь встретила его на станции. Глядя на него пристально и грустно, Элинор Вэн видела, что ее отец действительно был старик, дрожащий и слабый, вполне нуждавшийся в сострадательной нежности, в нежной любви, которая переполняла ее девическое сердце, когда она глядела на него. Она стала на колени на скользком дубовом полу у его ног и взяла его трепещущую руку своими обеими руками.

Он вздрогнул, когда она дотронулась до него, и поглядел на нее.

– Моя возлюбленная! – Закричал он. – Ты ничего



не ела, ты уже около часа в этом доме и еще ничего не ела. Но я не забыл о тебе, Нелль, ты увидишь, что я не забыл о тебе.

Он встал и подошел к буфету, из которого вынул тарелки, стаканы, ножи, вилки, два или три свертка, завернутые в белую бумагу и связанные узкой красной тесемкой. Он положил свертки на стол и, подойдя во второй раз к буфету, вынул бутылку бордоского, очень запыленную и покрытую паутиной и, следовательно, очень хорошего вина.

В белой бумаге находились: тоненький кусок индейки с трюфелями, несколько сосисок, торт со сливами, облитый сиропом.

Мисс Вэн кушала очень аппетитно простой ужин, приготовленный отцом для нее, и благодарила его за его доброту и снисходительность. Но вино не понравилось ей, и она предпочла выпить воды из графина, стоявшего на туалете.

Отец ее, однако, с наслаждением выпил рюмку хорошего вина и развеселился под его благодетельным влиянием. Он никогда не был пьяницей, он имел одну из тех впечатлительных натур, которые не могут переносить влияния крепких напитков; весьма малое количество вина производило на него значительное действие.

Он очень много разговаривал со своей дочерью, со-

общал ей свои обманчивые надежды на будущее, старался объяснить планы, которые он составил для своего и ее благосостояния и был очень счастлив. Старость, так сильно видневшаяся на нем полчаса тому назад, исчезла, как серый утренний туман от ярких лучей солнца. Он опять был молодой человек, гордый, красивый, исполненный надежд, готовый еще три раза промотать богатство, если бы оно досталось ему на долю.

Било два часа, когда Элинор Вэн ложилась спать, усталая, но не утомленная – у нее была одна из тех натур, которые никогда не утомляются – и заснула в первый раз за двадцать четыре часа. Отец ее не так скоро заснул спокойным сном; он лежал более часа, ворочаясь на своем узком тюфяке и бормоча что-то про себя.

И даже во сне, хотя уже ранний летний рассвет ворвался в комнату, когда он заснул прерывистым сном, письмо старшей дочери все тревожило его, потому что он время от времени бормотал:

– Вор – плут. Как будто... как будто я обворую мою родную дочь...

## Глава III. История прошлого

История Джорджа Моубрэйя Ванделёра Вэна была историей многих, кому выпало на долю сиять в том блестящем круге, главною звездой которого был Георг принц-регент. Около этой ослепительной королевской планеты сколько вращалось меньших светил! что Значили друзья, состояние, дети, жены или кредиторы, когда поставить их на весы, если королевская милость, улыбка принца лежали на другой стороне весов? Если Георгу IV было угодно разорять себя и своих кредиторов, могли ли друзья его и товарищи не подражать ему? Оглядываясь назад на подложный блеск, притворную пышность, пустые наслаждения того чудного века, который так близок к нам по времени, так далек от нас по широкой разнице, разделяющей сегодня от вчера, мы, разумеется, можем быть очень благоразумны и видеть ясно, каким дьявольским пиром было то продолжительное пиршество, где Георг IV был предводителем танцев. Но кто будет сомневаться, что сами танцоры смотрели на фантастические прыжки своего предводителя с весьма различной точки зрения и считали свой образец достойным похвал и подражания?

Мужчины той легкомысленной эры как будто пре-

дались не мужской слабости и следовали моде, выду-  
мываемой для них толстым и бледнолицым Адонисом  
так слепо, как женщины нынешнего века подражают  
капризам тюильрийской императрице, и приносят се-  
бя в жертву сожжению посредством кринолина, и ко-  
торые, нося свое шелковое платье в три ярда в длину  
и шесть в ширину, едва ли могут предвидеть пытки ка-  
кого-нибудь почтенного супруга, жена которого непре-  
менно хочет иметь такое же длинное и широкое пла-  
тье и зацепляет своим подолом за каминную решетку  
каждый раз, как старается пробраться из маленького  
кабинета мужа в маленькую же гостиную.

Да, если Клеопатра проглатывает жемчуг в вине  
и плавает в золотой галере, то и мы также должны  
распускать фальшивые бусы в нашем плохом вине  
и украшать наши галеры мишурой. Если Перикл, Карл  
или Георг живут пышно и разоряются, преданные дру-  
зья их тоже должны разоряться, совершенно забывая  
о таких второстепенных предметах, как жены и дети,  
кредиторы и друзья.

Джордж Моубрэй Ванделёр Вэн разорился с гра-  
циозностью, которая могла превзойти только граци-  
озность его королевского образца. Он начал жизнь  
с прекрасным поместьем, оставленным его отцом,  
и хотя успел растратить лучшую часть наследства  
через несколько лет после своего совершеннолетия,

ему посчастливилось жениться на единственной дочери и наследнице богатого банкира и разбогатеть во второй раз именно в ту критическую минуту, когда собственное его состояние истощалось.

Он был недурным мужем для простодушной женщины, которая любила и обожала его с сумасбродной доверчивостью. Не в его натуре было поступать умышленно дурно с кем бы то ни было, потому что у него было сердце великодушное, способное к горячей признательности к тем, кто нравился ему и способствовал его счастью.

Он представил свою молодую жену очень блестящим людям и ввел ее в те священные кружки, куда ее отец, банкир, не мог никогда ввести ее, но он сумасбродно и беспечно тратил ее состояние. Он нарушил те пергаментные укрепления, которыми нотариусы надеялись защитить ее богатство. Он не обратил внимания на пункты, обеспечивавшие будущность его детей. Это были румяные и прелестные юные создания в кисейных платьицах и голубых кушачках; наверно, мистер Вэн полагал, что им не на что пожаловаться, потому что разве у них не было великолепных комнат и дорогих нарядов, нянек, гувернанток, учителей, экипажей, лошадей и угождений всякого рода? Чего же им было нужно еще? В чем не исполнил он своей обязанности к этим невинным малюткам? Раз-

ве его королевское высочество сам герцог кентский не приезжал в Ваиделер крестить Эдуарда-Джорджа? Разве Гортензия-Джорджина не была названа вторым именем в честь прелестной герцогини девонширской, на грациозные ручки которой она была положена, когда ей было только две недели от рождения?

Были ли на земле какие-нибудь почести или пышности в границах благоразумного желания, которые Джордж Вэн не доставил бы своей жене и детям?

Кроткая супруга не могла бы отрицательно отвечать на этот вопрос. Мистер Вэн всегда мог уговорить свою простодушную жену вычеркнуть всякие пергаментные укрепления, придуманные нотариусами для ее защиты, и когда после изящного обеда, глаз на глаз в приготовлении которого повар обнаружил все свое искусство, любящий муж вынимал брильянтовый браслет или изумрудное сердечко из сафьянного футляра и застегивал эту вещицу на тонкой руке своей жены или надевал на нежную шею, между тем как слезы сверкали в его прекрасных голубых глазах, кроткая Маргарета Вэн забывала утреннюю жертву и все сомнения, которые мучили ее, когда она думала о будущем.

Притом мистер Вэн имел извинение для своего неблагоразумия в ожидании третьего богатства, которое должно было достаться ему от холостого дяди

и крестного отца, сэра Милуда Моубрэйя, владельца Моубрэйского замка в Йорке, так что ни в Ванделерском Парке, ни в доме на Беркелейском сквере не было никакой пошлой экономии; и когда богатство сэра Милуда досталось, наконец, в руки его племяннику, оно как раз вовремя поспело, чтобы спасти от разорения Джорджа Вэна.

Если бы мистер Вэн послушался тогда совета своей жены – все могло бы быть прекрасно, но моубрэйское богатство казалось, подобно двум прежним, неистощимым: джентльмен сангвинического темперамента забыл, что долги его превышали половину этого нового состояния. Французский повар все еще приготавливал обеды, которые могли бы даже самого Вателя заставить задрожать за свои лавры, немецкая гувернантка и французская горничная еще находились при дочерях мистера Вэна: прежняя расточительность продолжалась. Джордж Вэн отвез свою семью на континент и доставил ей новые веселости при дворе возвратившегося Людовика. Он отдал своих дочерей в самый дорогой парижский пансион, к той самой мадам Марли, о которой упоминалось в прошлой главе. Он возил их в Италию и Швейцарию. Он нанял виллу у озера Комо, замок близ Лозанны. Он следовал по стопам Байрона и Орсэ, мадам Сталь и леди Блессингтон, он любил искусство, литерату-

ру и музыку. Он исполнял все прихоти детей своих, все самые сумасбродные их фантазии. Только, когда сыновья увидали себя перед великой битвой жизни без денег и без профессии, не имея никакого оружия для этой битвы, а дочери очутились без приданого, которое могло бы привлечь лучших мужей в супружескую лотерею, только тогда эти неблагодарные дети стали упрекать бедного снисходительного Лира за расточительность, в которой сами помогали ему.

Такой жестокости Джордж Вэн никак не мог понять. Разве он лишал их чего-нибудь, этих бездушных детей, что они обратились против него теперь, в его старости – другим было бы несколько опасно намекать на его лета, хотя он говорил довольно свободно о своих седых волосах, когда сетовал на сделанное ему оскорбление – и сердились на него за то, что он не мог доставить им богатство? Эта неблагодарность была хуже змеиного жала. Только теперь мистер Вэн начал цитировать «Короля Лира», жалобно сравнивая себя с этим слишком доверчивым монархом.

Но теперь ему было шестьдесят лет, и он прожил свою жизнь. Его кроткая и доверчивая жена умерла десять лет тому назад; все деньги его были истрачены и из четверых детей ни один не хотел сказать слово в его защиту. Самые покорные и любящие из них только молчали и думали, что делают много, удержи-



ваясь от упреков. Он предоставил им идти своей дорогой, обоим сыновьям вести битву с жизнью, как они могли, дочерям – выйти замуж. Они обе были хороши собой и образованны и вышли замуж прекрасно. Оставшись на свете совсем один, только с преданиями о блистательном прошлом, мистер Вэн соединил свою несчастную судьбу с судьбою очень хорошенькой девушки, которая была гувернанткой его дочерей и влюбилась в его великолепную грациозность, в простоту его сердца, находя его седые волосы прекраснее черных кудрей молодых людей.

Да, Джордж Вэн обладал даром очаровывать в опасной степени, и его вторая жена любила и верила ему на старости его лет так же безусловно, как его первая жена в самые блестящие дни его благоденствия. Она любила его и верила ему. Она переносила жизнь непрерывных долгов и ежедневных затруднений. Она жертвовала собою для мелочных проделок нечестной жизни. Ее натура была сама правдивость, а она унижалась для своего мужа и помогала той игре в прятки, посредством которой Джордж Вэн надеялся избежать честной борьбы с бедностью.

Но она умерла в молодости, может быть, изнуренная этим непрерывным несчастьем и не будучи в состоянии находить утешение в ложном великолепии и в мишурном величии, какими Джордж Вэн старался

прикрыть упадок своего состояния. Она умерла через пять лет после своего замужества, оставив расстроенного и отчаянного старика опекуном и покровителем ее единственной дочери.

Это несчастье было самым горьким ударом, какой только случилось переносить Джорджу Вэну. Он любил свою вторую жену, жену его бедности и унижения гораздо сильнее, чем послушную участницу его великолепия и благоденствия. Эта кроткая девушка, так безропотно покорившаяся неприятностям своей участи, была для него в тысячу раз дороже первой жены, потому что между ним и его любовью к ней не стояло никакого пустого чванства, никакого суетного тщеславия, никаких принцев, никаких бифстэкских клубов.

Она умерла, и он помнил как мало он сделал, чтобы доказать ей свою привязанность. Она никогда его не упрекала, ни малейшее слово упрека не срывалось с этих нежных губок. Но знал ли он, что он сделал ей такой же жестокий вред, как тем непочтительным детям, которые изменили ему и бросили его? Он помнил, как часто он пренебрегал ее советом, ее любящим, чистым и правдивым советом столь скромно предложенным, столь кротко сказанным. Он помнил, к каким унижениям принуждал он ее, сколько лжи заставлял он ее говорить; как часто употреблял он во зло ее любовь, в своем слепом эгоизме заставляя

ее трудиться для него, как невольницу; он мог помнить все это теперь, когда она умерла, теперь, когда было слишком поздно, слишком поздно, чтобы упасть к ее ногам и сказать ей, что он был недостоин ее доброты и любви, слишком поздно, чтобы предложить ей такое бедное вознаграждение за прошлое, как раскаяние и слезы.

Ему не нужно было присутствия его маленькой дочери, темно-серые глаза которой глядели на него так, как ее глаза, каштановые волосы которой имели тот же золотистый блеск, которым он часто любовался при солнечных лучах, лениво смотря на вечерний свет, освещавший опущенную голову его жены. Ему казалось, будто она не далее как вчера сидела у окна и работала для него.

Продолжительное огорчение совсем разбило старика. В этот угрюмый промежуток отчаяния он не поддерживал тех внешних признаков благоденствия, которыми он так постоянно окружал себя. Его модные сюртуки и сапоги, которыми он так дорожил последнее время, уже не были предметами нежной заботливости и восторга для него. Он перестал бывать в том беззаботном обществе, в котором он мог еще разыгрывать роль знатного джентльмена. Он заперся в своей квартире и предался горю; много прошло времени, прежде чем его легкомысленная натура оправилась

от выдержанного им удара.

Следовательно, неудивительно, что его младшая дочь сделалась невыразимо дорога ему. Он разорвал все узы, связывавшие его с прошлым и с его старшими детьми.

Его второй брак сделал новую эру в его жизни. Если он и думал когда-нибудь об этих старших детях, то только разве вспоминал, что некоторые из них жили в роскоши и должны были поддерживать его в его бедной старости. Если он и писал к ним, то просительные письма, обращаясь к ним совершенно в таком духе, как обратился бы к герцогу Веллингтону.

Да, его младшая дочь заняла все место в сердце старика. Он баловал ее, как баловал неблагодарных старших детей. Он не мог дать ей экипажей и лошадей, слуг в ливреях и великолепных домов, но он мог время от времени уговорить какого-нибудь малодушного кредитора поверить ему, и возвращался с торжеством в свою жалкую квартиру, с какою-нибудь добычею для своей возлюбленной Элинор. Он нанимал коляску у какого-нибудь доверчивого содержателя конюшен и возил свою девочку гулять за город. Он покупал ей щегольские платья у продавцов шелковых материй, которые поставляли товары его старшим дочерям, и хотел вознаградить ее за бедность ежедневного существования проблесками великолепия.

Потом он часто получал небольшие суммы, или от своих друзей займы, или, может быть, из какого-нибудь таинственного источника, о котором не знала его невинная дочь. Итак, в первые десять или одиннадцать лет своей жизни мисс Вэн пользовалась иногда несколькими днями роскоши и расточительности, составлявших резкий контраст с печальной бедностью ее ежедневного существования.

Для этой молодой девушки весьма было обыкновенно обедать один день в грязной гостиной в Челси чаем и селедками, а на другой день сидеть напротив своего отца в какой-нибудь модной гостинице и есть дорогую рыбу, с покойным наслаждением зная, бесстрастно смотря, как мистер Вэн важничал со слугами и сердился, зачем рейнское вино недолго стояло во льду.

Не было никаких сумасбродных издержек, каких эта девочка не видала бы в доме своего отца. В день своего рождения она однажды получила от него восковую куклу, стоившую две гинеи, в то самое время, когда за нее не было заплачено в смиренную маленькую школу и воспитание ее было остановлено вследствие этого долга. Ей очень хотелось иметь эту восковую куклу, и отец подарил ей, потому что он любил Элинор, как он любил всегда: малодушно и сумасбродно.

Элинор любила его взаимно: она в сто раз платила

ему за его привязанность своей невинной любовью и своим доверием. Для нее он был олицетворенным совершенством, благородством и великодушием. Высокопарные фразы, сентиментальные речи, которыми он обыкновенно обманывал самого себя, обманывали и ее. Она верила тому фантастическому портрету, в котором он изображал себя и которому сам верил, как самому верному и непопущенному сходству. Она верила и думала, что Джордж Моубрэй Ванделёр Вэн был именно таков, каким он представлял и каким считал себя – оскорбленным стариком, жертвою забывчивости света и неблагодарности детей.

Бедная Элинор никогда не уставала слушать рассказы отца о принце-регенте и обо всех меньших планетах потемневшего неба, на котором когда-то сияла звезда мистера Вэна. Она обыкновенно гуляла в парке со стариком в солнечные летние вечера, с гордостью смотря как он кланялся знатным людям, которые отвечали на его поклоны с дружеской вежливостью. Она любила представлять его себе в давно прошедшие дни едущего рядом со знатными людьми, на которых теперь он только пристально смотрел через железные перила. Ей было приятно гулять в сумерки тихой майской ночи и смотреть на огни в том великолепном отеле на Беркелейском сквере, который Джордж Вэн когда-то занимал. Он показывал ей на окна раз-

ных комнат, гостиной, будуара первой мистрис Вэн, детской девочек. Элинор воображала, каким блеском и великолепием сияли эти комнаты, а потом, вспоминая жалкие комнатки в Челси, прижималась к отцу с нежным соболезнованием о его изменившемся состоянии.

Но Элинор наследовала во многом сангвинический темперамент Джорджа Вэна и почти так же твердо, как он, верила прошлому, которое было действительно, верила она и великолепной будущности, на которую надеялся ее отец. Ничто не могло быть сомнительнее фундамента, на котором мистер Вэн строил свой воздушный замок. В юности и в средних своих годах он был близким другом и собеседником Мориса де-Креспиньи, владельца великолепного поместья в Беркшире и не бывшего другом принца-регента. Поэтому, между тем как Джордж Вэн промотал два поместья и истратил три богатства, де-Креспиньи, большой холостяк, успел сохранить свое поместье и свои деньги.

Между летамии обоих друзей было разницы только три года. Кажется, даже Морис де-Креспиньи был моложе. Во время школьной жизни молодые люди вступили в романтический союз, очень рыцарский и благородный, но вряд ли способный устоять против разных превратностей мирской опытности.

Они обещались быть друзьями всю жизнь до самой смерти. Они не должны были иметь секретов друг от друга. Если, неравно, они влюбятся в одну женщину – и я, право, думаю, что эти сентиментальные школьники даже желали, чтобы это случилось – один из них, самый благородный, самый геройский, должен был удалиться и страдать молча, между тем как более слабый должен был получить добычу. Если бы который-нибудь умер холостяком, он должен был оставить свое состояние другому, несмотря на менее благородных и более пошлых искателей, в виде законных наследников, которые могли бы предъявить на него свои права.

Эти обеты были сделаны по крайней мере сорок пять лет тому назад, но из этого сумасбродного прошлого Джордж Вэн созидал свою надежду в будущем. Морис де-Креспиньи был теперь кислым ипохондриком и старым холостяком; со всех сторон его окружали жадные и льстивые родственники, так что его старый друг так же легко мог бы добраться до этой защищаемой цитадели, в которой сидел его школьный товарищ, одиноким, унылым, отчаянным стариком, подстерегаемым зоркими глазами, жадно примечавшими малейший признак упадка его сил, принимая услуги от рук, которые охотно сшили бы ему саван, если бы таким образом могли ускорить час его смерти, как лег-



ко мог бы выбраться из Бастильской тюрьмы.

Если Джордж Вэн – вспоминая, может быть, о своем старом друге с чувством нежности, перемешанной с корыстолюбивыми надеждами – старался пробраться через жестокие преграды, окружавшие старика, его бесславно отражали две незамужние племянницы, которые держали строгий караул в Удлэндсе. Если он писал Морису де-Креспиньи, его письма возвращались нераспечатанными, с сатирическим замечанием, что здоровье дорогого больного не позволяло принимать докучливых просительных писем.

Он делал сто покушений, чтобы перебраться за неприятельскую линию, и сто раз потерпел неудачу, но никакое унижение не подавляло его сангвинический темперамент, и он все верил твердо и вполне, что когда завещание Мориса де-Креспиньи распечатают, то его имя, имя одного его, будет стоять в завещании как единственного наследника богатства его старого друга. Он забывал, что Морис де-Креспиньи был моложе его тремя годами, потому что он всегда слышал о нем, как о слабом больном, находящемся на краю могилы, между тем как сам он был прям и крепок, широкоплеч и такой воинственной наружности, что часовые, стоявшие на карауле в парке, всегда отдавали ему честь, когда он проходил мимо них, принимая его за какого-нибудь военного магната.

Да, он верил, что наступит день, когда бедный де-Креспиньи – он говорил всегда о своем друге с какой-то жалобной нежностью – спокойно сойдет в могилу, а он будет царствовать в Удлэндсе со своей возлюбленной Элинор, отомстит неблагодарным старшим детям, заведет новые счета со своими прежними кредиторами – во всех своих мечтах о величии он никогда не думал о том, как он расплатится со своими долгами – и поднимется из пепла своей бедности великолепным фениксом с золотыми перьями.

Он внушил своей дочери эту же надежду так же старательно, как научил ее простым молитвам, которые она каждую ночь читала на его коленях. При всех своих недостатках он не был атеистом, хотя то время, которое он посвящал своим религиозным обязанностям, занимало весьма мало места в его жизни. Он научил Элинор верить в тот день, который должен был наступить, и девочка видела блеск великолепной будущности сквозь мрачные затруднения, которые она терпеливо переносила возле своего отца.

Но настал день, когда Джордж Вэн должен был расстаться со своей дочерью, по крайней мере на время. Приближался двенадцатый день рожденья Элинор, а она до сих пор получила еще весьма ограниченное образование, которое можно получить за шесть гиней в год близ Чейна. Около шести лет, исключая многие

промежутки вследствие неплатежа денег, мисс Вэн посещала эту смиренную школу вместе с дочерьми мясников и булочников, и других плебейских обитателей этого округа, но когда ей минуло двенадцать лет, различные источники, из которых отец получал доход, пресеклись, самые слабые из его кредиторов вычеркнули его имя из своих счетных книг; друзья перестали верить его уверениям в крайне стесненных временных обстоятельствах, и его обещаниям скоро расплатиться с ними, он не мог уже рассчитывать получить пятифунтовый билет, когда хозяйка его квартиры приставала к нему со своими требованиями, а лавочник отказался отпускать унцию чая иначе, как на наличные деньги. Наступил отчаянный кризис, и старик в своем отчаянии забыл свою гордость. Для Элинора, если не для себя, он должен был вытерпеть унижение. Он должен был обратиться к своей старшей дочери, жестокосердой, но богатой Гортензии Баннистер, которая лишилась своего мужа, маклера государственных бумаг, год тому назад, и была теперь богатой и бездетной вдовой. Да – он отер слезы унижения со своих исхудалых щек, когда принял это намерение – он старался забыть прошлое и хотел взять Элинора к мистрис Баннистер и просить за нее жестокую сестру.

Его намерение быстро было исполнено, потому что

он принялся за дело с тем отчаянным мужеством, которое может чувствовать осужденный преступник, когда идет на казнь, и в одно солнечное утро, в июне 1850#го, он и его дочь сидели в прекрасной гостиной мистрис Баннистер, со страхом ожидая выхода этой дамы. Она вышла, не очень долго заставив ждать себя, потому что она была женщина деловая и аккуратная в своих привычках, а к этому посещению ее приговорило длинное, жалобное письмо отца, а она в ответ написала очень холодно и кратко, назначив для свидания ранний час.

Она была женщина лет тридцати пяти, строгой наружности, с суровым лицом и густыми черными бровями, которые сходились над ее красивым орлиным носом, когда она хмурилась, а она делала это слишком часто, так думала Элинора. Черты ее походили на черты отца, но угрюмое и жестокое выражение принадлежало собственно ей и, может статься, было результатом горького разочарования в ранней молодости, когда она увидела себя невестой без приданого и была брошена любимым ею человеком, который отказался от нее, когда узнал положение дел ее отца и принуждена была или выйти замуж по расчету, или обречь и он на жизнь бедную и трудовую.

Эта суровая и разочарованная женщина не выказала нежных чувств к своей сестре. Может быть, вид

детской красоты Элинор был неприятен ей. Несмотря на ее богатство, она испытала страшную пустоту в великой лотерее жизни и могла бы позавидовать неведомому будущему этого ребенка, которое, наверно, не могло быть так печально, как пустая жизнь бездетной вдовы.

Но мистрис Баннистер была религиозная женщина и старалась исполнять свою обязанность сурово и непреклонно; ее добрые дела не украшались такими ничтожными вещами, как любовь и нежность. Когда она услышала, что ее отец едва имел насущное пропитание, что он скоро мог умереть с голода, ей вдруг представилось, что она очень дурно поступила с этим слабым стариком, и она согласилась назначить ему приличное содержание, которое позволяло бы ему жить с такими удобствами, какими пользуется офицер на половинном жалованьи. Она согласилась на эту уступку довольно сурово и прочла своему отцу такое строгое нравоучение, что, может быть, ему было простительно не чувствовать большой признательности к милостям своей дочери за самого себя, но он сделал слабое покушение к благодарности, когда мистрис Баннистер объявила потом свою готовность заплатить за воспитание Элинор Вэн в одном хорошем пансионе.

Таким образом, девочка познакомилась с мисс Бен-

нетт в Брикстоне, и в доме этих девиц она провела три года своей жизни. В эти три спокойных и однообразных года школьных трудов отец только два раза навещал ее; он поселился в Париже, где жил в безопасности от преследования немногих недавних кредиторов – не тех богатых поставщиков, которые знали его во время его богатства, что безропотно и терпеливо покорились своей потере – но тех мелких лавочников, которые поверяли ему в долг уже во время упадка его состояния и которых не смягчало воспоминание о прежней прибыли.

В Париже мистер Вэн имел мало возможности узнать о своем друге Морисе де-Креспиньи, но все доверчиво ожидал той мечтательной будущности, когда он будет владельцем Удлэндского поместья. Он позаботился написать письмо вскоре после рождения Элинор, которое случайно дошло до его друга и в котором он уведомлял его о рождении этой младшей дочери и распространялся о своей любви к ней.

Тогда он ласкал себя мечтою, что в случае, если он умрет прежде Мориса де-Креспиньи, то, может быть, старик оставит свое богатство Элинор. Старики, с каким его удаляли от его старого друга злые девицы, скорее было приятно для него, потому что в гневе этих пожилых девиц он видел доказательство их опасений.

«Если бы они знали, что деньги бедного де-Креспиньи будут отказаны им, они не были бы так свирепы, — думал он, — это, очевидно, что они очень в этом сомневаются».

Но старика были и другие родственники, не такие счастливые, как эти две незамужние сестры, которые пробрались в цитадель и поселились постоянно в Удлэндсе. Была одна замужняя племянница, когда-то слышавшая красавицей. Эта племянница была так сумасбродна, что вышла замуж против желания своего богатого дяди и была теперь вдовой и жила по соседству с Удлэндсом, с доходом в двести фунтов в год.

Единственный сын этой племянницы, Ланцелот Дэррелль, был законным наследником богатства Мориса де-Креспиньи. Но незамужние сестры были женщины терпеливые и неутомимые. Никогда классические весталки не поддерживали старательнее священный огонь, как поддерживалось гневное пламя, горевшее в сердце Мориса де-Креспиньи, когда он вспоминал неблагодарность и неповиновение своей замужней племянницы.

Неутомимые старые девы поддерживали его негодование всякими женскими тонкостями, всякими дипломатическими выдумками. Богу известно, зачем им были нужны деньги их дяди, потому что они были

чопорные девицы, носившие узкие платья, сшитые по моде их молодости. Они пережили способность наслаждаться и потребности их были почти так же просты, как потребности птичек, садившихся на их подоконник, но, несмотря на это, им так же хотелось сделаться обладательницами богатства старика, как и самому бездушному и расточительному наследнику, к которому пристают жида-кредиторы.



## Глава IV. Приближение великого горя

Ныло около полудня, когда Элино́р Вэн проснулась утром после своего путешествия. Эта молодая девушка имела очень хороший сон и наверстала двадцать четыре часа бессонницы. Я даже сомневаюсь, проснулась ли бы она и в это время, если бы отец не постучался в дверь ее крошечной комнатки и не сказал ей который час.

Она проснулась с улыбкою, как прелестный младенец, всегда видевший любящие глаза, которые берегли его колыбель.

– Милый папа! – закричала Элино́р. – Это вы. А я только что видела во сне, что я в Брикстоне. Как восхитительно проснуться и слышать ваш голос! Я скоро оденусь, милый папа. Но неужели вы все ждали и не завтракали до сих пор?

– Нет, душа моя. Мне каждое утро в девять часов приносят чашку кофе и булку из ресторации. Для тебя я заказал завтрак, но я не хотел будить тебя до двенадцати часов. Одевайся скорее, Нелль, утро прекрасное, я поведу тебя гулять.

Утро действительно было прекрасное. Элино́р Вэн

откинула тяжелые занавесы и августовское полуденное солнце со всем своим великолепием ворвалось в маленькую комнатку. Окно ее было открыто всю ночь и антресоли так близко были к улице, что она могла слышать разговор прохожих на мостовой. Иностраный язык казался приятен ей по своей новизне. Он совсем не походил на тот французский язык, какой она привыкла слышать в Брикстонс, где молодая девица должна была платить полпенни штрафа каждый раз, как забывалась и произносила свои мысли или желания на своем родном языке. Веселые голоса, лай собак, стук колес, звон колокольчика вдали сливались в веселые звуки.

Когда Элинор Вэн впустила в свою комнату это великолепное полуденное солнце, ей казалось, что она впустила утро новой жизни, жизни новой и счастливой, блестящее и приятнее того скучного пансионского однообразия, которое так ей надоело.

Ее счастливая юная душа радовалась этому солнцу, перемене, незнакомому городу, туманным надеждам, манившим ее в будущем, атмосфере любви, которую присутствие ее отца всегда создавало в самом бедном доме. Элинор не была несчастлива в Брикстоне, потому что в ее характере было считать себя счастливую даже в затруднительных обстоятельствах, потому что она была веселым, пылким созда-

нием, для которого горечь была почти невозможна, но она нетерпеливо ожидала этого дня, когда она должна была соединиться со своим отцом в Париже и, может быть, никогда не оставлять его. Наконец настал этот, столь долго ожидаемый день, солнце новой жизни.

Он настал и даже небо сочувствовало ее радости и: принарядилось в честь первого дня ее новой жизни.

Элинор недолго просидела за своим туалетом, хотя много потеряла времени на то, чтобы разобрать свой чемодан – который был не весьма хорошо уложен, скажем, мимоходом – и с большим трудом отыскала щетки, гребенки, воротнички, манжетки, ленты и все принадлежности, которыми она желала украсить себя.

Но когда она вышла, наконец, с лучезарной улыбкой, с длинными золотистыми волосами, падавшими локонами по плечам, в светлом кисейном платье, с развевающимися голубыми лентами, отец ее чуть не вскрикнул при виде красоты своей любимицы. Она поцеловала его раз десять, но обратила весьма мало внимания на его восторг – даже едва ли заметила, что он восхищался ею – а потом побежала в другую комнату приласкать собаку, французского пуделя, который был верным товарищем Джорджа Вэна в продолжение трех лет, проведенных ими в Париже.

– О папа! – радостно закричала Элинор, воротившись и гостиную с грязной собакой на руках. – Я так рада, что нашла Фидо. Вы не говорили о нем в ваших письмах, и я боялась, что вы, может быть, потеряли его или он умер. Но мог он, такой же милушка и такой же грязный, как прежде.

Пудель, который был разделен надвое, по неприятному правилу, применяемому к его породе, и был спереди белым и кудрявый, а сзади гладкий и розовый, очень щедро отвечал на ласки мисс Вэн. Он прыгал к ней на колени, когда она спустила его на скользкий пол, и визжал от восторга. Ему не позволялось быть в комнатах мистера Вэна; он спал в конуре за лавкой мясника, и вот отчего Элинор не видала его по приезде.

Молодой девушке так хотелось погулять с отцом по широким бульварам вместе со счастливыми и ленивыми обитателями этого чудного города, в котором никто, кажется, не занят делами и не бывает печален, что она очень быстро выпила свой кофе, а потом побежала в свою маленькую спальную нарядиться для прогулки. Она вышла через пять минут в черной шелковой мантилье и в белой прозрачной шляпке, казавшейся облаком на ее блестящих каштановых волосах. Этим великолепным волосам позволялось струиться из-под шляпки золотым дождем, пото-

му что Элинор еще не заплетала и не завертывала своей роскошной косы на затылке.

– Куда мы пойдем, папа?

– Куда хочешь, моя душечка, – отвечал старик. – Я намерен угостить тебя сегодня. Ты проведешь утро как хочешь и мы отобедаем на бульваре Поассоньер. Я получил письмо от мистрис Баннистер, когда ты еще не вставала. Я должен сходить на улицу Мира и получить сто шесть фунтов. Сто отдать мадам Марли, а шесть мне: это мое ежемесячное содержание, душа моя, приходится по тридцати шиллингов в неделю.

Вэн со вздохом назвал эту сумму. Было бы лучше для этого старого мота, если бы он получал свое содержание еженедельно, или даже ежедневно, потому что он имел привычку обедать у «Трех Братьев» в левых перчатках и с цветком в петлице, в начале месяца, а в конце питаться только кофе с булкой.

Он развернул узкий лоскуток бумаги, на котором его старшая дочь написала адрес банкира, и сумму, которую должен был спросить мистер Вэн, и с нежностью, почти с гордостью, смотрел на магический документ. Незнакомые с его легкомысленным и сангвиническим темпераментом, могли бы удивиться перемене, происшедшей в его обращении с прошлого вечера, когда он слезно жаловался на жестокость своей дочери.

Он был тогда униженным стариком, разбитым горестью и стыдом; сегодня же он был молод, красив, весел, горд, напыщен, готов опять вступить в свет и занять свое место между мотыльками. Он наслаждался восхитительным ощущением иметь возможность тратить деньги. Каждый новый пятифунтовый билет был новой прибавкою к юности и счастьем Джорджа Вэна.

Отец и дочь вышли вместе. Мясник бросил свое дело и уставил глаза на мисс Вэн, а младшая дочь мясника, малютка, в кембриковом чепчике, закричала: «О, прекрасная барышня!» Когда Элинор повернула за угол узкой улицы. Фидо бросился за дочерью своего господина и мистеру Вэну было несколько трудно прогнать собаку назад. Элинор хотелось бы взять собаку погулять по парижским улицам, но отец ее растолковал ей нелепость подобного поступка.

Вэн повел свою дочь по улицам за церковью св. Магдалины. Глаза Элинор сверкнули восторгом, когда они вышли из узких улиц за церковью на широкий бульвар, не такой красивый, каков он теперь, но очень широкий, веселый и светлый.

Невольный крик восхищения сорвался с губ Элинор.

– О пана! – сказала она. – Это совсем не похоже на Брикстон. Но куда мы пойдём прежде всего, милый папа?

– К Блоунгу и К°, на улицу Мира. Мы сейчас получим деньги, Нелль, и прямо отнесем к мадам Марли. Не будет им случая оскорбить нас, моя милая. Мы еще не так низко упали, нет, нет, не так низко, чтобы обворовывать наших родных детей!

– Милый папа, не думайте об этом жестоком письме. Мне не хочется брать этих денег, когда я вспомню об этом. Не думайте об этом, папа.

Мистер Вэн покачал головой.

– Я подумаю об этом, моя милая, – отвечал он тоном грустного негодования – негодования честного человека, возмущающегося против жестокого клейма бесславия. – Я подумаю об этом, Элинор, Меня называли вором – вором, Элинор. Этого, кажется, я не забуду.

Они вошли на улицу Мира. Джорджу Вэну была знакома контора банкира, потому что он обыкновенно получал свое месячное содержание от Блоунта и К°. Он оставил Элинор внизу лестницы, а сам пошел в контору на первом этаже; через пять минут он воротился с пачкой банковых билетов в одной руке и со свертком наполеондоров в другой. Билеты приятно зашелестели на летнем воздухе, когда он показал их своей дочери.

– Мы сейчас пойдем к мадам Марли, моя душечка, – сказал он весело. – И отдадим ей эти деньги,

не теряя ни минуты. Им не будет предлога называть меня вором, Элинор. Ты напишешь к твоей сестре после обеда, душечка, и скажешь ей, что я даже и не пытался обворовать тебя. Я думаю, что ты обязана это сделать для твоего бедного старого отца.

Дочь Джорджа Вэна с любовью уцепилась за его руку, нежно и с умоляющим видом, смотря ему в лицо.

– Милый папа, как вы можете говорить такие вещи! – вскричала она. – Я напишу мистрис Баннистер, что она была очень жестока и что ее оскорбительное письмо заставило меня возненавидеть ее противные деньги. Но, милый папа, как вы можете говорить о том, что вы обворовываете меня! Если эти деньги действительно мои – возьмите их, возьмите все, если... если... вы должны кому-нибудь, кто надоедает вам. Я могу воротиться в Брикстон и завтра же зарабатывать себе хлеб, папа. Мисс Беннетт и мисс Лавиния сказали мне это перед моим отъездом. Вы не знаете, как они начали находить меня полезной для младших учениц. Возьмите эти деньги, милый папа, если они вам нужны.

Вэн обернулся к своей дочери почти с трагическим негодованием.

– Элинор, – сказал он. – Неужели ты так мало меня знаешь, что можешь оскорблять подобным предложением? Нет, если бы я умирал с голода, я не взял бы



этих денег. Разве я до того упал и до того унизился, что даже дитя, которое я люблю, обратилось против меня в моей старости?

Рука, державшая банковые билеты, задрожала от волнения, когда старик это говорил.

– Папа, милый, – умоляла Элино́р – Право, право, я не имела намерения оскорбить вас.

– Я не хочу больше слышать об этом, Элино́р, – отвечал Вэн, выпрямившись с достоинством более приличным, чем старомодный сюртук старика. – Я не сержусь на тебя, моя милочка, я только оскорблен, я только оскорблен. Дети мои никогда меня не знали, Элино́р, никогда меня не знали. Пойдем, моя милая.

Вэн оставил спой трагический вид и направился на улицу Сент-Онорэ взять перчатки, которые он отдавал чистить. Он положил перчатки в карман и воротился на улицу Кастильон, смотря на извозщи́чи экипажи дорогого. Он выбрал самого щегольско́го извозчика, медленно проезжавшего мимо.

Он выбрал очень новый и блестящий экипаж, и Элино́р легко прыгнула в коляску и расправила свое кисейное платье на подушках. Прохожие с восторгом смотрели на улыбающуюся англичанку в белой шляпке с венцом блестящих волос.

– В лес, – сказал Вэн, садясь возле дочери.

Он купил крошечный букет для своей, петлицы близ

церкви св. Магдалины, выбрал пару белых лайковых перчаток и старательно натянул их на свои красивые руки. Он был теперь такой же щеголь, как в те дни своей молодости, когда принц-регент и Бруммель были его образцами.

Поездка по площади Согласия и по Елисейским Полям доставила чрезвычайное удовольствие Элинор Вэн, но ей еще было приятнее, когда легкая коляска катилась по одной из аллей Булонского леса, где зеленые листья дрожали на траве и вся природа ликовала под безоблачным августовским небом. Может быть, день был несколько жарок, но Элинор была слишком счастлива для того, чтобы помнить об этом.

– Как приятно быть с вами, милый папа, – сказала она. – И как бы мне хотелось не вступать в эту школу. Я Пыла бы так счастлива в этой маленькой квартире над лавкой мясника, я могла бы ходить учить по утрам детей каких-нибудь французских семейств: я не могла бы стоять мам многого, пана.

Мистер Вэн покачал головой.

– Нет, нет, моя душа. Твое воспитание надо окончить. Зачем тебе быть менее образованной твоих сестер? Ты займешь такое же блестящее положение, какое занимали ими, душечка, а может быть, и лучше. Ты видела меня, когда надо мной нависла туча, Элинор, но ты еще увидишь солнце. Ты вряд ли узна-

ешь своего старого отца, моя бедная девочка, когда увидишь его в таком положении, какое он привык занимать – да, привык занимать, моя милая. Эта дама, к которой мы едем, мадам Марли, она не помнит, душа моя. Она может сказать тебе какого рода человек был Джордж Вэн двадцать пять лет тому назад.

Дом, в котором содержательница модного пансиона, окончившая воспитание старших дочерей Джорджа Вэна, еще принимала, учениц, была вилла с белыми стенами, спрятавшаяся в одной из аллей Булонского леса.

Маленькая наемная коляска остановилась перед калиткой садовой стены и на зов кучера явилась привратница.

К несчастью, она сказала, что барыни нет дома. Помощницы дома и будут рады принять барина и барышню.

– Может быть, это будет все равно, – намекнула привратница. Барин отвечал, что это не все равно, что он должен видеть мадам Марли. Какая неудача! Мадам Марли, так редко выезжавшая из пансиона, поехала сегодня в Париж устроить свои дела и не воротится до вечера.

Вэн оставил свою карточку, написав на ней несколько слов карандашом, что он приедет в два часа на следующий день, и коляска повернула назад

к Парижу.

– Будь свидетельницей, Элинор, – сказал старик. – Будь свидетельницей, что я хотел заплатить эти деньги немедленно по получении их. Будь так добра – упомяни об этом в твоём письме к моей старшей дочери.

Он все это время держал билет в руке, как бы с нетерпением желая передать их содержательнице пансиона, но теперь положил их в карман. Я думаю, что ему даже приятна была мысль удержать эти деньги у себя на сутки. Это были деньги не его, по одному обладание ими внушало ему приятное чувство важности; весьма вероятно, что он мог иметь случай показать эти банковые билеты кому-нибудь из своих знакомых. К несчастью, для этого одинокого старика, его парижские знакомые были довольно низкого и не весьма почтенного калибра и, следовательно, на них мог сделать впечатление вид ста двадцати пяти наполеондоров и пачки банковых билетов.

Был четвертый час, когда Вэн с дочерью были у Палэ-Ройяля и кучер потребовал платы за два часа с половиной. Старик разменял первый из шести наполеондоров у перчаточника и в кармане его жилета было мелкое серебро, так что извозчику тотчас заплатили, и Элинор вошла в Палэ-Ройяль, в этот эдем дешёвых вещиц и обедов под руку с отцом.

Вэн терпеливо переносил энтузиазм дочери к брилл-

лиантам и к стразам в окнах ювелира. Элинор хотелось глядеть на все: на зрительные трубки, на фарфор – на все новое и красивое. Фонтан играл, дети шумели и бегали около нянек, столько же шумевших, и хорошо одетой гуляющей публики. Возле фонтана играл оркестр. Бренчанье чайных ложек, чашек и блюдец раздавалось в кофейной Ротонды: люди еще не начинали обедать, на окнах в ресторации красовались огромные груши и персики. Джордж Вэн позволил дочери оставаться довольно долго перед всеми этими лавками. Он несколько стыдился ее восторга и несдерживаемого энтузиазма, так как восхищение при виде этих простых вещей не согласовывалось с тем высоким гоном, который старик еще выказывал в своем упадке. Но у него не доставало духа мешать дочери – не был ли он счастлив, стоя под руку с этим прелестным созданием, которое смотрело на него с лицом, сиявшим невинной радостью?

Они вышли из Палэ-Ройяля, наконец, и прямо прошли через улицу Ришельё к бирже, где пылкая спутница мистера Вэна пристально смотрела на театр, находившийся напротив великого храма торговли.

– О, папа! – сказала Элинор. – Как бы мне хотелось быть в театре сегодня!

Мисс Вэн часто бывала в английском театре во время своей жизни в Челси, потому что старик знал

некоторых содержателей лондонских театров, людей, помнивших его счастливую жизнь, и время от времени, приглашавших его в свои ложи. Но парижские театры казались таинственно восхитительными Элино́р.

– Вы можете здесь доставать билеты в театр, папа? – спросила она. – Как, бывало, в Лондоне?

Вэн пожал плечами.

– Нет, душа моя, – сказал он. – Это совсем не так легко. Я знаю одного из декораторов в Амбигю – очень талантливого человека – но он не может раздавать лож. Я вот что скажу тебе, Элино́р, я сведу тебя сегодня в театр Порт-Сен-Мартен – зачем я лишу мою дочь невинного удовольствия? – я сведу тебя, если только...

Джордж Вэн остановился и мрачная тень пробежала по его лицу, тень, заставившая его казаться стариком. Моложавость его наружности совершенно зависела от упругости натуры, состязавшейся со старостью. В эту минуту, когда уныние овладевало им, он казался тем, кем он был – стариком.

– Если только что, милый папа? – спросила Элино́р.

– Я... у меня было назначено свидание, душа моя, с... с двумя джентльменами, которые... но я не пойду туда, Элино́р, нет, нет, я не пойду туда. Я поведу тебя в театр. Я могу доставить тебе это удовольствие.

– Милый, милый папа, вы никогда не отказывали мне ни в каком удовольствии, но с моей стороны было бы эгоистично просить вас не сдержать слова, данного этим двум джентльменам. Уж лучше подите к ним.

– Нет, нет, душа моя... я... это будет лучше, может быть. Да, я поведу тебя в театр.

Вэн говорил нерешительно. Тень еще не сбежала с его лица. Если бы дочь его была менее занята парижскими лавками, новизною и веселостью толпы, она, наверно, заметила бы перемену в этом обожаемом отце.

Но она не заметила ничего, она не могла помнить ничего, кроме своего счастья. Этот великолепный день соединения и восторга казался началом новой жизни. Она с удивлением вспоминала скучную рутину пансионской жизни. Возможно ли, что только дня два тому назад, она была в Брикстонской школе, с упрямыми неисправимыми ученицами, с их ненавистными уроками – с их противным, однообразным повторением сухих фактов о Вильгельме-Завоевателе и Буэнос-Айресе?

Отец с дочерью ходили по бульвару до шести часов, а потом поднялись на блестящую лестницу ресторации, где Элинор увидела свое отражение в стольких зеркалах, что она почти изумилась повто-

рению своих каштановых волос и своей белой шляпки.

Длинные залы были наполнены посетителями, которые подняли глаза со своих вилок и ножей, когда англичанка проходила мимо.

– Мы здесь обедаем по карте, – шепнул ей отец – Сегодня праздник, я и хочу угостить тебя первоклассным обедом.

Вэн нашёл порожний стол у открытого окна. Дом стоял на углу бульвара, и это окно выходило на многолюдный перекресток.

Элинор опять вскрикнула, увидав весь бульвар, расстилавшийся у ее ног во всем своем великолепии, но отец ее был слишком занят картой, чтобы заметить ее восторг.

Вэн был эпикуреец и гордился своим дарованием заказывать обед. Он теперь выказал большую тонкость, потому что бедность научила его разным дипломатическим проделкам, посредством которых он мог соединять экономию с расточительностью.

Давно уже Элинор не участвовала в эпикурейских пиршествах своего отца, и она кушала с большим аппетитом несмотря на то, что ее сильно развлекал бульвар внизу.

Блюда медленно следовали одно за другим, потому что внимание слуг отвлекалось многими посети-



телями, и солнце давно уже закатилось на безоблачном западном небе, когда Вэн с дочерью вышли из ресторации. Была почти ночь; огни начинали мелькать сквозь жаркий белый туман; зной сделался удушливее по мере того, как день клонился к вечеру. Парижане, сидевшие за мраморными столиками на воздухе возле кофейной, обмахивались газетами и беспрестанно попивали прохладительные напитки. Это был такой вечер, когда ничем нельзя было более заниматься, как сидеть на воздухе у кофейной Тортони и есть мороженое.

Шум, удушливый жар, суматоха, толкотня людей, стремившихся к театру, нагнали на Элинор головную боль. Нельзя постоянно чувствовать себя счастливою и, может быть, сильных ощущений этого дня было слишком много для этой молодой пансионерки. Она много ходила по горячей мостовой чудного города и начала чувствовать усталость. Вэну не приходило это в голову: он привык ходить каждый день, а иногда и целый день. Что делать одинокому англичанину в Париже, как не расхаживать по улице? Он забывал, что усталость может быть слишком утомительна для его дочери.

Жаркий белый туман становился гуще; газовая лампа, только что зажженная, состязалась с быстро потухавшим солнцем. На бульваре все превратилось

в свет, жар, шум и суматоху, по мнению Элинор. Разумеется, все это было великолепно, по несколько оглушительно. Элинор была бы рада сесть и отдохнуть на одной из скамеек, но так как отец ее, по-видимому, не устал, она шла терпеливо и безропотно.

– Мы сейчас войдем в театр, Нелли, – сказал Вэн.

Он развеселился под влиянием бутылки шампанского и мрачная тень совсем сбежала с его лица.

Выло около десяти часов и совсем темно, когда они повернули к театру Порт-Сен-Мартен. Вдруг Вэн остановился; к нему подошли два молодых человека, которые шли рука об руку.

– Вы сыграли с нами славную штуку, друг мой! – закричал один из них по-французски.

Джордж Вэн пролепетал извинение. Он сказал, что дочь его воротилась из пансиона и он желал показать ей Париж.

– Да-да, – отвечал француз. – Но мы знали о возвращении вашей дочери и, несмотря на это, мы условились сойтись сегодня вечером – не так ли друг мой?

Он обернулся к своему товарищу, который кивнул головой довольно угрюмо и отвернулся с полуутомленным, полунедовольным видом.

Элинор поглядела на молодых людей, спрашивая себя, с какими это новыми друзьями отец ее сошелся в Париже? Француз был низок ростом и толст, бел

и румян лицом. Элинор могла видеть это, потому что его лицо было обращено к газовому рожку, когда он говорил с ее отцом. Он был одет несколько изысканно, в платье модного покроя, мывшемся совсем новым, и вертел короткую трость с серебряным набалдашником в своих руках, обтянутых перчатками.

Другой человек был высок и строен, одет неопрятно, в поношенном платье, как будто слишком широком для него. Руки его были глубоко засунуты в карманы его широкого пальто, а шляпа надвинута на лоб.

Элинор Вэн бросила только мимолетный взгляд на этого человека, когда он угрюмо отвернулся, но она успела увидеть блеск больших черных глаз под тенью шляпы и гордый изгиб очень густых черных усов, совершенно скрывавших его рот. Он отвернулся, не к освещенным окнам лавок, а к дороге, и забавлялся, кидая сухие листья, рассыпанные на бульваре, кончиком своего поношенного кожаного сапога.

Француз отвел в сторону Джорджа Вэна и несколько минут разговаривал с ним вполголоса, размахивая руками, как это делают французы, и, очевидно, уговаривая старика сделать что-то, чего тому не хотелось. Но сопротивление Вэна было очень слабо и француз победил, потому что пожал плечами с торжеством. Элинор, стоя между угрюмым молодым человеком и отцом своим и французом, заметила это.

Она с беспокойством поглядела на мистера Вэна, когда он обернулся к ней.

– Душа моя, – нерешительно сказал старик, тревожно играя своей перчаткой. – Как ты думаешь, можешь ты найти дорогу к Архиепископской улице?

– Найти дорогу? Зачем это, папа?

– Я... я хочу сказать, можешь ли ты найти дорогу одна?

– Одна!

Она повторила это слово с испугом.

– Одна, папа?

Но тут француз вмешался. Он говорил, что ничего не может быть проще: мадмуазель Вэн надо было идти все прямо, а потом повернуть туда и туда...

Он давал быстрые объяснения, но ни одного из них Элинор не слыхала. Она смотрела на своего отца Богу известно как пристально, потому что видела на его лице, в его тревожном нерешительном обращении что-то говорившее ей, что она должна опасаться зловещего влияния этого болтливого француза и его молчаливого товарища.

– Милый папа, – сказала она тихим, почти умоляющим голосом. – Неужели вы точно желаете, чтобы я воротилась домой одна?

– Ну... видишь ли, душа моя, не то, чтобы именно желал, но данного слова – как довольно основательно

замечает мосье – нарушать нельзя и...

– Вы, может быть, останетесь поздно, папа, с этими джентльменами...

– Нет, нет, душа моя, нет, нет, может быть, час, никак не больше.

Элинор грустно поглядела в лицо, которое она любила так нежно. Смутные воспоминания о прошлых горестях и неприятностях, смешавшихся со смутным предчувствием будущих неприятностей, наполнили ее душу, она с умоляющим видом ухватилась за руку отца.

– Пойдемте со мною домой, папа, – сказала она. – Это будет мой первый вечер дома. Пойдемте со мною домой и будем играть в экартэ, как мы, бывало, играли в Челси. Помните как вы учили меня?

Вэн вздрогнул, как будто нежное пожатие ее руки укололо его.

– Я... я не могу воротиться домой сегодня, Элинор, по-крайней мере с час. Есть... есть общественные законы, моя милая, которые надо соблюдать, и когда... когда джентльмена просят дать возможность другому джентльмену отыгаться, он – он отказать не может. Я посажу тебя в карету, душечка, если ты не можешь найти дорогу.

– О, нет, милый папа, не то. Дорогу я могу найти.

Француз вмешался во второй раз с какими-то

комплиментами, которых Элинор не совсем поняла. Он взял под руку Джорджа Вэна, а во все это время другой мужчина не пошевелился со своего места, а все стоял в угрюмой позе.

Вэн взял дочь за руку.

– Мне жаль, что я не могу взять тебя в театр, – сказал он несколько нерешительно. – Мне... мне жаль, что я не могу исполнить твоего желания, но... прощай, моя милая, прощай. Я буду дома в одиннадцать часов, только ты не жди меня, ни под каким видом не жди меня.

Он пожал ее руку, подержал ее несколько минут, сам не зная что ему делать, а потом вдруг выпустил, как будто с сознанием, что он виноват.

Француз, все держа под руку старика, круто повернулся и пошел к Сент-Антуанской заставе, оставив Элинор одну между прохожими, пристально смотрящую вслед отцу. Другой мужчина поглядел на француза, когда тот увел отца, и медленно пошел за ними, склонив голову и засунув руки в карман. Элинор стояла неподвижно, смотря на примут фигуру отца, на низенького француза, на высокого угрюмого незнакомца, который шел за ними до тех пор, пока все трое не скрылись из вида. Потом, повернув домой с полусдерживаемым вздохом, она грустно посмотрела на длинную освещенную перспективу: она была очень

красива, очень весела, блистательна и великолепна, но все это великолепие и вся эта веселость только сильнее заставляли Элинон чувствовать свое одиночество теперь, когда отец оставил ее. Первый день ее новой жизни кончился очень печально.

## Глава V. Ожидание

Мисс Вэн медленно шла домой в эту жаркую, летнюю ночь. Она была слишком опечалена внезапным разочарованием, набросившим мрачную тень на конец дня, начавшегося так весело, и не могла обращать внимания на свое одиночество в многолюдной толпе.

Никто ее не беспокоил, никто не приставал к ней, она шла защищаемая своей юностью и невинностью, хотя газовый свет, изредка падавший на лицо ее, вызывал взгляды восторга прохожих. Ей ни разу не пришло в голову, что отец ее поступил дурно, отправив ее одну по многолюдной парижской улице. В бескорыстии своей любящей натуры, она почти забыла о своем обманутом ожидании относительно театра, даже когда она проходила мимо блистательно освещенного здания и смотрела, может быть, несколько пристально на толпу, теснившуюся на пороге.

Она беспокоилась об отце, потому что – сколько она помнила – в Челси всегда случались несчастья, когда он долго не возвращался домой по ночам, несчастья какие-то таинственные, которых он никогда не объяснял ей, но последствия которых нагоняли на него уныние на много-много дней. Иногда да-



же очень часто, он был беднее после позднего отсутствия из своей бедной квартиры в Челси, иногда он был богаче, но всегда исполнен угрызений и несчастен после этих ночей рассеянной жизни.

Вот почему дочь грустила, расставшись с ним. Она знала, что, несмотря на его уверения, будто он будет дома в одиннадцать часов, он воротится во втором часу утра, не пьяный – нет, слава Богу! он не был пьяницей – но в тревожном, несчастном состоянии, которое, может быть, было прискорбнее видеть, чем обыкновенное опьянение.

«А я надеялась, что папа всегда будет оставаться дома со мною теперь, когда я выросла, – очень грустно думала молодая девушка. Когда я была маленькая, разумеется, было другое дело: я не могла его забавлять, хотя мы были очень счастливы иногда, я могла играть в экартэ, в крибедж и в вист с двумя болванами. Если я хорошо воспользуюсь воспитанием у мадам Марли, а потом найду место приходящей гувернантки за большое жалованье (приходящие гувернантки иногда получают большое жалованье), как счастлив мог бы быть папа и я!»

Элинор несколько развеселилась под влиянием этих мыслей. Я говорила уже прежде, что ей невозможно было оставаться долго несчастливой. Походка ее сделалась легче и скорее. Она уже не чувствовала

своего одиночества в равнодушной толпе. Она начала время от времени останавливаться перед самыми привлекательными лавками почти с таким же восхищением, какое она чувствовала утром.

Она стояла перед открытой книжной лавкой и читала заглавия романов; яркий свет газа прямо освещал ее лицо, когда ее испугал громкий, веселый английский голос, который воскликнул без всяких предварительных приготовлений:

– Не говорите мне, что эта высокая молодая женщина, с золотистыми кудрями, мисс Элино́р Ванделёр Вэн. Пожалуйста, не говорите мне этого, я не поверю, чтобы кто-нибудь мог вырасти до такой степени.

Элино́р Вэн обернулась, и лицо ее засияло улыбкою приветствия этому шумному джентльмену.

– О, Дик! – вскричала она, положив обе руки в широкую ладонь, протянутую к ней. – Неужели это вы? Кто подумал бы, что я увижу вас в Париже?

– Как и я вас, мисс Вэн? Мы слышали, что вы в школе, в Брикстоне.

– Да, Дик, – отвечала молодая девушка – Но теперь я воротилась домой. Папа живет здесь, а я поступаю для окончательного воспитания в пансион в Булонском лесу, а потом сыщу место приходящей гувернантки и буду жить с папа всегда.

– Вы слишком хороши для гувернантки, – сказал

молодой человек, с восторгом смотря на прелестное личико, поднятое на него. – Ваша хозяйка возненавидит вас. Мисс Вэн, вы бы лучше...

– Что, Дик?

– Попробовали бы поучиться там, где учился я.

– Как, рисовать декорации, Дик! – вскричала Эли-нор, смеясь. – Женщине смешно заниматься этим.

– Разумеется, мисс Вэн. Но никто об этом не говорит. Неужели вы думаете, что я пригласил бы вас вскарабкаться на лестницу и разрисовывать облака? Есть другие занятия, кроме этого. Но я не хочу говорить с вами об этом: я знаю, какой свирепый вид принимал ваш старый папаша, когда мы говорили с ним об этом. Как вы думаете, зачем я здесь?

– Зачем, Ричард?

– Для театра Порт-Сен-Мартеиа написана большая драма в восьми актах и тридцати двух картинах, она называется «Рауль-Отравитель», и я приехал сюда рисовать декорации, переводить эту драму и приискивать к ней музыку. Довольно разнообразные занятия, я полагаю, за тридцать пять шиллингов в неделю.

– Вы всегда были так талантливы, Ричард.

– Это уж у нас в семье.

– А синьора здорова, я надеюсь?

– Здорова, уроки идут порядочно. Но куда вы идете, мисс Вэн, я провожу вас. Если мы будем стоять долго

перед этой лавкой, хозяин подумает, что мы хотим купить что-нибудь и обманутое ожидание может сильно подействовать на его нервы. Куда мне вас проводить, мисс Вэн?

– На Архиепископскую улицу. Вы ее знаете?

– Лучше, чем себя самого, мисс Вэн. Синьора жила в той стороне, когда я был мальчиком. Но как это случилось, что вы одна на улице в такое позднее время?

– Папа должен был отправиться в два джентльменами и...

– И отпустил вас домой одну. Стало быть, он еще...

– Еще что, Ричард?

Молодой человек остановился с нерешимостью и украдкой взглянул на Элинор.

– Он иногда долго не возвращается домой: привычка дурная, мисс Вэн. Я надеялся, что он уже отстал от этой привычки, особенно так как теперь нет уже разбойничьих вертепов в Палэ-Ройяле.

– Разбойничьих вертепов в Палэ-Ройяле! – вскричала Элинор. – Что это значит?

– Ничего, милая мисс Нелли, кроме того, что Париж был очень сумасбродным и дурным городом.

– Но теперь нет?

– О, нет! Париж настоящий эдем невинных удовольствий, его обитатели наслаждаются добродетельными радостями. Вы меня не понимаете – ну, это

все равно, вы все то же прелестное дитя, каким вы были в Челси, только вы выросли и еще похорошели – вот и все.

Мисс Вэн взяла под руку своего спутника с такою же доверчивостью, как брала руку своего отца.

Я не думаю, чтобы это доверие было дано неуместно. Этот молодой человек, с громким голосом и с несколько шумным обращением, был помощником театрального декоратора и второю скрипкою в одном из второстепенных театров. Он не был в родстве с прелестной девушкой, опиравшейся на его руку. Его знакомство с Вэном и его дочерью было случайным, как это бывает с бедными людьми.

Молодой человек жил со своей теткой около шести лет в том самом доме, где скрывался старый мот со своей дочерью-сироткой, и Элинор с раннего детства помнила синьору Пичирилло и ее племянника Ричарда Торнтон. Они брала первые уроки на фортепьяно от доброй синьоры, муж которой неаполитанец, умер уже давно, оставив ей только одно неаполитанское имя, имевшее весьма величественный вид на объявлениях, которые учительница музыки раздавала своим ученицам.

Ричард Торнтон, двадцати восьми лет, казался очень пожилым человеком в глазах пятнадцатилетней пансионерки. Отец ее обращался с молодым че-

ловеком холодно, надменно и покровительственно, но для Элинор Дик был самым восхитительным товарищем, самым мудрым советником, самым ученым наставником. Что ни делал бы Ричард, мисс Вэн непременно хотела делать то же самое, смиренно подражая гению, которым она восхищалась.

Она научилась играть на скрипке Ричарда, прежде чем на старом фортепьяно синьоры. Она пачкала свои фартучки красками бедного Дика. Дик держал кроликов и шелковичных червей, и для мисс Вэн не было большего счастья, как ходить с ним на рынок и покупать капусту и тутовые листья. Я не говорю, чтобы она оставляла своего отца для общества своего друга, но бывало время, когда Вэн сам оставлял свою девочку по целым дням, расхаживая по улицам Уэст-Энда, в надежде встретить людей, которых он знал во время своего благоденствия, чтобы занять фунт или два, или по ночам, когда старик исчезал из своей квартиры в Челси на многие скучные часы.

Таким-то образом Элинор Вэн была брошена в общество синьоры и ее племянника. Она читала книги и журналы, получаемые Ричардом, играла на скрипке молодого человека, срисовывала его картины, портила его краски, кормила его кроликов и шелковичных червей, любила и мучила его, восхищалась им, как младшая и прелестная сестра, скалив-

шаяся с неба, чтобы быть его собеседницей.

Вот в каких отношениях находились они друг с другом. Они не видались три года, и в этот промежуток Элинон Вэн выросла и из двенадцатилетней девочки, сделалась высокой, стройной пятнадцатилетней девицей.

– Вы так переменились, мисс Вэн, – сказал Ричард, когда они шли по бульвару. – Что я удивляюсь, как я узнал вас.

– А вы совсем не переменились, Дик, – отвечала молодая девушка. – Но не называйте меня, «мисс Вэн»: мне все кажется будто вы насмехаетесь надо мною. Называйте меня «Нелль». Знаете, Дик, прошлым летом я ездила в Челси, по вас уже там не было, комнаты синьоры отдавались внаймы, а в нашей квартире жила какая-то сердитая старуха; цветы в саду были совсем запущены, кроличьи хлева, сломанные, валялись в углу, а кроликов уже не было. Все там так переменилось, хотя мистер и мистрис Мигсон приняли меня очень ласково и были рады видеть меня, но они не могли мне сказать, где жили вы и синьора.

– Мы переезжали раза три после того, как оставили эту квартиру. Мы должны были жить там, где у синьоры было больше учениц.

Было около десяти часов, когда друзья дошли до Архиепископской улицы, лавка мясника была за-

крыта.

Элинор знала, что ей стоит только толкнуть боковую дверь и она найдет ключ в комнате жены мясника. Бедная девушка очень устала, она едва держалась на ногах, но она почти жалела, что дошла до дома. Чувство ее одиночества вернулось теперь, когда она должна была расстаться со своим старым другом.

– Очень вам благодарна за то, что вы проводили меня домой, Дик, – сказала Элинор, пожимая руку молодому человеку. – Я поступила, как эгоистка, заставив вас так далеко своротить с вашего пути.

– Эгоистка, вы! Неужели вы думаете, что я допустил бы вас одну идти по улицам, Нелль?

Лицо Элинор вспыхнуло, когда ее друг говорил это: в его словах заключался упрек ее отцу.

– Это я сама виновата, что так опоздала, – сказала она. – Было ровно девять, когда папа оставил меня, но я замешкалась, глаза на лавки. Надеюсь, я опять вас увижу, Дик? Да, разумеется, увижу, ведь вы навестите папа? Как долго останетесь вы в Париже?

– С неделю, я полагаю. Мне дали неделю отпуска и двойное жалованье, кроме издержек.

– Где же вы живете, Дик?

– В гостинице «Два Света», недалеко от рынка. Моя квартира поблизости небес, и весьма была бы удобна, если бы я желал изучать атмосферные действия.



Итак, вы живете здесь, Нелль?

– Да, это наши окна.

Занавесы были задернуты, но окна были открыты настежь.

– И вы ждете домой вашего папа...

– В одиннадцать часов, уж никак не позже, – сказала она.

Ричард Торнтон вздохнул. Он помнил привычки Вэна, помнил, что девочка должна была долго не ложиться спать, поджидая прихода отца. Он часто находил ее, возвращаясь из театра в два часа ночи, у полуоткрытой двери маленькой гостиной терпеливо ожидающую прихода старика.

– Вы не будете ждать вашего папа? – сказал он, пожимая ей руку.

– О, нет! Пана не велел мне ждать.

– Прощайте же. Вы, кажется, устали, Нелль. Я приду завтра и отведу вас в театр, если папа отпустит вас: вы посмотрите на «Рауля-Отравителя». Какая сцена, Нелль, в седьмом акте! Сцена разделена на восемь отделений, и в каждом идет своя игра, прежде чем опустится занавес, будет убито пять действующих лиц. Пьеса великолепная и составит богатство авторов.

– И ваше, Дик.

– О, да! Кромшоу, один из актеров, пожмет мне ру-

ку со споим восхитительным благородным обращением, а Спэвин – Спэвин даст мне пятифунтовый билет и расскажет всем по секрету, что все главные сцены перевел он сам и что вся пьеса никуда не годилась, пока он не переделал ее.

– Бедный Ричард!

– Да, Нелль, но это нужды нет. Я думаю, что самые благоразумные люди те, которые легко смотрят на жизнь.

– Но я желала бы, чтобы вы разбогатели, Дик, для синьоры, – кротко сказала Элино́р.

– И я также, Нелли. Однако прощайте. Я не должен держать вас на улице, хотя расставаться так грустно, что, право, у меня не достало бы духу уйти сегодня, если бы я не имел намерения прийти завтра.

Элино́р пожелала своему другу спокойной ночи. Вся беззаботность ее детства, как будто вернулась к ней в обществе Ричарда Торнтонa. Вспомните, что ее детство не было несчастливо, несмотря на затруднительные обстоятельства, отец ее успевал всегда всплывать наверх, и влияние его сангвинического темперамента держало Элино́р в постоянной веселости и надежде, несмотря на тучи на домашнем небе.

Но чувство ее одиночества вернулось к ней, когда она отворила дверь и вошла в темный коридор возле лавки. Жена мясника вышла при звуке ее шагов и от-

дала ей ключ, поприветствовав ее несколькими ласковыми словами, которые Элинор не совсем поняла.

Она могла только сказать: «Добрый вечер» на своем школьном французском языке, медленно поднимаясь на маленькую извилистую лестницу, совершенно измученная и физически, и нравственно.

В маленьких антресолях было ужасно душно. Элинор отдернула занавес и посмотрела в открытое окно, но даже улицы казались удушливо жаркими в безлунную августовскую ночь.

Элинор нашла восковой огарок в фарфоровом подсвечнике и коробочку со спичками, приготовленные для нее. Она зажгла этот огарок, сбросила шляпку и мантилью прежде чем села у окна.

«Недолго мне ждать, если папа воротится домой в одиннадцать часов», – думала она.

Ах! Элинор помнила, что и прежде он никогда не возвращался домой в обещанный час. Как часто, о! Как часто ждала она, считая скучные часы по церковным часам (одни часы били даже четверти) и иногда вздрагивала, когда эти странные звуки нарушали ночную тишину! Как часто она надеялась, что, может быть, хоть один раз, отец ее воротится в назначенное им время!

Она взяла в руку подсвечник и начала отыскивать книгу. Ей хотелось наполнить чем-нибудь скуч-

ный промежуток до возвращения отца. Она нашла роман Поля Феваля в грязной и изорванной обертке на мраморном письменном столике. Листья были измяты и запачканы, потому что мистер Вэн имел привычку читать романы за утренним кофе. В своей легкомысленной старости он пристрастился к романам и любил сентиментальные истории, как любая пансионерка – как его дочь.

Мисс Вэн подвинула столик к открытому окну и села перед ним, поставив свечку возле себя, а изорванную книгу положив перед собой. Ни малейшее дуновение не заставляло мелькать пламя свечи, не касалось золотистых волос молодой девушки.

Прохожие на противоположной стороне улицы – их было уже мало в это время – глядели на освещенное окно и видели прелестную картину при тусклом блеске одинокой свечи – девушку, спокойную своей юностью и невинностью, наклонившуюся над книгой; ее светлое кисейное платье и золотистые волосы слабо виднелись при тусклом огне.

Стук колес и крики кучеров раздавались вдали на бульварах и на улице Риволи, делая тишину еще заметнее на Архиепископской улице. Время от времени и по этому тихому уголку проезжал экипаж, тогда Элинор Вэн поднимала глаза от книги, едва переводя дух, с нетерпеливым ожиданием надеясь, что, может

быть, отец ее возвращается в этом наемном экипаже, но он проезжал мимо, и стук его колес смешивался с отдаленным стуком колес на бульваре.

Часы вдали били четверти. Как продолжительны казались эти четверти! Конечно, Поль Феваль был очень интересен. На этих запачканных страницах рассказывалась ужасная тайна о двух утопленных молодых женщинах, вероломно брошенных в реку, осененную ивами. Но мысли Элинор не были устремлены на эти страницы. Уединенная река, печальные ивы, утопленные молодые женщины, злодей – все это смешивалось в ее тревожных мыслях вместе с ее отцом и увеличивало унылую тяжесть ее беспокойства.

На страницах романа Феваля попадались иногда плохие гравюры, и Элинор представлялось, будто злодей, изображенный на этих гравюрах, походит на угрюмого незнакомца, который пошел вслед за ее отцом и французом к Сент-Аптуанской заставе.

Она воображала это, хотя едва рассмотрела лицо этого молчаливого незнакомца. По-видимому, он нарочно отворачивался, и Элинор видела только мельком черные глаза под тенью его шляпы и черные усы. Всегда есть что-то таинственное и неприятное в идее о том, что от нас скрывают что-нибудь, как бы ничтожно и незначительно было это. Элинор Вэн тревожилась все более и более, по мере того как проходили

медленно часы, и живое воспоминание о лице молчаливого незнакомца, которое она видела мельком, начало мучить ее.

«Физиономия его недобрая, – думала она. – А то воспоминание о ней не тревожило бы меня до такой степени. И как он был груб, француз мне не очень понравился, но по крайней мере он был вежлив. А тот другой был очень неприятен. Надеюсь, что он не из друзей папа».

Потом она опять возвращалась к утопленным молодым женщинам, к реке, к ивам, напрасно стараясь заняться романом и не так внимательно слушать, как бьют часы. Иногда она думала:

«Прежде чем я переверну следующую страницу, папа будет дома, или прежде чем я дочитаю эту главу, я услышу его шаги по лестнице».

Несмотря на тишину ночи, много звуков тревожило понапрасну нетерпеливую и бодрствующую девушку. Иногда дверь внизу тряслась, точно по какому-то таинственному влиянию, потому что ветра не было и Элинор воображала, что отец ее берет за ручку двери. Иногда лестница трещала, и Элинор вскакивала со стула, чтобы бежать к отцу навстречу, в твердой уверенности, что он прокрадывается в свою комнату для того, чтобы не разбудить спящих.

Но все эти звуки были жалким обманом. Четверть

за четвертью, час за часом били на отдаленных и близких часах. Стук колес на бульварах постепенно затихал и, наконец, совсем прекратился.

Давно уже был пятый час, и Элинор оттолкнула от себя книгу. Начинало рассветать, серое холодное утро казалось холодным и унылым после душной августовской ночи. Элинор стояла у окна и смотрела на пустую улицу.

Но тишина недолго продолжалась. Стук телеги раздался на улице Сент-Онорэ. Кавалерийский отряд с громким брэнчаньем пронесся по площади Согласия. Веселые голоса рабочих раздавались на улицах, собаки лаяли, птицы пели, желтое солнце поднималось на безоблачном небе.

Но Джордж Вэн не пришел с утренним светом, и тревожное лицо бледной дочери у открытого окна сделалось еще бледнее и тревожнее.

## Глава VI. Черное здание у реки

Ричард Торнтон вставал не рано. Обыкновенно он последний оставлял оркестр, присутствуя при репетиции какой-нибудь новой мелодрамы, где весь эффект убийства или похищения зависел от пиччикато скрипок.

Но теперь Ричард не мог позволять себе лениться: представление новой драмы, для которой он приехал в Париж, заставляло его иногда вставать рано. И по правде надо признаться, что мистер Торнтон не очень занимался своим туалетом. Он имел привычку забывать бриться до тех пор, пока подбородок его покрывался какими-то разноцветными волосами, которые удивляли даже его самого. Он не имел даже особенного пристрастия к чистому белью и обыкновенно носил цветную рубашку, испещренную впереди красками. Когда мистер Торнтон покупал новое платье, он надевал его, носил постоянно: и ел, и пил, и рисовал в нем до тех пор, пока оно не начинало распадаться на куски подобно увядшим листьям, падающим с крепкого молодого дуба. Были люди, уверявшие будто мистер Торнтон спал в своем обыкновенном костюме но, разумеется, это была жестокая клевета.



Ходить каждый день миль восемь или девять от своей квартиры до места своих занятий, разрисовывать декорации в большом театре, играть вторую скрипку, успевать на ранние репетиции по холодным утрам, аккомпанировать Григсби в его новой комической арии, или мадам Розальбини в качуче – это не значит вести ленивую жизнь; поэтому, может быть, бедному Ричарду Торнтону простительно, если его друзья имели случай посмеяться над его равнодушием к мылу и воде. В самые шуточные минуты они даже называли его: «Грязный Дик», но я не думаю, чтобы это неблагозвучное прозвание оскорбляло чувства Ричарда. Все любили его и уважали как великодушного, чистосердечного, благородного человека, который едва решился бы сказать ложь для того, чтобы спасти свою жизнь и который не согласился бы выпить кружку пива, за которую он не мог бы заплатить или принять милость, за которую он не мог отплатить тем же.

Товарищи Ричарда Торнтонна знали, что отец его был джентльмен и что молодой человек имел некоторую гордость, собственно ему принадлежавшую. Только он один в театре не бранил своих хозяев и не льстил им. Плотники и фонарщики снимали шляпы, когда разговаривали с ним, хотя он одевался хуже всех своих товарищей; маленькие балетные танцовщицы любили его и рассказывали ему о своих

неприятностях. Старые слуги в театре рассказывали мистеру Торнтону о своих ревматизмах. Он со всеми был терпелив и сострадателен. Все знали, что он был добр и нежен сердцем, потому что имя его виднелось на каждой подписке, и цифра, написанная им, была огромна, если взять в соображение его жалование. Все знали, что он был храбр, потому что он однажды грозился сбросить мистера Спэвиия в партер, когда этот джентльмен сделал какой-то незначительный намек, оскорбительный для Ричарда. Все знали, что он был добр и почтителен к старой учительнице музыки, с которой он жил и которой он помогал своими средствами. Все знали, что когда другие мужчины легкомысленно отзывались о каких-нибудь священных предметах, Ричард Торнтон уходил из их общества серьезно, спокойно, как бы красноречив и весел ни был он за несколько минут перед тем. Все знали это и уважали молодого живописца, несмотря на радужные пятна на его поношенном сюртуке.

В это утро Торнтон очень скоро закончил свой туалет.

«Я буду завтракать сегодня здесь, – думал он. – Выпью кофе с булкой и примусь работать».

Он позвонил в колокольчик, придвинул стул к окну и сел, поставив перед собою ящик с красками. Он должен был звонить несколько раз прежде чем кто-ни-

будь из слуг явится на его зов, но он работал весело, куря трубку.

Он не оставил свою работу, когда ему принесли завтрак, но ел булку и пил кофе, оставляя свою кисть только минуты на две; так как он встал не очень рано, то должен был работать до пяти часов прежде чем закончить. Он набил трубку и ходил взад и вперед перед столом, куря и любясь своей работой с невинным восхищением.

«Бедная Нелли! – вдруг подумал он. – Я обещал зайти к ней сегодня, изъявить свое уважение старику. Наверно, он не особенно желает видеть меня, но Нелли такая милочка! Если бы она попросила меня ходить на голове, кажется, я попробовал бы сделать это. Однако сегодня поздно идти к Вандслёру Вэну, я могу отложить до завтра. Мне надо еще зайти в театр и посмотреть на сцену в восьми отделениях. Ах, кстати, надо взглянуть и на морг<sup>1</sup>». Торнтон закончил курить и потер свой подбородок с видом размышления.

«Да, я должен взглянуть на морг прежде чем пойду, – думал он. – Я обещал этому несносному старику Джемболсу, что я освежу свою память, снова взглянув на морг. Он пишет большую драму, в которой половина действующих лиц узнает другую половину мерт-

---

<sup>1</sup> Дом, в котором выставляются тела умерших насильственной смертью.

вою на мраморных плитах в морге. Он никогда не переезжал Британский канал, и я думаю, что его понятия о морге несколько туманны. Я пойду и пообедаю в Палэ-Ройяле».

Он надел шляпу, вышел из комнаты, запер дверь и сбежал с гладкой лестницы, весело насвистывая. Он был рад освободиться от своей работы, рад возможности провести несколько праздных часов в иностранном городе.

Мистер Торнтон превосходно пообедал в большой шумной ресторации в Палэ-Ройяле, где за два франка можно пообедать очень вкусно, в великолепной зале, слушая оркестр в саду под окнами.

После обеда он угостил себя чашкой кофе и сигаркой в кофейной на Биржевой площади, а потом медленно пошел вдоль Сены, куря и останавливаясь поглазеть то на то, то на другое. Было около восьми часов, когда он вышел из одной узкой улицы на набережную к тому мосту, под тенью которого скрывается морг, подобно какой-нибудь гнусной вещи. Ему не очень был приятен труд, возложенный на него мистером Джемболсом, но он был слишком добр для того, чтобы не исполнить желания драматурга и слишком добросовестен для того, чтобы нарушить данное обещание, как бы исполнение его ни казалось ему неприятно.

Решительными шагами шел он к черному зданию.

«Надеюсь, что там сегодня нет мертвых тел», – думал он. – Мне довольно только одного взгляда, и я увижу все, что мне нужно видеть. Надеюсь, что там сегодня нет никаких мертвых тел.

Он остановился перед входом и поглядел на двух женщин, болтавших между собою и сильно размахивавших руками.

Он задал одной из этих женщин вопрос: «Есть ли тела в морге?» Обе женщины отвечали в один голос: «Да. Недавно принесли тело одного джентльмена, умершего от яда в игорном доме. Убийство это было или самоубийство – *никто* не знал». Ричард Торнтон пожал плечами и отвернулся от этой пустой болтовни.

«Некоторые назвали бы меня трусом, если бы знали как мне неприятно входить в это место», – думал он.

Он бросил сигару, снял шляпу и медленно переступил через мрачный порог дома мертвых.

Когда он вышел – а это было через четверть часа – лицо его было почти так же бледно, как и лицо трупа только что виденного им. Он вошел на мост, сам не зная куда он идет, как лунатик, прогуливающийся во сне.

Не прошел он и двенадцати ярдов от морга,

как вдруг почти наткнулся на одинокую фигуру девушки, рука которой лежала на парапете моста, а бледное лицо было обращено к башне Нотр-Дам.

Девушка подняла голову, когда он подошел, и назвала его по имени.

– Вы здесь, Элинор! – закричал он. – Уйдемте, дитя, уйдемте, ради Бога.

## Глава VII. Недоумение

Элино́р Вэ́н и живописец стояли на мосту и глядели друг на друга несколько минут после того, как Ричард вскрикнул от ужаса и удивления.

Если бы душа Элино́р не была совершенно поглощена одним жестоким беспокойством, ее удивило бы странное приветствие старого друга. Теперь же она не обратила внимания на его обращение. Тени летней ночи собирались над городом и спокойной рекой.

– О, Ричард! – вскричала Элино́р – Я была так несчастлива. Папа всю ночь и весь день не возвращался домой. Я ждала его час за часом, наконец мне сделалось невыносимо в доме, я не могла оставаться больше дома и пошла его отыскивать. Я ходила далеко по бульвару, туда, где я рассталась с ним вчера, ходила по разным многолюдным улицам, пока не очутилась здесь, у воды, и я так устала! О, Дик, Дик! Как это жестоко со стороны папа, что он не воротился домой! Как жестоко поступил со мною мой любимый папа!

Элино́р судорожно сжала руку своего спутника и, склонив голову, залилась слезами – это были первые слезы, которые она пролила во время своего горя, – первое облегчение после продолжительных часов мучительного недоумения, утомительного ожидания.

– О, как папа может обращаться со мною таким образом? – вскричала она среди своих рыданий. – Как он может обращаться таким образом!

Потом, вдруг приподняв голову, она поглядела на Ричарда Торнтона, ее чистые, серые глаза расширились от ужаса, который придавал ее лицу странную и страшную красоту.

– Ричард! – закричала она. – Ричард! Как вы думаете... не случилось ли... чего-нибудь дурного – не случилось ли чего-нибудь с моим отцом?

Она не дождалась его ответа, а тотчас же вскричала, как бы испугавшись ужаса подразумевавшегося в ее словах.

– Что могло случиться с ним? – Он так здоров и крепок. Хотя он стар, он не похож на старика. Люди в нашем доме были очень добры ко мне, они говорят, что с моей стороны сумасбродно так пугаться, уверяют, будто папа всю ночь не приходил домой прошлым летом. Он ездил в Версаль к каким-то друзьям и ночевал у них, не сказав заранее, что он намерен это сделать. Я знаю, что с моей стороны очень глупо пугаться, Ричард. Но я всегда пугалась в Челси, когда он не возвращался домой. Мне приходили в голову разные разности. Всю эту ночь и весь день, Дик, я думала о разных ужасах до того, что мои фантазии чуть не свели меня с ума.



Все это время живописец ничего не говорил. Он казался совершенно неспособен сказать хоть одно утешительное слово бедной девушке, которая цеплялась за него в своей тоске и ожидала от него утешения и надежды.

С удивлением глядела она ему в лицо, его молчание, казавшееся бесчувственным, приводило ее в недоумение. Ричард никогда не был бесчувствен.

– Ричард! – вскричала она почти нетерпеливо. – Ричард, говорите же со мной! Вы видите, как я страдаю и не говорите ни слова! Помогите мне найти папа! Поможете?

– Молодой человек взглянул на Элинор. Богу известно, что в его лице не было недостатка ни в нежности, ни в сострадании, но оно было скрыто от Элинор наступавшим мраком августовского вечера. Он подал ей свою руку и повел ее на другую сторону воды, оставив за собою черную кровлю дома мертвых.

– Я готов сделать все, чтобы помочь вам, Элинор, – сказал он кротко. – Бог видит мое сердце, милая моя. Он знает, как желал бы я помочь вам.

– И вы отыщете папа, Ричард, если он не воротится домой сегодня? Может быть, он теперь дома и сердится на меня, зачем я вышла одна, а не ждала спокойно дома его возвращения. Но если он не воротился, вы отыщете его – не правда ли, Ричард? Вы обы-

щете весь Париж, пока найдете его?

– Я сделаю все, что могу, так как если бы я был вашим братом, Элинор, – серьезно отвечал молодой человек. – Но в нашей жизни бывает такое время, когда, кроме Бога, никто не может помочь нам, моя милая, и когда мы должны обращаться к Нему. В дни наших неприятностей нам нужна Его помощь, Нелли.

– Да-да, я знаю. Я все молилась ночью, чтобы папа скорее воротился домой. И сегодня повторила ту же молитву, Ричард, даже теперь, когда вы нашли меня стоящей у парапета моста, я молилась за моего милого отца. Церковь казалась так величественна и торжественна в вечерних сумерках, что вид ее заставил меня вспомнить, как могуществен Господь и что Он всегда может исполнить нашу молитву.

– Он лучше нас знает, Нелли, что лучше для нас.

– Да, разумеется, иногда мы молимся об исполнении каких-нибудь безумных желаний, но желать, чтобы мой милый отец воротился ко мне – вовсе не безумно. Куда вы ведете меня, Дик?

Элинор вдруг остановилась и посмотрела на своего спутника. Она должна была задать этот вопрос, потому что Ричард Торнтон вел ее по лабиринту улиц к Люксембургу, и как будто сам не знал куда он идет.

– Мы идем не по той дороге, Ричард, – сказала Элинор. – Я не знаю где мы, но мы, кажется, все удаля-

емся от дома. Разве вы не хотите отвести меня на Архиепископскую улицу, Дик? Мы должны опять перейти через реку. Я хочу сейчас же воротиться домой: может быть, папа уже дома и сердится, зачем я ушла. Отведите меня домой, Дик.

– Отведу, милая моя. Мы перейдем через реку дальше, у Лувра; а теперь скажите мне, Элинор... Я... я не могу отыскивать вашего отца, если не пойму хорошенько, при каких обстоятельствах расстались вы с ним вчера. Как это было? Что случилось, когда мистер Вэн оставил вас на бульваре?

Они шли по широкой тихой улице, на которой было очень мало прохожих. Дома стояли за великолепными воротами и были закрыты стенами. Величественные отели между двором и садом имели вид упадка, придававший печальную наружность их величию.

Ричард и Элинор шли медленно по широкому тротуару. Тишина летней ночи имела некоторое влияние на лихорадочное состояние и нетерпение молодой девушки. Серьезный, сострадательный тон голоса ее друга успокоил ее. Слезы, судорожно потрясавшие ее легкую фигуру полчаса тому назад, служили для нее невыразимым облегчением. Доверчиво опиралась она на руку своего спутника и терпеливо шла возле него, не спрашивая его куда он ведет ее, хотя она имела странную идею, что он ведет ее не до-

мой.

– Я не буду приходить в отчаяние, – сказала она, – я сделаю, как вы говорите мне, Ричард, я положусь на Бога. Я уверена, что мой милый папа воротится ко мне. Мы так любим друг друга; вы знаете, Ричард, мы друг для друга все, мой бедный, милый папа так надеялся получить когда-нибудь состояние де-Креспиньи. Я не надеюсь на это столько, как папа, Дик, потому что де-Креспиньи может дожить до глубокой старости; а желать смерти чьей-нибудь – очень дурно. Я с нетерпением жду того дня, когда я закончу мое воспитание и буду в состоянии трудиться для папа. Это, должно быть, почти лучше, чем разбогатеть – я так думаю, Дик. Я не могу вообразить более счастливой участи, как трудиться для тех, кого мы любим.

Лицо Элинор засияло при этих словах, она обернулась к своему спутнику и ожидала его сочувствия. Но Ричард не смотрел на нее, он рассеянно рассматривал дома на противоположной стороне улицы.

Он молчал несколько минут после того, как Элинор перестала говорить! а потом сказал вдруг:

– Скажите мне, милая моя, как вы расстались вчера с вашим отцом?

Мы обедали на бульваре, после обеда папа повел меня гулять очень далеко и обещал взять меня в театр, но когда мы возвращались домой, мы встретили

двух джентльменов, друзей папа, которые остановили его и сказали, что он дал им слово идти с ними куда-то и уговорили его воротиться с ними.

– Воротиться с ними! Воротиться куда?

– Они пошли к каким-то большим каменным воротам, которые мы прошли несколько минут тому назад. Я знаю только, что они пошли в ту сторону, но куда они пошли я не знаю. Я стояла и смотрела, пока они не скрылись из виду.

– Какой наружности были эти два человека?

– Один из них был француз низенького роста, толстый и румяный, с усами и бородой, как император Луи-Наполеон; одет он был щегольски и с тростью, которую вертел, когда говорил с папа.

– Вы слышали, что он говорил?

– Нет, он говорил тихо и по-французски.

– Но ведь вы говорите по-французски, Элинор?

– Да, но не так, как говорят здесь. Здесь говорят так скоро, что трудно понимать.

– А другой мужчина, Нелль, какой был наружности?

– Самой неприятной. Он казался сердит, будто обижался, зачем пана не сдержал слова. Лицо его я почти не видала, я могла только заметить, что у него черные глаза и густые черные усы. Он был высок и дурно одет, мне так казалось, что он англичанин, хотя он не сказал ни слова.

– Не сказал ни слова! Стало быть, это француз уговорил вашего отца воротиться с ними?

– Да.

– И, по-видимому, очень этого желал?

– О, да, очень желал!

Ричард Торнтон пробормотал что-то сквозь сжатые зубы, что-то похожее на проклятие.

– Скажите мне, Элинор, – продолжал он. – Я знаю, что наш отец никогда не имел много денег. Вряд ли с ним были деньги вчера. Вам известно, были ли с ним деньги?

– Да, с ним было много денег.

– Что это значит – много? Верно, несколько фунтов?

– О, гораздо более, – отвечала Элинор. – С ним было сто фунтов – его фунтов новыми банковыми билетами, французскими. Эти деньги моя сестра, мистрис Баннистер, прислала ему на мое воспитание у мадам Марли.

– Мистрис Баннистер, – повторил Ричард. – Да, теперь помню. Мистрис Баннистер ваша сестра. Она, кажется, очень богата и была к вам добра? Если с вами случатся какие-нибудь неприятности, вы отправитесь к ней, я полагаю, Элинор?

– Отправиться к ней, если я буду иметь неприятности! О! Нет, нет, Дик, ни за что на свете!

– Но почему же нет? Ведь она была добра к вам, Нелль?

– О, да, очень добра, заплатив деньги за мое воспитание; но вы знаете, Ричард, некоторые люди делают добро недобрым образом. Если бы вы знали, какое жестокое письмо эта мистрис Баннистер написала к папа, какие унижительные вещи говорила она ему только несколько дней тому назад, вы не могли бы удивляться, что я не люблю ее.

– Но она ваша сестра, Нелль, самая близкая ваша родственница.

– Кроме папа.

– Она должна любить вас, быть к вам ласкова. Она живет в Бэйсуотере, кажется, так вы сказали?

– Да, в Гайд-Парке.

– Так, так. Мистрис Баннистер, Гайд-Парк, Бэйсуотер.

Он повторил имя и адрес, как будто желал запечатлеть их в своей памяти.

– Теперь я отведу вас домой, Нелль, – сказал он. – Бедное дитя, вы, должно быть, устали до смерти.

– Как могу я думать об усталости, Ричард, – воскликнула Элинор. – Когда я так беспокоюсь о папа! О, если бы и только нашла его дома, как я была бы счастлива!

Но она тяжело опиралась на руку своего друга

и Ричард знал, что она очень устала. Она несколько часов бродила по Парижу, бедняжка, по длинным, незнакомым улицам за теми, кто ей казался издали похожим на отца, беспрестанно надеясь и беспрестанно обманываясь в ожидании.

Живописец позвал первый проезжавший фиакр и посадил в него Элино́р. Она чуть не лишилась чувства от усталости и истощения.

– Что вы кушали сегодня, Нелль? – спросил он.

Она несколько колебалась, как будто забыла, что она ела, и ела ли что-нибудь.

– Я выпила кофе и съела булку, присланную для папа утром. К нему завтрак присылается из трактира.

– А с тех пор ничего не кушали?

– Нет. Как могла я есть, когда так беспокоилась о папа?

Ричард с упреком покачал головой.

– Дорогая моя Нелли, – сказал он – Вы обещали мне сейчас полагаться на Провидение. Я отвезу вас поужинать, а потом вы должны обещать мне воротиться домой и хорошенько заснуть.

– Я послушаюсь вас, Ричард, – покорно отвечала Элино́р. – Но, пожалуйста, прежде отвезите меня домой посмотреть воротился ли папа.

Живописец несколько минут не отвечал на эту просьбу, но вдруг сказал рассеянным тоном:



– Делайте, как хотите, Нелль.

Он велел кучеру ехать на Архиепископскую улицу, но не выпустил Элинора из фиакра, когда он остановился у лавки мясника, хотя Элинора очень хотелось бежать домой.

– Оставайтесь здесь, Нелль, – сказал он повелительно. – Я пойду и расспрошу.

Элинора послушалась. Она ослабела и истощилась от бессонной ночи, от продолжительного дня, исполненного волнений и беспокойства, и была слишком слаба, чтобы спорить со своим старым другом. С отчаянием глядела она на открытые окна антресолей: они оставались совершенно в том виде, как она оставила их пять часов тому назад. Ни малейший огонек не давал дружеского знака, что комнаты были заняты.

Ричард Торнтон очень долго говорил с женой мясника – так показалось Элиноре, – но он очень мало мог сказать ей, когда воротился к фиакру. Мистер Вэн не возвращался – вот все, что он сказал.

Он повез свою спутницу в кофейную близ церкви св. Магдалины и настоял, чтобы она выпила большую чашку кофе с булкой. Более ничего не мог он уговорить ее скушать, и она просила его посадить ее за один из столов, стоявших на воздухе возле кофейной. Она сказала, что, может быть, она увидит своего отца по дороге на Архиепископскую улицу.

Друзья сели за маленький железный столик несколько поодаль от группы оживленных зевак, сидевших за другими столами и пивших кофе и лимонад. Но Джордж Моуб-рэй Варделёр Вэн не проходил по этой дороге в те полчаса, которые Элинор сидела за чашкой кофе.

Било десять часов, когда Ричард Торнтон пожелал ей спокойной ночи на пороге маленькой двери возле лавки мясника.

– Вы должны обещать мне непременно лечь спать, Нелли, – сказал он, – пожимая ей руку.

– Да, Ричард.

– Смотрите же, сдержите ваше обещание на этот раз. Я приду и посмотрю на вас завтра утром. Бог да благословит вас, милая моя. Спокойной ночи.

Он нежно пожал ей руку, когда она затворила за собою дверь. Ричард перешел через узкую улицу и подождал на другой стороне, пока не увидал огня в одном окне антресолей. Он ждал, пока Элинор подошла к этому окну и задернула его занавесом, а потом он медленно ушел.

«Бог да благословит ее, бедняжку! – прошептал он тихим сострадательным голосом, – бедную, одинокую девушку!»

Серьезная задумчивость его лица ни разу не изменилась, пока он шел домой в гостиницу. Хотя было

поздно, когда он добрался до своей комнатки на пятом этаже, он сел за стол и, оттолкнув свою трубку и кiset с табаком, свои краски и кисти, вынул несколько листов почтовой бумаги и маленький пузырек с чернилами из старого кожаного письменного прибора, и начал писать.

Он написал два письма, оба несколько длинные, сложил их, запечатал, и надписал адрес.

Одно было адресовано к мистрис Баннистер в Гайд-Парк, в Бэйсуотер, другое к синьоре Пичирилло на Нрогемберлэндский сквер.

Ричард Торнтон положил оба эти письма в карман и пошел отдать их на почту.

«Кажется, я поступил к лучшему, – бормотал он, – возвращаясь назад в гостиницу. – Я ничего не могу сделать.»

## Глава VIII. Добрые самаритяне

Джордж Вэн не возвращался домой. Элинор сдержала обещание, данное ею верному другу, и старалась заснуть. Она бросилась, не раздеваясь, на маленькую постель, чтобы быть готовой бежать навстречу к отцу, когда бы он ни воротился. Она была совсем изнурена и заснула сном тревожным, прерываемым страшными сновидениями. Она видела отца, подвергавшегося разным опасностям, всевозможным бедствиям и превратностям. То она видела его стоящим на страшной скале, между тем как ему угрожал быстро приближавшийся прилив, сама же она сидела в лодке за несколько шагов от него и боролась с черными волнами, стараясь всеми силами подоспеть к нему на помощь, но напрасно.

То он бродил на краю пропасти – он представлялся ей тогда седым, слабым, сгорбленным стариком – и опять она была возле него, но неспособна предостеречь его от опасности, хотя одним словом могла бы это сделать. Тоска от усилия произнести крик, который спас бы ее обожаемого отца от смерти, разбудил ее.

Но она видела также и другие сны, совсем другого свойства, в которых отец возвратился к ней богатым

и счастливым, но она весело смеялась с ним над сумасбродными пытками, какими она мучила саму себя; другие сны опять казались так действительны, что Элинор воображала себя наяву, в этих снах ей слышались знакомые шаги на лестнице, стук отворяющейся двери и голос отца, из другой комнаты звавшего ее.

Эти сны были хуже всех. Ужасно было проснуться после всех этих обманчивых сновидений и узнать, что это был обман. Жестоко было просыпаться к чувству своего одиночества; между тем как звук голоса, который она слышала во сне, все еще раздавался в ее ушах.

Темные часы короткой летней ночи казались ей нескончаемы в этом мучительном, полусонном состоянии, гораздо длиннее казались они, чем в то время, когда она поджидала возвращения отца в прошлую ночь. Каждое новое сновидение казалось медленной агонией ужаса и недоумения.

Наконец сероватый рассвет пробрался сквозь полузакрытые ставни. Элинор не могла долее спать, она встала и подошла к окну, отворила его и упала на колени, положив голову на подоконник.

«Я буду ждать его здесь, – думала она. – Я услышу его шаги на улице. Бедняжка, бедняжка! Я угадываю, зачем он не приходит: он истратил эти противные деньги и ему не хочется воротиться сказать мне

это. Мой милый папа! Неужели ты так мало меня знаешь, что думаешь, будто я пожалела бы отдать тебе все до последнего фартинга, если бы тебе он понадобился?»

Мысли ее как-то странно смешались, голова закружилась от непрерывного натиска одной и той же идеи, когда она подняла спюю голову – бедную, усталую, пылающую, тяжелую голову, которая казалась так тяжела, что ее невозможно было приподнять – и выглянула из окна; улица вертелась перед ее глазами, пол, на котором она стояла на коленях, как будто опускался вместе с нею в какую-то странную и черную пропасть, тысячи сталкивающихся звуков – не утренний шум пробуждающегося города – шипели и свистели, ревели и гремели в ее ушах, становясь все громче, громче и громче, пока все не слилось в быстро сгустившемся мраке.

Солнце ярко освещало комнату, когда сострадательная хозяйка дома нашла дочь мистера Вэна на коленях с головой еще лежавшей на холодном подоконнике, ее золотистые волосы струились по ее плечам. Ее тонкое кисейное платье было мокро от утренней росы. Она лишилась чувств и лежала таким образом несколько часов.

Жена мясника раздела ее и положила в постель. Ричард Торнтон пришел через полчаса и тотчас же по-

шел отыскивать английского доктора. Он нашел одного пожилого человека с серьезным и кротким обращением, который объявил, что мисс Вэн страдает горячей от сильного нравственного волнения, он сказал, что она была необыкновенно нервного темперамента, что ее не нужно много лечить, а что ей потребны только спокойствие и тишина. Ее организм, по словам доктора, был прекрасен и мог перенести припадок серьезнее этого.

Ричард Торнтон отвел доктора в смежную комнату, в эту маленькую гостиную, в которой виднелись следы занятий Вэна, и говорил с ним тихо несколько минут. Доктор с серьезным видом покачал головой.

– Это очень неприятно, – сказал он. – Лучше было бы сказать ей правду, если возможно, как только она придет в себя. Беспокойство и недоумение напрягли ее мозг. Все будет лучше этого напряженного состояния. Ее организм выдержит удар, но с ее нервной и впечатлительной натурой всего можно опасаться от продолжительного нравственного раздражения. Это, верно, ваша родственница?

– Нет, бедняжка! Как я желал бы этого!

– Но у нее есть близкие родственники, я надеюсь?

– Да, у нее есть сестры – по крайней мере сестры единокровные и братья.

– К ним надо написать немедленно, – сказал док-

тор, взяв свою шляпу.

– Я уже написал к одной из ее сестер, написал и к другой даме: другу, мне кажется, что в этом кризисе она будет полезнее.

Доктор ушел, обещав прислать лекарства и опять зайти вечером.

Ричард Торнтон вошел в маленькую спальную, где жена мясника сидела возле больной и сводила какие-то счеты в книге в кожаном переплете. Это была молодая женщина с приятным обращением, она очень охотно заняла место возле кровати больной, хотя ее присутствие всегда было нужно в лавке.

– Шш! – шепнула она, приложив палец к губам. – Она спит, бедняжка!

Ричард спокойно сел к открытому окну. Он вынул из кармана английскую драму «Рауль», карандаш, половинку старого письма и решительно принялся за перевод. Он не мог терять время, даже когда его приемная сестра лежала больная под занавесами, закрывавшими альков по другую сторону комнатки.

Он сидел долго и терпеливо, переводя «Отравителя» изумительно легко и быстро, и кротко покоряясь лишению для него немалого в потере своей трубки, которую он имел привычку курить во все часы дня.

Элинор наконец опомнилась и начала говорить бессвязно и отрывисто о своем отце, о деньгах, при-



сланных мистрис Баннистер и о разлуке на бульваре.

Жена мясника отдернула занавесы, и Ричард Торнтон подошел к кровати и нежно взглянул на своего молоденького друга.

Ее янтарные волосы были разбросаны на изголовьи, спутанные и растрепанные от постоянного движения ее головы. Серые глаза светились лихорадочным блеском и на щеках, которые были бледны, как смерть, прошлую ночь, горели яркие пятна. Она узнала Ричарда и заговорила с ним, но бред еще не прошел, потому что она смешивала настоящие события с прошлыми и говорила своему старому другу о синьоре, о скрипке, о кроликах. Она опять заснула тяжелым слом, приняв лекарство, присланное ей английским доктором, и проспала почти до сумерек. В этот продолжительный сон ее свежий и крепкий организм вознаградил себя за то напряжение, которому он подвергался последние два дня.

Ричард ушел после полудня и воротился поздно вечером. Жена мясника сказала ему, что больная очень тревожилась и беспрестанно спрашивала об отце.

– Что нам делать? – сказала добрая женщина, с отчаянием пожимая плечами. – Сказать ей?

– Еще не теперь, – отвечал Ричард. – Окружайте ее спокойствием на сколько можете. А если уже непременно нужно сказать ей что-нибудь, то скажите, что

отец ее занемог и его нельзя везти домой. Бедняжка! Так жестоко держать ее в неизвестности, а еще более жестоко обманывать ее.

Жена мясника обещала употребить все старания, чтобы окружить спокойствием свою больную. Доктор прислал усыпительное лекарство. Он говорил, что мисс Вэн должна спать как можно больше.

Так прошла другая ночь, на этот раз очень спокойно для Элинор, которая спала тяжелым сном без страшных сновидений. На следующий день она была очень слаба, потому что ничего не ела после той булки с кофе, которую Ричард принудил ее съесть, и хотя с ней бреда не было, голова ее казалась неспособна ни к какому живому впечатлению. Она спокойно выслушала, когда ей сказали, что отец ее не может воротиться домой, потому что болен.

Ричард Торнтон несколько раз заходил на Архиепископскую улицу в этот второй день болезни Элинор, но каждый раз оставался не более нескольких минут. Ему было много дела – так он сказал жене мясника, которая все не оставляла своего места в комнате больной и потихоньку уходила только к своему делу, пока Элинор спала.

Был двенадцатый час ночи, когда живописец пришел в последний раз. Элинор сделалось хуже к вечеру: с ней была лихорадка, она тревожилась. Она хо-

тела встать, одеться и бежать к отцу. Если он был болен, как могли поступить с ней так жестоко и не пускать ее к нему?

Потом, вскочив вдруг на постели, она дико кричала, что ее обманывают и что отец ее умер.

Но помощь и утешение были под рукой. Ричард пришел не один. Он привел с собой пожилую женщину с седыми волосами, в поношенном черном платье.

Когда эта женщина явилась на пороге тускло освещенной спальни, Элинор Вэн вдруг приподнялась на постели и всплеснула руками с криком удивления и восторга:

– Синьора! – Воскликнула она. – Милая, добрая синьора!

Синьора сияла шляпку, подошла к постели, села на край тюфяка и, положив прелестную головку Элинор к себе на грудь, начала приглаживать ее спутанные золотистые волосы с невыразимой нежностью.

– Бедное дитя! – шептала она. Бедное, бедное дитя!

– Но, милая синьора, – с удивлением кричала Элинор. – Как это вы здесь? Зачем Ричард не сказал мне, что вы в Париже?

– Я только что приехала, моя душечка.

– Только что приехала! Только что приехала в Париж! Но зачем вы приехали?

– Повидаться с вами, Элино́р, – кротко отвечала синьора. – Я услышала, что вы огорчены, моя милая, и приехала помочь вам и утешить вас, если смогу.

Жена мясника ушла в маленькую гостиную, где Ричард сидел в темноте. Элино́р Вэн и синьора были одни.

До сих пор голова больной очень спокойно лежала на груди ее друга, но теперь она вдруг приподняла ее и взглянула прямо в лицо синьоре.

– Вы приехали ко мне, потому что я огорчена, – сказала она. – Как могу я огорчаться, пока жив папа? Говорят, он болен, по ему скоро будет лучше – не правда ли? Ему скоро будет лучше, милая синьора, – не правда ли?

Она ждала ответа на свой вопрос, пристально смотря на бледное, но спокойное лицо своего друга, потом вдруг с тихим, жалобным криком, она дико всплеснула руками:

– Вы все меня обманули, – закричала она. – Вы все обманули меня: мой отец умер!

Синьора ласково обняла рукою Элино́р Вэн и старалась опять положить к себе на грудь ее бедную, плающую головку, но Элино́р оттолкнула ее с нетерпеливым движением и, ухватившись за голову обеими руками, устремила глаза на стену перед собой.

– Милая, милая моя! – говорила синьора, стара-

сь разнять руки, судорожно сжатые. – Элино́р, милая моя, выслушайте меня, ради Бога, постарайтесь меня выслушать, моя дорогая душечка. Вы должны знать, вы должны это знать давно, что тяжелые горести рано или поздно посещают нас всех. Это общая доля, моя милая, и мы все должны преклоняться перед божественной десницей, посылающей нам огорчение. Если бы горя не было на этом свете, Элино́р, мы слишком полюбили бы наше счастье, нас пугало бы приближение седых волос и старости, мы дрожали бы при мысли о смерти. Если бы не было жизни лучше и выше этой, Элино́р, горесть и смерть действительно были бы ужасны. Вы знаете, сколько горя досталось на мою долю, милая моя. Вы слышали от меня о детях, которых я любила, все от меня отняты, Нелль, все. Если бы не племянник мой, Ричард, я осталась бы одна на свете, отчаянной старухой, не имея никакой надежды на земле. Но когда Господь отнял от меня сыновей, он дал мне в нем другого сына. Неужели вы думаете, что Господь покидает нас даже, когда он посылает нам самые тяжелые огорчения? Я довольно пожила на свете, милая Элино́р, и говорю вам: нет!

Синьора напрасно ждала какой-нибудь перемены в суровой позе, в каменном лице: Элино́р Вэн все пристально смотрела на стену перед собой.

– Вы все меня обманули, – повторила она. – Отец мой умер!

Бесполезно было разговаривать с ней, самые нежные слова не имели для ее слуха никакого значения. В эту ночь горячка усилилась, и бред дошел до крайней степени. Жену мясника сменила терпеливая и привычная сиделка, синьора сидела у постели многих больных, не теряя надежды, пока отчаяние не прокрадывалось в ее сердце, когда мрачные тени приближающейся смерти покрывали возлюбленное лицо навсегда.

Горячка продолжалась несколько дней и ночей, но при всякой перемене доктор утверждал, что организм Элинон Вэн выдержит болезнь сильнее этой.

– Я рад, что вы сказали ей, – говорил он в одно утро синьоре: меньше осталось рассказывать ей, когда она начнет поправляться.

Однако рассказать осталось более.

Мало-помалу горячка прошла, красные пятна исчезли с впалых щек больной, неестественный блеск серых глаз потухал, мало-помалу разум прояснялся, бред становился реже.

Но когда вернулось полное сознание, настали страшные порывы горести – горести сильной и пылкой, соразмерно с впечатлительной пылкостью характера Элинон. Это было ее первое горе, и она не могла

спокойно перенести его. Потоки слез орошали ее изголовье каждую ночь, она не хотела принимать утешений, она отталкивала терпеливую синьору, она не хотела слушать бедного Ричарда, который приходил иногда посидеть возле нее и старался всеми силами развлечь ее от горя. Она возмущалась против всех попыток к утешению.

– Чем был мой отец для вас? – кричала она с пылкостью. – Вы можете забыть его, а для меня он был все!

Но не в характере Элинор было оставаться неблагодарною к нежности и состраданию тех, кто имел с ней терпение в этот мрачный час ее юной жизни.

– Как вы добры ко мне! – кричала она иногда. – Как дурно с моей стороны так мало думать о вашей доброте! Но вы не знаете, как я любила моего отца. Вы не знаете – вы не знаете. Я хотела трудиться для него, и мы вели бы вместе такую счастливую жизнь.

Она поправлялась, несмотря на свое горе, о котором она не переставала думать ни днем ни ночью, и после своей болезни она встала, как прелестный цветок, смятый бурей.

Отпуск Ричарда Торнтона кончался через несколько дней, но лондонский театр «Феникс» закрывался в жаркие летние месяцы и, следовательно, Ричард сравнительно был свободен. Он оставался в Париже

с теткой, они оба имели одну цель, которой хотели достигнуть со всевозможными пожертвованиями. Слава Богу, на свете всегда есть добрые самаритяне, которые свернут со своего жизненного пути, когда какой-нибудь безутешный и огорченный путник нуждается в их помощи и нежности.

Парижская атмосфера становилась прохладнее в первых числах сентября: слабый, но освежительный ветерок начинал прогонять белый туман летнего жара на бульварах, когда Элинор Вэн могла уже сидеть в маленькой гостинной над лавкой мясника и пить чай по-английски со своими обоими друзьями.

Она была уже почти совсем здорова, и Ричард с синьорой начали думать о возвращении домой, но прежде отъезда из Парижа они должны были рассказать Элинор кое-что: то, что она должна была узнать раньше или позже, то, что, может быть, ей лучше было узнать сейчас.

Но они ждали, думая, не задаст ли она какой-нибудь вопрос, который подал бы повод рассказать ей все.

В этот сентябрьский день она сидела у открытого окна и, казалась, прелестной и девственной в широкой белой кисейной блузе, ее длинные золотистые локоны падали на плечи. Она молчала довольно долго, оба ее собеседника украдкой смотрели на нее, приме-



чая каждую перемену в ее физиономии. Чашка с чаем стояла нетронутой на столике возле Элинон, а она сидела, сложив руки на коленях.

Наконец она заговорила и задала тот самый вопрос, который неизбежно должен был заставить ее друзей рассказать ей все.

– Вы никогда не рассказывали мне, как умер папа, – сказала она – Я знаю, что его смерть была скоропостижна.

Элинон Вэн говорила очень спокойно. Она никогда еще не произносила имя умершего отца, выказывая так мало внешних признаков волнения. Руки, сложенные на коленях, слегка затрепетали, лицо, устремленное на синьору и Ричарда Торнтон, имело выражение пристального внимания.

– Пана умер скоропостижно? – повторила она.

– Да, моя милая, очень скоропостижно.

– Я так и думала. Но зачем его не принесли домой?

Зачем я не могла видеть...

Она вдруг остановилась и отвернулась к открытому окну. Теперь она сильно дрожала с головы до ног.

Оба ее собеседника молчали. Страшное известие, которое еще не было сообщено, должно было быть рассказано раньше или позже, но кто станет рассказывать это девушке с таким впечатлительным характером, с таким нервным темпераментом?

Синьора уныло пожала плечами и посмотрела на племянника. Торнтон рисовал все утро в маленькой гостиной. Он старался заинтересовать Элино Вэн декорациями, какие он приготавливал для Рауля. Он объяснил ей западню в стене комнаты «Отравителя». Дик думал, что эта западня могла развлечь каждого от горя, но от бледной улыбки, с какою Элино смотрела на его работу, заболело сердце живописца. Ричард вздохнул, отвечая на взгляд тетки. Этот бедный, одинокий пятнадцатилетний ребенок мог, пожалуй, сойти с ума от горести по расточительному отцу.

Элино Вэн вдруг обернулась к ним, между тем как они сидели молча и со смущением, спрашивая себя, что они должны ей сказать прежде всего.

– Отец мой сам убил себя! – сказала она странно спокойным голосом.

Синьора вздрогнула и вдруг приподнялась, как будто хотела броситься к Элино. Ричард очень побледнел, но смотрел на вещи, разбросанные на столе, нервно перебирая руками краски и кисти.

– Да, – закричала Элино Вэн. – Вы обманывали меня с начала до конца. Вы сказали мне прежде, что он умер, но когда не могли уже долее скрывать от меня мое несчастье, вы сказали мне только половину правды, вы рассказали мне только половину жестокой правды. И даже теперь, когда я страдала так мно-

го, что, кажется, никакое большее страдание не может меня тронуть, вы еще обманываете меня, вы еще старались скрыть от меня правду. Отец мой расстался со мною здоровый и веселый. Не шутите со мной, синьора, я уже не дитя, я уже не глупенькая пансионерка, которую вы можете обманывать как хотите. Я женщина и хочу знать все. Отец мой сам убил себя!

Она встала в своем волнении, но уцепилась одной рукой за спинку кресла, как бы чувствуя себя слишком слабою для того, чтобы стоять без этой опоры.

Синьора подошла к ней, обняла рукою тонкий, трепещущий стан, но Элинор не обратила никакого внимания на эту материнскую ласку.

– Скажите мне правду, – запальчиво закричала она. – Отец мой убил себя?

– Этого боятся, Элинор.

Ее бледное лицо сделалось еще бледнее и трепещущий стан вдруг окаменел.

– Боятся? – повторила Элинор Вэн. – Стало быть, это, наверно, неизвестно?

– Наверно, неизвестно.

– Зачем вы не скажите мне правду? – запальчиво закричала девушка. – Неужели вы думаете, что вы можете облегчить мое несчастье, выговаривая слова одно по одному? Скажите мне все. Что может быть хуже смерти моего отца, его несчастной смерти, причинен-

ной его собственной рукой, бедной, отчаянной рукой? Скажите мне правду, если вы не желаете свести меня с ума, скажите мне правду сейчас.

– Скажу, Элинора, скажу, – кротко отвечала синьора. – Я желаю сказать вам все. Я желаю, чтобы вы узнали правду, как ни грустно ее выслушать. Это великое горе вашей жизни, моя милая, рано постигло вас. Я надеюсь, что вы постараетесь перенести его как христианка.

Элинора Вэн покачала головою с нетерпеливым движением.

– Не говорите мне о моем горе, – закричала она. – Что за беда, как бы я ни страдала? Как должен был страдать мой отец, мой бедный отец, прежде чем он сделал этот ужасный поступок? Не говорите обо мне, расскажите мне о нем и расскажите все.

– Расскажу, моя душечка, расскажу, но сядьте, сядьте и постарайтесь успокоиться.

– Нет, я буду стоять здесь, пока вы скажите мне правду, я не сойду с этого места, пока я не узнаю все.

Она высвободилась от руки синьоры, поддерживавшей ее, и, все опираясь рукою о спинку кресла, стояла с решительным, почти смелым видом, перед старой учительницей музыки и перед ее племянником. Я думаю, что и синьора и живописец испугались, ее, она казалась так величественна в своей красоте

и в своем отчаянии.

Она действительно казалась, как говорила, уже не ребенком и не пансионеркой, но женщиной, отчаянной и почти страшной от силы ее отчаяния.

– Дайте мне рассказать Элинор всю эту грустную историю, – сказал Ричард. – Ее можно рассказать вкратце. Когда ваш отец расстался с вами, Нелль, 11 августа, он и двое мужчин, бывшие с ним, тотчас отправились в одну кофейную близ Сент-Антоанской заставы. Они имели привычка бывать там, иногда играли в бильярд в большой открытой комнате на нижнем этаже, иногда играли в карты в особенной комнате, на антресолях. В тот вечер они прямо пошли в эту особенную комнату. Они пришли туда в половине десятого, слуга принес им три бутылки шамбертена и много кувшинов сельтерской воды. Сначала отец ваш был в духе. Он играл с угрюмым англичанином в экартэ, их обыкновенную игру, а француз смотрел в карты вашего отца, время от времени советуя ему как сыграть, одобряя и поощряя его. Все это было узвано при следствии. Француз вышел из кофейной несколько ранее двенадцати часов, отец ваш и молодой англичанин оставались долго за полночь, в час слышны были бранные слова и почти немедленно после этого англичанин ушел, оставив вашего отца, который послал слугу Принести водки и письменные

принадлежности для письма. Он сказал, что ему нужно написать письмо, прежде чем он уйдет.

Живописец остановился и тревожно поглядел в лицо своей слушательницы. Суровая пристальность этого бледного молоденького личика не изменилась, серые глаза пристально были устремлены на Ричарда. Он продолжал:

– Когда слуга принес вашему отцу то, что он спрашивал, он нашел его сидящим у стола с лицом закрытым руками. Слуга поставил водку и положил письменные принадлежности на стол, а потом ушел, но прежде он заметил странный, слабый запах – запах какого-то лекарства – так ему показалось, но он тогда не знал, какое это было лекарство. Слуга сошел вниз, все обыкновенные посетители кофейной ушли, и огни были погашены. Слуга ждал, чтобы выпустить вашего отца, ожидая каждую минуту, что он сойдет вниз. Пробыло три часа, и слуга пошел наверх под предлогом спросить не нужно ли чего-нибудь. Он нашел вашего отца сидящим почти так, как он оставил его, кроме того, что на этот раз голова его лежала на столе, на котором были разбросаны разорванные лоскутки бумаги. Он был мертв, Элинора. Слуга тотчас поднял тревогу, послали за доктором, но лекарство, запах которого слуга почувствовал, был опиум, и отец ваш принял такое количество, которое

убило бы самого крепкого человека в Париже.

– Зачем он это сделал?

– Не могу сказать вам, милая моя, но отец ваш оставил между бумагами на столе один лоскуток больше и понятнее остальных. Это, очевидно, часть письма, написанного к вам, но оно очень несвязно написано, и вы должны помнить, что оно было написано при сильном и нравственном волнении.

– Дайте его мне!

Элинор протянула руки с повелительным движением. Ричард колебался.

– Я желал бы, чтобы вы вполне поняли содержание этого письма прежде чем вы его прочтете, Элинор, я желал бы...

– Вы скрыли от меня историю смерти моего отца из-за ошибочной доброты, – сказала девушка твердым голосом. – Я постараюсь помнить как вы были добры ко мне для того, чтобы простить вам это, но вы не можете не отдать мне письма, написанного ко мне моим отцом перед смертью. Оно мое, и я требую его.

– Отдай ей, бедняжке, – сказала синьора.

Ричард вынул кожаный портфель из кармана своего широкого сюртука. В этом портфеле были разные бумаги. Он выбрал одну и молча подал ее Элинор Вэн. Это был листок почтовой бумаги, исписанный рукою ее отца, но часть письма была оторвана.

Даже если бы осталось все письмо, слог писавшего был так странен и несвязен, что нелегко было бы понять его значение. Лист был оторван сверху донизу так, что недоставало конца каждой строчки. Элинор могла разобрать только следующие отрывистые строчки, и даже в них слова были запачканы и нечетки.

*Моя бедная Элинор, моя бедная оскорбленная  
твоя жестокая сестра Гортензия Банис  
не могло быть довольно дурно. Я вор  
обокрал и обманул мою родную  
меня приманили в тот ад на земле  
злодеи, довольно низкие, чтобы  
бедного старика доверившегося  
джентльмены. Я не могу воротиться  
глядеть в лицо моей дочери после  
деньги, которые должны были  
воспитание. Лучше умереть  
но моя кровь должна пасть на голову  
который обманул меня в эту ночь из  
пусть он пострадает как  
никогда не забудь, Элинор, никогда не забудь  
Робера Лан  
убийцу твоего бедного старого  
обманщика и негодяя, который  
когда-нибудь отомстит за участь  
бедного старого отца, который молится,  
чтобы Господь*



*бедного старика, которого сумасбродство  
безумство*

Больше ничего не было. Эти строчки были набросаны на первой странице листа почтовой бумаги, вторая половинка листа и длинная полоса первого были оторваны.

Это был единственный ключ, оставленный Джорджем Вэном к тайне его смерти.

Элино́р Вэн сложила скомканный лист бумаги и нежно спрягала его на грудь. Потом, упав на колени, всплеснула руками и подняла их к низкому потолку маленькой комнаты.

– О, Боже мой! – вскричала она. – Выслушай обет отчаянного существа, у которого осталась только одна цель в жизни.

Синьора Пичирилло встала на колени возле Элино́р и старалась заключить ее в свои объятия.

– Душа моя! душа моя! – умоляла она. – Помните, как было написано это письмо, помните, в каком состоянии духа находился ваш отец...

– Я ничего не помню, – отвечала Элино́р Вэн. – Кроме того, что мой отец велел мне отомстить его убийце. Он был убит! – запальчиво вскричала она. – Если эти деньги, эти несчастные деньги, потере которых он предпочел бы смерть – были отняты от него нечестным образом. Он был убит. Какое было дело злодею,

обворовавшему его, что сделалось с бедным стариком, которого он оскорбил и обманул? Какое ему было дело? Он оставил моего отца, оставил его отчаянным и несчастным, оставил его после того, как обобрал его и сделал нищим, оставил его умирать в отчаянии. Выслушайте меня вы оба и помните, что я скажу. Я очень молода, я это знаю, но я научилась думать и действовать за себя не с сегодняшнего дня. Я не знаю имени этого человека, я даже не видела его лица, я не знаю кто он и откуда, но раньше или позже я клянусь отомстить ему за жестокую смерть моего отца.

– Элино́р, Элино́р! – закричала синьора. – Разве так должна говорить женщина-христианка?

Девушка обернулась к ней; в ее серых глазах сверкал теперь почти сверхъестественный блеск. Элино́р Вэн приподнялась с колен, и ее тонкий стан выпрямился во всю свою вышину, ее длинные, каштановые волосы заструились по ее плечам, тихий свет заходящего солнца освещал ее волнистые косы, сиявшие, как золото. В своей отчаянной решимости и девственной красоте она походила на юную мученицу средних веков, готовую идти на пытку.

– Я не знаю, так ли должна говорить женщина, – сказала она. – Я знаю только; что это будет цель всей моей жизни.

# Глава IX. Ожидание будущего

История, рассказанная Ричардом Торнтоном Элинор Вэн, была простым повторением несчастной истины. Веселый и беззаботный мот, переживший свои лета и истративший три богатства, кончил свою жизнь собственной отчаянной рукой в кофейной близ Сент-Антоанской заставы.

Между другими обычаями века, в котором жил Джордж Вэн, преобладала картежная игра. Сангвинический характер Вэна был именно того свойства, которое привлекает человека к картежному столу и держит его под демонскими чарами рокового зеленого сукна, заставляя надеяться, когда нет никакой надежды до тех нор, пока карманы его опустеют и он должен уходить в отчаяние, не имея денег на проигрыш.

Это был порок в жизни Джорджа Вэна. Он старался вознаградить свою ежедневную расточительность самыми сумасбродными картежными спекуляциями, тонкими соображениями игрока, которые так непогрешимы в теории и так разорительны на практике. Элинор никогда этого не знала. Если отец ее не приходил по ночам, и она должна была ждать его много часов в неизвестности и недоумении, она не знала, почему он не приходит, или зачем он бывает так часто несча-

стен и уныл, когда возвращается домой. Другие могли угадывать причину полуночных отсутствий старика, но они были слишком сострадательны, чтобы рассказывать правду девочке. В Париже, в чужом городе, где у него было мало знакомых, старый порок сделался сильнее, и Джордж Вэн проводил ночь за картами в каких-нибудь нечестных местах, куда его заманивали его неблагородные сообщники. Он заводил странные знакомства в эти дни его упадка, как это часто бывает с бедными людьми.

Он проигрывал беспрестанно, его обманывали без всякой совести, но вспомните, что его жизнь была очень *скучная*, он жил для света, и общество, какого бы то ни было рода, было решительно для него необходимо. С подобными-то людьми провел он ночь перед своей смертью. Подобные-то люди украли у него деньги, которые, если бы по несчастной случайности, были бы в целости переданы содержательнице пансиона в Булонском лесу.

Смерть старика возбудила мало внимания в Париже. Публичные игорные дома были закрыты давно по распоряжению правительства, и уже нечасто случалось, чтобы доведенные до отчаяния люди простреливали себе голову на том самом столе, на котором они только что проиграли свои деньги, но все-таки все знали очень хорошо, что в блестящем городе

много играли в карты, в кости и бильярд – и самоубийство картежника не могло расстроить никого.

Мистрис Баннистер написала холодное письмо в ответ на то, в котором Ричард Торнтон извещал ее о смерти ее отца и прислала вексель на контору Блоунта на сумму, которую она считала достаточной для похорон старика и для содержания Элинор в продолжение нескольких недель.

«Я посоветовала бы ей вернуться в Англию поскорее, – писала вдова маклера. – Я постараюсь найти ей какое-нибудь приличное место надзирательницы за детьми или ученицы модистки, может быть, но она должна помнить, что я надеюсь, что она будет сама содержать себя и она не должна ожидать от меня никакой помощи больше. Я исполнила мой долг к моему отцу с значительной потерей для себя, но с его смертью всякое притязание на меня прекращается.»

Джорджа Вэна похоронили, в первые дни болезни его младшей дочери, между заброшенными могилами. Ричард Торнтон заказал грубый крест одному из каменщиков близ кладбища. Джордж Вэн мог бы быть похоронен, как безымянный самоубийца, если бы случай не привел Ричарда Торнтон в морг, где он узнал отца Элинор в неизвестном мертвце, которого последним принесли в это мрачное убежище, потому что у Джорджа Вэна не было бумаг, которые могли бы

подать ключ к его личности во время его смерти.

Утро после того тихого сентябрьского дня, в который Элинор Вэн узнала подлинную историю смерти ее отца, синьора Пичирилло в первый раз заговорила серьезно о будущем. В нервном пылу своей горести Элинор Вэн не подумала о своем отчаянном положении, не подумала и о жертвах, приносимых ей синьорой и Ричардом. Она ни разу не вспомнила, что они оба остаются в Париже только для нее, она знала, что они тут, она видела их ежедневно и видеть их, как ни были они добры и ласковы, было тяжело и утомительно для нее, как видеть все на свете.

Она была удивительно спокойна после известия, сообщенного ей. Когда прошла первая вспышка горести после чтения письма ее умершего отца, ее обращение сделалось почти неестественно спокойно. Она сидела весь вечер отдельно от окна, и Ричард напрасно старался привлечь ее внимание даже хоть на минуту. Она молчала, размышляя о бумаге, лежавшей на ее груди.

В это утро она сидела в небрежной позе, опустив голову на руку. Она не обращала внимания на то, что синьора шумно переходила из комнаты в комнату. Она не делала никаких усилий, чтобы помочь своему старому другу в маленьких домашних делах, и когда, наконец, учительница музыки принесла свое ши-

тье к окну и села напротив больной, Элино́р поглядела на нее тупым утомленным взглядом, который поразил отчаянием сердце доброй женщины.

– Нелли, моя милая, – вдруг сказала синьора. – Мне хотелось бы серьезно поговорить с вами.

– О чем, милая синьора?

– О будущем, душенька.

– О будущем!

Элино́р Вэ́н произнесла это слово почти так, как будто оно не имело для нее никакого значения.

– Да, моя милая. Вы видите, даже я могу говорить с надеждой о будущем, хотя я старуха, но вам только пятнадцать лет, перед вами продолжительная жизнь и вам пора подумать о будущем.

– Я думаю о будущем, – отвечала Элино́р с угрюмым выражением на лице. – Я думаю о будущем и о встрече с этим человеком, который был причиной смерти моего отца. Как я найду его, синьора? Помогите мне. Вы были добры ко мне во всем другом. Только помогите мне сделать это, и я полюблю вас еще больше, чем любила до сих пор.

Синьора покачала головой. Это была веселая, энергичная женщина, она перенесла много горя в жизни, но горе не могло подавить ее. Может быть, отсутствие эгоизма поддерживало ее во всех ее испытаниях. Она думала так много о других, что не имела

времени думать о себе самой.

– Милая Элино́р, – сказала она серьезно. – Это не годится. Вы не должны поддаваться влиянию этого письма. Ваш бедный отец не имел права возлагать ответственность за собственный свой поступок на другого человека. Если он вздумал рискнуть на карты этими несчастными деньгами и проиграл их, он не имел права обвинять этого человека в последствиях своего собственного безумия.

– Но этот человек обманул его!

– Так думал ваш отец. Люди почти всегда воображают, будто они обмануты, когда проигрывают деньги.

– Папа не писал бы так положительно, если бы не знал, что этот человек обманул его. Притом Ричард говорил, что слышали бранные слова, это без сомнения было тогда, когда мой бедный отец обвинял в обмане этого злодея. Он и товарищ его были злые спекулянты, они по основательной причине скрывали свои имена. Это были безжалостные злодеи, которые не имели никакого сострадания к бедному старику, пожившемуся на их честь. Вы защищаете их, синьора Пичирилло?

– Защищаю их, Элино́р? Нет: я не сомневаюсь, что они были дурные люди. Но, дорогое дитя мое, вы не должны начать жизнь с ненавистью и с мщением в вашем сердце.



– Чтобы я не ненавидела человека, который был причиной смерти моего отца! – вскричала Элинор Вэн – Неужели вы думаете, что я когда-нибудь перестану ненавидеть его, синьора? Неужели вы думаете, что я забуду когда-нибудь молиться, чтобы настал день, когда он и я будем стоять лицом к лицу, когда он будет так же зависеть от моего милосердия, как мой отец зависел от него? Да поможет ему небо в этот день! Но я не желаю говорить об этом, синьора, какая польза говорить? Может быть, я сделаюсь старухой прежде чем встречу с этим человеком, но, наверно, наверно, я встречу с ним рано или поздно. Если бы я только знала его имя, если бы я знала его имя, я думаю, что я могла бы отыскать его на другом конце света. Робер Лан... Лан...

Голова ее опустилась на грудь, а глаза задумчиво устремились на улицу, освещенную солнцем под открытым окном. Пудель Фидо лежал у ее ног и время от времени приподнимал голову, чтобылизать ее руку. Собака скучала по своему хозяину, бродила по маленьким комнаткам и жалобно выла несколько дней после исчезновения мистера Вэна.

Синьора со вздохом смотрела на Элинор. Что должна была она делать с этой девушкой, которая взяла на себя ужасную вендетту в пятнадцать лет и так мрачно была поглощена своим планом мщения,

как любой корсиканец.

– Милая моя, – вдруг сказала учительница музыки несколько резким тоном, – знаете ли вы, что Ричард и я должны завтра уехать из Парижа?

– Завтра уехать из Парижа, синьора!

– Да. Театр открывается в первых числах октября, и наш Дик должен писать все декорации для новой пьесы. Притом моих учениц нельзя долго заставлять ждать, я должна воротиться к ним.

Элинор Вэн с изумлением подняла глаза, как будто она старалась понять все, что говорила синьора Пичирилло, потом вдруг как будто ее озарил какой-то свет; она встала и опустилась на подушку у ног своего друга.

– Милая синьора, – сказала она, сжимая руку учительницы музыки в обеих своих руках. – Как я была зла и неблагодарна все это время! Я забыла все, кроме себя самой и моих огорчений. Вы приехали в Париж для меня, вы сказали мне это, когда я была больна, но я забыла, я забыла и Ричард оставался для меня в Париже. О! Чем я могу вознаградить вас обоих, чем я могу вознаградить?

Элинор спрятала лицо на коленях синьоры и молча заплакала. Эти слезы облегчили ее, они по крайней мере на время отвлекли ее от одной всепоглощающей мысли о грустной судьбе ее отца.

Синьора Пичирилло нежно пригладила мягкие волнистые, каштановые волосы, лежавшие на ее коленях.

– Милая Элинор, сказать вам, чем вы можете сделать нас обоих очень счастливыми и в десять раз вознаградить нас за все небольшие жертвы, какие мы сделали для вас?

– Да-да, скажите мне.

– Вы должны выбрать себе путь в жизни, Нелли, и выбрать его скорей. В целом свете вы можете просить помощи только у ваших сестер и братьев. Вы имеете на них некоторое право, милая, но я иногда думаю, что вы слишком горды для того, чтобы воспользоваться этим правом.

Элинор Вэн приподняла голову с надменным движением.

– Я скорее умру с голоду, чем приму хоть пенни от мистрис Баннистер или от ее сестры и братьев. Если бы они поступали иначе, отец мой никогда не умер бы таким образом. Его бросили все, бедняжку, кроме его бедной дочери, которая никак не могла спасти его.

– Но если вы не намерены обратиться к мистрис Баннистер, что же вы будете делать, Нелль?

Элинор Вэн с отчаянием покачала головой. Все здание будущего было разрушено отчаянным поступком.

ком отца. Простая мечта трудиться для возлюбленного отца исчезла, и Элино́р казалось, будто будущее уже не существовало, а было только печальное, отчаянное настоящее – унылое пятно в великой пустыне жизни, граничившее с разверстою могилой.

– Зачем вы меня спрашиваете, что я намерена делать, синьора? – спросила она жалобно. – Что за беда, что бы я ни делала? Никакими моими поступками не возвращу я жизнь моему отцу. Я останусь в Париже, буду зарабатывать пропитание себе, как могу, и буду отыскивать человека, убившего моего отца.

– Элино́р! – закричала синьора. – Вы с ума сошли, как вы можете оставаться в Париже, когда в целом городе не знаете ни одной живой души? Скажите ради Бога, как вы будете зарабатывать себе пропитание в этом чужом городе?

– Я могу быть надзирательницей или няней... Какое мне дело, как низко ни упала бы я, если бы только я могла оставаться здесь, где я могу встретить этого человека.

– Милая Элино́р ради Бога не обманывайте себя таким образом. Человек, которого вы хотите найти, без сомнения авантюрист. Сегодня он в Париже, завтра в Лондоне, или, может статься, на дороге в Америку, или на другом краю света. Неужели вы надеетесь встретить этого человека, прогуливаясь по парижским

улицам?

– Я не знаю.

– Как же вы надеетесь встретить его?

– Я не знаю.

– Но, Элиноор, будьте рассудительны. Вам совершенно невозможно оставаться в Париже. Если мистрис Баннистер не предъявляет своих прав на вас, я предъявляю их, как самый старый ваш друг. Милая моя, вы не откажетесь выслушать меня?

– Нет, нет, милая синьора. Если вы думаете, что я не должна оставаться в Париже; я возвращусь в Англию к мисс Беннетт. Они дадут мне пятнадцать фунтов в год, как младшей учительнице. Я могу жить с ними, если не должна оставаться здесь. Мне надо же заработать сколько-нибудь денег, прежде чем я постараюсь найти человека, бывшего причиной смерти моего отца. Как долго придется мне заработать хоть сколько-нибудь порядочную сумму!

Элиноор тяжело вздохнула и опять впала в глубокое молчание, из которого пудель напрасно старался вызвать ее разными ласковыми хитростями.

– Стадо быть, это решено, Нелли, моя милая, – весело сказала сеньора – Вы завтра уедете из Парижа с Ричардом и со мной. Вы можете жить с нами, моя милая, пока решите, что предпринять. У нас есть особая комнатка, в которой теперь стоят пустые ящики.

Мы приготовим эту комнату для вас, милая моя, так удобно, как только можно.

– Милая, милая синьора! – сказала Элинор, став на колени возле кресла своего друга. – Как вы добры ко мне! Но во время моей болезни, верно, было истрачено много денег: доктору, вы давали мне желе, фрукты, лимонад – откуда брали вы деньги, синьора?

– Вата сестра, мистрис Баннистер, прислала денег в ответ на письмо от Ричарда.

Лицо Элинор вдруг вспыхнуло, и учительница музыки поняла значение этого гневного румянца.

– Ричард не просил денег, моя душечка. Он только написал к вашей сестре, что случилось. Она прислала денег на необходимые издержки. Деньги не все еще издержаны, Нелли, их дастант на возвратный путь в Англию, и то еще останется. Я записывала все издержки и подам вам счет, если хотите.

Элинор взглянула на свою белую утреннюю блузу.

– Осталось на траурное платье? – спросила она тихим голосом.

– О, осталось, душечка! Я подумала об этом. Я заказала для вас траур. Портниха взяла на фасон одно из ваших платьев, вам не надо беспокоиться об этом.

– Как вы добры ко мне, как вы добры!

Элинор Вэн могла только сказать это. Однако она не вполне понимала, как много обязана она этим лю-

дям, несвязанным с нею никакими узами родства, и которые, между тем, несмотря на свои затруднительные обстоятельства, оказали ей услугу во время ее горести. Она не могла еще совершенно на них положиться. Она любила их давно, еще при жизни отца, но теперь, когда он умер, все узы, привязывавшие ее к жизни – любовь, счастье – вдруг разорвались, и она стояла одна, слепо блуждая в густом мраке нового и печального мира, и вдали мелькал один только огонек в конце трудного и темного пути, и эта обманчивая и роковая звезда манила ее вперед к ненависти и мщению.

Богу одному известно, какое возмездие замышляла она в своем детском неведении света. Может быть, она набралась понятиями о жизни из многочисленных романов, прочтенных ею, в которых злодей всегда наказывался в последней главе, как бы он ни торжествовал своими незаконными поступками в двух первых томах.

Романтические мечты Джорджа Вэна о богатстве и величии, о возмездии тем, кто бросил его и забыл о нем, не могли не произвести влияния на душу его младшей дочери. Эта гибкая душа была совершенно в руках старика, он мог сделать из нее что хотел. Он сам был рабом впечатлений и нечего было ожидать, чтобы он мог научить свою дочь тем твердым

правилам, без которых человек, подобно кораблю, неуправляемому кормилом, несется по течению жизненного моря. Он дал полную волю впечатлительной натуре Элинор, он не сдерживал сангвинический темперамент, который во всем доходил до крайностей. Так слепо, как девушка любила своего отца, так же слепо была она готова ненавидеть тех, кого он называл своими врагами. Разбирать, какого рода были обиды, сделанные ему, значило бы брать сторону его врагов. Рассудок и любовь не могли идти рука об руку в верованиях Элинор, потому что вопросы, сделанные Рассудком, были бы вероломством против Любви.

Стало быть, нечего удивляться, что она считала прерывистые фразы, написанные ее отцом на пороге постыдной смерти, торжественным и священным залогом, нарушить которого было нельзя, хотя бы ей пришлось пожертвовать всей будущностью своей жизни для достижения этой одной цели.

Подобные мысли, неясные и ребяческие, может быть, но, тем не менее, всепоглощающие, наполняли душу Элинор. Может быть, это намерение мести позволяло ей лучше переносить свою потерю. По крайней мере ей было для чего жить. На конце дальнего мрачного пути по неведомому миру сиял свет, и как ни была обманчива эта путеводная звезда, —



все же это было лучше совершенной темноты.

# Глава X. Гортензия Баннистер протягивает руку помощи

Синьора Пичирилло осталась очень довольна своим утренним делом. Она получила согласие Элинор уехать из Парижа, это было важно. Оставив то место, где случилась ужасная смерть Джорджа Вэна, молодая девушка, при своем веселом характере, могла мало-помалу забыть свое горе.

В этот печальный период болезни и несчастья, добрая учительница музыки полюбила дочь мистера Вэна еще более прежнего. Жизнь вдовы была очень грустная. Может быть, самым спокойным периодом можно было назвать последние десять лет. Десять лет тому назад, муж и дети итальянки умерли один за одним, и она осталась на свете одна с долговязым восемнадцатилетним юношей, осиротелым сыном ее умершей сестры, ее единственным покровителем.

Этот долговязый юноша был Ричард Торнтон, единственный сын хорошенькой младшей сестры синьоры и щеголеватого кавалерийского офицера, который женился на незнатной и бедной девушке, влюбившись в ее хорошенькое личико, и умер через два года после свадьбы, оставив свою вдову вести печаль-

ную, тревожную жизнь в совершенной зависимости от сестры. Синьора с ранних лет привыкла нести чужую тяжесть. Она была старшей дочерью талантливого скрипача, двадцать лет бывшего капельмейстером в оркестре в одном из главных лондонских театров, с детства она была существом мужественным, привыкшим полагаться на самое себя. Когда сестра ее умерла и бледными, дрожащими губами просила синьору не оставить ее бедного сына, Ричарда Торнтона, Элиза Пичирилло обещала верно исполнить данное ею слово. Бедная, увядшая красавица умерла с улыбкой на лице, а когда Пичирилло – который был учителем языков в нескольких второстепенных школах, и ленивым, добродушно-ничтожным человеком – воротился домой в этот вечер, он нашел нового члена в своем домашнем кругу и, следовательно, нового нахлебника.

Ричард, высокий мальчик, был предан синьоре, как самый любящий сын. Он выказал большую даровитость в самых ранних letech, но даровитость эта была разнообразного свойства и не обещала перейти в гениальность. Тетка учила его музыке, сам он научился живописи и копил шиллинги, зарабатываемые им скрипкою, чтобы вступить в какую-то академию, где-то в Блумсбери.

Но зарабатывать деньги картинами было не так-то

легко, и впоследствии Ричард рад был взять место помощника живописца в театре «Феникс», где он уже получал жалованье, как вторая скрипка.

Эти простые люди были единственными друзьями детства Элинор Вэн, и теперь Ричард Торнтон восхищался мыслью принять к себе в дом эту прелестную младшую сестру, хотя эта идея заключала в себе необходимость работать для Элинор, пока она будет в состоянии сделать что-нибудь для себя.

– Ничего не могло быть лучше для нас во всем этом печальном деле, тетушка, – сказал молодой живописец, когда зашел на Архиепископскую улицу и нашел тетку одну в маленькой гостиной, Элинор прилегла после утреннего волнения, а ее приятельница укладывала ее гардероб и все приготавливала к отъезду.

– Ничего не могло быть лучше для нас, – повторил молодой человек. – Золотистые волосы Нелль осветят, как солнце, наши комнатки, и у меня всегда будет модель для моих картин. Какой собеседницей будет она для вас в длинные печальные ночи, когда я ухожу в театр! Как отлично она будет помогать вам в ваших уроках! Она, наверно, играет теперь и поет.

– Но она хочет воротиться к мисс Беннет в Брикстонскую школу, Дик.

– Но мы ее не пустим, тетушка! – закричал Торнтон.

– Мы сделаем из нее примадонну, или трагическую

актрису, или что-нибудь в этом роде. Мы научим ее зарабатывать сто фунтов в неделю своими белыми руками и блестящими серыми глазами. Как прелестна была она вчера, когда, стоя на коленях, клялась отмстить злодею, обывравшему ее отца! Ее золотистые волосы струились по ее плечам, а глаза бросали огненные искры! Вся зала затряслась бы от рукоплесканий, если бы она сделала это в театре. Она чудная девушка, тетушка, она весь Лондон может свести с ума не сегодня-завтра. К мисс Беннет, в Брикстон! – кричал Ричард, презрительно щелкая пальцами. – Вы точно так же могли бы приковать эту девушку к обязанностям гувернантки, как могли бы заставить молнию исполнять обязанность грошовой свечи.

Элинор Вэн воротилась в Англию со своими друзьями. Они выбрали дорогу через Дьепп и Брайтон, по экономическим соображениям, и на тот же самый ландшафт, на который Элинор с таким восхищением смотрела менее чем месяц тому назад, глаза ее смотрели теперь уныло и грустно. Она узнавала холмы, широкие луга, извилистые реки, деревеньки, белевшиеся вдали, и удивлялась перемене в себе самой, которая делала все эти предметы столь различными для нее. Каким ребенком была она месяц тому назад! Каким беззаботным, счастливым ребенком, с безумной уверенностью смотрела она на продолжительную

жизнь с отцом и не ожидала никаких горестей, кроме мелочных неприятностей, которые она разделяла с ним, надеясь на все в безграничной будущности!

Теперь она была женщина, одна, в страшной пустыне, по глубокому песку которой она должна была пробираться медленно и с трудом к цели, которой она надеялась достигнуть.

Она сидела в углу второклассного вагона, закрыв лицо вуалью; пудель Фидо лежал на ее коленях. Элинор помнила, что отец ее любил это верное животное.

Было серое сентябрьское утро, когда кэб привез Элинор и друзей ее в маленькое убежище, называемое Пиластры.

Место, называемое таким образом, одно из самых странных уголков в Лондоне. Оно состоит из ряда покосившихся домиков, наполненных шумной жизнью от погреба до чердака. Но я не думаю, чтобы преступление и порок могли укрываться в этом месте. В Пиластрах живут по большей части мелкие ремесленники, отправляясь оттуда на работу в лучшие дома на главных улицах.

Синьора Пичирилло наняла тут квартиру над лавкою башмачника. Я боюсь, что этот башмачник чаще чинил старые башмаки, чем шил новые, но синьора делала вид будто не знает этого обстоятельства и была довольна, что ей посчастливилось отыскать очень

дешевую квартиру недалеко от центра города.

Элино́р Вэ́н никогда еще не приходилось жить в такой бедной квартире, но она не показывала отвращения к простому убранству комнат. Надежды синьоры осуществлялись мало-помалу. Сначала девушка сидела целый день в унылой позе, держа пуделя на коленях и опустив голову на грудь, устремив глаза на пустое пространство, все ее обращение выказывало признаки всепоглощающего горя, почти доходившего до отчаяния. Она поехала в Брикстон вскоре после ее возвращения в Англию, но тут ее ожидало жестокое разочарование. Мисс Беннетт выслушала ее грустную историю с выражением сожаления и сострадания, но они пригласили уже молодую девушку в младшие учительницы, и ничем не могли помочь ей. Элино́р воротилась домой, как олицетворенное изображение бледного отчаяния, по синьора и Ричард уверяли ее, что для них ничего не могло быть приятнее ее согласия остаться с ними.

Мало-помалу мрачное уныние уступило сильному желанию быть полезной людям, которые были так добры к ней. Элино́р играла на фортепьяно замечательно хорошо и могла взять от синьоры несколько учениц. Она пела также богатым контраalto, обещавшим сделаться прекрасным и сильным со временем, и практиковалась на старых онерах, пожелтев-

ших от времени, которые синьора держала в опрятном переплете на своей этажерке.

Как друзья ее надеялись, ее веселый характер взял свое. Внешние признаки ее горя постепенно прошли, хотя воспоминание, о ее потере наполняло еще ее душу. Образ ее отца и мысль о его несчастной смерти все еще были перед нею. Не в ее натуре было долго сдерживать себя или прятаться от общества, и месяцев через шесть, когда лондонские ласточки чирикали на весеннем солнце, мисс Вэн начала петь за своей работой, порхала из комнаты в комнату, сметала пыль с фортепьяно и со старого фарфора, между тем как верный пудель прыгал возле нее. Веселость и жизнь сопровождали ее и на темной лестнице, и в пасмурных комнатках. Ее юность и красота превращали бедную квартиру в волшебный дворец – так казалось Ричарду и его тетке. Учительница музыки и живописец любили смотреть на Элинор, когда она играла на фортепьяно, они с восхищением следовали за ней глазами, когда она порхала взад и вперед и удивлялись ее грации и красоте.

Она имела аристократическое изящество своего отца, его способность очаровывать. Все опасные дары, бывшие столь губительными для Джорджа Вэна, наследовала его младшая дочь. Так же, как и он, она была существом впечатлительным, пылким, самопроиз-



вольным, переменчивым и подчиняла других своему влиянию силою избытка своей жизненности. Самые скучные люди развеселялись от ее живости, от ее бессознательной миловидности. Да, может быть, величайшее очарование Элинор Вэн заключалось в неведении того, что она очаровательна. В три года школьной жизни она не научилась знать силу своего очарования. Она знала, что люди ее любили и была признательна им за их любовь, но она не знала, что она заслуживала столько любви и преданности вследствие удивительной привлекательности, врожденной ей.

Никто никогда не говорил ей, что она прекрасна. Она обыкновенно носила бедные платья и ее струистые золотистые волосы нечасто были гладки, может быть, поэтому брикстонские пансионерки не знали, как прелестна была их подруга. Нежный профиль, блестящие серые глаза, бледное лицо, пунцовые губы и янтарные волосы затемнялись шелковыми платьями и кружевными оборками богатых девушек. Бедность знает свое место даже в небольшом свете пансионерок точно так же, как и в большом свете, за садовую стену, окружавшей это заведение. Но по какому-то таинственному могуществу, против которого богатые подруги Элинор напрасно возмущались, она занимала свое место в пансионе мисс Беннетт. Ее откровенное сознание в своей бедности, в соединении

с тем обстоятельством, что отец ее был прежде богат и знатен, может быть, давало ей эту возможность. Если она носила поношенные платья, она казалась в них аристократичнее, чем другие девицы в щегольских нарядах. Элинор царствовала в силу своей красоты и того нравственного могущества, которое смутно признавалось в ней, но еще не совсем было развито. Пансионерка была талантлива, блистательно очаровательна, но еще было неизвестно, какова будет женщина.

Добрая учительница музыки смотрела на своего юного друга с любовью и изумлением, к которым примешивался страх. Что должна она была делать с этой странной и прелестной птичкой, которую она принесла в свое гнездо? Справедливо ли было сковать навсегда этот светлый дух? Справедливо ли было заключить всю эту веселость в эту бедную квартиру, задушить этот избыток жизненности в душной атмосфере скучной и однообразной жизни?

Эта преданная женщина привыкла заботиться о других, и думала об этом серьезно и постоянно. Элинор была довольна и счастлива: Она теперь зарабатывала деньги, время от времени, давая уроки, и увеличивала домашний приход. Дни уходили очень быстро в этом спокойном однообразии. Платья мисс Вэн становились все короче. Ей было теперь почти

семнадцать лет, и она уже полтора года жила под тенью Пиластров. Ричард и тетка его совещались между собою, какова должна быть будущая жизнь Элинор, но никак не могли прийти ни к какому заключению.

– Хорошо говорить о том, что она оставит нас, тетушка, – сказал живописец. – Но что мы будем делать без нее? Весь солнечный блеск и вся поэзия нашей жизни исчезнут вместе с ней, когда она оставит нас? Притом кем же она будет? Гувернанткой? Кто захочет обречь ее на такие труды? Актрисой? Нет, милейшая тетушка, мне не хотелось бы видеть эту блестящую красавицу на сцене. Лучше ей жить вместе с нами. Оставим ее у нас, тетушка, она не хочет оставлять нас. Те, кто имеют на нее право, бросили ее. Она явилась на пути моем, как странствующий бесприютный ангел. Я никогда не забуду ее лица, когда я в первый раз увидал ее на освещенном бульваре, и узнал девочку, которую я знал три года тому назад, в светло-русой пятнадцатилетней красавице. Она не хочет оставлять нас. Зачем же вы все говорите об этом, милая тетушка?

Синьора Пичирилло со вздохом пожала плечами.

– Богу известно, что я не имею желания расстаться с ней, Дик, – сказала она, – но мы должны поступать с ней по справедливости. Здесь не место для дочери

Джорджа Вэна.

Но между тем как учительница музыки и ее племянник раздумывали о будущем их любимицы, практичная мистрис Баннистер задумывала удар, который должен был потрясти счастье смиренного кружка. В первых числах холодного марта 1855#го Элинон получила холодную записку от своей сестры, в которой мистрис Баннистер писала, что теперь представился случай устроить ее будущее, и что если Элинон желает занять порядочное положение в свете – прилагательное было безжалостно подчеркнуто – она хорошо сделает, если воспользуется этим. За дальнейшими сведениями она должна была зайти рано на следующее утро к мистрис Баннистер. Мисс Вэн хотелось оставить это письмо без ответа и сначала она не хотела повиноваться приглашению мистрис Баннистер.

– Я не нуждаюсь в ее покровительстве, – говорила Элинон с негодованием – Неужели она думает, что я забыл а о жестоком письме, которое она писала к моему отцу, или что я прощу ей бездушную дерзость этого письма? Пусть она сохраняет свои милости для тех, кто добивается их. Мне ничего не нужно от нее. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое с друзьями, которых я люблю. Или вы хотите избавиться от меня, синьора, убеждая меня заискивать

милости мистрис Баннистер?

Бедной синьоре Пичирилло было очень трудно убеждать девушку принять руку столь холодно протянутую ей, но добрая женщина чувствовала, что она обязана это сделать, и мисс Вэн любила свою покровительницу слишком нежно для того, чтобы не послушаться ее. Элинор пошла на следующее утро к своей сестре в Бейсуотер, где обширные комнаты показались ей вдвое обширнее в сравнении с маленькой гостиной, половина которой была занята старинным фортепьяно. А тут великолепный рояль Эрара казался оазисом в пустыне, на роскошном брюссельском ковре.

Мистрис Баннистер заблагорассудилось быть очень любезной к своей сестре, может быть, она была любезна потому, что Элинор не показывала к ней любви. Эта холодная, жестокосердная женщина подозревала бы корыстолюбивые причины под проявлением сестринской любви.

– Я рада слышать, что ты училась зарабатывать себе пропитание, Элинор, – сказала она, – а более всего, что ты усовершенствовала свой талант на фортепьяно. Я тебя не забыла, как ты увидишь. Люди, с которыми ты живешь, прислали мне свой адрес, когда привезли тебя из Парижа, и я знала, где тебя найти, когда представится случай пристроить тебя. Этот слу-

чай теперь представился. Моя старая знакомая мистрис Дэррелль – племянница друга твоего отца, Мориса де-Креспиньи, который еще жив, хотя очень стар и дряхл – написала мне, что ей нужна молодая девушка, которая могла бы быть и компаньонкой и учительницей музыки для молодой особы, которая с ней живет. Эта молодая особа не родственница мистрис Деррелль, но или воспитанница, или питомица. Твоя молодость в этом случае, Элинор, оказывается преимуществом, так как молодой девушке нужна компаньонка ее лет. Тебе дадут умеренное жалованье и будут обращаться как с членом семейства. Кстати, дай мне послушать твою игру, чтобы я могла положительно говорить о твоих талантах.

Элинор Вэн села за рояль. Эраровские струны зазвучали под ее пальцами. Ее почти испугал громкий звук инструмента. Она играла очень блистательно, и ее сестра удостоила сказать:

– Я думаю, что могу добросовестно похвалить твою игру. Ты, верно, поешь?

– О, да.

– Стало быть, прекрасно, ты можешь считать это место за собой. Остается устроить только один вопрос. Разумеется, тебе должно быть известно, что твой отец занимал в свете очень высокое положение. Самый близкий друг его был де-Креспиньи, дядя той

леди, в дом которой я желаю, чтобы ты вступила. Следовательно, ты не можешь удивляться, когда я скажу тебе, что я не желаю, чтобы мистрис Дэррелль знала кто ты.

– Что вы хотите сказать, Гортензия?

– Я хочу сказать, что я рекомендую тебя как молодую девушку, в которой я принимаю участие. Ты должна отправиться в Гэзльуд под чужим именем.

– Гортензия!..

– Ну что! – Вскричала мистрис Баннистер, приподняв свои прекрасные черные брови.

– Мне не нужно этого места, я не хочу принимать чужое имя. Я лучше останусь с моими друзьями. Я очень их люблю и очень счастлива с ними.

– Боже мой! – Воскликнула мистрис Баннистер. – Какая польза стараться оказать некоторым людям услугу? Я придумывала как бы мне воспользоваться этим случаем, а эта неблагодарная девушка говорит, что ей не нужно этого места! Знаешь ли ты от чего ты отказываешься, Элино́р Вэ́н? Или ты переняла от отца привычку к нищенству, что предпочитаешь быть в тягость этой бедной учительнице музыки и ее сыну, или племяннику, что ли, скорее чем честными трудами содержать себя?

Элино́р вскочила из-за рояля, до сих пор она перебирала пальцами белые клавиши, восхищаясь красо-

тою тона. Она вскочила и взглянула на свою сестру, покраснев от негодования до самых корней своих золотистых волос.

Неужели это правда? Неужели она действительно в тягость своим любимым друзьям?

– Если вы это думаете, Гортензия, – сказала она, – если вы думаете, что я в тягость милой синьоре, или Ричарду, я возьму всякое место, какое вы хотите, как бы ни было оно трудно. Я буду трудиться день и ночь скорее, чем быть им долее в тягость.

Элинор вспомнила, как мало получала она от своих немногих учениц. Да, Гортензия, без сомнения, права: она была в тягость этим добрым людям, которые взяли ее в дом в час отчаяния и несчастья.

– Я возьму это место, Гортензия! – закричала Элинор.

– Я назовусь чужим именем. Я сделаю все на свете скорее, чем употреблять во зло доброту моих друзей.

– Очень хорошо, – холодно отвечала мистрис Баннистер. – Пожалуйста, не говори никаких геройских фраз. Это место очень хорошее – уверяю тебя, и многие девушки были бы рады воспользоваться таким случаем. Я напишу к моему другу, мистрис Дэррелль, и рекомендую тебя ей. Больше я ничего не могу сделать. Разумеется, я не могу ручаться за успех, но Эллен Дэррелль и я были большими друзьями несколь-



ко лет тому назад, и я знаю, что я имею на нее значительное влияние. Я напишу тебе о результате моей рекомендации.

Элинор вышла от сестры, выпив два-три глотка светлого хереса, который мистрис Баннистер заставила ее выпить. Вино имело такой кислый вкус, как будто виноград, из которого оно было сделано, никогда не видал солнца. Мисс Вэн была рада поставить рюмку и убежать от холодной пышности гостиной ее сестры.

Медленно и грустно возвращалась она домой. Она должна была оставить дорогих друзей, оставить бедные комнатки, в которых она была так счастлива, и вступить в холодный свет к знатным людям, в таком низком звании, что должна была даже отказаться от своего имени.

Но было бы трусостью и эгоизмом с ее стороны отказаться от этого места, потому что, без сомнения, жестокая мистрис Баннистер сказала правду: она была в тягость своим бедным друзьям.

Угрюмо думала Элинор об этом, но сквозь все мрачные мысли о настоящем проглядывал в черном будущем еще более мрачный призрак, призрак ее мщения, неопределенная и неверная тень, наполнявшая ее девические мечты с тех самых пор, как великое горе о смерти ее отца постигло ее.

«Если я поеду в Гэзльуд, – думала она, – если я проведу мою жизнь у мистрис Дэррелль, как могу я надеяться найти убийцу моего отца?»

# Глава XI. Обещание Ричарда Торнтона

Элинор Вэн казалась очень грустна, когда воротилась домой после своего свидания с мистрис Баннистер. Она жила только полтора года в этой смиренной местности, но в ее натуре было привязываться и к местам не только к особым, она очень полюбила Пиластры. Все там знали ее и любили. Красотой ее гордились достойные граждане Пиластров.

В этой атмосфере любви и восторг а девушка была очень счастлива. Она имела одну из тех натур, в которых лежит чудная способность приспособливаться к обычаям и привычкам друг их. Она никогда не была не у места, она никогда никому не мешала. Она не была честолюбива. Ее веселый характер был центром постоянного спокойствия и счастья; только сильные удары горя и неприятностей могли расстроить ее. Она была очень счастлива с синьорой, и в этот день, осматривая маленькую гостиную, она с грустью останавливала взор то на старом фортепьяно, то на полке с изорванными книгами, то на картине, которую она любила критиковать, и когда она вспоминала, как скоро она должна оставить все эти вещи, слезы струи-

лись по ее щекам и уныло стояла она на пороге своей новой жизни.

Воротившись из Бэйсуотера, она нашла знакомые комнаты пустыми: синьора ушла давать уроки, а Ричард работал в театре, где постоянно давались новые пьесы и писались новые декорации. Элинор могла одна сидеть в гостиной, она сняла шляпку и села на старомодный, обитый ситцем диван. Она запрягала голову в подушку и старалась думать.

Перспектива новой жизни, которая была бы восхитительна для многих девушек ее лет, была неприятна для Элинор. Она поехала бы на другой конец света с отцом, если бы он был жив, или с Ричардом, или с синьорой, которых она любила немножко менее чем его. Но разорвать все связи и вступить в свет одной, было невыразимо ужасно для этой любящей, впечатлительной натуры.

Если бы дело шло о ее собственных выгодах, если, пожертвовав своими будущими надеждами, она могла остаться с любимыми друзьями, она не колебалась бы ни минуты. Но мистрис Баннистер ясно сказала ей, что она в тягость этим великодушным людям, которые помогли ей в час ее бедствия. Эта бедная девушка принялась рассчитывать сама, сколько ее содержание стоит ее друзьям и многим ли она могла помогать им. Ах! Итог оказался против нее. Она зараба-

тывала еще очень очень мало, не потому, чтобы дарование ее не ценилось, но потому, что ученицы ее были бедны.

Нет, мистрис Баннистер – суровая и неприятная как истина – без сомнения, была права. Элинор была обязана оставить этих дорогих друзей и вступить в свет на одинокую битву для себя самой.

«Может статься, я буду в состоянии сделать для них что-нибудь, – думала Элинор, – и эта мысль была единственным проблеском света, освещавшим мрак ее горести. – Может статься, я накоплю столько денег, что куплю синьоре черное шелковое платье, а Ричарду – пенковую трубку. Я знаю, какая ему понравится: голова бульдога, с серебряным ошейником. Мы видели такую трубку в один вечер в лавке. Я должна оставить их, повторяла она про себя: я должна их оставить.»

Она укрепила себя в этой трудной обязанности к тому времени, как воротились ее друзья, и сказала им очень спокойно, что она видела мистрис Баннистер и согласилась принять ее покровительство.

– Я буду компаньонкой или учительницей музыки – право, не знаю хорошенько – у одной молодой девицы в загородном доме, называемом Гэзльд, – сказала Элинор. – Не думайте, чтобы я оставляла вас без сожаления, милая синьора, но Гортензия говорит, что я

должна это сделать.

– А вы не думайте, чтобы мне не было жаль расстаться с вами, Нелли, когда я скажу вам, что, по моему мнению, наша сестра права, – кротко отвечала сеньора, целуя свою любимицу.

Может быть, Элинор несколько разочаровал этот ответ. Она не воображала, как часто Элиза Пичирилло боролась с эгоизмом своей любви, прежде чем покорила безропотно этой разлуке.

Ричард Торнтон громко соболезновал.

– Что будет с нами без вас, Элинор? Кто будет приходить в театр и любоваться моими декорациями? Кто будет отрезать мне огромные ломти хлеба, когда я голоден? Кто будет играть мне Мендельсона, штопать мне чулки, пришивать к рубашкам пуговицы – глупое обыкновение, изобретенное невеждами, которые не знали пользы булавок? Кто будет меня бранить, когда я не успею выбриться, советовать вычистить ваксою мои сапоги? Кто станет порхать из комнаты в комнату в сопровождении грязного белого пуделя, подобно белокурой Эсмеральде с кудрявой козочкой? Что мы будем делать без вас, Элинор?

На сердце бедного Дика было очень грустно, когда он говорил таким образом с своей приемной сестрой. Братские ли были его чувства? Не примешивалась ли к чувствам его та гибельная мука, которая так свой-

ственно человеческому роду, когда Ричард смотрел на прелестное личико девушки и помнил, как скоро оно исчезнет из этих бедных комнаток, оставив за собою унылую пустоту?

Синьора посмотрела на своего племянника и вздохнула. Да, для Элинор будет лучше оставить их, она никогда не влюбится в этого честного, чистосердечного, неопрятного живописца, сюртук которого был совершенным изображением ландшафта по множеству пятен, украшавших его.

– Мой бедный Дик влюбился бы в нее и разбил бы свое доброе, честное сердце, – думала Элиза Пичирилло. – Я очень рада, что она уезжает.

«Если бы я могла остаться в Лондоне, – думала Элинор, между тем, может быть, я имела бы возможность встретиться с этим человеком. Все мошенники и злодеи прячутся в Лондоне. Но в тихой деревеньке я буду похоронена заживо. Когда я переступлю за порог дома мистрис Дэррелль, я прощусь с надеждою встретиться с этим человеком».

От мистрис Баннистер очень скоро было получено письмо. Мистрис Дэррелль приняла рекомендацию своей приятельницы и была готова принять мисс Винсент. Этим именем вдова маклера назвала свою сестру.

«Ты будешь получать тридцать фунтов в год, – пи-

сала Гортензия Баннистер, и твоя обязанность будет очень легка. Не забывай, что в Гэзльуде ты будешь называться Винсент, и должна никогда не упоминать о твоём отце. Ты будешь жить между людьми, которые знали его хорошо и, следовательно, ты должна остерегаться. Я представила тебя осиротелой дочерью одного джентльмена, который умер в бедности, так что сказала истинную правду. Тебе не будут задавать никаких вопросов, так как для мистрис Дэррелль довольно моей рекомендации, она слишком хорошего происхождения и не может чувствовать пошлого любопытства к истории твоей прошлой жизни. Я посылаю тебе ящик с платьями и с другими принадлежностями туалета, которые пригодятся тебе. Я посылаю тебе также пять фунтов – на непредвидимые издержки. Гэзльуд за тридцать миль от Лондона и за семь от Уиндзора. Ты должна ехать по западной железной дороге и остановиться в Сло, где тебя будет ждать экипаж, но я еще напишу тебе об этом, мистрис Дэррелль была так добра, что согласилась дать тебе две недели отсрочки для твоих приготовлений. Тебя будут ждать в Гэзльуде 6 апреля.

Мне остается сделать еще одно замечание. Я знаю, что твой отец имел сумасбродные надежды относительно Удлэндского поместья. Пожалуйста, помни, что я никогда не имела подобной идеи. Я знаю Дэр-



реллей довольно хорошо и, уверена, что они своих прав не уступят, и я признаю эти права. Помни же, что я не имею ни желаний, ни ожиданий относительно завещания Мориса де-Креспиньи, но, с другой стороны, также совершенно справедливо, что в молодости он дал торжественное обещание, и если умрет холостым, оставить свое состояние моему отцу, или его наследникам.»

Элинор Вэн мало обратила внимания на этот окончательный параграф в письме ее сестры. Кому было нужно богатство Мориса де-Креспиньи? Какая была польза в нем теперь? Оно не могло возратить жизнь ее отцу, оно не могло уничтожить эту тихую сцену смерти, при которой не присутствовал никто в парижской кофейной. Какое было дело, кто получит в наследство эту бесполезную и ничтожную дрянь?

Прошло две недели самым неудовлетворительным и лихорадочным образом. Ричард и синьора старались скрывать свое сожаление, расставаясь с веселой девушкой, которая внесла новый свет в их скучную жизнь. Элинор плакала украдкой. Много горьких слез капало на ее работу, когда она переделывала шелковые платья мистрис Баннистер, приспособляя их к своему девическому стану.

Наконец настал последний вечер, вечер 5 апреля, канун горестной разлуки и начало новой жизни.

Этот вечер пришелся на воскресенье.

Элинор и Ричард вышли погулять по тихим улицам в то время, когда колокола звонили к вечерни и огни тускло мерцали из окон церкви. Они выбрали самую уединенную улицу. Элинор была очень бледна, очень молчалива. Она сама пожелала этой вечерней прогулки и Ричард с изумлением наблюдал за нею. Лицо ее имело то выражение, которое он помнил на нем на Архиепископской улице, когда Ричард рассказывал ей историю смерти ее отца – неестественное суровое выражение, составлявшее странную противоположность с изменчивым и веселым выражением, обыкновенно отличавшим эту юную физиономию.

Несколько времени медленно ходили они по опустелым улицам. Колокола перестали звонить. Серые сумерки спускались на улице, и огни начали мелькать в окнах.

– Как вы молчаливы, Нелли, – сказал наконец Ричард.

– Зачем вы непременно желали, чтобы мы пошли гулять одни, моя милая? Я вообразил, что вы хотите сказать мне что-нибудь особенное.

– Я точно хочу поговорить с вами.

– О чем? – спросил Торнтон.

Задумчиво взглянул он на свою спутницу. Он мог только видеть ее профиль – этот чистый, почти клас-

сический профиль – потому что Элинор не повернулась к нему, когда говорила. Ее серые глаза прямо смотрели в пустое пространство, и губы ее были крепко сжаты.

– Вы любите меня – не правда ли, Ричард? – вдруг спросила она с внезапностью, которая испугала живописца.

Бедный Дик вспыхнул при этом страшном вопросе. Как могла Элинор быть так жестока, чтобы задавать ему подобные вопросы? Последние две недели он боролся сам с собой – Богу известно, как твердо и добросовестно – в геройском желании отогнать от себя роковую мысль, и теперь девушка, для которой он боролся с своим эгоизмом, дотронулась своей несведущей рукою до самой чувствительной струны.

Но мисс Вэн не сознавала сделанного ею вреда. Кокетство было неведомым искусством для этой семнадцатилетней девушки. Во всем, что относилось к этому женскому дарованию, она была такой же ребенок в семнадцать лет, как в то время, когда она опрокидывала краски Ричарда и делала грубые копии с его картин.

– Я знаю, что вы любите меня, Дик, – продолжала Элинор. – Так много, как будто бы я была ваша родная сестра, а не бедная, отчаянная девушка, бросившаяся к вам и своей горести. Я знаю, что вы любите

меня, Дик, и сделаете для меня все. Я желала поговорить с вами сегодня наедине, потому что то, что я скажу, огорчило бы милую синьору, если бы она услышала это.

– Что это такое, милая моя?

– Вы помните историю смерти моего отца?

– Слишком хорошо, Элинора.

– И вы помните какой обет я дала, когда вы рассказывали мне эту историю, Ричард?

Молодой человек колебался.

– Да, помню, Нелли, – сказал он после некоторого молчания. – Но я надеялся, что вы забыли этот сумасбродный обет, он ведь сумасброден, милая моя, и не идет женщине, серьезно прибавил молодой человек.

Глаза Элинора надменно сверкнули на ее друга, когда она обернулась к нему первый раз в этот вечер.

– Да, – воскликнула она, – вы думали, я забыла, потому что я не говорю о человеке, который был причиной смерти моего отца. Вы думали, что моя горечь по моему отцу – горечь ребяческая, которая забудется, когда я оставлю страну, где он лежит в своей неосвященной могиле, бедняжка! Вы думали, что никто не попытается отомстить за убийство бедного, одинокого старика – ведь это было убийство, Ричард Торнтон! Какое было дело злодею, обворо-

вавшему его, до тоски сердца, разбитого им? Какое ему было дело до того, что случилось с его жертвою? Это было низкое и жестокое убийство, какое когда-либо было совершено на земле, Ричард, хотя свет не дает этому такого названия.

– Элинор, милая Элинор! – зачем вы говорите об этом?

Голос девушки делался громче по мере того, как увеличивалась пылкость ее чувств, и Ричард Торнтон опасался действия, какое разговор такого рода мог произвести на ее впечатлительную натуру.

– Нелли, милая моя! – сказал он, – было бы лучше забыть все это. Какая польза в этих тягостных воспоминаниях? Вы, наверно, никогда не встретитесь с этим человеком, вы даже не знаете его имени. Это, без сомнения, был мошенник и авантюрист, может быть, он уже умер теперь, может быть, он сделал что-нибудь против закона и сидит теперь в тюрьме или сослан в ссылку.

– Может быть, он сделал что-нибудь против закона! – повторила Элинор, – что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что, может быть, он сделал какое-нибудь преступление, за которое его можно наказать.

– А может, он был наказан законом за то, что обманом обыграл в карты моего отца?

– Обвинение такого рода всегда трудно доказать, Нелль, а после обстоятельства доказать невозможно. Нет, я боюсь, что закон не может преследовать его за это.

– Но если он сделает другое преступление, его наказать можно?

– Разумеется.

– Если я встречу с ним, Ричард, – вскричала Элинор, и опасный свет сверкнул из ее глаз, – я постараюсь завлечь его к какому-нибудь преступлению, а потом скажу ему: «Закон не мог отомстить за смерть моего отца, но он может наказать вас за другое преступление. Я воспользуюсь законом для моей собственной цели и отомщу ему за смерть моего отца».

Ричард Торнтон с ошеломлением смотрел на свою спутницу.

– Вы говорите как краснокожий индеец! – воскликнул он, – это неприятно слышать, вы, право, пугаете меня.

– Мне очень этого жаль, Ричард, – кротко отвечала мисс Вэн, – она была ребенком во всем, что касалось только ее привязанности. – Я не хотела бы ни за что на свете оскорбить ни вас, ни милую синьору, но есть некоторые вещи сильнее нас самих, Ричард, а обет, который я дала полтора года тому назад на Архиепископской улице, принадлежит к этим вещам. Я не за-

была этого обета, Дик. Каждую ночь – хотя я была днем счастлива и весела, милый Ричард, я не могла не быть счастлива с вами и с синьорой – каждую ночь не могла я заснуть, все думая о смерти моего отца. Если бы эта смерть была естественна, если бы он умер на моих руках по воле Господа, а не от жестокости злодея, моя горесть в это время истощилась бы. Но теперь я не могу забыть, я не могу простить. Хотя бы за него заступались все добрые люди на свете, я не могла бы иметь ни малейшего сострадания к этому человеку. Если бы его повесили завтра – я была бы очень рада и босиком пошла бы к месту его казни, чтобы видеть, как он страдает. Никакое вероломство против него не сочту я низким. Никакая медленная пытка не показалась бы мне довольно жестокой, чтобы удовлетворить мою ненависть к нему. Подумайте, каким беспомощным стариком был мой отец, он был такой человек, о котором все должны были жалеть, которого все должны были уважать. Вспомните это, а потом припомните, с каким хладнокровным умыслом этот злодей выиграл у него деньги – не просто деньги, потому что в них заключались его честь, будущность его дочери – все, что он ценил. Вспомните, с какой бессовестной жестокостью этот злодей смотрел, как несчастный старик терпел медленную агонию, продолжавшуюся шесть или семь часов, а потом

бросил его одного. Подумайте об этом, Ричард Торнтон, и не удивляйтесь, что если в моих чувствах к этому человеку нет ни малейшего сострадания.

– Милая Элинор, если я сожалею о запальчивости ваших чувств, я не защищаю человека, вероломства которого ускорили несчастную смерть вашего отца, я желаю только убедить вас, как сумасбродны ваши идеи о мщении и возмездии. Жизнь не роман в трех томах, не драма в пяти актах, Нелли. Внезапные встречи и странные стечения обстоятельств, случающиеся в романах, не так часто бывают в нашей ежедневной жизни. Вряд ли вы встретитесь с этим человеком. С той минуты, когда умер ваш отец, все следы его потеряны; только ваш отец мог сказать, кто и что был он, или, по крайней мере, кем и чем он представлял себя. Вы же не имеете ни малейшего следа, по которому могли бы надеяться отыскать его. Ради Бога бросьте всякую мысль о невозможном мщении. Если мелодраматическая месть, представляемая на сцене, неприменима к практике действительной жизни, мы знаем, по крайней мере, моя милая, из Библии, что дурные поступки не остаются без наказания. Этот человек, которого ваши слабые усилия не будут в состоянии наказать, может пострадать за свое преступление на самых отдаленных границах земли. Подумайте об этом, Элинор.



– Я не могу, – отвечала девушка. – Письмо, которое отец мой написал мне перед смертью, было прямое поручение, которого я никогда не ослушаюсь. Единственное наследство, которое я получила от него, было это письмо, это письмо, в котором он велел мне отомстить за свою смерть. Вы, наверно, считаете меня сумасшедшей и злой, Ричард, по, вопреки всему, что вы говорите, я уверена, что я встречу этого человека.

Живописец вздохнул и впал в унылое молчание. Как мог он рассуждать с этой девушкой? Он мог только любить ее и восхищаться ею, исполнять ее повеления, если ей нужен был раб. Пока он думал это, Элинор схватила его руку обеими руками и пристально посмотрела ему в лицо.

– Милай Ричард! – сказала она тихим голосом, – я думаю, что вы согласились бы помогать мне, если бы могли это сделать.

– Я пойду за вас в огонь и в воду, Нелли.

– Я хочу, чтобы вы помогли мне в этом. Вы так же мало знаете этого человека, как и я, но вы гораздо способнее, меня. Вы сталкиваетесь с другими людьми, вы видите свет, немного – я это знаю, но все-таки гораздо больше чем я. Я уезжаю в деревню, где не будет никакой возможности встретиться с этим человеком, а вы остаетесь в Лондоне.

– Где я могу каждый день столкнуться с ним на улице, Нелль, и все-таки не узнать его. Милое дитя, для практической цели вы так же будете близко к этому человеку в Беркшире, как я в Блумсбери. Перестанем говорить о нем, Нелли. Не могу вам высказать, как этот разговор огорчает меня.

– Я не перестану говорить о нем, – решительно сказала молодая девушка, – пока вы не дадите мне обещания.

– Какого обещания?

– Что если вы узнаете какие-нибудь следы, которые могут привести к тому, чтобы узнать, кто был человек, которого я желаю найти, вы терпеливо пойдете по этим следам, не щадя ни трудов, ни стараний, для меня, Ричард, для меня. Обещаете вы?

– Обещаю, милая моя, – отвечал Торнтон, – обещаю и честно сдержу мое обещание, если мне встретится такой случай. Но я должен сказать вам откровенно, Нелли, я не думаю, чтобы этот случай встретился когда-нибудь.

– Я все-таки благодарю вас за обещание, Ричард, – горячо сказала Элинора. – Оно сделало меня гораздо счастливее. Стало быть – теперь вместо одного, двое людей будут против этого человека.

Мрачное выражение затемнило ее лицо. Будто она произнесла эти слова, как угрозу и вызов, чтобы этот

человек, кто бы и где бы он ни был, мог услышать.

– Вы знаете все странные вещи, какие теперь говорят о втором зрении, об ясновидении, об одической силе, о магнитическом влечении – я не понимаю значения этих длинных слов, Ричард, – а я желала бы иногда угадать знает ли этот человек, что я ненавижу его, что я караюлю его, думаю о нем, горячо желаю встретиться с ним. Может быть, он это знает и будет остерегаться меня и избегать.

Ричарду не хотелось продолжать этот разговор: он был крайне неприятен для него. Между невинной юной красотой этой девушки и этими решительными речами о свирепом и пылком мщении было какое-то страшное несогласие, эти слова естественнее было бы слышать от какого-нибудь шотландского или корсиканского начальника, чем от семнадцатилетней девушки.

Было уже темно, и они воротились в Пиластры, где Элиза Пичирилло проводила этот последний вечер очень грустно. Маленькая комнатка была освещена только огнем в камине, потому что синьора не хотела зажигать свечей, пока ее дети не воротятся домой. Она сидела у окна, поджидая их возвращения и заснула в темноте.

Бесполезно будет распространяться об этом последнем вечере. Он был очень грустен, как это все-

гда бывает перед разлукой. Разговор был бессвязный и принужденный, и Ричард обрадовался, что ему пришлось перевязывать веревками чемоданы Элинора. У нее было теперь два чемодана и гардероб, казавшийся ей великолепным – так щедро мистрис Баннистер наделила свою сестру платьями, которая уже не хотела носить сама.

Так прошел последний вечер, настало апрельское утро, и новая жизнь Элинора началась.

## Глава XII. Джильберт Монктон

Элино́р Вэ́н не одна ехала в Беркшир. Начало ее новой жизни – это ужасное начало, которого она так опасалась, должно было познакомить ее с новыми людьми.

Она получила следующее письмо от мистрис Дэррелль:

Гэзльуд, апреля 3, 1855

*«Милостивая Государыня,  
так как девице ваших лет было бы неприлично ехать одной, я позаботилась отстранить это неудобство.*

*Друг мой мистер Монктон был так добр, что обещал встретить вас в комнате для пассажиров первого класса на станции Западной железной дороги в три часа в понедельник. Он завезет вас ко мне в своем экипаже, возвращаясь домой.*

*остаюсь, милостивая государыня, преданная  
вам –*

*Эллен Дэррелль».*

Элиза Пичирилло имела в понедельник более уроков, чем во все другие дни недели. Она ушла сейчас после утреннего чая к своим ученицам, Ричард при-

готовлял декорацию для новой пьесы, так что бедная Элинор была принуждена одна отправляться на станцию и встретиться с незнакомцем, который был назначен проводить ее в Гэзльуд.

Когда настало время прощаться со старым другом, Элинор совсем растерялась. Она ухватилась за синьору и заплакала в первый раз.

– Я не могу уезжать от вас, – жалобно рыдала она, – я не могу расстаться с вами!

– Но, душечка, – нежно отвечала учительница музыки, – если точно вы не желаете уезжать...

– Нет, нет, не то, я чувствую, что я должна ехать...

– И я также, милая моя. Я думаю, что вы сделали бы очень дурно, отказавшись от этого места. Но, Нелли, моя возлюбленная, помните, что это только проба. Может быть, вы не будете счастливы в Гэзльуде, в таком случае вспомните, что у вас всегда есть дом здесь, что когда бы вы ни приехали сюда, вас всегда примут с любовью, и что друзья, которых вы оставляете здесь, друзья такие, которых ничто на свете не может удалить от вас, Помните это, Элинор.

– Да-да, милая, милая синьора.

– Если бы я мог проводить ее до станции, я не так бы горевал, – уныло шептал Ричард, – но законы Спэвина и Кромшоу, законы драконовские. Если я не закончу сегодня швейцарской хижины и освещен-

ных луною альпийских вершин, новая пьеса не может быть дана в понедельник.

Таким образом, бедная Элинор отправилась на станцию одна. На станции принял ее вежливый носильщик, взяв на себя заботу о ее поклаже, между тем как она пошла в залу отыскивать незнакомца, который должен был провожать ее.

В ней так же мало было кокетства, как два года тому назад, когда она ехала одна в Париж, и она была готова принять услуги этого незнакомца так же чисто-сердечно, как приняла покровительство пожилого человека, который предложил ей свои услуги в то время.

Но как могла она узнать этого незнакомца? Она не могла подходить к каждому мужчине в зале и спрашивать его: не он ли мистер Монктон.

Почти всегда Элинор приходилось ездить во второклассных вагонах и ждать во второклассных залах, поэтому она несколько робко остановилась на пороге этой большой залы, устланной ковром, и несколько тревожно взглянула на сидевших в этой великолепной комнате. Около камина сидели дамы, а трое мужчин стояли в разных углах комнаты. Один был низенького роста с седыми волосами и красным лицом, другой был очень молод и очень белокур, третий был высокий мужчина лет сорока, с коротко обстриженными черными волосами и с массивной головой, с лицом,

которое, может быть, нельзя было назвать красивым, но на которое нельзя было не обратить внимания.

Этот высокий мужчина стоял у окна и читал газету. Он поднял глаза, когда Элинор отворила дверь.

– Желала бы я знать, который из них Монктон, – думала она. – Надеюсь, что не этот вертлявый молодой человек с рыжими волосами.

Пока она нерешительно стояла на пороге, не зная что ей делать – она не подозревала, какой хорошенькой казалась она в этой робкой позе – высокий мужчина бросил газету на диван и через всю комнату прошел к тому месту, где она стояла.

– Мисс Винсент, я полагаю? – сказал он.

Элинор покраснела при звуке этого чужого имени, а потом склонила голову в ответ на вопрос. Она не могла сказать «да». Она не могла тотчас произнести эту неприятную ложь.

– Я Монктон, друг и поверенный в делах мистрис Дэррелль, – спокойно сказал этот джентльмен, – и буду очень рад выполнить обязанность, которую она возложила на меня. Мы успели вовремя, мисс Винсент. Я знаю, что молодые девицы вообще очень аккуратны в этих случаях, и приехал рано для того, чтобы встретить вас.

Элинор ничего не отвечала. Она украдкой глядела на лицо друга и поверенного мистрис Дэррелль,



доброе и умное доверенное – так показалось мисс Вэн, потому что лицо, поразительно красивое, носило в каждой черте отпечаток трех качеств: доброты, ума и силы.

«Я уверена, что он очень добр, – думала Элинора. – Но мне не хотелось бы оскорбить его ни за что на свете, потому что хотя теперь он смотрит ласково, я знаю, что он должен быть ужасен, когда рассердится».

Элинора почти со страхом глядела на резко очерченные черные брови, думая, какой грозный мрак должен покрывать массивное лицо, когда эти брови нахмурятся над серьезными карими глазами – серьезными, но с огнем, сверкавшим из рис спокойной глубины.

Девушка все это думала, стоя возле незнакомца у окна. Уже мрак ее новой жизни был рассеян этой замечательной фигурой, смело ставшей на пороге этой новой жизни. Уже Элинора начала интересоваться новыми людьми.

«Он совсем не похож на нотариуса, – думала она. – Я воображала, что нотариусы всегда старики и что у них всегда синие сумки с бумагами. Люди, приезжавшие в Челси к папа, всегда были пренеприятные и вечно привозили с собой какие-то бумаги».

Монктон задумчиво смотрел на девушку, стоявшую

возле него. В натуре этого человека, под суровой деловой наружностью, которую он показывал свету, таилась безмолвная поэзия и проблески художественного чувства. Он испытывал спокойное удовольствие, смотря на юную красоту Элинор. Может быть, главное очарование ее составляли ее юность и почти детская невинность. Лицо ее было красоты не совсем обыкновенной: орлиный нос, серые глаза и твердо обрисованный рот имели какой-то царственный вид, который очень редко можно видеть, но юность души, сиявшей в чистых глазах, была очевидна в каждом взгляде, в каждой перемене физиономии.

– Вы хорошо знаете Беркшир, мисс Винсент? – вдруг спросил Монктон.

– О нет, я никогда там не была.

– Вы очень молоды и, наверно, никогда еще не оставляли дома? – спросил Монктон.

Он удивлялся, что ни родственники, ни друзья не проводили девушку на станцию.

– Я была в пансионе, – отвечала Элинор, – но на место поступаю в первый раз.

– Я так и думал. Вашим родителям, должно быть, очень грустно расстаться с вами?

– У меня нет ни отца, ни матери.

– Неужели! – сказал Монктон, – как это странно!

Потом, после некоторого молчания, он сказал ти-

хим голосом:

– Я думаю, что молодая девушка, к которой вы едете, больше полюбит вас за это.

– Почему? – невольно спросила Элинор.

– Потому что она никогда не знала ни отца, ни матери.

– Бедная девушка! – прошептала Элинор. – Стало быть, они оба умерли?

Стряпчий не отвечал на этот вопрос. Он так держался своей профессии, даже в разговоре с мисс Вэн, что гораздо более спрашивал, чем отвечал.

– Вы с удовольствием едете в Гэзльд, мисс Винсент? – вдруг спросил он.

– Не с большим.

– Почему?

– Потому что я оставляю очень дорогих друзей и еду...

– К чужим, которые, может быть, станут дурно обращаться с вами, – пробормотал Монктон. – Вам нечего опасаться ничего подобного – уверяю вас, мисс Винсент. Мистрис Дэррелль несколько сурова в своих понятиях о жизни, она бедняжка имела большие разочарования, и вы должны быть терпеливы с нею, но Лора Мэсон, молодая девушка, которая будет вашей подругой, кроткое и любящее создание. Она некоторым образом у меня под опекой и ее будущая жизнь

в моих руках – очень тяжелая ответственность, мисс Винсент, у нее со временем будет много денег, будут дома, лошади, экипажи, слуги и все внешние принадлежности счастья, но Богу известно, будет ли она счастлива, бедная! Она не знала ни матери, ни отца. Она жила с разными почтенными госпожами, которые обещали исполнять обязанности матери к ней и, наверно, старались исполнить свое обещание, но матери у нее никогда не было, мисс Винсент. Мне всегда жаль ее, когда я думаю об этом.

Нотариус тяжело вздохнул, и его мысли, по-видимому, далеко унеслись от молодой девушки, находившейся возле него. Он еще стоял у окна и смотрел на суматоху на платформе, но не видал ее, я полагаю, на Элинор же он не обращал внимания до тех пор, пока не зазвонили.

– Пойдемте, мисс Винсент, – сказал он, вдруг пробудившись из задумчивости, – я совсем забыл взять для вас билет. Я посажу вас в вагон, а потом пошлю за билетом носильщика.

Монктон мало говорил со своей спутницей во время краткого путешествия. Он сидел держа перед собой газету, но Элинор заметила, что он ни разу не перевернул листок, а нечаянно, взглянув в лицо нотариуса, она увидела на нем то же самое угрюмое и рассеянное выражение, которое виднелось на лице его,

когда он стоял у окна в станционной комнате.

«Он, должно быть, очень любит свою питомицу, — думала Элинора. — А то он не жалел бы так о том, что у нее нет матери. Я думала, что нотариусы очень суровые и жестокие люди, что они не любят на свете ничего. Мне всегда казалось, что моей сестре Гортензии следовало бы быть нотариусом».

Когда они подъезжали к станции, Монктон с новым вздохом выронил газету из рук и, обернувшись к Элинора, сказал тихим голосом:

— Я надеюсь, что вы будете очень добры к Лоре Мэсон, мисс Винсент. Вспомните, что она на свете совсем одна, и что как вы бы ни были одиноки и печальны — я это говорю потому, что вы сказали мне, что вы сирота — вы не можете быть так одиноки, как она.

## Глава XIII. Гэзльд

Фаэтон, запряженный парой, ждал Монктона на станции Сло. Экипаж был очень прост, но имел какое-то свое изящество, а лошади были куплены за пятьсот фунтов.

Элино́р Вэн несколько оживилась, сидя возле нотариуса и быстро несясь по красивой сельской местности. Они почти тотчас же переехали через реку в Беркшире, миновали Уиндзорский парк и лес и повернули на тихую деревенскую дорогу, окаймленную ранними буквицами и распускающимся терном.

Элино́р с восхищением смотрела на всю эту сельскую красоту. Она, бедняжка, была лондонской уроженкой и знала только Гринвичский парк или Ричмондскую террасу.

Но деревня – настоящая деревня, проблески леса и воды, пахотные земли, разбросанные фермы, были странны и новы для нее, и душа ее развернулась в непривычной атмосфере.

Если бы эта поездка могла продолжаться вечно, это было бы восхитительно, но она знала, что эти великолепные рыжие лошади мчали ее к новому дому. К ее новому дому! Какое право имела она называть Гэзльд этим именем? Она ехала не домой. Она ехала

на свое первое место.

Вся гордость происхождения, сумасбродная и ошибочная гордость потерянного богатства, которую слабоумный отец вложил в нее, возмущалась против этой горькой мысли. Какому унижению подвергнула ее жестокость мистрис Баннистер!

Элинор думала об этом, когда Монктон вдруг повернул с правой дороги и фаэтон въехал в переулок, над которым ветви еще безлиственных деревьев составляли как бы резной свод.

В конце этого переуллка, где буквицы как будто росли гуще, чем в других местах, было несколько низких деревянных калиток и старинный железный фонарный столб. С другой стороны этих калиток был широкий луг, обрамленный кустарником и рощей, а за лугом мелькали освещенные окна низкого белого дома, стены которого были закрыты плющом.

Голуби ворковали, курицы кудахтали где-то за этим домом; лошадь заржала, когда фаэтон остановился, и три собаки, одна очень большая, а две очень маленькие, выбежали на луг и свирепо залаяли на фаэтон.

Элинор не могла удержаться, чтобы не подумать, как хорош был низенький с белыми стенами, покрытый плющом неправильный коттедж, хотя это был Гэзльд.

Пока собаки громко лаяли, молодая девушка, вся в белом и голубом, выбежала с балкона к калитке.

Это была молодая девушка очень тоненькая и грациозная, цвет лица ее был белее подснежника, а развевающиеся волосы были самого бледного льняного цвета.

– Молчать, Юлий Цезарь! – молчать, Марк-Антоний! – кричала она собакам, которые подбежали к ней и начали прыгать почти выше ее головы, – молчать ты, злой, Юлий Цезарь, или ты опять отправишься в свою конуру. Так-то ты ведешь себя, когда я с таким трудом выпросила тебе свободу? Пожалуйста, не бойтесь мисс Винсент, – прибавила молодая девушка, отворяя калитку и с умоляющим видом смотря на Элинора. – Они только шумят. Они ни за что вас не тронут и скоро полюбят вас, когда узнают. Как я давно жду вас, мистер Монктон! Должно быть, поезд шел очень медленно сегодня.

– Поезд шел, как обыкновенно, ни медленнее, ни скорее, – сказал нотариус со спокойной улыбкой, высаживая Элинора из фаэтона.

Он оставил лошадей груму и пошел по лугу с двумя девушками. Собаки перестали лаять по одному его слову, хотя обратили весьма мало внимания на просьбы мисс Мэсон. Они, по-видимому, его знали и привыкли его слушаться.



– День казался ужасно долог, – сказала молодая девушка, – я думала, что поезд непременно опоздал.

– И, разумеется, вы не подумали взглянуть на ваши часы, мисс Мэсон, – сказал нотариус, указывая на множество безделушек, висевших на голубом поясе молодой девушки.

– Какая польза глядеть на часы, когда они не ходят? – сказала мисс Мэсон. – Солнце давно уже стало закатываться, но солнце изменчиво, на него положиться нельзя. Мистрис Дэррелль уехала к кому-то близ Удлэндса.

Элино́р Вэ́н вздрогнула при названии, которое было так знакомо ей по словам ее покойного отца.

– Я совсем одна, – продолжала мисс Мэсон, – и очень этому рада: мы лучше познакомимся – не так ли мисс Винсент?

Джордж Монктон шел между девушками, но Лора Мэсон подошла к Элино́р и взяла ее за руку. Рука мисс Мэсон была полненькая, детская, но как ни была она мала, на ней сверкали кольца.

– Мне кажется, я очень вас полюблю, – шепнула Лора Мэсон, – а вы как думаете, вы полюбите меня?

Она взглянула на Элино́р с умоляющим выражением в своих голубых глазах, это были настоящие голубые глаза, светлые, как незабудка или бирюза, и совсем непохожие на серые глаза Элино́р, которые веч-

но изменялись, иногда казались карими, а иногда черными.

Как могла мисс Вэн отвечать на этот детский вопрос, если не утвердительно? Она чувствовала готовность полюбить этого ребенка, который заискивал перед ней. Она ожидала найти надменную наследницу, которая чванилась бы своим богатством перед своей бедной компаньонкой. Но она имела еще причину чувствовать нежную склонность к этой девушке: она помнила, что Монктон сказал ей в вагоне:

– Как ни были бы вы одиноки, вы никогда не можете быть так одиноки, как она.

Она пожала руку Лоры и сказала серьезно:

– Я уверена, что полюблю вас, мисс Мэсон, если вы позволите мне.

– И вы не будете строго взыскивать насчет триол и арпеджио, – жалобно сказала молодая девушка. – Я довольно люблю музыку вообще, но никак не могу играть в такт триолы.

Она шла в гостиную, разговаривая таким образом. Элинор шла с ней рука об руку, Монктон следовал за ними, внимательно наблюдая за девушками.

Гостиная была, как наружность коттеджа, очень неправильна и очень красива. Она находилась на конце дома и с трех сторон комнаты шли окна. Мебель была красива, но очень проста и недорога. Ситцевые

занавесы и чехлы были усыпаны розовыми бутонами и бабочками, кресла и столы были из блестящего кле-на, а на этажерках был расставлен старинный фарфор. На стенах молочного цвета висели гравюры и акварельные рисунки, но, кроме этого в комнате не было украшений.

Лора Мэсон подвела Элинора к окну, где на столике две-три книги, разбросанные между мотками берлинской шерсти и начатым вышиваньем, показывали привычки молодой девушки.

– Вы здесь разденетесь или мне сейчас проводить вас в вашу комнату? Это голубая комната возле моей, и мы можем говорить между собой когда хотим. Верно, вы ужасно проголодались после вашего путешествия? Не позвонить ли, чтобы подали кэк и вино, или подождать чай? Мы всегда пьем чай в семь часов, а обедаем очень рано, не так, как мистер Монктон, который каждый вечер обедает ужасно поздно.

Нотариус вздохнул.

– Обед мой бывает иногда очень скучен, мисс Мэсон, – сказал он серьезно, – но вы напоминаете мне, что я едва успею к моему обеду, а моя бедная ключница всегда очень огорчается, когда испортится рыба.

Он взглянул на часы.

– Шесть часов! Прощайте, Лора, прощайте, мисс Винсент. Я надеюсь, что вы будете счастливы в Гэз-

льуде.

– Я уверена, что я буду счастлива с мисс Мэсон, – отвечала Элинор.

– Неужели! – воскликнул Монктон, приподняв свои прямые, черные брови. – Разве она так очаровательна? Жалею об этом, – пробормотал он про себя – и, пожав руку девушкам, ушел.

Они услышали через три минуты стук отъезжавшего фаэтона. Лора Мэсон пожала плечами с видом облегчения.

– Я рада, что он уехал, – сказала она.

– Но вы, кажется, очень его любите. Он ведь очень добр?

– О, да, очень, очень добр, я люблю его. Но я его боюсь, я думаю именно потому, что он такой добрый. Он как будто всегда наблюдает за мною и отыскивает во мне недостатки. Он, кажется, очень жалеет, что я такая легкомысленная, но я не могу не быть легкомысленна, когда я счастлива.

– А вы всегда счастливы? – спросила Элинор.

Она считала весьма возможным, что эта молодая наследница, никогда не знавшая тех горьких неприятностей, которые, по мнению мисс Вэн, были неразлучны с «денежными делами», была всегда счастлива, но Лора Мэсон покачала головой.

– Всегда, кроме тех минут, когда я думаю о папа

и мама и желаю знать, кто они были и почему я никогда не знала их, тогда я не могу не чувствовать себя очень несчастной.

– Стало быть, они умерли, когда вы были очень малы? – сказала Элинора.

Лора Мэсон покачала головой с грустным движением.

– Я, право, не знаю, когда они умерли, – отвечала она, – я была у какой-то дамы в Девоншире, которая воспитывала нескольких девочек. Я оставалась у нее, пока мне минуло десять лет, тогда меня отдали в модный пансион в Бэйсуотор, и там я оставалась до пятнадцати лет, а потом приехала сюда и здесь уже живу два года с половиной. Мистер Монктон мой опекун, он говорит, что я очень счастливая девушка и буду иметь со временем много денег, но какая же польза в деньгах, если не имеешь родных во всем обширном мире? Он велит мне хорошенько учиться, не ветреничать, не заботиться о нарядах и брильянтах, а стараться сделаться доброй женщиной. Он говорит со мною очень серьезно и иногда пугает меня своим важным видом, но, несмотря на все это, он очень добр и о чем бы я ни попросила его, он все исполняет. Он сам страшно богат, хотя он нотариус и живет в прелестном поместье за четыре мили отсюда, называемом Тольдэльским Приоратом. Я закидывала

его вопросами о папа и мама, но он не хотел говорить мне ничего, так что я теперь не говорю с ним об этом.

Она вздохнула, когда перестала говорить, и молчала несколько минут, но скоро развеселилась и повела Элинора в прехорошенькую сельскую комнату с окном, выходящим на луг.

– Слуга мистрис Деррэлль пошел за вашими вещами, – сказала мисс Мэсон, – так уж, пожалуйста, причешитесь моими щетками и гребенками, а потом мы сойдем к чаю.

Она повела Элинора Вэн в смежную комнату, где туалет был уставлен разными женскими безделушками, и там мисс Вэн причесала свои роскошные золотисто-каштановые волосы, которые не падали уже на ее плечи струистыми кудрями, но просто были завернуты в густую косу. Элинора теперь была женщина и начала битву жизни.

Коляска, запряженная пони, подъехала к калитке, когда Элинора стояла у открытого окна, мистрис Дэррелль вышла из коляски и по лугу прошла к дому.

Это была женщина высокого роста, необыкновенно высокого для женщины, в черном шелковом платье, которое висело на ее угловатых плечах тяжелыми тусклыми складками. Элинора могла видеть, что лицо ее было бледно, а глаза черные и блестящие.

Обе девушки сошли вниз рука об руку. Чай был при-

готовлен в столовой, комнате довольно мрачной. Три узких окна с одной стороны этой комнаты выходили на кустарник и рощу позади дома, и стволы деревьев казались ужасно длинны и черны в весенних сумерках. В низком камине горел огонь. Служанка зажигала лампу, стоявшую посреди стола, когда вошли девушки.

Мистрис Дэррелль очень вежливо приняла Элино́р, но в ее вежливости была какая-то суровость и чопорность, напомнившая Элино́р ее сестру, мистрис Баннистер. Обе женщины принадлежали к одной школе, по мнению мисс Вэн.

Свет лампы освещал лицо мистрис Дэррелль и теперь Элино́р могла рассмотреть, что лицо ее было прекрасно, хотя бледно и утомлено. Волосы вдовы были седы, но в глазах еще остался блеск молодости. Эти глаза были очень черны и блестящи, но выражение их не имело ничего приятного. Их зоркий взгляд напоминал сокола или орла. Но Лора Мэсон, по-видимому, вовсе не боялась своей покровительницы.

– Мы с мисс Винсент уже подружились, мистрис Дэррелль, – сказала она, – и я надеюсь, что нам будет очень весело.

– А я надеюсь, что мисс Винсент приучит вас к трудолюбию, Лора, – серьезно отвечала мистрис Дэррелль.

Мисс Мэсон состроила гримасу своими хорошенькими губками. Элинор села на место, указанное ей, на конце стола напротив мистрис Дэррелль, которая сидела спиной к камину.

Сидя на этом месте, Элинор не могла не заметить портрет масляными красками – единственную картину в комнате – висевший над камином. Это был портрет молодого человека, с черными волосами, осенявшими прекрасный лоб, правильные черты, бледный цвет лица и черные глаза. Лицо его было очень красиво, очень аристократично, но в выражении его был какой-то недостаток юности, свежести и пылкости. Какой-то небрежный и надменный вид, как туча, помрачал почти безукоризненные черты.

Мистрис Дэррелль смотрела на глаза Элинор, когда девушка рассматривала портрет.

– Вы глядите на моего сына, мисс Винсент, – сказала она, – может быть, мне не было надобности говорить вам это: все уверяют, что между нами есть большое сходство.

Действительно, было поразительное сходство между увядшим лицом вдовы и портретом молодого человека. Но для Элинор Вэн лицо матери, как оно ни поблекло от лет и забот, казалось моложе лица ее сына. Нерадивое равнодушие, совершенный недостаток энергии в физиономии юноши составляли поразительное сходство.



тельный контраст с молоджавостью его наружности.

– Да, – воскликнула Лора Мэсон. – Это единственный сын мистрис Дэррелль, Ланцелот Дэррелль – не правда ли, какое романтическое имя, мисс Винсент?

Элинор вздрогнула. Этот Ланцелот Дэррелль был законным наследником состояния де-Креспиньи. Как часто слышала она имя этого молодого человека! Так это он стоял бы между ее отцом и богатством, если бы был жив ее милый отец, или, может быть, его родственные права уступили бы более родственным правам дружбы.

Портрет этого молодого человека висел в той комнате, где она сидела. Он, может быть, и жил в этом доме. Где было ему жить, как не в доме его матери?

Но Элинор скоро успокоилась на этот счет, потому что Лора Мэсон в промежутках занятий за чайным столом, очень много говорила об оригинале этого портрета.

– Вы находите его красивцем, мисс Винсент? – спросила она, не дожидая ответа. – Разумеется, вы находите, все находят его красивцем, а мистрис Дэррелль говорит, что он так изящен, так высок, так аристократичен! Он со временем получит Удлэндс и все богатство де-Креспиньи. Но, разумеется, вы не знаете ни Удлэндса, ни де-Креспиньи. Как бам знать,

когда вы никогда не бывали в Беркшире? А он, де-Креспиньи, это противный, неугомонный ипохондрик, но Ланцелот Дэррелль такой талантливый! Он художник, и все акварельные эскизы в гостиной и чайной комнате его работы, он поет, играет и танцует восхитительно, ездит верхом, играет в крикет, отлично стреляет. Не воображайте, пожалуйста, что я влюблена в него, мисс Винсент, – прибавила молодая девушка, краснея и смеясь.

– Я ведь никогда не видала его и знаю все это только понаслышке.

– Вы никогда его не видали! – повторила Элинор.

Стало быть, Ланцелот Дэррелль не жил в Гэзльуде.

– Нет, – вмешалась вдова. – Я с сожалением должна сказать, что у сына моего есть враги между его родными. Вместо того, чтобы занять положение, на которое его дарования – не говоря уже о его происхождении – дают ему право, он принужден был отправиться в Индию по торговой части. Я не удивляюсь, что душа его возмущается против такой несправедливости. Я не удивляюсь, что он не может простить...

Лицо мистрис Дэррелль помрачнело при этих словах, и она тяжело вздохнула. После, когда обе девушки остались одни, Лора Мэсон намекнула на разговор за чайным столом.

– Кажется, мне не следовало бы говорить о Ланце-

лоте Дэрреле, – сказала она – Я знаю, что его мать несчастлива насчет его, хотя я не знаю, наверно, почему. Видите, его две тетки, которые живут в Удлэндсе, отвратительные, хитрые старые девы, и им удалось удалить его от его деда де-Креспиньи, который должен оставить ему все свои деньги. Я не вижу, кому другому может он их оставить теперь. У де-Креспиньи был университетский товарищ старик: думали, что ему достанется Удлэндс, но, разумеется, это была нелепая идея: и старик – отец той самой мистрис Баннистер, которая рекомендовала вас, мистрис Дэррелль, – умер, так что все это и кончилось.

– А Ланцелот Дэррелль непременно получит это состояние? – спросила Элинор после довольно продолжительного молчания.

– Да, если де-Креспиньи умрет без завещания. Но эти две старые лицемерки, сестры мистрис Дэррелль, не оставляют его ни днем, ни ночью, могут его уговорить, наконец, а может быть, уже давно уговорили написать завещание в их пользу. Разумеется, все это очень огорчает мистрис Дэррелль. Она обожает своего сына, у нее детей больше нет. Говорят, в детстве она ужасно его баловала, и она не знает, богач он будет или нищий.

– А между тем мистер Дэррелль в Индии.

– Да. Он уехал в Индию три года тому назад.

Он надсмотрщик над плантацией индиго в каком-то месте, название которого и выговорить нельзя, миль за сто от Калькутты. Он, кажется, очень несчастлив и пишет редко – не больше одного раза в год.

– Стало быть, он не очень добрый сын, – сказала Элино́р.

– О! этого я не знаю. Мистрис Дэррелль никогда не жалуется и очень им гордится. Она всегда называет его «сын мой». Но, разумеется, от этого и от другого она часто бывает несчастлива, так что, если она иногда будет несколько строг а, мы постараемся иметь с нею терпение – не так ли, Элино́р? Могу я называть вас Элино́р?

Хорошенькая головка опустилась на плечо мисс Вэн, когда наследница задала этот вопрос, и голубые глаза были подняты с умоляющим видом.

– Да-да, я предпочитаю, чтобы меня называли Элино́р, чем мисс Винсент.

– А вы называйте меня Лорой. Меня никто не называет мисс Мэсон, кроме Монктона, когда он читает мне нравоучения. Мы будем очень-очень счастливы, я надеюсь, Элино́р.

– И я надеюсь, душечка.

В сердце Элино́р вдруг зашевелилось опасение и угрызение, когда она говорила это. Неужели она будет счастлива и забудет цель своей жизни? Неужели

она будет счастлива и изменит памяти убитого отца? В этой тихой деревенской жизни, в этом приятном обществе, которое было так ново для нее, неужели она откажется от единственной мрачной мечты, от единственного глубоко вкоренившегося желания, которые наполняли ее душу после преждевременной смерти ее отца?

С трепетом ужасалась она простого счастья, которое угрожало приманить ее своим спокойствием, в котором ее намерение могло потерять свою силу, и мало-помалу изгладиться из ее души.

Она освободилась из тоненьких ручек, обвивших ее детскою ласкою, и вдруг вскочила на ноги.

– Лора, – закричала она. – Лора, вы не должны говорить со мной таким образом. Моя жизнь не похожа на вашу. У меня есть дело. – У меня есть цель, цель, перед которой каждая мысль моей души, каждое впечатление моего сердца должны уступить.

– Какая цель, Элинор? – спросила Лора Мэсон, почти испугавшись энергии своей собеседницы.

– Я не могу вам сказать – это тайна, – отвечала мисс Вэн.

Она опять села возле Лоры и нежно обвила рукою стан испуганной девушки.

– Я постараюсь исполнять мою, обязанность к вам, милая Лора, – сказала она, – и я знаю, что я буду

счастлива с вами. Но если вы будете видеть меня скучной и молчаливой, вы поймете, душечка, что в моей жизни есть тайна, а в моей душе – скрытая цель, которой, рано или поздно, я должна достигнуть, рано или поздно, повторила Элинор со вздохом: но одному Богу известно – когда.

Она молчала и была рассеянна во весь остаток вечера, хотя сыграла одну из самых трудных своих фантазий, по просьбе мистрис Дэррелль, и совершенно удовлетворила ожидание этой дамы своей блистательной игрой. Она очень обрадовалась, когда в десять часов две служанки и юноша, смотревший за пони и птичьим двором и от которого сильно пахло конюшней, пришли слушать молитвы, которые читала мистрис Дэррелль.

– Я знаю, что вы устали, душечка, – сказала Лора Мэсон, пожелав Элинор спокойной ночи в дверях ее спальни, – поэтому я не буду просить вас говорить со мною сегодня. Ложитесь и засыпайте тотчас, душечка.

Но Элинор не сейчас легла в постель и заснула очень поздно.

Она раскрыла один из своих чемоданов и вынула из маленькой сафьянной шкатулки, в которой лежали разные недорогие и старинные безделушки, оставшиеся ей от матери, смятый лоскуток последнего пись-

ма ее отца.

Она села за маленький туалетный стол и прочла бессвязные фразы этого грустного письма, а потом спрятала опять это письмо в шкатулку.

Она поглядела на луг и кустарник. Листья трепетали от тихого апрельского ветерка. Все было тихо в этом простом сельском убежище. Высоко на спокойном небе сияла полная луна из бледного, прозрачного облака.

Красота этой сцены произвела очень сильное впечатление на Элино́р Вэн. Окно, из которого она привыкла смотреть в Блумсбери, выходило на двор узкий и грязный, между печальными черными стенами высоких лондонских домов.

«Мне не следовало приезжать сюда, – думала Элино́р, – с горечью опуская занавес у окна и закрывая от себя великолепие ночи. – Мне надо было остаться в Лондоне: я могла иметь некоторую надежду встретиться с этим человеком в Лондоне, где всегда случаются странные вещи, но здесь...» Она задумалась. Заключение в этом тихом сельском убежище, могла ли она иметь какую-нибудь надежду подвинуться хоть на один шаг на той мрачной дороге, по которой она сама назначила себе идти?

Она долго не могла заснуть. Она лежала несколько часов, лихорадочно перевертываясь на своей спо-

койной постели.

Воспоминания о ее прежней жизни смешивались с мыслью о ее новой будущности. То ее преследовало воспоминание об отце и о его смерти, то ей представлялся Гэзльуд, седые волосы и пронизательные глаза вдовы и портрет Ланцелота Дэррелля.



## Глава XIV. Возвращение блудного сына

Жизнь Элинор в Гэзльуде проходила спокойно и однообразно. Она была приглашена просто в компаньонки Лоры Мэсон. Обязанность Элинор состояла только в том, чтобы учить музыке Лору Мэсон и разделять все ее удовольствия и занятия.

Мисс Мэсон была не очень трудолюбива. Она имела привычку начинать много работ, но ни одна не кончалась: то она не могла подобрать шерсть или шелк под цвет, то узор не ладился, так что все обширные предприятия забывались Лорой и кончались Элинор или мистрис Дэррелль.

Лора Мэсон не была создана для деятельной жизни. Она была любящим, великодушным, доверчивым созданием, но, подобно лодке, без руля несущейся по бурному океану, эта легкомысленная, ветренная девушка отдавала себя на произвол чужой воли.

Богатый нотариус Монктон, глава знаменитой юридической фирмы, весьма мало говорил о своей хорошенькой белокурой и голубоглазой питомице.

Он говорил о ней почти с равнодушием. Она была дочерью людей, знакомых ему в его молодости, и ему

было поручено заботиться о ее состоянии. Она будет богата, но тем не менее заботился он о ее будущности. Богатое наследство не могло предохранить женщину от несчастья, по его словам.

Вот все, что Джильберт Монктон сказал мистрис Дэррелль о прошлой истории его питомицы. Сама Лора говорила довольно свободно о первых двух домах, в которых она жила. Рассказывать было мало о чем, но, с другой стороны, нечего было и скрывать.

В одном мистер Монктон был очень строг: он требовал полного уединения для Лоры.

– Когда мисс Мэсон станет совершеннолетней, она разумеется, будет выбирать сама, – сказал он, – но до того времени я должен вас просить, мистрис Дэррелль, удалять ее от всякого общества.

Стало быть, для Лоры было необходимо иметь собеседницу одних с нею лет. Гэзльд был пустыней, к которой не приближались никакие посетители, кроме нескольких пожилых дам, дружески знакомых с мистрис Дэррелль, и Монктона приезжавшего раз в две недели обедать и проводить вечер.

Он обыкновенно очень занимался Лорой и ее компаньонкой в эти посещения. Элинор могла видеть, как пристально наблюдал он за белокурой девушкой, детская простота которой, без сомнения, делала ее очень очаровательной для серьезного делового чело-

века. Он наблюдал за нею и слушал ее иногда с приятной улыбкой, иногда с серьезным растревоженным лицом, но внимание его редко отвлекалось от Лоры.

«Он должен любить ее очень нежно», – думала Элинор вспомнив, как говорил он о Лоре на железной дороге.

Она удивлялась, какого рода привязанность чувствовал нотариус к своей питомице. По летам он мог быть ее отцом – это правда, но он все еще был в цвете жизни, он не имел той красоты в чертах и в цвете лица, которая нравится пансионеркам, но его лицо оставляло впечатление в тех, кто смотрел на него.

Он был очень образован, по крайней мере так казалось Элинор, потому что не было ни одного предмета в разговоре, с которым бы он не был совершенно знаком и о котором его мнения не были бы оригинальны и сильны. Разум Элинор развился под влиянием этого высокого мужского ума. Ее воспитание прежде весьма неполное, усовершенствовалось теперь сообществом с умным человеком.

Разумеется, все это делалось медленно. Элинор не скоро стала близка с Джильбертом Монктоном, потому что её серьезное обращение скорее могло внушить недоверчивость очень молоденькой девушке, но мало-помалу, когда она привыкла к его обществу, привыкла сидеть тихо в тени и только говорить вре-

мя от времени, между тем как Лора Мэсон фамильярно разговаривала со своим опекуном, начала она примечать, как много она выиграла от знакомства с нотариусом. Не без некоторой горечи Элинон Вэн думала об этом. Какое право имела она становиться между Лорою и ее опекуном, и пользоваться преимуществами, которые Монктон назначал для своей питомицы? Для Лоры был он так красноречив; для пользы Лоры описывал он это или объяснял то. Какое же право имела она, Элинон, помнить, что Лора забыла, или пользоваться преимуществами, которые Лора, по своему легкомыслию, не могла оценить?

Между девушками была бездна, которую нельзя было перейти, даже посредством любви. Умственное превосходство Элинон ставило ее на столько выше Лоры Мэсон, что совершенное доверие не могло существовать между ними. Любовь Элинон к легкомысленной, беззаботной девушке имела в себе что-то почти материнское.

– Я знаю, что мы никогда не пойдем друг друга, Лора, – сказала она, – но мне кажется, что я готова бы отдать жизнь за вас, моя душечка.

– И я за вас, Нелли.

– Нет, нет, Лора! Я знаю, что в вас нет эгоизма и вы желали бы это сделать, но ваша натура неспособна на жертвования, милая моя. От великого горя вы

умрете.

– Я сама так думаю, Нелли, – отвечала девушка, приближаясь к своей приятельнице и дрожа при одной мысли о несчастье, – но как вы говорите, душечка, у вас когда-нибудь было большое горе?

– Да, очень большое.

– Однако вы счастливы с нами: можете играть и петь, бродить по лесу со мною, Нелль, как будто у вас ничего нет на душе.

– Да, Лора, но я помню все время мое горе. Оно так глубоко скрыто в моем сердце, что солнце никогда не достигает до него, как бы счастлива ни казалась я.

Лора Мэсон вздохнула. Дитя, избалованное судьбою, не могло не спрашивать себя: как поступило бы оно под влиянием великого несчастья? Лора думала, что она сядет на пол в какой-нибудь темной комнате и будет плакать, пока не умрет.

Лето сменилось осенью, осень зимой, и ранняя весна уже распустила зелень на кустарниках и лугах Гэзльуда, а все еще никакое происшествие не нарушило спокойного однообразия этого уединенного дома. Элинора ознакомилась с каждым уголком в старом коттедже, даже с комнатами Ланцелота Дэррелля, выходящими в рощу позади дома. Эти комнаты были закрыты несколько лет, с тех самых пор, как Ланцелот уехал в Индию, и имели мрачный, печальный вид, хо-

тя в них периодически топили камины и с мебели старательно сметали пыль.

– Эти комнаты должны быть всегда готовы, – говорила мистрис Дэррелль, – де-Креспиньи может умереть, не сделав завещания, и мой сын может быть вдруг вызван домой.

Таким образом, три комнаты, спальная, уборная и гостиная, содержались в совершенном порядке, и Лора и Элинор бродили по ним иногда от нечего делать, в дождливый день смотрели на картины, висевшие на стенах, на неоконченные эскизы, набросанные один на другой на мольберте, играли на маленьком фортепьяно, на котором мистер Дэррелль аккомпанировал, когда пел. Мать его всегда заставляла настаивать это фортепьяно, когда настройщик приезжал из Уиндзора для рояля Лоры Мэсон.

Обе девушки часто и много говорили о красивом сыне вдовы. Они слышали о нем от его матери, от слуг, от немногих соседей, живших в коттеджах, разбросанных близ Гэзльуда. Они говорили о его неизвестной будущности, о его талантах, о его красивом, надменном лице, которое Лора находила безукоризненным.

Мисс Вэн уже год жила в Гэзльуде. Ей минуло восемнадцать лет, золотые оттенки волос стемнели богатым каштановым цветом, серые глаза казались чер-

ными под тенью черных бровей.

Синьора и Ричард Торнтон уверяли, что Элинор очень изменилась, и удивлялись ее созревшей красоте, когда она приехала провести Рождество со своими старыми друзьями. Она купила черное шелковое платье для Элизы Пичирилло и пенковую трубку для Дика, которому не нужно было ничего на память от его приемной сестры, потому что ее образ преследовал его постоянно, уничтожая все другие образы, которые могли найти бы место в сердце живописца.

Элинор Вэн чувствовала угрызение, вспоминая, как легко перенесла она разлуку с этими верными друзьями. Не то, чтобы она любила их менее, не то, чтобы забыла их доброту к ней. В такой неблагодарности она не могла упрекнуть себя, но ей казалось будто она грешила против них, чувствуя себя счастливой в спокойной тишине Гэзльуда.

Она сказала это Ричарду Торнтону, когда приезжала к ним на Рождество. Они опять вышли погулять по тихим улицам в ранние зимние сумерки.

– Мне кажется, я стала эгоисткой и равнодушной, – говорила Элинор, – месяцы проходят один за другим. После смерти моего отца прошло два года с половиной, а я ни на один шаг не приблизилась к открытию человека, который был причиной его смерти, ни на один шаг. Я заживо похоронена в Гэзльуде.

Я связана по рукам и по ногам. Что могу я делать, Ричард, что могу я делать? Я почти готова сойти с ума, когда вспоминаю, что я бедная беспомощная девушка и что, может быть, никогда не буду в состоянии сдержать клятву, которую я дала, когда прочла письмо моего милого отца. А вы, Ричард, все это время ничем не могли помочь мне?

Живописец покачал головой довольно грустно.

– Что я мог сделать милая Элинор? – то что я вам говорил, год тому назад, я говорю вам теперь. Этот человек никогда не отыщется. Какую надежду имеем мы найти его? Может быть, мы завтра услышим его имя и не будем знать, что это он. Если мы встретимся с ним на улице, мы пройдем мимо него. Мы можем жить в одном доме с ним и не знать о его присутствии.

– Нет, Ричард! – закричала Элинор Вэн. – Мне кажется, что если я встречу с этим человеком, то какой-то инстинкт ненависти и ужаса откроет его личность мне.

– Моя бедная, романтическая Нелли! – Вы говорите так, как будто жизнь мелодрама. Нет, душечка, я говорю опять, что этот человек никогда не будет отыскан, история вашего несчастного отца, к несчастью, очень обыкновенна. Забудьте эту грустную историю, Нелль, забудьте все грустные воспоминания о прошлом. Поверьте мне, вы не можете не чувство-



вать себя счастливой в Гезльуде, счастливой в вашей невинной жизни, вы должны совершенно забыть сумасбродный обет, данный вами, когда вы были почти ребенком. А если бы даже сбылись все невероятности, о которых вы мечтали, и мщение было бы в ваших руках, я надеюсь и верю, Нелль, что лучшие чувства ваши пробудятся и вы забудете о вашем мщении.

Ричард Торнтон говорил очень серьезно. Он никак не мог без горести и огорчения говорить о мщении, замышляемом Элиноор. Он узнавал влияние ее отца в этих гибельных и мстительных планах. Все понятия Джорджа Вэна о справедливости и чести скорее походили на вздор театральной пьесы, чем на здравый смысл действительной жизни. Старик беспрестанно говорил своей дочери о будущем возмездии, о гигантском мщении, которое когда-нибудь, в отдаленной будущности должно было совершенно уничтожить врагов старика. Этот сумасбродный, разорившийся мот – который кричал против света, потому что сам промотал свои деньги и должен был уступить свое место в свете более благоразумным людям – был наставником Элиноор в самые впечатлительные ее годы. Следовательно, нечему удивляться, что в характере этой девушки, выросшей без матери, были некоторые пятна, и что она была готова принять языческий план возмездия за христианскую обязанность дочерней люб-

ви.

В середине лета одно происшествие нарушило однообразие простой жизни в Гэзльуде. В один июльский вечер обе девушки оставались поздно в саду. Мистрис Дэррелль писала в столовой. Ее высокая фигура виднелась в открытое окно.

Лора и ее компаньонка долго разговаривали, но Элинор наконец замолчала и, прислонившись к белой низкой калитке, задумчиво смотрела в переулок. Мисс Мэсон никогда не уставала говорить. Серебристый поток невинной болтовни вечно лился с ее красных, детских губок, так что наконец Элинор замолчала и задумалась, наследница заговорила со своими собаками, со своим милым, шелковистым Скайем, и со своей итальянской борзой собакой, очень зябким животным, которое носило пальто из цветной фланели, и выказывало большую склонность тосковать и визжать, не приносящую никакого удовольствия никому, кроме своей госпожи.

В эту душистую июльскую ночь луны не было, и чернорабочий мистрис Дэррелль пришел засветить фонарь, когда обе девушки стояли у калитки. Фонарь придавал приятный вид коттеджу в темной ночи и бросал яркий свет в темный переулок.

Только что ушел человек, зажигавший фонарь, как вдруг обе собаки громко залаяли и из темноты

на черту света, бросаемого фонарем, вышел мужчина.

Лора Мэсон с испугом вскрикнула, но Элинор схватила ее за руку, чтобы сдержать ее глупые крики.

В наружности этого человека не было ничего страшного. Он казался бродягою, но не обыкновенным нищим, его поношенный сюртук был модного фасона и, несмотря на свой неопрятный костюм, его наружность походила на джентльмена.

– Мистрис Дэррелль все еще живет здесь? – спросил он торопливо.

– Да.

Это отвечала Элинор. Собаки все еще лаяли, а Лора все еще смотрела на незнакомца очень подозрительно.

– Скажите ей, пожалуйста, что ее желает видеть человек, который имеет сообщить ей нечто важное, – сказал незнакомец.

Элинор шла к дому исполнить это поручение, когда увидела мистрис Дэррелль на лугу. Лай собак помешал ей писать.

– Что там такое, мисс Винсент? – спросила она резко. – С кем это вы с Лорой разговариваете там?

Она отошла от девушек к незнакомцу, который стоял за калиткой, и свет от фонаря прямо освещал его лицо.

Вдова сурово посмотрела на человека, который осмелился подойти к калитке ночью и говорить с девушками, находившимися под ее надзором.

Но лицо ее изменилось, когда она взглянула на него, и дикий крик сорвался с ее губ:

– Ланцелот, Ланцелот, сын мой!..

## Глава XV. Ланцелот

Мистрис Дэррелль стояла несколько времени, сжимая сына в своих объятиях и громко рыдая.

Обе девушки отошли на несколько шагов, так изумленные, что сами не знали что им делать.

Так это был Ланцелот Дэррелль, отсутствующий сын, портрет которого висел над камином в столовой, память которого так нежно лелеяли и каждый след прежнего присутствия так старательно сохраняли.

– Сын мой, сын мой! – шептала вдова голосом, который казался странен молодым девушкам от нового звука нежности, – мой родной и единственный сын, как это ты воротился ко мне таким образом? Я думала, что ты в Индии. Я думала...

– Я был в Индии, матушка, когда мое последнее письмо к вам было написано, – отвечал молодой человек, – но вы знаете, как мне надоел и опротивел тамошний гнусный климат и гнусная жизнь, которую я принужден был вести. Наконец она сделалась невыносима, и я решился бросить все и приехать домой, я сел на первый корабль, выезжавший из Калькутты после того, как я принял это намерение. Вам не жаль видеть меня, матушка?

– Жаль видеть тебя, сын мой, сын мой!

Мистрис Дэррелль повела сына в дом. Она совсем забыла о присутствии двух девушек. Она, по-видимому, забыла даже о их существовании – до того изумило ее возвращение ее сына. Элинор пошла с Лорой в ее комнату, они заперлись там разговаривать о странном приключении этого вечера, между тем как мать и сын сидели в столовой.

– Не правда ли какое романтическое происшествие, милая Нелли? – сказала с энтузиазмом мисс Мэсон. – Желала бы я знать, неужели он всю дорогу из Индии ехал в этом гадком сюртуке и в этой противной шляпе? Как он похож на героя романа – не правда ли, Нелль? – черноволосый и бледный, высокий и стройный. Как вы думаете, он воротился совсем? Мне кажется, ему следовало бы получить в наследство богатство де-Креспиньи.

Мисс Вэн пожала плечами. Она вовсе не интересовалась блудным сыном, который явился так неожиданно, ей довольно было слушать все восклицания Лоры и сочувствовать ее любопытству.

– Я ни крошки не усну, Нелли, – сказала мисс Мэсон, расставаясь со своим другом. – Я буду видеть во сне Ланцелота Дэррелля, с его черными глазами и его бледным лицом. Какой свирепый и сердитый у него вид, Нелль! – как будто он сердится на свет, зачем он поступил с ним так дурно. С ним, должно

быть, поступлено дурно. Вы знаете какой он талантливый. Его следовало сделать генерал-губернатором или посланником, или кем-нибудь в этом роде в Индии. Он не имеет права быть бедным.

– А я думаю, что он сам виноват в своей бедности Лора, – спокойно отвечала мисс Вэн. – Если он талантлив, он должен бы уметь зарабатывать деньги.

Элинор думала о Ричарде Торнтоне, когда говорила это, думала, как он работает в театре из-за бедного жалованья, и запачканный красками сюртук Дика казался великолепен по контрасту с сюртуком блудного сына.

Обе девушки сошли к чаю рано на следующее утро. Лора Мэсон нарядилась в самую хорошенькую свою блузу, которая все-таки не была так хороша, как ее сияющее личико. Белые платья молодой девушки всегда были украшены лентами и кружевами. Она была кокетка по природе, ей хотелось поскорее наверстать все однообразные дни принужденного уединения.

Мистрис Дэррелль сидела за чайным столом, когда обе девушки вошли в комнату, а открытая Библия лежала возле нее между чашками и блюдечками. Лицо ее было бледно и казалось озабоченнее обыкновенного, а глаза потускнели от пролитых слез. Героизм женщины, молча и безропотно переносившей отсутствие сына, ослабел от неожиданной радости его воз-

вращения.

Она протянула руку обеим девушкам, когда здоровалась с ними. Элинор почти вздрогнула, почувствовав мертвенный холод этой исхудалой руки.

– Мы сейчас начнем пить чай, милые мои, – сказала спокойно мистрис Дэррелль. – Сын мой устал от продолжительного пути. Он встанет поздно.

Вдова налила чай и на несколько времени за чайным столом водворилось молчание. Ни Элинор, ни Лора не хотели говорить. Обе ждали – одна терпеливо, другая очень нетерпеливо – пока мистрис Дэррелль вздумает рассказать им что-нибудь о необыкновенном возвращении ее сына.

Точно будто хозяйка Гэзльуда, обыкновенно исполненная холодного достоинства и самоуверенности, несколько затруднялась говорить о странной сцене прошлого вечера.

– Мне едва ли нужно говорить вам, Лора, – сказала она довольно резко, после очень продолжительного молчания, – что если бы, что-нибудь могло уменьшить мою радость при возвращении моего сына, то, конечно, я огорчилась бы тем, что он воротился ко мне беднее, чем он уехал. Он пришел сюда пешком из Соутгэмптона, он пришел, как бродяга и нищий в дом своей матери. Но было бы жестоко с моей стороны осуждать моего бедного сына. В этом виноват его дядя,



Морис де-Креспиньи должен бы знать, что единственный сын полковника Дэррелля никогда не унизит себя до торговых занятий. Письма моего сына могли бы приготовить меня к тому, что случилось. Их краткость, их горький, унылый тон могли бы объяснить, как бесполезна для моего сына торговая карьера. Он сказал мне, что оставил Индию потому, что ему сделалось нестерпимо его положение там. Он воротился ко мне без денег, стало быть, вы не станете удивляться, что моя радость при его возвращении не совсем без примеси.

– Конечно, милая мистрис Дэррелль, – отвечала Лора, – но все-таки вы должны быть рады, что он воротился, и если он не составил себе состояния в Индии, он может разбогатеть в Англии. Он так хорош собой, так талантлив и...

Молодая девушка вдруг остановилась и покраснела от холодной пронизательности глаз Эллен Дэррелль. Может быть, в эту минуту в голове вдовы промелькнула мысль о богатом супружестве для ее красавца сына. Она знала, что Лора Мэсон была богата, Монктон говорил ей, что Лора будет иметь все преимущества, какие может дать богатство, но она не имела никакого понятия о том, как велико было состояние девушки.

Ланцелот Дэррелль проснулся поздно после своего

пешеходного странствования. Фортепьяно мисс Мэсон оставалось запертым из внимательности к путешественнику и вследствие этого Лоре и Элинор утро показалось необыкновенно длинным. У них так мало было занятий и развлечений, что лишение одного казалось очень жестоким. Они сидели после раннего обеда в тенистом уголке в кустарнике. Лора лежала на земле и читала роман, а Элинор вышивала что-то в подарок синьоре, когда листья лаврового дерева, закрывавшего их убежище, были раздвинуты и красивое лицо, то лицо, которое имело расстроенный и унылый вид вчера, а теперь только отличалось аристократической томностью, явилось в рамке темных листьев.

– С добрым утром или с добрым днем, – сказал Дэррелль, – я слышу, что вы в Гэзльуде держитесь первобытных привычек и обедаете в три часа? Я ищу вас уже полчаса, желая извиниться в том, что я испугал вас вчера. Когда безземельный наследник возвращается домой, он не может ожидать, чтобы его ждали два ангела на пороге. Если бы я мог предвидеть, кто меня встретит, я позаботился бы несколько более о моем туалете. Все мои вещи я оставил в Соутгэмптоне.

– О! – Не беспокойтесь о вашем костюме, мистер Дэррелль, – весело отвечала Лора, – мы обе так ра-

ды, что вы воротились домой. Не правда ли, Элинор? Мы ведем здесь такую скучную жизнь, хотя ваша мама очень к нам добра. Но расскажите нам о вашем путешествии пешком и обо всех неприятностях, какие вы перенесли. Расскажите нам ваши приключения, мистер Дэррелль.

Молодая девушка подняла свои светлые, голубые глаза с томным взглядом сострадания, но вдруг опустила их перед взором молодого человека. Он глядел то на одну, то на другую девушку, а потом, войдя в маленький амфитеатр, где они сидели, опустился на кресло, возле стола, за которым работала Элинор.

Ланцелот Дэррелль был красивым портретом своей матери. Черты, казавшиеся суровыми и жесткими в ее лице, у него имели почти женскую нежность. В черных глазах сиял какой-то ленивый блеск, они были полузакрыты черными ресницами, обрамлявшими белые веки. Прямой нос, низкий лоб, тонко обрисованный рот имели почти классическую красоту в своем физическом совершенстве, но в нижней части лица был недостаток, подбородок впадал там, где ему следовало выдаваться вперед, а красивый рот имел слабое и нерешительное выражение.

Дэррелль мог служить натурщиком живописцу для всех влюбленных, и поэтических и прозаических, но его никак нельзя было принять за героя или го-

сударственного мужа. Он имел все принадлежности грации и красоты, но ни одного из внешних признаков величия. Элинор Вэн чувствовала этот недостаток силы в молодом человеке, когда глядела на него. Ее быстрая пронизательность уловила единственный недостаток, портивший столько совершенств. «Если бы я нуждалась в помощи против убийцы моего отца, – думала девушка. Я не просила бы этого человека помогать мне».

– Теперь, мистрис Дэррелль, расскажите нам о всех наших приключениях, – сказала Лора, бросив книгу и принимаясь кокетничать с блудным сыном. – Мы умираем от желания послушать их.

Ланцелот Дэррелль пожал плечами.

– О каких приключениях, милая мисс Мэссон?

– О вашей индийской жизни, о вашем путешествии домой, об ужасных опасностях, о романтическом спасении, о тигровой охоте, о ночах, в которые вы заблудились в лесу, о страшных встречах с гремучими змеями, о блестящих балах у губернатора – вы видите я все знаю о жизни в Индии – о скачках, о волокитстве за калькуттскими красавицами.

Молодой человек рассмеялся энтузиазму мисс Мэсон.

– Вы более знаете о наслаждениях индийской жизни, чем я, – сказал он с некоторой горечью – бедня-

га, приехавший в Калькутту с одним рекомендательным письмом и пустым кошельком, и через несколько дней по приезде отправленный в провинцию, в такое уединенное место, где нет ни одного белого лица, кроме его собственного, не имеет возможности пользоваться празднествами в доме губернатора или ухаживать за калькуттскими красавицами, которые сохраняют свои улыбки для фаворитов фортуны – могу уверить вас. Что касается до охоты за тиграми, милая мисс Мэсон, я весьма мало могу сообщить вам сведений на этот счет, потому что надсмотрщик над плантациями индиго не имеет времени сделаться Жюлем Жераром.

На лице Лоры Мэсон выразилось большое разочарование.

– Стало быть, вы не любите Индию, мистер Дэррелль? – спросила она.

– Я ее ненавижу! – отвечал молодой человек сквозь сжатые зубы.

Ланцелот Дэррелль произнес эти три слова с такой сдержанной силой, что Элинор подняла глаза от работы, удивленная внезапной пылкостью молодого человека.

Он прямо смотрел перед собой своими черными глазами, нахмутив резко очерченные брови, на его бледных и несколько впалых щеках горели красные

пятна.

– Почему вы ненавидите Индию? – спросила Лора с неумолимим упорством.

– Почему человек ненавидит бедность и унижение, мисс Мэссон? Прекратим этот разговор. Уверяю вас, он не очень для меня приятен.

– Но ваше возвращение домой, – продолжала Лора, несколько не смутившись его грубым отказом, – вы можете рассказать нам ваши приключения во время вашего обратного путешествия домой.

– У меня не было приключений. Люди, путешествующие духопутно, могут рассказать что-нибудь, может быть, а я приехал самым дешевым и медленным путем.

– На корабле?

– Да.

– Как назывался этот корабль?

– «Индустан».

– Это название легко припомнить. Но, разумеется, у вас были разные удовольствия на корабле, вы играли в вист, давали театральные представления, издавали газету, или журнал и...

– О да, у нас все шло так, как всегда бывает на кораблях. Довольно было скучно. Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о Гэзльуде, мисс Мэсон, я гораздо более интересуюсь Беркширом, чем вы можете ин-

тересоваться моей индийской жизнью.

Молодая девушка охотно покорила его желанию. Она рассказывала Дэрреллю все «новости», какие только могли быть в таком месте, как Гэзлуд. Он слушал очень внимательно все, что мисс Мэсон рассказывала о его дяде, Морисе де-Креспиньи.

– Итак, эти тигрицы, мои тетушки, караулят его по-прежнему, – сказал он, когда Лора закончила. – Дай Бог, чтобы эти фурии обманулись в ожидании. А из семейства Вэн кто-нибудь старался пробраться к старику?

Элинор подняла глаза от своей работы, но очень спокойно, она привыкла слышать свое имя от тех, кто не подозревал ее личности.

– Кажется, нет, – отвечала мисс Мэсон, – старик Вэн умер два или три года тому назад.

– Да, матушка писала мне о его смерти.

– Вы были в Индии, когда это случилось?

– Да.

Лицо Элинор побледнело, а сердце тяжело забило в груди. Как смели они говорить о ее умершем отце тоном почти дерзкого равнодушия. Единственная страсть ее юной жизни имела над ней и теперь такую же сильную власть, как в то время, когда она на коленях в маленькой комнатке, приподняв сжатые руки к низкому потолку, произносила страшную клятву

своими юными устами.

Она вдруг бросила работу, встала и вышла из тени лаврового куста.

– Элиноор! – закричала Лора Мэсон, – куда вы идете?

Ланцелот Дэррелль сидел в небрежной позе, играя мотками шелка, клубками шерсти, всеми принадлежностями вышиванья, разбросанными на столе перед ним, но он поднял голову, когда Лора произнесла имя своей приятельницы и, может быть, первый раз пристально взглянул на мисс Вэн.

Он глядел на нее несколько минут, пока она разговаривала с Лорой за несколько шагов от него. Может быть, взгляд его был пристальнее, просто, от привычки живописца смотреть пристально на хорошенькое личико. Он скоро опустил глаза и глубоко вздохнул, как будто с облегчением.

– Случайное сходство, – пробормотал он, – такое сходство беспрестанно случается на свете.

Он встал и воротился в дом, оставив девушек вдвоем. Лора много говорила о его красивом лице и о непринужденной грациозности обращения, но Элиноор Вэн была рассеяна и задумчива. Имя ее отца напомнило ей прошлое. Ее спокойная жизнь и все ее тихие удовольствия рассеялись как утренний туман, который, исчезая, открывает весь ужас поля бит-



вы, и страшная картина прошлого явилась перед ней, мучительно живая, страшно действительная. Разлука на бульваре, продолжительная ночь агонии и неизвестности, встреча с Ричардом на мосту возле морга, изорванное, бессвязное письмо отца, ее мстительный гнев – все вернулось к ней, каждый голос ее сердца как будто звал ее прочь из пошлого спокойствия жизни к какому-нибудь отчаянному поступку правосудия и возмездия.

«Что мне делать с этой легкомысленной девушкой? – думала она. – Какое мне дело греческий или орлиный нос у Ланцелота Дэррелля, черные или карие у него глаза? Какую несчастную, бесполезную жизнь веду я здесь, когда мне следовало бы странствовать по всему свету и отыскивать убийцу моего отца!»

Она уныло вздохнула, вспоминая, как она бессильна. Что могла она сделать для того, чтобы приблизиться хоть на один шан к достижению цели, которую она называла целью своей жизни? Ничего! Она вспоминала с холодным чувством отчаяния, что хотя в минуты восторженности она ожидала впереди день торжества и мести, здравый рассудок говорил ей, что Ричард Торнтон сказал правду. Человек, вероломство которого было причиной смерти Джорджа Вэна, затерялся в хаосе многолюдной вселенной, не оставив ни-

каких следов, по которым его можно бы отыскать.

## Глава XVI. Подозрение юриста

Монктон приехал в Гэзльуд на другой день после приезда Ланцелота Дэррелля. Серьезный нотариус знал молодого человека до его отъезда в Индию, но между ними, по-видимому, не было большой близости, и Дэррелль, казалось, даже избегал близости с богатым другом своей матери.

Он отвечал на вопросы Джильберта Монктона об Индии и плантациях индиго с неохотным видом, который был почти дерзок.

– Последние годы моей жизни не имели в себе ничего приятного, так что я не имею никакой охоты вспоминать о них, – сказал он с горечью, – некоторые имеют привычку вести дневник, а я находил, что моя жизнь была довольно скучна для того, чтобы желать увеличить эту скуку, описывая ее. Я сказал моему деду, когда он принудил меня выбрать торговую профессию, что он ошибается, и последствия доказали, что я был прав.

Дэррелль говорил с таким равнодушием, как будто рассуждал о делах постороннего человека. Он, очевидно, думал, что в ошибках его жизни виноваты другие и что ему не только не стыдно, но еще приносит честь, как знатному джентльмену, что он воротился

домой без денег, пользоваться небольшим доходом матери.

– А теперь, что вы намерены делать? – спросил Монктон довольно резко.

– Я буду заниматься живописью. Я буду прилежно работать в этом тихом месте, приготовлю картину на выставку в академию к будущему году. Вы дадите мне сеанс, мисс Мэсон? – и вы мисс Винсент? – из вас выйдут великолепные Розалинда и Челия. Да, мистер Монктон, я попробую то высокое искусство, мастера которого были друзьями государей.

– А если вам не удастся...

– Если мне не удастся, я переменю имя и сделаюсь странствующим портретным живописцем. Но я не думаю, чтобы дед мой, Морис, намерен был вечно жить. Он должен же оставить свои деньги кому-нибудь, и какое бы завещание ни сделал он – а он, наверно, делал уже полдюжины завещаний – можно надеяться, что он разорвет последнее за полчаса до смерти и умрет, пока будет думать, как написать другое.

Молодой человек говорил так небрежно, как будто об удлэндском имении не стоило и рассуждать. Он имел привычку говорить равнодушно обо всем, и довольно было трудно разобрать его настоящие чувства – так искусно были они скрыты под этой поверхностной наружностью.

– У вас был прежде страшный соперник в привязанности вашего деда, – сказал Монктон.

– Какой соперник?

– Друг юности Мориса де-Креспиньи, Джордж Ванделер Вэн.

Лицо Ланцелота Дэррелля помрачнело при этом имени. Родные де-Креспиньи имели привычку считать отца Элинора хитрым врагом, против которого все отчаянные меры должны были быть позволительны.

– Мой дед, наверно, никогда не сделал бы сумасбродства оставить свои деньги этому моту, – сказал Дэррелль.

Элинора сидела у открытого окна, наклонившись над своей работой во время этого разговора, но она торопливо встала, когда Ланцелот Дэррелль заговорил о ее отце. Она была готова выйти с ним на бой, если бы было нужно. Она была готова сбросить свое ложное имя и объявить себя дочерью Джорджа Вэна, если бы его осмелились оскорбить. Всякий стыд, всякое унижение, выброшенные на него, она хотела разделить.

Но прежде чем она успела поддаться этой внезапной вспышке, заговорил Джордж Монктон и рассердившаяся девушка подождала, что он скажет.

– Я имею основательные причины думать, что Морис де-Креспиньи оставил бы свои деньги своему ста-

рому другу, если бы мистер Вэн был жив, – сказал нотариус. – Я никогда не забуду горести вашего деда, когда он прочел известие о смерти старика в «Галиньяни»<sup>2</sup>. Одна из ваших теток нарочно подложила ему эту газету.

– Ах! – с горечью сказал Дэррелль, – смерть Джорджа Вэна очистила дорогу этим фуриям.

– Или, может быть, вам.

– Может быть.

Мистрис Дэррелль слушала этот разговор, пристально устремив глаза на лицо Джильберта Монктона. Она заговорила в первый раз:

– Только один человек имеет право наследовать состояние моего дяди, и этот человек – мой сын.

Она поглядела на молодого человека, произнося эти слова и в этом одном взгляде, сверкнувшем материнской гордостью, вдова показала, как много любила она сына.

Молодой человек облокотился о фортепьяно и перевертывал ноты Лоры.

Монктон взял шляпу, пожал руку Лоре и мистрис Дэррелль и остановился у окна, у которого сидела Элинора.

– Как вы были молчаливы сегодня! – мисс Винсент, – сказал он.

---

<sup>2</sup> Газета, издаваемая в Париже на английском языке.

Девушка покраснела, подняв глаза на серьезное лицо нотариуса. Она всегда стыдилась своего ложного имени, когда Монктон называл ее этим именем.

– Когда вы с Лорой приедете посмотреть мою картину? – спросил он.

– Когда мистрис Дэррелль будет угодно взять нас, – чистосердечно отвечала Элинора.

– Слышите, мистрис Дэррелль? – сказал нотариус, – эти две молодые девицы должны посмотреть в Толльдэле на настоящего Рафаэля, купленного мною месяц тому назад. Вы, наверно, захотите взять вашего сына к дяде – не приехать ли вам завтракать в Приорат в тот день, когда вы отправитесь в Удлэндс.

– Это будет завтра, – отвечала мистрис Дэррелль, – дядя мой не может не пустить к себе Ланцелота после пятилетнего отсутствия, и даже мои сестры не могут быть так дерзки, чтобы запереть дверь перед моим сыном.

– Очень хорошо, Удлэндс и Приорат смежны между собой. Вы можете пройти через мой парк прямо в калитку парка де-Креспиньи, и таким образом напасть на врага врасплох. Это будет самый лучший план.

– Если вы позволите, любезный мистер Монктон, – сказала вдова.

Ей понравилась мысль врасплох явиться к ее незамужним сестрам, она знала, как трудно было про-

браться в цитадель, так ревниво охраняемую ими.

– А что, юные девицы, – воскликнул Монктон, проходя в открытую дверь балкона, – не удостоите ли вы проводить меня до калитки.

Обе девушки встали и вышли на луг с нотариусом. Лора Мэсон привыкла повиноваться своему опекуну, а Элинор всегда была рада изъявлять всевозможное уважение Джильберту Монктону. Она смотрела на него, как на что-то отдельное от той пошлой сферы, к которой она чувствовала себя прикованной. Она воображала иногда, что если бы могла рассказать ему историю смерти ее отца, он, может быть, помог бы ей отыскать убийцу старика. Она имела то безусловное доверие к его могуществу, которое молодая неопытная девушка почти всегда чувствует к человеку высокого ума и который старше ее двадцатью годами.

Монктон и обе девушки медленно шли по траве, но Лора Мэсон прежде чем дошла до калитки, убежала в кустарник за непослушной итальянской собачкой.

Нотариус остановился у калитки. Он молчал несколько минут и задумчиво смотрел на Элинор, как будто хотел ей сказать что-то особенное.

– Ну, мисс Винсент, как вам нравится Ланцелот Дэррелль? – спросил он наконец.

Вопрос этот казался довольно незначителен после молчания, предшествовавшего ему. Элинор колеба-



лась.

– Я, право, не знаю нравится он мне или не нравится, – сказала она, – он приехал только третьего дня... и...

– Все равно, вы скажете мне что вы думаете со временем, когда успеете составить уже мнение. Я полагаю, вы находите его очень красивым?

– О, да! – очень красивым!

– Но вас не может пленить красивое лицо – я это вижу по надменному сжатию ваших губ. Совершенно справедливо, в этом нет ни малейшего сомнения, мисс Винсент, но некоторые молодые девушки не так умны, как вы: их могут легко пленить нежные очертания классического профиля или блеск прекрасных черных глаз. Элинор Винсент, вы помните, что я говорил вам, когда вез в Гэзльд?

Монктон имел привычку называть обеих девушек по именам, когда говорил серьезно.

– Да, помню.

– То, что я сказал вам тогда, заключало в себе доверие, которое я нечасто оказываю таким недавним знакомым.

– Эта девочка, – прибавил нотариус, смотря на ту дорожку, по которой бегала Лора Мэсон, то лаская, то увещевая своих собак, – имеет нежное сердце и слабый ум. Я думаю, что вы охотно окажете услу-

гу ей и мне. А вы не можете оказать ей лучшей услуги, как защитив ее от влияния Ланцелота Деррелля. Не допускайте Лору влюбиться в это красивое лицо, мисс Винсент!

Элинор молчала, сама не зная, как отвечать на эту странную просьбу.

– Вы думаете, наверно, что я испугался слишком скоро, – сказал нотариус, – но в нашей профессии мы учимся заглядывать далеко вперед. Я не люблю этого молодого человека, мисс Винсент, он эгоист, он пусть и легкомыслен, да, кажется, еще и обманщик. Кроме того, в его жизни есть тайна.

– Тайна!

– Да, тайна, относящаяся к его пребыванию в Индии.

## Глава XVII. Тень в жизни Джильберта Монктона

Толльдэльский Приорат был выстроен из красного кирпича, в глубокой долине, почти закрытой густым лесом, окружавшим ее.

Дом был велик и прекрасен, там была длинная банкетная зала с потолком из черного дуба, с богатой, но весьма странной резьбой, и с мрачным коридором, говорят, принадлежавшая к царствованию Генриха II, но остальные комнаты были выстроены в царствование королевы Анны.

Сад был закрыт от дороги высокой кирпичной стеной, по которой несколько столетий уже вился плющ, растительность была так роскошна в этой плодородной долине, что потребовалось бы в три раза более садовников, чем содержалось в Толльдэле в последние двадцать лет, чтобы держать в порядке цветники, дорожки и кусты, которые когда-то подрезались в виде львов, лебедей, медведей и слонов и разных других красот старинных парков.

За домом павлины величественно расхаживали по устланному камнями двору, и большая дворцовая собака высовывала свою голову из конуры,

лая на каждого посетителя, как будто Приорат был каким-нибудь заколдованным жилищем, к которому ни один из посторонних приближаться не смел. Входили в дом с этого двора, и в темной передней висели огромные ботфорты и тяжелое седло из Толльдэля, отличавшегося в междоусобных войнах.

На окнах красовались из разноцветных стекол гербы и баронские короны, но ни одно из этих аристократических отличий не принадлежало настоящему владельцу дома – Джильберту Монктону, нотариусу.

Толльдэльский Приорат несколько раз переходил из рук в руки с тех пор, как была выстроена самая старинная часть дома. Джильберт Монктон купил поместье двадцать лет тому назад, у мистера Рэвеншоу, расточительного и беззаботного джентльмена, имевшего единственную дочь, о красоте которой много говорили в окрестностях. Слухи доходили даже до того, что будто бы Монктон был отчаянно влюблен в Маргарету Рэвеншоу, и для нее-то употребил он большую часть великолепного состояния, полученного им от отца на покупку Толльдэльского поместья и таким образом выручил отца этой девицы из затруднительных обстоятельств и дал ему возможность уехать на континент с его единственной дочерью.

Конечно, в этих слухах было много правды, так как немедленно после покупки этого поместья,

Джильберт Монктон выехал из Англии, оставив свою контору в распоряжение двух младших партнеров фирмы, которые, однако, по летам были моложе его. Он оставался за границей около двух лет и все думал, что он путешествует с мистером Рэвеншоу и его дочерью. Через два года он воротился совсем другим человеком.

Да, все бывшие в близких отношениях с Джильбертом Монктоном уверяли, что жизнь его была потрачена и весьма естественно выводили заключение, что эту перемену произвела несчастная привязанность, или, говоря яснее, что Маргарета Рэвеншоу обманула его.

Как бы то ни было, нотариус сохранил свою тайну. В его натуре не было сентиментальности. Какова бы ни была его горесть, он переносил ее очень спокойно и не просил сочувствия ни от кого. Но, воротившись в Англию, он посвятил себя своей профессии с усердием и с прилежанием, которых он прежде не обнаруживал.

Его разочарование – какого бы рода оно ни было – сделало в нем только эту перемену. Он сам не сделался мизантропом и другим не надоедал. Он стал чисто и просто деловым человеком. Чистосердечный, веселый молодой сквайр, убежавший из конторы отца, как будто каждый листок пергаментной или гербовой

бумаги был заражен чумой, превратился в терпеливого и трудолюбивого юриста, гигантский объем мыслей которого и непогрешимая непроницательность доходили почти до гениальности.

Лет десять новый владелец не жил в Тольдэльском Приорате, который был оставлен на попечение старой домоправительницы, любившей нюхать табак, и глухого садовника, который не впускал ни одного посетителя, потому что не слышал звонка у железной калитки. Но, наконец, настал день, когда Монк-тону надоел его лондонский дом на мрачном сквере Блумсбери, и он решил переселиться в свое Беркширское поместье. Он послал обойщиков в Толльдэльский Приорат со строгими приказаниями привести в порядок старую мебель, но не делать ничего более, даже не переменять ни одной занавеси, не переставлять на другое место ни стула, ни стола.

Может быть, ему хотелось видеть знакомые комнаты точно в таком виде, какой они имели, когда он сидел возле Маргареты Рэвеншоу двадцатилетним юношей, исполненным надежд. Он оставил старую ключницу, нюхавшую табак, и глухого садовника, а с собою привез немногих хороших слуг из Лондона. Городские слуги охотно бросили бы свое новое жилище и зеленую тень, как будто скрывавшую их от внешнего мира, но они получали такое большое жалованье,

что без весьма важной причины не могли отказаться от своего места и покорялись, как могли, скучному уединению их нового жилища.

Монктон ездил взад и вперед между Толльдэлем и Лондоном почти каждый день. Утром он ездил на железную дорогу в своем фаэтоне, а вечером, когда он возвращался, его встречал грум. Занятия нотариуса истощили его силы, и доктора предписали деревенский воздух и отдых время от времени, как решительно необходимые для него. Около десяти лет жил он в Приорате, знакомился мало с кем и положительно не имел друзей. Самые короткие его знакомые были де-Креспины. Это, без сомнения, произошло от того, что Удлэндское поместье было смежно с Толльдэльским. Монктон принимал знакомства, которые случай доставлял ему, но сам их не искал. Те, которые знали его лучше, говорили, что тень, так рано спустившаяся на его жизнь, никогда не проходила.

Разумеется, Элинор Вэн слышала обо всем этом во время своего пребывания в Гэзльуде. Это придавало серьезному юристу романтический интерес в глазах молодой девушки. Он, так же как и она, имел свою тайну и верно ее хранил.

## Глава XVIII. Не забыть

Мистрис Дэррелль повезла своего сына и обеих девушек в Толльдэльский Приорат по желанию Монктона. Вдова не имела особенного желанья вводить Лору и Элинора в дом своего дяди Мориса де-Креспиньи, потому что она имела ту сильную ревность ко всем посетителям, переступавшим за порог дома старика, которая известна только наследникам, зависящим от каприза больного. Но мистрис Дэррелль не могла оскорбить Монктона, он платил ей большие деньги за Лору и был не такой человек, которому можно бы безнаказанно идти наперекор.

Ланцелот Дэррелль развалился возле матери, курил сигару и обращал весьма мало внимания на цветущие изгороди и на роскошный сельский ландшафт. Обе девушки сидели на низкой скамеечке, спиной к пони и, следовательно, имели полную возможность рассмотреть лицо блудного сына.

В первый раз после возвращения Дэррелля Элинора рассматривала его красивое лицо, отыскивая в нем подтверждение слов, сказанных ей Джильбертом Монктоном накануне.

«Он эгоист, он пуст и легкомыслен – да кажется, еще и обманщик. Кроме того, в его жизни есть тайна –



тайна, относящаяся к его пребыванию в Индии», – вот что сказал Монктон. Элинон спрашивала себя: «Какое право он имел сказать так много?»

Невероятно было, чтобы девушка, в годах Элинон, непривыкшая к обществу, жившая всегда в уединении, не заинтересовалась несколько красавцем, жизнь которого имела романтический оттенок. Она заинтересовалась им еще более от того, что сказал ей Джильберт Монктон: «в жизни Ланцелота Дэррелля была тайна». Как это было странно! Неужели у каждого человека была своя тайна, запрятанная глубоко в груди, подобно той мрачной цели, которую Элинон задала себе вследствие безвременной кончины отца – какое-нибудь воспоминание, влияние которого должно было набросить тень на всю их жизнь?

Элинон глядела на лицо молодого человека. Оно имело выражение какой-то смелой беззаботности, которая казалась почти свойственна ему, но это не было лицо счастливого человека.

Лора Мэсон только одна разговаривала во время этой поездки в Толльдэль. Язык этой молодой девицы болтал беспрестанно очень мило, но ни о чем особенно. Полевые цветы на изгородях, легкие облака на летнем небе, красный мак в желтеющей пшенице, шумная курица на краю пруда, косматые лошади, смотревшие через забор фермы – каждый предмет,

одушевленный и неодушевленный, между Гэзльудом и Толльдэлем подвергался замечаниям мисс Мэсон. Ланцелот Дэррелль взглядывал на нее время от времени с выражением удовольствия, а иногда даже заговаривал с ней, но потом тотчас погружался в полупрезрительное, полуугрюмое молчание.

Монктон принял своих гостей в длинной, низкой библиотеке, выходявшей окнами в запущенный сад, эта темная комната затемнялась еще тенью от вьющихся, чужеядных растений, нависших над узкими окнами. Но серьезный хозяин дома особенно любил эту комнату. Тут сидел он в длинные одинокие вечера, которые он проводил дома. Гостиная на нижнем этаже, открывались только в те редкие случаи, когда нотариус принимал в своем доме старинных друзей или блестящих клиентов, которые были рады поохотиться с неделю в лесистых окрестностях Приората.

Ни Лора, ни Элинор не пришли в энтузиазм от картины Рафаэля, которая, по мнению девушек, представляла какой-то угловатый и не совсем приятный тип женской красоты, но Ланцелот Дэррелль вступил с хозяином в художественное рассуждение, продолжавшееся до тех пор, пока седой буфетчик нотариуса, толстый и исполненный достоинства человек, служивший еще отцу Джильберта Монктона, не доложил, что завтрак подан. Говорили, что этот буфетчик

знал лучше историю своего господина, чем самые короткие друзья Джильберта.

Было около трех часов, когда кончился завтрак и все общество отправилось предпринять нашествие на Удлэндс. Ланцелот Дэррелль вел под руку мать, а обе девушки шли позади с нотариусом.

– Вы, кажется, никогда не видали мистера де-Креспиньи, мисс Винсент? – сказал Джильберт Монктон, когда они вышли из железной калитки на узкую тропинку, извивавшуюся по лесу.

– Никогда! Но я очень желаю его видеть.

– Почему это?

Элинор колебалась. Она вечно должна была вспоминать свое присвоенное имя и ложь, которой она покорила, из уважения к гордости своей сестры. К счастью, нотариус не дождался ответа на свой вопрос.

– Морис де-Креспиньи странный старик, – сказал он, – очень странный. Я иногда думаю, что Ланцелот Дэррелль обманется в ожидании и его тетки также.

– Обманется в ожидании!

– Да, я очень сомневаюсь, чтобы эти старые девы или их племянник, получили богатство Мориса де-Креспиньи.

– Но кому же он его оставит?

Нотариус пожал плечами.

– Не мне отвечать на этот вопрос, мисс Винсент, – сказал он. – Я только рассуждаю по своим соображениям, совершенно не зная фактов. Если бы я был нотариусом де-Креспиньи, я не имел бы права говорить даже этого, но так как не я его нотариус, я могу свободно рассуждать об этом деле.

Монктон и Элино́р были одни в это время, потому что Лора Мэсон упорхнула вперед и разговаривала с Ланцелотом Дэрреллем. Лицо нотариуса помрачнело, когда он смотрел на Лору и молодого человека.

– Вы помните, что я сказал вам вчера, мисс Винсент? – спросил он после некоторого молчания.

– Все помню.

– Я очень боюсь влияния этого красивого лица на мою бедную легкомысленную питомицу, я удалил бы ее от этого влияния, если бы мог, но куда же я ее дену? Бедняжка! – ее уже довольно таскали из места в место. Она, кажется, счастлива в Гэзльуде, очень счастлива с вами?

– Да, – откровенно отвечала Элино́р, – мы очень любим друг друга.

– И вы все согласитесь сделать для ее пользы?

– Все на свете.

Монктон вздохнул.

– Вы можете принести ей пользу только в одном отношении, – сказал он тихо, как бы говоря скорее сам

с собой, чем с Элинор, – а между тем...

Он не закончил своей фразы, но шел молча, потупив глаза в землю. Он только время от времени поднимал голову и прислушивался с тревожным выражением к оживленному разговору Ланцелота и Лоры. Таким образом шли они по тенистому лесу, где только полет фазана и веселые звуки голоса Лоры нарушали тишину.

За лесом, на вершине невысокого холма, стояла низкая и белая вилла – дом большой и прекрасный, но выстроенный в современном вкусе и по красоте и величию гораздо ниже Толльдэльского Приората.

Это был Удлэндс, дом, который Морис де-Креспиньи выстроил для себя двадцать лет тому назад, дом так ревниво охраняемый двумя незамужними племянницами больного.

Монктон посмотрел на часы, когда он и Элинор догнали мистрис Дэррелль.

– Половина четвертого, – сказал он, – мистер де-Креспиньи обыкновенно катается в кресле в это время. Вы видите, я знаю обычаи цитадели и, следовательно, знаю как произвести нечаянное нападение. Если мы пройдем через парк, мы непременно с ним встретимся.

Он повел общество к калитке, запертой защелкой, и все вошли во владения де-Креспиньи.

Сердце Элинор Вэн сильно билось: она готовилась увидеть старого и дорого друга ее отца, того друга, к которому его не допускали, к которому ему воспрещено было обратиться в час его крайности.

«Если бы мой бедный отец мог написать к де-Креспиньи и просить его помочь ему, когда он проиграл эти сто фунтов, может быть, он был бы спасен от жестокой смерти», – думала Элинор.

Счастье благоприятствовало посетителям. В тенистой аллее, расстилавшейся с одной стороны холма, они встретили старика и обеих сестер. Старые девы шли с каждой стороны дядиного кресла, выпрямившись с грозным видом, как гренадеры.

Морис де-Креспиньи казался двадцатью годами старше своего расточительного друга. Его склоненная голова слабо выдавалась вперед. Тусклые глаза казались слепы. Дряхлая рука лежала на кожаном фартуке кресла и дрожала, как лист от осеннего ветра. Тень приближающейся смерти как будто уже порхала над этим слабым существом.

Обе старые девы встретили свою сестру не весьма дружелюбно.

– Эллен! – воскликнула мисс Лавиния, старшая. – Какое неожиданное удовольствие! И Сюзанна, и я, мы обе рады тебя, видеть, но так как это один из самых худших дней нашего милого больного, твое посе-

щение сегодня очень некстати. Если бы ты написала и уведомила нас, что ты будешь...

– Вы захлопнули бы передо мною дверь, – решительно сказала мистрис Дэррелль. – Пожалуйста не притворяйся вежливой ко мне, Лавиния. Мы прекрасно понимаем друг друга. Я пришла сюда задним входом, я знала, что меня не пустят в парадную дверь. Ты хорошо караулишь, Лавиния, и я должна похвалить твое терпение.

Вдова подошла к креслу дяди, другие остались позади. Смело шла она на битву со своими сестрами, храбро сражаясь за своего обожаемого сына, который, казалось, был слишком равнодушен и нерадив, чтобы заботиться о своих интересах.

Старые девы злобными глазами смотрели на бледное лицо своей сестры, их несколько утратил решительный вид вдовы.

– Кто эти люди, Эллен Дэррелль? – спросила младшая из двух старых дев. – Или вы хотите убить моего дядю, что привели к нему толпу посторонних в такое время, когда нервы его в самом плохом состоянии?

– Я привела не посторонних. Один из этих людей мой сын. Он пришел засвидетельствовать свое уважение деду после его возвращения из Индии.

– Ланцелот Дэррелль воротился! – воскликнули обе сестры в один голос.

– Да, воротился позаботиться о своих интересах, воротился с весьма признательными чувствами к тем, кто способствовал к тому, чтобы он был выслан из своей родной страны губить свою молодость в нездоровом климате.

– Некоторым в Индии удается, – злобно сказала Лавиния де-Креспиньи, – но я никогда не думала, чтобы Ланцелот Дэррелль мог получить там какую-нибудь выгоду.

– Как же вы были добры, что посоветовали ему ехать туда! – быстро возразила мистрис Дэррелль.

Потом, пройдя мимо изумленной мисс Лавинии, она приблизилась к дяде и наклонилась к нему.

Старик поглядел на свою племянницу, но в его голубых глазах, побледневших от старости, не виднелось, что он ее узнал.

– Дядюшка Морис, – сказала мистрис Дэррелль, – разве вы не узнаете меня?

Больной покачал головой.

– Да-да-да, – сказал он.

Но на лице его была бесстрастная улыбка, и будто он машинально произнес эти слова.

– Вы рады видеть меня, милый дядюшка?

– Да-да-да! – отвечал старик точно таким же тоном.

Мистрис Дэррелль с отчаянием взглянула на своих сестер.



– Неужели он всегда таков? – спросила она.

– Нет, – резко отвечала мисс Сюзанна, – он бывает таков только, когда ему надоедают. Мы сказали, что сегодня вашему дяде очень худо, Эллен, а несмотря на это вы так жестоки, что непременно хотите мучить его.

Мистрис Дэррелль обернулась к сестре со сдерживаемой яростью.

– Когда наступит день, в который меня примут здесь радушно, Сюзанна де-Креспиньи? – сказала она. – Я выбираю время, удобное для меня, и пользуюсь первой возможностью, какая мне представится говорить с моим дядей.

Она оглянулась на группу, оставшуюся позади ее, и сделала знак своему сыну.

Ланцелот Дэррелль прямо подошел к креслу своего деда.

– Вы помните Ланцелота, дядя Морис? – умоляющим тоном, сказала мистрис Дэррелль. – Я уверена, что вы помните Ланцелота.

Обе сестры завистливо и пристально смотрели на дядю. Казалось, будто густые тучи исчезали из памяти старика, потому что слабый свет сверкнул в его тусклых глазах.

– Ланцелот! – сказал он. – Да, я помню Ланцелота. Он в Индии, бедняжка, он в Индии.

– Он был в Индии, милый дядюшка, несколько лет. Вы помните, как он был несчастен: тот плантатор, к которому он должен был поступить, обанкротился, прежде чем Ланцелот доехал до Калькутты, так что мой бедный сын не мог даже воспользоваться единственным рекомендательным письмом, которое он взял с собой в незнакомую страну, следовательно, он должен был сам позаботиться о средствах к жизни. Климат был ему вреден, дядюшка Морис, и вообще он был там очень несчастлив. Он выносил так долго, как только мог, жизнь, несвойственную для него, а потом бросил все, чтобы воротиться в Англию. Вы не должны сердиться на моего бедного сына, милый дядюшка Морис.

Старик как будто оживился. Он беспрестанно кивал головой, пока племянница говорила с ним, а теперь на его лице проглядывало разумное выражение.

– Я не сержусь на него, – сказал он, – его была воля ехать и воротиться. Я сделал для него все, что мог, но, разумеется, он имел полное право выбирать себе карьеру, и теперь имеет. Я не требую, чтобы он повиновался мне.

Мистрис Дэррелль побледнела. Эти слова, как будто выражали отсутствие всякого интереса к участи ее сына. Она предпочла бы, чтобы дядя сердился и негодовал на возвращение молодого человека.

– Но Ланцелот желает угодить вам во всем, милый дядюшка, – умоляла вдова. – Он будет очень, очень огорчен, если он прогневал вас.

– Он очень добр, – отвечал старик, – он меня не прогневал. Он имеет полное право поступать, как знает! Я сделал для него все, что мог – я сделал все, что мог, но он совершенно свободен. Обе сестры с торжеством переглянулись. В этом состязании за милостивое расположение богача, по-видимому, ни Эллен Дэррелль, ни ее сын не приобретали никаких выгод.

Ланцелот наклонился над креслом старика.

– Я очень рад, что, по возвращении моем, нашел вас живым и здоровым, сэр, – сказал он почтительно.

Старик поднял глаза и пристально взглянул на красивое лицо, наклонившееся к нему.

– Ты очень добр, племянник, – сказал он, – я иногда думаю, что все желают моей смерти, потому что после меня останутся кое-какие деньги. Тяжело думать, что каждое дыхание наше неприятно тем, кто живет с нами – очень тяжело!

– Дядюшка! – закричали незамужние племянницы с ужасом, – когда это вам вообразилось!

Старик покачал головой и слабая улыбка мелькнула на его трепещущих губах.

– Вы очень добры ко мне, милые мои, – сказал он, – очень добры, но больным приходят в голову странные

фантазии. Я иногда думаю, думаю, что я живу слишком долго для себя, и для других. Но это все равно, это все равно. Это кто такие? – спросил он совсем другим тоном.

– Это мои друзья, дядюшка, – отвечала мистрис Дэррелль, – а один из них ваш друг. Вы знаете мистера Монктона?

– Монктона! О, да-да! Монктон, нотариус, пробормотал старик. – А эта девушка кто такая? – вдруг вскричал он.

Голос и обращение его внезапно изменились, будто какое-то великое удивление гальванизировало его к новой жизни.

– Кто эта девушка? – продолжал он. – С белокурыми волосами, которая смотрит в эту сторону? Скажите мне, кто она, Эллен Дэррелль.

Он указывал на Элинор Вэн. Она стояла несколько поодаль от Джильберта Монктона и Лоры, она сняла свою широкую соломенную шляпку и повесила ее на руку, а ее каштановые волосы развевались от теплого летнего ветерка. Забыв о предосторожностях, в сильном желании посмотреть на самого дорогого друга ее отца, она подвинулась на несколько шагов вперед своих спутников и смотрела на группу, окружавшую кресло старика.

– Кто она, Эллен Дэррелль? – повторил де-Креспин-

ны.

Мистрис Дэррелль почти испугал нетерпеливый тон старика.

– Эта молодая девушка учительница музыки другой молодой девушки, которая воспитывается у меня, дядюшка Морис, – отвечала она. – Что в ней привлекает ваше внимание?

Глаза старика наполнились слезами, которые медленно потекли по его поблекшим щекам.

– Когда Джордж Вэн и я были студентами в Модлине, – отвечал Морис де-Креспиньи, – друг мой был живым изображением этой девушки.

Мистрис Дэррелль обернулась и поглядела на Элинор, как будто хотела уничтожить эту девушку за то, что она осмеливалась походить на Джорджа Вэна.

– Мне кажется, ваши глаза обманывают вас, милый дядюшка, – сказала вдова, – я знала довольно хорошо Джорджа Вэна и в этой мисс Винсент никогда не находила с ним никакого сходства.

Морис де-Креспиньи покачал головой.

– Мои глаза не обманывают меня, – сказал он. – Это моя память иногда бывает слаба, а мое зрение еще довольно хорошо. Когда ты знала Джорджа Вэна, у него были седые волосы и красота его поблекла, а когда я познакомился с ним, он был молод, как эта девушка, и походил на нее. Бедный Джордж! Бедный

Джордж!

Три сестры переглянулись. Какая бы вражда ни существовала между мистрис Дэррелль и ее незамужними сестрами, они все три были совершенно согласны в одном, то есть, что воспоминание о Джордже Вэне и его семействе следует во что бы то ни стало изгладить из головы Мориса де-Креспиньи.

Старик уже несколько лет не говорил о своем друге и старые девы, его племянницы, с торжеством думали, что все воспоминания о молодости их дяди помрачались и потускнели от старости. Но теперь, при виде белокурой восемнадцатилетней девушки, старые воспоминания воротились со всей своей силой. Внезапная вспышка чувства, как громовой удар, поразила сестер и они лишились того обыкновенного инстинкта самосохранения, того всегдашнего присутствия духа, которое в другое время побудило бы их тотчас увести старика подальше от этой светло-русой девушки, которая имела дерзость походить на Джорджа Вэна.

Сестры никогда не слыхали о рождении младшей дочери мистера Вэна. Много лет уже сношения мистрис Дэррелль и Гортензии Баннистер ограничивались письмами, и вдова маклера не считала необходимым формально уведомлять свою приятельницу о рождении своей младшей сестры.

– Скажите этой девушке, чтобы она подошла сю-

да, – вскричал Морис де-Креспиньи, указывая дрожащей рукой на Элинора. – Пусть она подойдет сюда: я хочу посмотреть на нее.

Мистрис Дэррелль сочла неблагоразумным противиться желаниям дяди.

– Мисс Винсент, – резко позвала она девушку, – пожалуйста, подите сюда: дядя мой желает говорить с вами.

Элинора Вэн испугал зов вдовы, но она поспешно подошла к креслу старика. Ей очень хотелось посмотреть на друга своего покойного отца и она встала возле старика. Морис де-Креспиньи взял ее за руку.

– Да, – сказал он, – да-да! – Это почти то же лицо – почти то же. Бог благословит вас, моя милая! Я помолодел пятидесятью годами, глядя на вас. Вы похожи на друга, который был очень дорог для меня – очень дорог. Бог да благословит вас!

Девушка побледнела от силы своих чувств. О! Если бы отец ее был жив, она могла бы упросить за него этого старика и соединить разрозненные связи прошлого. Но какая польза была теперь в сострадательных словах Мориса де-Креспиньи? Они не могли вернуть к жизни умершего, они не могли уничтожить страшного одиннадцатого августа – той ужасной ночи, в которую проигрыш жалкой суммы довел Джорджа Вэна до рокового поступка, кончившего его жизнь.

Нет! – Его старый друг ничего не мог для него сделать; его любящая дочь ничего не могла сделать для него теперь, кроме того, чтобы отомстить за его смерть.

Увлекаемая своими чувствами, забыв принятую ею на себя роль, забыв все, кроме того, что рука, сжимавшая ее руку была та самая, которая дружески сжимала руку ее отца, много-много лет тому назад, Элинор Вэн стала на колени возле кресла старика и прижала его исхудалые пальцы к своим губам.



## Глава XIX. Неуловимое воспоминание

Мистрис Дэррелль была в отчаянии, когда поздно вечером уехала из Толльдэльского Приората. Своим визитом в Удлэндс она не принесла никакой пользы, напротив, казалось вероятным, что она нанесла себе большой вред; случайное сходство компаньонки Лоры Мэсон с покойным Джорджем Вэном вызвало в душе старика смутные воспоминания о прошедшем. Вдова почти не раскрывала рта во время всего переезда домой. Она охотно наказала бы Элинора за несчастную случайность, вследствие которой она походила на покойного и с неудовольствием заметила ей еще в Приорате:

– Право, можно подумать, что вы хотите воспользоваться вашим сходством с мистером Вэном, чтобы втереться в милость моего дяди, мисс Винсент.

В тоне вдовы слышался сарказм. Элинора сильно покраснела, но даже и не пробовала возражать на оскорбительные слова мистрис Дэррелль. Ложное положение, в которое она себя поставила, приняв чужое имя, постоянно возмущало ее врожденную правдивость.

Если бы мистрис Дэррелль имела возможность отказать Элино́р Вэн, она без всякого сомнения сделала бы это, потому что присутствие молодой девушки теперь было для нее источником больших опасений. На то были две причины: во-первых, сходство, найденное Морисом де-Креспиньи между Элино́р и его умершим другом, могло рано или поздно внушить ему причудливую привязанность к этой девушке; а во-вторых, обворожительная красота Элино́р могла произвести впечатление на Ланцелота Дэррелля. Тяжкий опыт убедил вдову, что сын ее не был способен пожертвовать для нее даже самым незначительным капризом. В двадцать семь лет он был таким же избалованным ребенком, каким был в семь. Эллен Дэррелль бросила взгляд на горькие испытания прошлого и вспомнила, как было трудно заставить ее сына не изменять даже своим собственным выгодам. Своенравный и эгоист, он шел своим путем, всегда полагаясь на свое красивое лицо, на свою изворотливость, на пустые, но блестящие дарования, чтобы выйти из всякого затруднения и, жадно предаваясь наслаждению настоящей минуты, без малейшей заботы о каком бы то ни было наказании, которое оно готовило в будущем. Мистрис Дэррелль сосредоточила все чувства своего сердца в одну страсть – любовь к сыну. Холодная и осторожная с другими, с ним

она была способна увлекаться, была общительна, пламенна, готова пролить всю кровь своего сердца у ног его, если бы ему понадобилось подобное доказательство ее преданности. За него она была ревнива и требовательна, строга к другим, жестока и непримирима к тем, которых считала его врагами.

За Ланцелота она испытывала опасения, за него она была честолюбива. Надежда, что дядя ее, Морис, оставит ему свое состояние или, с другой стороны, умрет, не сделав завещания и оставляя таким образом Ланцелота законным наследником, ее никогда совершенно не покидала. Но даже если бы не сбылось и это, то сестры ее, как и она сама, были пожилые женщины. Если б им удалось лестью выманить у Мориса де-Креспиньи его состояние, они все же должны были со временем оставить его их единственному племяннику, Ланцелоту. Так рассуждала вдова. При этом ей казалось, что она открыла новую возможность в пользу своего сына. Лора Мэсон, богатая наследница, явно восхищалась красивым лицом и блестящими манерами молодого человека, а потому ничего не могло быть правдоподобнее как то, что Ланцелоту удастся овладеть и рукою и состоянием причудливой молодой девушки.

При этих обстоятельствах мистрис Дэррелль очень хотелось удалить Элинор Вэн от своего сына, но до-

стичь этого было нелегко. Когда она стала выводить образ мыслей Лоры Мэсон в этом отношении и намекнула ей издали на необходимость расстаться с Элинор, богатая наследница залилась слезами и объявила с сердцем, что она не может жить без душечки Нелли, когда же мистрис Дэррелль зашла еще далее и коснулась до этого предмета в разговоре с Мойктоном, нотариус ответил ей положительно, что находит в обществе мисс Винсент большую пользу для его воспитанницы и не хочет слышать ни о каких распоряжениях, которые бы их разлучили. Мистрис Дэррелль не оставалось ничего более, как покориться судьбе, надеясь, что хоть на этот раз сын ее будет руководим собственной выгодой, а не увлечением страстей, которые управляли его действиями в беззаботные, бурные дни его ранней молодости.

Она убеждала его, умоляла быть осторожным и предусмотрительным в будущем.

– Ты выстрадал так много от бедности, Ланцелот, – говорила она, – что теперь, вероятно, не упустишь случая улучшить свое положение. Вспомни прошлое, друг мой, вспомни тяжкое время, когда для меня ты был потерян, увлекаемый низкими и порочными товарищами, когда ко мне ты обращался только находясь в затруднении или в долгах. Подумай о твоей жизни в Индии, о годах, проведенных там без пользы – то-

гда как ты так даровит, так умен и мог бы быть так счастлив. О, Ланцелот! Если бы та знал, как горько матери видеть, что обожаемое ею дитя не пользуется ни одним случаем, чтобы достигнуть возвышенного положения в свете, которое принадлежит ему по праву... да, Ланцелот, по праву твоих дарований. Я никогда не упрекала тебя в том, что ты возвратился домой без денег. Если бы ты еще двадцать раз возвращался ко мне в таком виде, в каком пришел в ту ночь, ты всегда был бы встречен мною с одинаковой любовью. Пока я жива, моя любовь к тебе не может измениться, но я жестоко страдаю, когда я припоминаю, как жалко погибла твоя молодость. Ты должен бы быть богат, Ланцелот, ты не можешь быть беден. Есть люди, которых бедность как будто побуждает к достижению величия, тебе же она только преградила путь к славе, которую ты приобрел бы непременно.

– Без сомнения, преградила, матушка, – отвечал молодой человек с горечью – Я такого мнения, что от поношенного фрака у всякого отнимутся руки и нелегко держать высоко голову, на которой надета шляпа без малейшего признака ворса. Но я вам скажу: я не намерен проводить жизнь мою в праздности, я хочу заняться живописью, в последние годы я сделал порядочные успехи.

– Это меня радует, друг мой. Так ты имел много сво-

бодного времени, которое мог посвящать этому занятию?

– Пропасть времени! На этот счет мне было очень хорошо.

– Так ты не был завален делом в Индии?

– Не всегда... смотря по обстоятельствам, – отвечал равнодушно молодой человек. – Да, матушка, я хочу сделаться живописцем и попробовать составить себе состояние своей кистью.

Мистрис Дэррель вздохнула. Она желала бы, чтоб сын ее достиг богатства путем более быстрым, чем медленный и многотрудный путь, посредством которого достигает его художник.

– Если б ты мог составить богатую партию, Ланцелот, – сказала она, – ты мог бы посвятить себя искусству, не подвергаясь мучительным опасениям, которые выпадают на долю человека, поставленного в совершенную зависимость от своей профессии. Ни за что на свете я не хотела бы, чтоб ты продавал себя за деньги: я вполне понимаю, сколько страданий влечет за собой женитьба из-за одних денег, но если...

Молодой человек стряхнул со лба свои темные волосы и, улыбаясь матери, перебил ее:

– Если б я влюбился в мисс Лору Мэсон, которая, по вашим словам, со временем будет обладать огром-

ной суммой денег, то доказал бы тем насколько я умен? Не то ли вы хотите сказать, madre mia? Что ж? Я прилагаю все старания. Молодая девушка хороша собою, но ее ребяческая наивность решительно бесценна. Какая же цифра состояния должна уравнивать столько пустоголового легкомыслия? Что вы скажете на это, матушка?

– Определить тебе этого в точности я не могу, Ланцелот. Я знаю только, что мистер Монктон сообщил мне, что Лора будет со временем очень богата.

– Правда, Джильберт Монктон, хотя и юрист, однако из числа тех надежных людей, которые никогда не говорят неправды. Хорошо, матушка, мы посмотрим, более я ничего не могу сказать вам.

В продолжение этого разговора молодой человек стоял перед своим мольбертом с палитрой и кистью в руке. От времени до времени он делал несколько штрихов на картине, которую написал после своего возвращения. Он занимал свои прежние комнаты. Мать проводила с ним большую часть дня, пока он работал, она сидела у открытого окна со своим шитьем, когда же он в минуту отдохновения садился за фортепьяно, наигрывая мотивы вальса или стараясь припомнить напев, написанный им в былое время, она прислушивалась к звукам его музыки, она постоянно следила за ним восторженным взглядом, на который

забота матери о будущем сына налагала оттенок грусти.

Ланцелот Дэррелль не был дурным молодым человеком. Он принимал любовь матери с каким-то небрежным эгоизмом, общим всем баловням счастья, на которых была излита лишняя доля материнской преданности. Он поглощал всю любовь вдовы и платил ей взамен за нее легким снисходительным вниманием, которое ни стоило ему ни труда, ни жертв и удовлетворяло скромные требования ее самоотверженного сердца.

– Вот, будь бедная компаньонка богатой наследницей, – сказал мистер Дэррелль, продолжая писать свою картину, – ваш план был бы очарователен. Элинор Винсент чудо что за девушка, у нее немного горячая головка! Я подозреваю, как она ни кротка, ни тиха с нами, но она великолепная девушка; именно такого рода жену следует иметь ленивому мужу, жену, которая вывела бы его из апатии и могла бы побудить искать отличия...

Да, Ланцелот Дэррелль, который никогда в жизни не мог устоять против какого бы то ни было искушения, который никогда не знал другого руководителя в своих действиях, как собственное желание, повиновался ему и теперь, и вместо того, чтоб посвятить все свое внимание молодой наследнице, ему вздумалось



влюбиться до безумия в ее белокурую компаньонку. Он влюбился в Элинор Вэн отчаянно, со свойственным ему увлечением. Я сомневаюсь, однако, чтоб любовь молодого человека была очень сильна, потому что не предполагаю его способным испытывать истинное, глубокое чувство. В его природе истинная страсть заменялась какой-то поверхностной мишурной пылкостью. Может быть, в нем все чувства – любовь и раскаяние, угрызения совести и жалость, печаль и ненависть, злоба и мщение – все было искренно и неподдельно, пока он их испытывал, но все эти чувства были так непродолжительны вследствие непостоянства его души, что было невозможно довериться даже их кратковременной искренности.

По молодости и по недостатку опыта, Элинор Вэн не была в состоянии понять характер своего обожателя. Она знала только, что он красив, умен и талантлив, что он любит ее и что приятно быть им любимой.

Я не думаю, чтоб она отвечала любовью на его чувства. Она была подобна ребенку, который остановился на пороге нового для него мира, ослепленный при виде блистательного зрелища, представляемого неизвестной страной, который обманут ее красотой и новостью и восхищается ими. Все темные стороны великой страсти ей были неизвестны, она и не подзревала их. Она понимала только то, что на горизон-

те жизни, так долго бледном и тусклом, взошла новая звезда – блестящая, чудная планета, которая затмила на время сероватый свет, так долго озарявший ее мрачный путь.

Элинор Вэн поддалась обаянию непродолжительного, но светлого праздника, который для каждой женщины наступает один раз в жизни, как бесцветна, как печальна бы ни была остальная ее часть. Праздник наступает – скоротечное лето с его удовольствиями и наслаждениями. Землю освещает новое солнце и новая луна; цветы принимают новые оттенки, издают новое благоухание в чистом воздухе; воды самой обыкновенной реки превращаются в расплавленные сапфиры и сверкают при солнечных лучах всем блеском драгоценных камней. Этот скучный мир превращается в волшебную страну, но – увы! праздничное время непродолжительно: детям или надоест рай, или их посылают назад в школу; солнце и месяц превращаются в обыкновенные светила; яркие, пышные цветы превращаются в обыкновенные; река льется серым потоком, отражая в себе ноябрьское небо, и свидению конец!

Ланцелот Дэррелль, пробыв не более двух недель в Гэзльуде, объяснился уже в любви своей компаньонке мисс Мэсон. Молодые люди все это время часто бывали вместе; они блуждали по зеленым лу-

гам окрестностей Гэзльуда и в тенистых рощах Толльдэльского Приората или на горах, обвеваемых свежим ветром, которые окружали дом нотариуса и служили ему защитой. В надежде на союз между Ланцелотом и воспитанницей Джильберта Монктона, мистрисс Дэррелль должна была покориться необходимости такого сближения и с компаньонкой богатой наследницы.

«Верно же Ланцелот не будет настолько сумасброден, чтоб положить преграду моим планам для его будущности, – думала заботливая мать. Не может быть, чтоб мне не удалось склонить его руководствоваться своею собственною выгодною. Джильберт Монктон должен предполагать вероятным, что между Ланцелотом и Лорою может возникнуть любовь. Он не оставлял бы молодой девушки у меня, если бы не был готов на подобное событие, и расположен изъявить согласие на их брак. Мой сын, конечно, беден, но нотариус знает, что его ожидает богатое наследство».

Пока мать размышляла таким образом о возможностях к улучшению судьбы ее сына, молодой человек смотрел на жизнь очень легко, он проводил все утро перед своим мольбертом и, изнуря себя отчасти излишним трудом, все послеобеденное время посвящал прогулкам по окрестностям с двумя девушками.

Лора Мэсон наслаждалась полным счастьем в обществе этого нового, блистательно одаренного собеседника. Она была очарована, совершенно увлечена небрежной болтовней мистера Дэррелля, которая казалась очень остроумна, глубокомысленна, саркастична и красноречива несведущей молодой девушке. Она восхищалась им, влюбилась в него и надоедала бедной Элинор очень откровенным воспеванием похвал предмету своей любви.

– Ведь я знаю, Элинор, что влюбиться в кого-нибудь прежде чем тебя полюбят, очень отважно, очень безнравственно, даже просто ужасно! – говорила молодая девушка не очень изысканным языком. – Но он так красив собою, так умен! Я не думаю, чтоб кому-нибудь на свете было возможно не влюбиться в него.

Можно было предположить, что воспитанница Монктона скорее находила наслаждение в безнадежности своей любви. Однако ж чувства, которые таились в ее сердце, едва ли согласовались вполне с теми надеждами на будущее, с тем взглядом на отношения к предмету ее любви, которые она высказывала Элинор. Мисс Вэн была с нею терпелива и ласкова, выслушивала ее ребяческую болтовню и со страхом думала о той минуте, когда для неопытной молодой девушки настанет внезапное пробуждение от розовой мечты.

– Я не желаю выходить за него замуж, как вам известно, Элинор, – говорила мисс Мэсон, – я только желаю, чтоб мне было позволено его любить. Помните рассказ о германском рыцаре, который не спускает глаз с окна кельи его возлюбленной, утраченной для него навсегда в монастырских стенах? Я могла бы весь век жить вблизи его и довольствоваться возможностью видеть его иногда, даже тем только, чтоб слышать звук его голоса, если бы нельзя было его видеть. Мне хотелось бы ходить одетой мальчиком, быть его пажом и рассказать ему когда-нибудь мою собственную историю.

Припоминая свое обещание Джильберту Монктому, Элинор пробовала иногда останавливать поток сентиментальной болтовни Лоры.

– Я знаю, как ваша любовь поэтична, я уверена и в том, что она очень искренна, моя душечка, – говорила она, – но вполне ли мистер Дэррелль достоин всей этой траты чувств, как вы полагаете? Мне так иногда кажется, что мы грешим, тратя таким образом наши лучшие чувства. Предположите, например, что вы встретились бы с человеком, вполне настолько же заслуживающим любовь, как и Ланцелот Дэррелль, но предположите, что он любил бы вас со всей преданностью души: не пришлось ли бы вам раскаиваться, бросая взгляд на прошлое, в том, что вы потрати-

ли самые свежие чувства вашего сердца на человека, который...

– Все не заботится обо мне, – вскричала Лора почти со слезами. – Вы это хотели сказать, Элинор Винсент? Вы этим хотите сказать, что он ко мне совершенно равнодушен. Вы жестоки, в вас нет сердца, вы не любите меня ни на каплю.

И молодая девушка жаловалась на свое разочарование, плакала над жестокостью своей судьбы точно так же, как бы плакала, несколько лет тому назад, прося новой игрушки.

Было знойное утро августа месяца, когда Ланцелот Дэррелль объяснился в любви Элинор Вэн. Обе девушки служили ему моделями для одной картины, в которой Элинор была Розалиндой, а Лора – Челией, они составляли прехорошенькую группу. Розалинда была в женском платье, а не в костюме цвета серого с зеленым, в котором обыкновенно ездила по лесам. Художник избрал сцену, когда Челия обещает своей кухне разделять ее изгнание.

Картина назначалась на выставку академии и должна была положить первое основание богатству мистера Дэррелля. Лору вдруг вызвали из комнаты для какого-то важного совещания с модисткою из Уиндзора, и Ланцелот остался наедине с Элинор.

Молодой человек продолжал некоторое время

свою работу, потом, бросив кисть с жестом нетерпения, он подошел к окну, возле которого Элинор сидела на возвышении, драпированном потертым шерстяным штофом красного цвета.

– Как вы полагаете, будет ли моя картина иметь успех, мисс Винсент? – спросил он.

– О, да, я думаю, я надеюсь, но я не судья в этом деле, как вам известно.

– Почему же ваше суждение хуже суда публики? – возразил с некоторым нетерпением Ланцелот. – Конечно, критики постараются мета отделать – я в этом уверен, но я на них и не рассчитываю для покупки моей картины. Без сомнения, они станут обвинять меня в недостатке тщательной отделки, найдут, что я неестественен, холоден, сух, беден в композиции и держусь сероватого колорита, а по моему мнению, лучшая картина та, которая хорошо продается... Как вы об этом думаете, мисс Винсент?

Элинор подняла немного брови и посмотрела на него с удивлением; этот далеко невозвышенный взгляд оскорблял ее понятие о достоинстве искусства.

– Кажется, вы находите мои чувства низкими и корыстолюбивыми, – сказал художник, перетолковывая выражение ее лица, – но я уже пережил романтическую эпоху моей жизни, или, по крайней мере, часть

моего романа, я не испытываю очень сильной жажды к величию в отвлеченном. Я просто стремлюсь к приобретению денег. Нужда в деньгах побуждает людей ко всем возможным сумасбродствам, иногда даже увлекает их далее – до рубежа, отделяющего сумасбродство от порока.

При этих словах лоб молодого человека вдруг омрачился, он замолк на несколько минут и, отводя взор от своей собеседницы, по-видимому, устремил его бессознательно в открытое окно.

Слова Джильберта Монктона внезапно представились уму Элиноর: «В жизни Ланцелота Дэррелля есть тайна», – говорил нотариус «тайна, относящаяся к его пребыванию в Индии». Элинор спрашивала себя, не об этой ли он тайне размышляет? Но лицо живописца прояснилось почти так же внезапно, как омрачилось. Быстрым движением он откинул назад голову, как будто он этим внезапным движением сбросил со своих плеч какую-нибудь воображаемую тягость.

– Я стремлюсь к приобретению денег, мисс Винсент, – повторил он. – Искусство в пределах отвлеченного, без сомнения, очень возвышенно. Я вполне верю, что мог существовать художник, который заколол кинжалом натурщика, чтоб уловить агонию смерти для своей картины распятия, а я, видите ли, я на-



хожусь вынужденным подчинять искусство моим личным потребностям, потому что я должен зарабатывать деньги для себя самого и для моей жены, Элинор. Быть может, я мог бы жениться и на богатой, но выбор мой пал на бедную. Как вы думаете, Элинор, примет ли мою любовь девушка, которую я избрал? Согласится ли она разделить со мной сомнительную будущность, которую я могу ей предложить? Достанет ли у нее твердости на то, чтоб решиться разделять участь человека, суждено которому бороться с своею судьбою?

Ничего не могло быть героичнее тона, с которым говорил Ланцелот. Он скорее походил на человека, который намерен трудиться с непреклонным самопожертвованием мученика для достижения цели своего честолюбия, чем на молодого человека пылко-го, но непостоянного, который готов упасть духом под влиянием первой минуты уныния и жить на деньги, вырученные за залог часов, пока его недоконченная картина гниет на станке.

Что-то в нем напоминало характер Джорджа Вэна, гибельный темперамент того рода людей, которые всегда идут на совершение великих подвигов и часто не в состоянии исполнить самого незначительного дела. Он был из числа тех людей, которые постоянно обманывают других силою способности обманывать

себя самих.

Увлеченный ложным убеждением в свои силы, обманываясь сам, немудрено, что он обманул Элинор Вэн: могла ли она устоять против пылкого потока его речи, в которой он высказал ей, что любит ее и что все счастье его жизни зависит от решения, которое она произнесет?

С ее дрожащих губ срывались одни бессвязные восклицания. Мисс Вэн не любила, она только была увлечена и, быть может, несколько очарована пылкостью чувств Ланцелота Дэррелля. Он был первый изящный, красивый и образованный молодой человек, с которым она находилась в таком сближении. Итак, удивительно ли, что неопытная восемнадцатилетняя девушка поддалась влиянию его пламенного восторга, красноречию его пылких чувств?

В волнении она поднялась со своего места и встала спиной к окну, освещенному солнцем, она дрожала и краснела под взором своего обожателя.

Из этих признаков ее смущения Ланцелот Дэррелль не мог не вывести лестного для себя заключения.

– Вы меня любите, Элинор, – сказал он, – да, вы меня любите. Не опасаетесь ли вы, что моя мать будет против этого брака? Вы, стало быть, не знаете меня, моя дорогая, если можете предположить, что я дозволю какому-нибудь препятствию стать между мной

и моей любовью. Для вас я готов принести всякого рода жертву, Элинор. Только скажите, что вы меня любите – и я буду иметь новую цель в жизни, новую побудительную причину для труда.

Мистер Дэррелль держал обе руки Элинор в своих, пока он убеждал ее и повторял избитые фразы, но с такой пламенной искренностью, что старые слова получали новую жизнь. Лицо его было так близко к лицу Элинор, яркие лучи летнего солнца прямо падали на него и обливали его своим светом. Какая-то внезапная мысль, что-то неопределенное, смутное, неясное, неуловимое, как воспоминание сна, подробности которого мы тщетно усиливаемся припомнить, вдруг пробудилось в душе сироты Джорджа Вэна в ту минуту, когда она смотрела прямо в черные глаза своего обожателя. Она немного отступила от него, ее брови слегка сдвинулись, краска смущения сошла с ее лица, пока она старалась определить себе самой это внезапное впечатление. Но ее усилия остались тщетны, быстро, как мелькнувшая молния, мысль эта озарила ее ум, чтоб исчезнуть навсегда. Пока она все еще силилась уловить нить последних мыслей, пока Ланцелот Дэррелль все еще умолял об ответе, дверь комнаты вдруг отворилась настежь – она, вероятно, была только притворена ветреной мисс Мэсон – и в ней показалась вдова, бледная, с видом строгим

и грустным.

## Глава XX. Узнан

– Я полагала, что Лора с вами; – несколько резко заметила мистрис Дэррелль, пристально всматриваясь в лицо Элинор не совсем дружелюбными глазами.

– Она ушла от нас только несколько минут тому назад, – равнодушно ответил Ланцелот, – ее вызвали к швее, или модистке, или не знаю к какому лицу, важному в деле женского наряда. Я не полагаю, чтоб душа этой молодой девушки когда-либо возносилась выше уровня кружев, лент и других разных ветошек, которые достаиваются от женщин общего названия их вещей.

Мистрис Дэррелль значительно нахмурилась, услышав презрительный отзыв сына о богатой наследнице.

– Лора Мэсон очень милая и образованная девушка, – заметила она.

Молодой человек пожал плечами и взялся за палитру и кисти.

– Не потрудитесь ли вы снова принять позу Розалинды, мисс Винсент, – сказал он. – И надо полагать, что наша ветреная Челия скоро вернется...

– Сходи за нею сам, Ланцелот, – перебила мистрис Дэррелль. – Мне нужно переговорить с мисс Винсент.

Ланцелот Дэррелль швырнул на пол кисть и быстро обернулся к матери с выражением гневного вызова на лице.

– О чем таком вам нужно говорить с мисс Винсент, чего не можете вы сказать в моем присутствии? – спросил он. – Что значит, матушка, ваше внезапное появление, как будто с целью напасть на нас врасплох? Чего вы хмуритесь на нас, как на двух заговорщиков?

Мистрис Дэррелль выпрямились во весь рост и бросила на сына взгляд частью строгий, частью презрительный. По свойству своей природы, во всех отношениях слабее и менее возвышенной, чем была природа его матери, Ланцелот уклонялся от всякой открытой борьбы с нею. Как нежно она не любила этого эгоистичного красивого негодяя, бывали минуты, в которые лучшие чувства в ней возмущались против слабости сердца: в подобные минуты Ланцелот Дэррелль боялся матери.

– Мне надо многое сообщить мисс Винсент, – ответила вдова с серьезною важностью. – Впрочем, если ты не соглашаешься оставить нас одних, то, без сомнения, она будет довольно любезна и последует за мною в другую комнату.

В голосе вдовы слышался скрытый гнев. Элинор, пораженная этим, взглянула на нее с удивлением

и сказала:

– Я пойду с вами куда вам угодно, мистрис Дэррелль, если только вы желаете со мною говорить.

– Так последуйте за мною.

Мистрис Дэррелль вышла из комнаты в сопровождении Элиноор, прежде чем молодому человеку представилась возможность возразить. Вдова направила свой путь к хорошенькой комнатке, служившей спальною мисс Винсент. Обе женщины вошли в нее, и мистрис Дэррелль затворила за собою дверь.

– Мисс Винсент, – сказала она, взяв руку Элиноор в свои руки, – я обращаюсь к вам с большею откровенностью, чем женщины обыкновенно оказывают друг другу. Я могла бы прибегнуть к дипломатическим уверткам и действовать против вас тайно, но я не до такой степени низка, хотя, сознаюсь, я могу унижить себя до многого, что достойно презрения для моего сына. С другой стороны, я имею высокое о вас мнение и нахожу откровенность самой лучшей политикой с вами. Мой сын просил вашей руки – не так ли?

– Милостивая государыня... – произнесла, запинаясь, Элиноор, – смотря с ужасом на бледное лицо мистрис Дэррелль, суровое выражение которого заключало в себе что-то трагическое.

– Я уже сказала вам, что для блага моего сына, я способна решиться на поступок, достойный презре-

ния. Я проходила мимо двери, когда Ланцелот говорил с вами. Дверь не совсем была притворена: я слышала несколько слов, довольно для того, чтоб понять предмет разговора, я остановилась, чтоб услышать более. Я подслушивала, мисс Винсент. Не достойно ли это презрения?

Элинор молчала. Она стояла перед вдовою с потупленным взором. Краска то выступала на ее лице, то исчезала, она была взволнована, смущена тем, что случилось, но среди этого волнения и замешательства в душе ее преобладало воспоминание о мимолетной мысли, мелькнувшей в ее уме пока говорил Ланцелот Дэррелль.

– Вы, верно, презираете меня за этот поступок, мисс Винсент? – сказала мистрис Дэррелль, поясняя себе таким образом молчание молодой девушки, – но, может быть, настанет время, когда и вы, в свою очередь, узнаете мучительные заботы матери, те неусыпные попечения, ту неутомимую бдительность, лихорадочные всепоглощающие опасения, которые может испытывать только мать. Если когда-нибудь наступит для вас подобное время, вы почувствуете себя способной мне простить и вспомните обо мне с состраданием. Я не жалуясь на сына, я никогда не жаловалась на него, но я страдаю – о, как я страдаю! Как мне больно видеть, что он не зани-



мает никакого положения в свете, что он презираем людьми, счастливыми успешно пройденной карьерой! Тяжело видеть его с бесполезно утраченной молодостью в прошедшем и бесцветным будущим впереди! Я люблю его, но не заблуждаюсь на его счет. Время заблуждений давно прошло. Сам он никогда не приобретет ни богатства, ни счастья. Ему остаются только два способа: наследовать состояние дяди или сделать богатую партию. Я говорю с вами очень откровенно, мисс Винсент, как видите, и надеюсь, что вы мне ответите такую же откровенностью. Любите ли вы моего сына?

– Милостивая государыня, мистрис Дэррелль, я...

– Вы не хотели отвечать ему... прошу вас отвечать мне. Все счастье его будущности зависит от вашего ответа. Я знаю, ему представляется возможность жениться на богатой девушке, которою он любит: ее состояние доставит ему то положение в свете, которое он должен занимать. Будьте великодушны, мисс Винсент, я прошу вас сказать только правду. Я не многого прошу от вас. Любите ли вы моего сына, Ланцелота Дэррелля? Любите ли вы его всем сердцем и душою, как люблю я?

Элинор вдруг подняла голову, прямо посмотрела в лицо вдовы и гордо произнесла:

– Нет, не люблю!

– Благодарю Бога за это! Даже если бы вы его любили, и то не остановило бы меня: я стала бы умолять вас пожертвовать собою для его счастья. Теперь же я обращаюсь к вам с моею просьбою, не колеблясь ни минуты. Согласитесь ли вы оставить этот дом? Согласитесь ли вы оставить мне моего сына с теми способами на успех, на которые я могу рассчитывать, чтоб устроить его будущность?

– Я уеду, мистрис Дэррелль, – отвечала Элинор серьезно, – может быть, до сегодняшнего дня мне казалось... я воображала... что... я хочу сказать, что мне льстило внимание вашего сына и, может быть, я думала, что я любила его немного, боязливо произнесла молодая девушка вполголоса. – Но теперь я вижу ясно, что я заблуждалась. Искренность и сила вашей привязанности, может быть, открыли мне глаза на ложность и непрочность моей любви. Я помню, как любила отца – при этих словах глаза Элинор наполнились слезами и, припоминая мои чувства к нему, я убеждаюсь, что никогда не любила мистера Дэррелля.

Гораздо лучше для меня уехать. Конечно, мне жаль расстаться с Лорою, жаль расстаться с Гэзльудом; я была здесь очень счастлива – слишком счастлива, быть может! Письмом я извещу вашего сына, что уезжаю отсюда по собственному желанию.

– Благодарю вас, моя милая, – сказала вдова с чувством. – Мой сын очень сурово обошелся бы со мною, имей он только подозрение, что я своим влиянием лишила его удовлетворения какой-нибудь фантазии. Что это чувство, подобно всем другим его чувствам, не будет вечно – в этом я уверена, я знаю его слишком хорошо. Я знаю, он будет раздосадован, оскорблен вашим отъездом, но это не разобьет его сердце – поверьте мне.

– Я желала бы уехать немедленно, мистрис Дэррелль, – сказала Элинора, – мне будет легче уехать тотчас же. Я могу возвратиться в Лондон к моим друзьям. Я накопила немного денег, пока жила с вами, я не возвращаюсь к ним совершенно без всяких средств.

– Вы великодушная девушка, девушка с благородным сердцем. Моя обязанность позаботиться о том, чтобы доставить вам по крайней мере такое же пристанище, какое вы имели здесь. Я не настолько эгоистка, чтобы забывать, какой жертвы я требую от вас.

– Так вы позволяете мне уехать тотчас? Мне не хотелось бы видеть Лору и прощаться с нею. Мы так полюбили друг друга. У меня никогда не было сестры, то есть никогда такой, а Лора была для меня точно сестра. Позвольте мне уехать потихоньку, не увидевшись с нею, мистрис Дэррелль. Я напишу ей из Лон-

дона и в письме прощусь с нею.

– Делайте, как вам угодно, моя милая, – отвечала вдова. – Я доведу вас до Уиндзора вовремя, чтобы успеть к четырехчасовому поезду и вы засветло будете в Лондоне. Теперь я пойду посмотреть, что делает Ланцелот. О, если бы он только подозревал!

– Он ничего не узнает прежде чем я буду уже далеко! – воскликнула Элинор. – Теперь второй час, мистрис Дэррелль, мне надо уложить свои вещи. Нельзя ли вам, под каким-нибудь предлогом удержать при себе Лору, чтобы она не входила в мою комнату? Если она войдет, то все отгадает.

– Да-да, я пойду и буду за всем наблюдать, я все устрою.

Мистрис Дэррелль поспешно удалилась, предоставляя Элинор свободу обдумывать внезапную перемену в ее положении. Молодая девушка вытащила из угла просто мебелированной комнаты один из своих чемоданов и села на него в довольно грустном расположении духа, размышляя о неожиданном переломе в ее жизни. Еще раз она находила себя вынужденной расстаться с прошедшим и начать новую жизнь.

– «Неужели я никогда не будут знать отдыха? – думала она. – Я так привыкла к этому месту. Конечно, мне будет приятно увидаться опять с синьорою и Ричардом, но Лора, но мистер Монктон, будут ли они

скучать обо мне?..»

В три часа пополудни все приготовления Элинора были закончены, чемоданы уложены и сданы на руки фактотума Гэзльуда, которому поручено было позаботиться о их верной доставке к багажному поезду после отъезда молодой девушки. Ровно в три часа мисс Винсент заняла свое место возле мистрис Дэррелль в низеньком плетеном кабриолете. Вследствие благоприятного стечения обстоятельств, отъезд молодой девушки никем не был замечен. Лора Мэсон совершенно изнемогла от сильного напряжения умственных способностей во время продолжительного совещания с модисткою, она бросилась на софу в гостиной, вылив полсклянки одеколона на свой тоненький носовой платок. Измученная понесенными трудами, убаюкиваемая летним зноем, молодая девушка погрузилась в тяжелый сон, продлившийся около трех часов. Ланцелот Дэррелль вышел из дома почти немедленно после сцены в его мастерской, он ушел, не сказав ни слова о том, куда намерен идти и когда предполагает вернуться.

Вследствие всего этого маленький экипаж, спокойно отъехал от ворот Гэзльуда, и Элинора рассталась с домом, в котором прожила около года, так незаметно, что никто не вздумал осведомиться о причине ее отъезда.

Во время переезда до Уиндзора мистрис Дэррелль и ее спутница поменялись немногими словами. Элинор была погружена в глубокую думу. Покидая Гэзлуд, она не испытывала сильной грусти, но в душе ее было уныние и какое-то чувство одиночества при мысли о том, что она, как странница на этом свете, не имеет никаких настоящих прав на кого бы то ни было, никакого настоящего права на отдых где бы то ни было. Пока она размышляла таким образом, они въехали в Уиндзор. Они уже оставили за собою парк и въезжали в ворота у подножия горы. Они въехали на гору и были уже на главной улице у замка, как вдруг мистрис Дэррелль воскликнула, пораженная удивлением:

– Ланцелот... Мы должны проехать мимо него на пути к станции железной дороги... Этого нельзя избежать...

Элинор взглянула в ту сторону. Действительно, перед дверью одной из лучших гостиниц стоял мистер Ланцелот Дэррелль с двумя другими молодыми людьми. Один из них говорил ему что-то, но он мало обращал на него внимания, а стоял к нему спиной на самом краю тротуара. Он преспокойно сбрасывал носком сапога камешки на дорогу и устремлял прямо перед собою угрюмый взор. В то самое мгновение, когда экипаж летел во весь опор мимо молодого чело-

века, мысль, мелькнувшая в уме Элинор так быстро и неуловимо утром, облеклась теперь в новую форму и восстала перед нею ясно и живо.

Этот человек, этот Ланцелот Дэррелль, был угрюмый незнакомец, который в Париже, стоя на бульваре, точно так же сбрасывал с тротуара сухие листья и выжидал ее отца, чтобы вовлечь его в гибель.

## Глава XXI. След найден

Экипаж подъехал к зданию вокзала и Элинор, как будто во сне видела стены замка, его башни, движение на улице и толпу народа, которая суетливо сновала перед ее глазами, сливаясь в пеструю массу. Она не могла дать себе отчета, как вошла в вокзал, как очутилась на платформе, медленно расхаживая по ней взад и вперед возле мистрис Дэррелль. У нее пересохло горло, ее душило, туман расстилался перед ее глазами и почти невыносимое смешение мыслей давило ей мозг. Ей хотелось бежать прочь, куда-нибудь, только бы уйти далеко от всех людей! А между тем она ходила взад и вперед по платформе возле матери Ланцелота Дэррелля.

– Я сумасшедшая, – думала она. – Я просто сумасшедшая! Это не может быть!

Сколько раз в течение кратковременного сближения Элинор Вэн с сыном вдовы, нечто, какая-то мысль, какое-то смутное воспоминание, неясное и неопределенное, как самое легкое летнее облачко над Гэзльудом, вдруг промелькнет в ее уме, чтобы изгладиться прежде, чем она успеет его уловить или уяснить себе. Теперь же все эти мимолетные впечатления слились в одно – в убеждение, что Ланце-



лот Дэррелль тот самый человек, которого она видела на бульваре в тот вечер, когда в последний раз простилась со своим отцом.

Напрасно она представляла себе, что не имеет никакого основательного повода для подобного убеждения, несмотря ни на что, убеждение ее было непоколебимо. Единственным поводом к подозрению, что Ланцелот Дэррелль именно тот, которого она ищет, служило сходство в позе, когда он стоял на улице в Уиндзоре с позою, принятою молодым человеком, виденным ею на бульваре. Более шаткого основания не могло существовать для подобной мысли. Элинор Вэн сознавала это вполне, но не могла побороть своего убеждения: оно овладело ее душою с быстротою и силою вдохновения в ту самую минуту, когда воспоминание об отце и его смерти было всего далее от ее ума.

Это обстоятельство было непостижимо и объяснить его нельзя было ничем. Какой-то внутренний голос говорил ей, что молодой человек, небрежно стоявший на тротуаре Уиндзорской улицы, был тот же самый незнакомец, который угрюмо выжидал на бульваре, пока его товарищ заманивал Джорджа Вэна идти на свою гибель.

Казалось, как будто память Элинор, вдруг одаренная новою силою проницательности, возвратилась

к тому вечеру в августе 1853 года и еще раз становилась ее лицом к лицу с врагом отца. Еще раз мрачный блуждающий взор, бледное коварное лицо с черными усами, на которое низко надвинутая шляпа набрасывала тень, на миг представились ее умственному взору, как в ту минуту, когда угрюмый незнакомец повернул голову, чтоб слушать в мрачном молчании болтовню товарища. И с этим воспоминанием прошедшего, и лицо и вся наружность Ланцелота Дэррелля были в такой тесной связи, что Элинор Вэн, несмотря на все свои усилия, не могла разъединить этих двух образов.

И она позволила этому человеку, единственному из всех других, говорить себе слова любви! Она находила романтическое удовольствие в его поклонении, день за днем, час за часом, она была его собеседницей, разделяя его удовольствия, сочувствуя его надеждам, восхищаясь им и доверяясь ему! В этот день – в этот самый день, он держал ее руку, он нежно смотрел ей в лицо. Слова, сказанные ею Ричарду Торнтону, оказались пустым хвастовством: инстинкт сердца не открыл ей присутствия убийцы отца. Мистрис Дэррелль украдкой бросила взгляд на лицо молодой девушки. Суровая неподвижность этого бледного лица поразила вдову. Выражало ли оно горе, сдержанное сверхъестественным усилием воли?

«Не любит ли она моего сына? – думала она. Гор-

дочь матери скоро решила вопрос. Верно, любит... Как может быть иначе? Может ли какая-нибудь женщина на свете оставаться к нему равнодушной?»

– Я боюсь, что вы нездоровы, милая мисс Винсент, – сказала вдова. – Внезапный отъезд, верно, причинил вам волнение свыше ваших сил. Прошу вас, моя милая, не думайте, чтоб я покорялась этой необходимости без большого сожаления. Я вполне была вами довольна все время вашего пребывания в моем доме. В каких лестных выражениях я бы ни отзывалась о вас при помещении вас в новый дом, они будут только согласовываться с истиною. Простите, простите мне, милое дитя, я знаю, что должна вам казаться жестокой, но я люблю моего сына так нежно, так сильно...

В ее голове, в ее словах слышалось искреннее чувство, но голос ее раздавался в ушах Элиноор: как будто в отдалении и смысл ее слов до нее не доходил. Молодая девушка обратила к собеседнице свое лицо, неподвижное, как мрамор, и сделала слабое усилие, чтоб вникнуть в смысл речи, обращенной к ней, однако она казалась лишена на ту минуту всякой способности понимать – в таком хаосе были все ее мысли.

– Я желаю возвратиться в Лондон, – сказала она, – мне надо удалиться отсюда. Скоро ли отправится поезд, мистрис Дэррелль?

– Через пять минут. Ваши деньги в этом пакете, моя милая, жалованье за одну треть, считая от первого июня, как вам известно. Я расплачиваюсь с вами до сентября. Я заплатила также за ваш билет, чтоб вы не тратили своих денег. Ваши вещи вам будут присланы завтра. Вы легко найдете кэб у станции железной дороги в Лондоне, моя милая. Ваши друзья, верно, будут удивлены при вашем появлении.

– Мои друзья? – повторила Элинор рассеянным тоном.

– Да, ваши друзья, добрая учительница музыки и ее сын. Я имею ваш адрес, мисс Винсент и, будьте уверены, вы скоро получите от меня известие. Я позабочусь о том, чтоб вы не были поставлены в затруднительное положение через неожиданную перемену в наших планах. Прощайте, моя милая. Бог да благословит вас.

Между тем Элинор заняла свое место в вагоне, поезд тотчас должен был тронуться. Мистрис Дэррелль протянула ей руку, но молодая девушка откинулась от нее назад с внезапным движением ужаса.

– О, ради Бога! Не пожимайте мне руки! – вскричала она. – Я очень, очень несчастна!

Поезд двинулся прежде, чем вдова нашла ответ на эту странную речь и последнее, что видела Элинор, было бледное лицо матери Ланцелота Дэррелля,

обращенное к ней с выражением сильного удивления.

«Бедное дитя! – думала мистрис Дэррелль, медленно направляясь к подъезду вокзала, где ее ждал экипаж. Она глубоко потрясена, но поступает благородно».

Вдова вздохнула, вспомнив, что самая тяжелая часть борьбы ей еще предстоит. Она шла навстречу негодования сына и должна была вынести не бурный гнев человека с сильной натурой, несправедливо разлученного с любимой женщиной, а тоскливое раздражение избалованного ребенка, лишенного любимой игрушки.

Было почти темно, когда Элинор Вэн достигла Пиллястров. Расплатившись, она отпустила извозчика на улице Дедли и прошла через знакомый ей свод в эту часть города, там, по-видимому, ничто не изменилось: те же самые дети, казалось, играли в те же самые игры в полусвете сумерек, те же лошади выглядывали из дверей конюшен, те же извозчики пили в старом трактире на углу.

Синьора давала урок пения непонятливой молодой девушке с толстым лицом, в веснушках, которая готовилась для оперы и желала явиться в одном из театров в роли «Нормы» после десятка-другого уроков. Элиза Пичирилло прилагала невероятные усилия, чтоб пояснить трудный пассаж этой Гризи в заро-

дыше, когда Элино́р Вэн отворила дверь в маленькую гостиную и появилась на пороге.

Было бы весьма естественно, если б молодая девушка бросилась к фортепьяно и обняла синьору, рискуя опрокинуть тупую ученицу, но во всем существе Элино́р, когда она остановилась в дверях, было столько неестественного, что-то такое безжизненное, призрачное, что Элиза Пичирилло встала в испуге с табурета и устремила на нежданную посетительницу взор, исполненный ужаса.

– Элино́р! – воскликнула она. – Элино́р!..

– Да, милая синьора, это я! – ваша Элино́р. Я... я знаю, что возвратилась к вам очень неожиданно. Мне многое вам надо пересказать, но не теперь. Я до смерти устала. Могу ли я посидеть здесь, пока вы закончите урок?

– Можете ли посидеть, душечка Нелли? и вы говорите таким образом в вашем прежнем доме! Мое дорогое дитя, как неожидан бы ни был ваш приезд, Элиза Пичирилло всегда встретит вас с любовью. Как могли вы в этом сомневаться? Сядьте сюда, моя дорогая, расположитесь как можно удобнее до тех пор, как у меня будет время заняться вами. Извините меня, мисс Додсон, мы сейчас вернемся к нашему дуэту.

Учительница музыки пододвинула старинное удобное кресло, ее любимое, и Элино́р, опустилась

на него в изнеможении. Синьора Пичирилло сняла с нее шляпку, нежно пригладила спутавшиеся волосы, приговаривая слова радостного приветия и дружбы и, шепнув ей на ухо, что урок скоро кончится.

Она возвратилась к своей «Норме», убедившись в том, что Элинора удобно сидеть в ее кресле, и принялась за добросовестное исполнение дуэта «Deh conte», в котором мисс Додсон передала мысль итальянского композитора в крайне смягченном виде и пела о Поллио, о своих детях, о своих оскорблениях так спокойно, как будто выражала желание превратиться в бабочку, или ощущала какое-нибудь другое чувство, общее всем певцам английских баллад. Когда мисс Додсон закончила свое пение, она надела шляпку и шаль и употребила на это гораздо более времени, чем бы следовало; после того она свернула свои ноты и долго искала перчатки, упавшие с фортепьяно и запрятавшиеся в темный и пыльный угол комнаты, потом она пустилась в подробное и запутанное изложение своих семейных обстоятельств и занятий, назначила день для следующего урока, и только после всей этой проделки окончательно вышла из комнаты в сопровождении синьоры, которая ей светила на лестнице и давала подробное наставление насчет кратчайшего пути от Пиластров до Кэмден-Тона. Только тогда, наконец, Элиза Пичирилло нашла

возможность обратить все свое внимание на бледную Элинор, возвратившуюся так неожиданно в свой прежний приют. Учительница музыки была почти испугана выражением ее лица. Она слишком хорошо помнила, что видела это самое выражение, и прежде, в одну сентябрьскую ночь в Париже, когда пятнадцатилетняя девочка поклялась отомстить врагам отца.

– Нелли, моя милая, – говорила она, садясь возле молодой девушки, – что заставило вас возвратиться домой так внезапно? Я вполне счастлива, имея вас опять возле себя, но что-нибудь особенное, должно быть, случилось: я это вижу по вашему лицу, Нелли. Скажите мне, милое дитя, что с вами?

– Ничего не случилось такого, чему стоило бы огорчаться, моя дорогая синьора. Я оставила дом потому-потому, что мистрис Дэррелль этого желала. Ее сын – ее единственный сын возвратился из Индии: она желает, чтоб он женился на богатой девушке, а он... он...

– Он влюбился в вас, не так ли, Нелли? – спросила синьора. – Что же, я тут ничего не вижу удивительного, моя милая, вы слишком благородны, чтоб не удалиться и не предоставить молодому человеку свободу жениться из расчета, по просьбе матери. Боже мой! На какие странные поступки в наше время люди готовы из-за денег? Я нахожу, что вы поступили очень



благоразумно, моя душечка. Но развеселитесь, дайте мне взглянуть на ясную улыбку, которую мы привыкли видеть на вашем лице. Тут не из чего быть такой бледной, Нелли.

– Разве я бледна?

– Бледна, как привидение, утомленное странствованием целой ночи. Милая Нелли, – прибавила синьора с большой нежностью, – вы не любите этого молодого человека, вы не отвечали на его любовь, скажите мне.

– Люблю ли я его? – вскричала Элино́р, содрогаюсь, – о нет, нет!

– А все-таки вы, кажется, огорчены тем, что покинули Гэзльуд.

– Да, я огорчена. Я... я желала бы оставаться там, я имею на то много причин.

– Вы, верно, были привязаны к мисс Мэсон.

– Да, я очень любила ее, – ответила Элино́р. – Но не спрашивайте меня более сегодня, моя дорогая синьора, я измучена от дороги, от волнения – от всего, что случилось в нынешний день. Завтра я расскажу вам все подробнее. Я очень рада, что вернулась к вам – очень рада видеться опять с вами, мой бесценный друг, но по весьма важной причине, я очень желала остаться в Гэзльуде. Я имею сильный повод желать возвращения в этот дом, если б это бы-

ло возможно, но я опасаясь, что этого никогда не случится.

Элинор вдруг замолкла, задумалась и, по-видимому, даже не замечала более присутствия синьоры.

– Хорошо, хорошо, моя милочка, я не стану вас более расспрашивать, – сказала Элиза Пичирилло ласково. – Я слишком рада вашему приезду, моя дорогая, чтоб надоедать вам расспросами, зачем и почему вы здесь. Однако мне надо идти, постараюсь привести в некоторый порядок вашу прежнюю маленькую комнату, впрочем, может быть, так как уже поздно, вы предпочтете провести ночь в одной комнате со мною.

– Если только вы позволите, моя дорогая синьора.

Учительница музыки поспешно вышла для некоторых необходимых приготовлений в ее спальню, смежной с маленькой гостиной, а Элинор продолжала сидеть, устремляя неподвижный взор на оплывшие сальные свечи, которые стояли перед нею на столе, она терялась в бурном хаосе мыслей, не принявших еще ясного образа в ее уме.

В ту именно минуту, когда она воздвигла преграду между собою и Гэзльудом, преграду, вследствие которой ей нельзя будет никогда, быть может, переступить через порог его двери, она сделала открытие, которое превращало этот уединенный деревенский дом в единственное место во всей вселенной, куда она

сильно желала бы иметь доступ.

«Я воображала, что удаляюсь от моей мести, когда покидала Лондон для Беркшира, – думала она. Теперь я оставляю за собою мою месть в Гэзльуде, однако может ли мое предположение быть справедливо? Как все это могло случиться? Ланцелот Дэррелль отправился в Индию за год до смерти моего отца. Неужели это только сходство случайно!.. сходство между этим человеком и сыном мистрис Дэррелль?»

Она взвешивала все, представляла самой себе, как невероятно тождество этих двух людей, но снова поддалась мало-помалу убеждению, которое овладело ею так внезапно, так непреодолимо на улице Уиндзора. Между тем синьора в хлопотах своих переходила из одной комнаты в другую, останавливаясь по временам, чтоб бросить украдкой взгляд на задумчивое лицо Элинор.

Вскоре вошел Ричард Торнтон. Театр «Феникс» был закрыт для драматических представлений, но для живописца декораций работа в нем никогда не прекращалась. У молодого человека вырвалось восклицание восторга при виде той, которая сидела в кресле ее тетки.

– Нелль! – вскричал он, – разве настал конец света, и вы уже приняли назначенную вам позу при общем разгроме? Как я рад вас видеть!

Он протянул ей обе руки. Мисс Вэн встала и машинально положила свои белые пальчики на огрубелые ладони, протянутые к ней. В эту минуту живописец заметил, что с нею случилось что-то.

– Что с вами, Нелль? – вскричал он с живостью.

– Тише, Дик! – возразила девушка шепотом. – Я не желаю, чтоб про это знала синьора. Я нашла этого человека.

– Какого человека?

– Того, который был виною смерти моего отца.

## Глава XXII. Контора корабельного маклера

На другой день после своего приезда в Пиластры, Элинор Вэн просидела все утро за письмом к Лоре Мэсон. Она желала бы написать длинное письмо, зная, какое огорчение ее внезапный отъезд должен был причинить ее наивной и доверчивой подруге, но писать она не могла ни о чем: одна мысль исключительно поглощала все ее умственные способности и превращала ее в существо бесполезное и бессильное для обыкновенной деятельности жизни. Она излагала причину своего непредвиденного отъезда неясно и натянуто, она выражала свою преданность в избитых фразах, лишенных смысла. В ее словах проявилась некоторая энергия только тогда, как она коснулась настоящей цели своего письма и заговорила о Ланцелоте Дэррелле.

«У меня к вам просьба, милая Лора, – писала она, – употребите в дело всю вашу ловкость, исполняя ее. Узнайте, в котором году и какого числа мистер Дэррелль отправился в Калькутту, а также и название корабля, на котором он сделал переезд. Дайте себе этот труд, Лора, вы тем окажете большую услугу мне, а мо-

жет быть, и ему».

«Если окажется, что он действительно был в Индии в день смерти моего отца, – думала Элинор, – тогда я не буду подозревать его более».

Позднее в этот день мисс Вэн ходила с Ричардом по улицам и скверам, где происходили все их прежние тайные совещания. В коротких и простых словах, она передала живописцу случившееся, и бедный Дик слушал ее с тем нежным уважением, с которым внимал всем ее словам. Но когда она закончила, он покачал головой с грустной улыбкой.

– Что вы полагаете теперь, Ричард, – спросила она?

– Я полагаю, что вы обмануты безумною мечтою, Нелли, – отвечал молодой человек. – Вы введены в заблуждение случайным сходством мистера Дэррелля с человеком, виденным вами на бульваре. Всякий другой человек с черными волосами и бледным лицом, стоящий в грустном раздумье на краю тротуара, напомнил бы вам образ, который так тесно связан с вашим воспоминанием об этом грустном времени. Забудьте это, моя милая Нелли, забудьте эту печальную главу в истории вашего детства. Прах вашего отца не будет вкушать более сладкого мира, потому что радость молодости для вас блекнет под влиянием этих горьких воспоминаний. Исполняйте свой долг,

Элино́р, в том положении, в которое вы поставлены. Вы не обязаны жертвовать лучшими годами жизни донкихотовскому плану мести.

– Донкихотовскому? – вскричала Элино́р с упреком. – Вы не говорили бы этого, Ричард, если б ваш отец погиб, как погиб мой через низость игрока и обманщика. Напрасно было бы меня уговаривать, Дик, – продолжала она с решимостью, – если только ложно то убеждение, которое я не могу изгнать из моего сердца, ложность его должна быть доказана, если же оно справедливо, тогда я буду думать, что судьба сама поставила этого человека на моем пути и что мне назначено быть орудием наказания за его низкий поступок.

– Положим, Элино́р, что это так, но мистер Дэррелль не может быть тем человеком.

– На чем вы это основываете?

– На том, что, по вашим собственным словам, он был в Индии в 1853 году.

– Да, так говорят.

– Разве вы имеете повод в этом сомневаться? – спросил Ричард.

– Да, имею, – возразила Элино́р, – в первое время после приезда мистера Дэррелля в Гэзльуд, Ло́ра Мэсон очень любопытствовала слышать рассказы о том, что она называла его приключениями в Индии.

Она делала ему бесчисленное множество вопросов, и я припоминаю – не могу вам сказать, Дик, до какой степени невнимательно я слушала в то время, а несмотря на то, каждое слово представляется мне теперь так живо, как будто я прислушивалась к нему, сдерживая дыхание, как преступник во время уголовного суда прислушивается к показанию свидетелей против него – я припоминаю теперь, с каким упорством Ланцелот Дэррелль избегал расспросов Лоры и, наконец, просил ее почти грубо переменить предмет разговора. На следующий день приехал Монктон: он также завел разговор об Индии, и мистер Дэррелль избегал его расспросов с таким же неудовольствием и упорством. Меня вы можете предположить и слабой и безумной – я об этом и не спорю, но мистер Монктон очень умный человек: его нелегко ввести в заблуждение.

– Что же он?

– Он сказал мне, что в жизни Ланцелота Дэррелля должна быть тайна, и тайна, сопряженная с его жизнью в Индии, тогда я мало обратила на это внимания, теперь же, полагаю, что отгадала эту тайну.

– В самом деле? В чем же заключается тайна?

– В том, что он никогда не ездил в Индию.

– Элинор?

– Да, Ричард, я это полагаю, я в этом уверена, и вы



должны помочь мне открыть истину, убедиться права я или нет.

Живописец вздохнул. Он питал надежду, что его прекрасная приемная сестра давно бросила и забыла свой несбыточный план мести в симпатичном обществе веселой девушки одних с нею лет, а между тем он видел ее опять настолько же твердой в своем намерении, как в тот вечер воскресенья, за полтора года тому назад, когда они ходили вместе по темным улицам Лондона.

Элинор подметила вздох своего спутника.

– Помните ваше обещание, Ричард? – сказала она. – Вы дали слово помогать мне и обязаны его сдерживать, вы сдержите его – не так ли, Дик?

Пока она говорила таким образом, грозная богиня мести превратилась в сирену, Элинор плутовски заглядывала в лицо своего спутника, наклонив немного голову, и ее серые глаза бросали кроткий свет.

– Вы не откажетесь мне помочь, Ричард – не правда ли?

– Отказать вам? – вскричал молодой человек. – О, Нелли, Нелли! Вы слишком хорошо знаете, что я не могу вам отказать ни в чем.

Мисс Вэн выслушала его слова с большим спокойствием. Она никогда не отделяла Ричарда Торнтон от воспоминания о тех днях детства, когда ходи-

ла с ним в Ковент-Гарден покупать тутовые листья для его шелковичных червей и училась играть *God Save the Queen* (Боже, храни королеву) на его скрипке. Ничего не могло быть далее от ее мысли, как познание, что чувства бедного Дика подверглись изменению со времени их детства.

Письмо Лоры Мэсон, которого Элинор ожидала с лихорадочным нетерпением, пришло со следующей почтой. Послание молодой девушки было до крайности длинно и не отличалось большою последовательностью в мыслях. Целых три листа почтовой бумаги были исписаны жалобами мисс Мэсон на отъезд подруги, упреками за жестокость подобного поступка и убедительными просьбами возвратиться в Гэзлуд. Дочь Джорджа Вэна не останавливалась долго на этом чисто женском послании. Несколько дней тому назад она была бы тронута наивными выражениями преданности Лоры, теперь же она только глазами пробежала строки, мало обращая внимания на безыскусственные слова любви и сожаления, и жадно стремилась к тому единственному месту во всем письме, которое могло ее занимать.

Не прежде, как на последней из двенадцати страниц, покрытых размашистым итальянским почерком мисс Мэсон, симметрия которого однако, местами нарушалась разными помарками и чернильными пятна-

ми, глазам Элинор представилось наконец то, к чему она стремилась, она сильно сжала в руке бумагу и кровь жарким потоком хлынула к ее серьезному лицу.

«Я узнала все, что вы желали узнать, милая Нелли, – писала мисс Мэсон, – хотя теряюсь в догадках, на что вам понадобилось это сведение. Когда я писала сочинения в Бэйсуотере, мне не позволили бы поставить два раза узнать так близко одно от другого, но вы мне простите, моя милочка – не правда ли? Итак, надо вам сказать, моя дорогая, что я не очень ловка на хитрые дипломатические проделки, почему сегодня за чаем – я страшно тороплюсь, боюсь опоздать к вечерней почте, Боб отнесет мое письмо в деревню за шесть пенсов – я без всяких обвиняков прямо спросила Ланцелота Дэррелля, который пил чай, как и всякий добрый христианин, лежа на окне и куря сигару: с тех пор как вы уехали, Нелли, он был угрюм, как медведь – о, Нелли! Не влюблен ли он в вас? – уверенность в этом разбила бы мое сердце, я спросила его прямо, в котором году и какого числа он отправился в Индию? Верно, мой вопрос показался ему несколько дерзким, потому что он вдруг сильно покраснел, пожал плечами с милою свойственною ему небрежностью, которая всегда напоминает мне Лару и Корсара – Лара и Корсар, если я не ошибаюсь,

не чуть ли одно и то же лицо – и сказал: „Я не веду дневник, мисс Мэсон, а то почел бы за счастье доставить вам все сведения, какие вы пожелаете относительно моего прошлого“. Мне хотелось провалиться сквозь пол, Нелли, если б только пол мог раздвинуться, чтоб давать возможность проваливаться сквозь него, я бы, наверно, это сделала... Обратиться к нему с другим вопросом я не решилась бы, даже и для вас, моя дорогая, как вдруг мистрис Дэррелль совершенно неожиданно вывела меня из затруднения. „Мне очень жаль, Ланцелот, что ты ответил так нелюбезно Лоре, – сказала она, – в ее вопросе нет ничего странного, я слишком живо помню тот день, когда ты покинул родину. Ты выехал из дома 3 октября 1852 года и должен был отплыть из Грэвзенда на корабле ‘Принцесса Алиса’ 4 октября. Я никогда не забуду этого дня; казалось, как будто мой дядя избрал самое худшее время года для того, чтоб отправить тебя в дальнее плавание. Вероятно, его к тому побудили мои сестры. Впрочем, на бедного старика я не должна за то сердиться“».

Элинор Вэн быстро пробежала глазами окончание письма. Долго после того она сидела неподвижно, погруженная в размышления, крепко стиснув в руке последний лист письма Лоры и обдумывая его содержание.

– Если Ланцелот Дэррелль отплыл в Индию 4 октября 1852 года, то нельзя предположить, чтоб он мог находиться в Париже в 1853 году. Если я могу найти доказательство того, что он действительно отплыл в это число, я постараюсь убедить себя, что была обманута собственной сумасбродной мечтой. Но отчего он так сильно покраснел от вопроса Лоры насчет его отъезда? Отчего показал вид, будто забыл число?

Элинор с нетерпением ожидала прихода своего друга и советника Ричарда Торнтона. Он пришел часам к трем пополудни, синьора еще не возвращалась со своих уроков. Измученный и утомленный, он бросился на софу, обитую ситцем. Несмотря на то, однако, он сделал усилие над собою, чтоб вслушаться в ту часть письма Лоры Мэсон, которая касалась Ланцелота Дэррелля.

– Что вы теперь скажете, Дик? – спросила мисс Вэн, когда закончила читать.

– Почти то же, что и прежде, Нелль, – отвечал мистер Торнтон – Этот молодой человек никогда не ездил в Индию, доказательством тому служит неудовольствие, с которым он упоминает об этом путешествии. Может быть, с этой эпохой его жизни сопряжено полдюжины неприятных воспоминаний. Я говорю неохотно о «Фениксе», однако никогда не совершал убийства во мраке кулис и не зарывал тела моей

жертвы между люком и подмостками. Впрочем, у всякого есть свои маленькие тайны, Нелли, и мы не имеем права до них доискиваться, основывая свои подозрения на перемене в лице, или на нетерпеливом слове.

Элино́р Вэ́н не обратила нисколько внимания на доводы молодого человека.

– Нельзя ли вам как-нибудь узнать, отплыл ли Ланцелот Дэррелль на корабле «Принцесса Алиса», – спросила она?

Живописец потер в раздумьи подбородок.

– Я могу постараться узнать это, моя милая, – сказал он после минуты размышления. «Принцесса Алиса», кажется, один из кораблей Уорда. Если корабельные маклеры захотят быть любезны, то могут мне помочь, но я не имею никакого права им докучать подобной просьбой и рискую услышать от них приглашение убираться к черту. Если б я мог им представить какую-нибудь особенно уважительную причину для подобного розыска, то, разумеется, скорее склонил бы их оказать эту услугу. Но что мне им сказать, кроме того, что молодая девушка, прекрасная собою, с яркими серыми глазами и каштановыми кудрями, вбила в свою упрямую головку нелепую фантазию и что я, в качестве ее верного раба, вынужден исполнять ее приказание.

– Не обращайтесь внимания на то, что они вам будут говорить, Ричард, – возразила мисс Вэн повелительным тоном, – они должны вам сообщить требуемое сведение, если вы только сумеете быть настойчивы.

Мистер Торнтон улыбнулся.

– Вот уж это чисто женский способ добиваться желаемого, Нелль, – сказал он. – Однако я постараюсь, если корабельные маклеры такого рода звери, которых можно загнать, как выражаются охотники, то надо много препятствий, чтоб я не получил списка пассажиров, отплывших на корабле «Принцесса Алиса».

– Милый, милый Дик!.. – вскричала Элинор, протягивая руки своему молодому поборнику.

Ричард вздохнул. Увы! Он знал слишком хорошо, что все эти очаровательные ласки были так же далеко от волнения скрываемой любви, как бурливый и суровый север от роскошного жаркого юга.

– Хотелось бы мне знать, имеет ли она понятие о любви, – подумал живописец? – Коснулось ли ее сердца это гибельное чувство? Нет, нет! Она чистое, девственное существо, исполненное доверия и невинности, ей еще предстоит узнать сокровенные стороны жизни. Я бы желал менее думать о ней и полюбить мисс Монталамбер – ее фамилия просто Ламбер, а Монте она к ней добавила для созвучия. Я желал бы влюбиться в Лидзи Ламбер, известной

под именем Элизы Монталамбер, которая исполняет роли субреток на сцене «Феникса». Она добрая девушка и получает четыре фунта стерлингов в неделю. К тому же она любит синьору, мы могли бы переехать из Пиластров и обзавестись хозяйством и жить нашими общими доходами.

Мистер Торнтон еще долго, может быть, промечтал бы таким образом, но Элинор Вэн, следившая за ним с нетерпением, вдруг вывела его из задумчивости?

– Когда вы отправитесь в контору, Дик? – спросила она.

– Когда я пойду?

– Ну да, ведь вы отправляетесь тотчас же – не так ли?

– Да, конечно, моя милая Нелль, но Корнгилль отсюда не то, что руку подать.

– Но вы Возьмете кэб, – вскричала молодая девушка, – у меня денег довольно, как вы можете предположить, Дик, чтоб я их пожалела для подобной цели? Отправляйтесь тотчас же, мой милый Ричард, и возьмите кэб.

Она вынула кошелек и старалась насильно всунуть его в руку молодого человека, но тот покачал головой, говоря:

– Я боюсь, что контора теперь закрыта, Нелли.



Не лучше ли нам отложить до завтрашнего утра?

Элинор не хотела об этом и слышать, она с большой уверенностью утверждала, что контора не может закрываться так рано, как будто была коротко знакома со всеми привычками маклеров, и выпроводила Дика из дома прежде чем он успел опомниться. Часа через полтора он возвратился, утомленный и покрытый пылью; он предпочел независимость и омнибус кэбу, предложенному Элинор.

– Напрасный труд, Нелли! – сказал Ричард грустно, он снял шляпу и поправил своими грязными пальцами волосы, растрепанные теплым летним ветром и падавшие прядями на его лоб. – Контору закрывали именно в ту самую минуту как я пришел, и я ничего не мог узнать от писарей. Никогда в жизни я не испытывал такого грубого обхождения.

Мисс Вэн казалась очень огорчена и с минуту молчала, потом ее лицо вдруг прояснилось, она потрепала Ричарда по плечу с видом покровительства и поощрения.

– Ничего, Дик, – сказала она с улыбкой, – вы завтра утром опять отправитесь туда, но и я поеду с вами. Мы увидим, будут ли эти конторщики грубы со мною.

– С вами? – вскричал Ричард Торнтон, в порыве восторга. – Мне, кажется, что из всех членов человеческой семьи самые неприятные и самые грубые лю-

ди всякого рода должностные лица, но я не думаю, чтоб во всем христианском мире нашелся конторщик, способный сказать вам грубость.

Элинон улыбнулась. Может быть, в первый раз в ее жизни молодая девушка почувствовала легкий оттенок кокетства, этого женского греха. Ее вещи привезены были накануне вечером из Гэзльуда. И так, она могла вооружиться всеми орудиями боя, без которых женщина едва ли приступает к осаде крепости мужского равнодушия.

На следующее утро Элинон встала рано, она была слишком поглощена главной целью своей жизни, чтоб спать долго и крепко, и нарядилась для намереваемого посещения.

Она надела креповую голубую шляпку – главное орудие осады, женский осадный рычаг, перед которым должна была рушиться самая твердая стена, пригладила свои мягкие, шелковистые волосы и прикрыла их роскошные косы прозрачной лазоревой тканью изящного произведения ловкой руки модистки. Потом она перешла в маленькую гостиную, где мистер Торнтон сидел за завтраком. Она хотела испробовать на несчастном молодом человеке действие своего осадного орудия.

– Обойдутся ли конторщики со мною грубо, Дик? – спросила она, плутовски улыбаясь.

Живописец силился дать ответ, но рот его был полон хлеба с маслом и яиц, он был более восторжен, чем понятен.

Тряский четвероместный кэб перевез мисс Вэн и ее спутника в Корнгилль, и молодая девушка старалась проложить себе путь в святилище самого маклера способом, от которого у Ричарда Торнтонна занимало дух от восторженного состояния души. Каждая преграда падала перед голубою шляпкою, глянцевиными каштановыми волосами, блеском серых глаз и очаровательной улыбкой. Бедный Дик подошел к писарям с тем видом скрытой неприязни и тайной ненависти, с которой англичане обыкновенно обращаются к своим же братьям англичанам, но приветливость и обворожительное обращение Элинор обезоружили бы самого жестокого из писарей, и один из них провел ее в кабинет маклера с низкими поклонами, как будто перед королевою.

Элинор изложила дело очень просто. Она желала убедиться, отправился ли молодой человек, по имени Ланцелот Дэррелль, 4 октября 1852 года на корабле «Принцесса Алиса»? Вот все, что она сказала, Ричард Торнтон присутствовал при этом, выводя пальцами на полях своей шляпы трудные пассажи своей последней увертюры и сильно удивлялся и восхищался спокойной уверенностью мисс Вэн.

– Я очень вам буду обязана за это сведение, – заключила она свою речь, – убедиться в действительности этого факта для меня очень важно.

Маклер посмотрел через очки на серьезное лицо, так доверчиво обращенное к нему. Он был человеком уже старым, имел внучек одних лет с Элинор, однако не был еще совершенно равнодушен к влиянию красоты. Каштановые волосы и прозрачная голубая шляпка составляли блестящее сочетание цветов во мраке его пыльной конторы.

– Отказать в услуге молодой девице было бы с моей стороны в высшей степени нелюбезно, – отвечал старик с большой учтивостью. – Джервис, – прибавил он, обращаюсь к писарю, который провожал Элинор в его кабинет, – не удастся ли вам отыскать список пассажиров, отправлявшихся на корабле «Принцесса Алиса» 4 октября 1852 года? Мистер Джервис, тот же самый писарь, который накануне просил Ричарда убраться вон, объявил теперь, что ничего не могло быть легче и пошел исполнить поручение.

В ожидании его возвращения, дыхание Элинор становилось тяжело и неровно, и краска выступила на ее лице. Ричард по-прежнему исполнял непостижимые пассажи на полях своей шляпы, а маклер наблюдал за молодой девушкой и выводил свои заключения из очевидного волнения, изобличаемого ее прелест-

НЫМ ЛИЧИКОМ.

«Ага! – думал он про себя. Тут, без сомнения, речь идет о любви. Эта хорошенькая девушка в голубой шляпке, верно, пришла осведомиться о каком-нибудь исчезнувшем любовнике.»

Писарь возвратился с большой книгой, между листов которой он положил большой палец вместо закладки. Он открыл этот вовсе незанимательный на вид фолиант, положил его на стол перед своим принципалом и приложил указательный палец, который у него оставался свободен, на одну из заметок.

– Для мистера Ланцелота Дэррелля было взято место в одной каюте с каким-то мистером Холлидэ, – сказал маклер, читая строки, на которые указывал клерк.

Лицо Элинор покрылось густой краской. Она напрасно обвиняла мистера Дэррелля.

– Но это имя позднее вычеркнуто, – продолжал старик, – на место его 5 число октября внесено другое. Стало быть, корабль отплыл без мистера Дэррелля.

Живой румянец исчез с лица Элинор, его сменила смертельная бледность. Она пошатнулась, сделала несколько шагов по направлению к столу, протянула к нему руки, как будто с целью взять у маклера книгу и прочитать самой, что в нее было внесено, но на полдороге от своего стула к столу силы ей из-

менили и она упала бы, если б Ричард, бросив шляпу на пол, не успел поддержать ее.

– Боже мой! – вскричал маклер. – Скорей, стакан воды, Джервис! Как это жалко, право, очень жалко! Неверный любовник, я полагаю, или, может быть, брат – эти случаи у нас повторяются часто, уверяю вас. Имей я дар, которым наделены некоторые из вас молодых людей, я мог бы составить с полдюжины романов из материалов этой конторы.

Писарь возвратился со стаканом воды: жидкость эта была довольно мутного свойства, но несколько капель ее, пропущенных сквозь губы Элинор, привели ее в чувство. Она подняла голову с гордой уверенностью королевы и посмотрела на сострадательного маклера со странною улыбкою. Она слышала его предположение о любовниках и братьях. Как далеко его простодушные догадки были от горькой истины!

Она встала со своего стула и протянула ему руку, на лице ее выражалась неустрашимость. Она походила на новую, прекрасную Жанну д'Арк, готовую опоясать меч на защиту короля и родины.

– Очень вам благодарна, сэр, – сказала она, – за услугу, которую вы мне оказали. Мой отец был человек старый, старее вас, сэр, и он умер жестокой смертью. Я надеюсь, что ваша обязательность поможет мне отомстить за него.

## Глава XXIII. Принятое намерение

Ланцелот Дэррелль не отправлялся в Калькутту на корабле «Принцесса Алиса». Когда вопрос этот приведен был в ясность, Ричард Торнтон напрасно представлял всевозможные доводы против внезапно-го убеждения, непоколебимой уверенности, овладевшими душою Элинор относительно тождества между человеком, который обыграл ее отца в экартэ, и единственным сыном мистрис Дэррелль.

– Я говорю вам, Ричард, – сказала она однажды в ответ на убеждения живописца, – только одно положительное доказательство о пребывании Ланцелота Дэррелля в Индии во время смерти моего отца поколебало бы мысль, поразившую меня в день моего отъезда из Беркшира. Он не был в Индии в то время. Он обманывал мать и друзей: он оставался в Европе и вел, без сомнения, праздную и разгульную жизнь. Не получая денег от матери, не имея профессии, которою он мог бы зарабатывать средства к жизни, не ожидая помощи ни от кого, он должен был прибегать к низким способам приобретения. Он отправился в Париж, что может быть вероятнее, в Париж, рай мошенников, говорили вы мне – Ричард: он мог принять чужое имя, что может быть правдоподобнее?

Да что и говорить, он там был! Человек, которого я видела на бульваре, и тот, которого я видела на улице Уиндзора – одно и то же лицо. Ничем вы не можете поколебать моего твердого убеждения, Ричард, потому что оно основано на истине. Доказать, что это истина, будет целью моей жизни.

– К чему же это поведет, Элинор? – спросил мистер Торнтон с серьезным выражением лица. – Положим, вам и удастся доказать, но какими жертвами вы этого достигнете: для подобного розыска вы должны погубить вашу жизнь, вашу молодость, тратить женственность души, исказить вашу натуру и превратиться из невинной, доверчивой девушки в сыщика. Положим, что вы пожертвуете собой, но вы не подозреваете, моя милая, сколько унижительной лжи, презренного обмана, сколько преднамеренной подлости предстоит вам, когда вы ступите на эту извилистую тропу. И что ж выйдет из этого? Какую пользу вы принесете? Какой цели добьетесь? Ближе ли вы будете к исполнению клятвы, произнесенной вами на Архиепископской улице?

– Что вы этим хотите сказать, Ричард?

– То, что, доказав вину этого человека, вы нисколько не отомстите еще ему за смерть отца, ни вы, ни закон не имеете власти наказать его. Так как с тех пор прошло уже столько лет, то нельзя доказать бо-



лее ничего, кроме того, что он играл с вашим отцом в экартэ, в отдельной комнате кофейной, и обыграл его. Он только засмеялся бы вам прямо в лицо, моя бедная Нелли, если бы вы предъявили против него подобное обвинение.

– Если я только успею доказать то, в чем так твердо уверена, как будто оно основано на самых неопровержимых фактах, то я знаю, как наказать Ланцелота Дэррелля, – возразила Элинор.

– А вы знаете, как наказать его?

– Да, его дядя – т. е. дядя его матери – Морис де-Креспиньи был лучшим другом моего отца. Мне незачем повторять вам то, о чем вы часто слышали от самого моего покойного отца. Ланцелот Дэррелль надеется получить состояние старика и будет его наследником, если мистер де-Креспиньи не оставит завещания. Если же мне удастся доказать старику, что мой отец умер печальной, преждевременной смертью вследствие низкого обмана его племянника, то Ланцелот никогда не наследует от него ни полшиллинга. Я знаю, с каким жадным нетерпением мистер Дэррелль, не смотря на выказываемое им равнодушие, ожидает этого богатства.

– И вы решились бы это сделать, Элинор! – вскричал Ричард, смотря с ужасом на свою собеседницу, – вы выдали бы тайну молодости этого человека его дя-

де и тем причинили бы его разорение и гибель?

– Я сделала бы то, в чем поклялась на Архиепископской улице. Я отомстила бы за смерть моего отца. В последних словах, написанных мне моим несчастным отцом, заключалась эта просьба. Этих слов я не забывала никогда. В событиях той ночи могла скрываться еще более низкая измена, чем вы или я подозреваем. Ланцелот знал, кто мой отец, он знал и дружбу между ним и мистером де-Креспиньи. Быть может, он старался подстрекнуть бедного старика к последнему отчаянному поступку. Как знать, не с намерением ли он обыграл его, чтоб отстранить от своего пути друга дяди? О, Боже! Ричард, если бы я знала это...

Девушка вскочила с внезапным порывом бешенства, с сжатыми кулаками и сверкающим взглядом.

– Если б я знала, что его презренная низость заходила далее пределов желания обыграть моего отца из-за денег, я убила бы его собственной рукой также свободно и не колеблясь ни минуты, как теперь поднимаю руку.

И при этих словах она судорожно подняла кверху сжатую руку, как будто в подтверждение клятвы, данной ею в душе. Потом, повернувшись быстро к Ричарду, она сказала умоляющим голосом:

– Это невозможно, Ричард... не мог же он быть

до такой степени низок. Он держал мою руку в своих руках только несколько дней тому назад. Я бы отсекала ее, если б знала, что Ланцелот Дэррелль помышлял на жизнь моего отца.

– Но вы не можете этого предполагать, моя милая Элино́р, – отвечал Ричард с серьезным убеждением – Мог ли он знать вперед, что ваш отец примет так горячо свой проигрыш. Никто из нас не рассчитывает вперед последствий, своих проступков. Если он и обыграл вашего отца обманом, то, вероятно, сделал это, нуждаясь в деньгах. Ради Бога, Нелли, предайте в руки Провидения и этого человека и его проступок. Будущее для нас не чистый лист бумаги, на котором мы по желанию можем написать то, что нам вздумается, это хартия, исполненная чудес и начертанная божественной непогрешимой рукой. Ланцелот Дэррелль не уйдет от наказания. «Тверда моя вера в силу времени», – так говорит поэт. Предоставьте же этого человека времени – и Провидению.

Элино́р Вэн покачала головой, горько улыбаясь философии своего друга.

– Все ваши убеждения – напрасный труд, – сказала мисс Вэн. Если б ваш отец лишился жизни вследствие низкого обмана этого человека, вы не питали бы к нему такого христианского милосердия. Я исполню обет, данный мною три года тому назад. Я докажу пре-

ступление Ланцелота Дэррелля; оно станет преградой между ним и состоянием Мориса де-Креспиньи.

– Вы забываете при этом одно.

– Что же такое?

– Доказать его виновность займет много времени, а мистер де-Креспиньи человек старый и больной, он может умереть прежде чем вы будете в состоянии изобличить низкий поступок его племянника.

Несколько минут Элинор молчала. Брови ее сдвинулись, губы сжались с выражением решимости.

– Я должна возвратиться в Гэзльд, Дик, – сказала она медленно. – Вы правы: нельзя терять времени. Я должна возвратиться в Гэзльд.

– Это, кажется, не совсем легко исполнить, Нелль?

– Я должна возвратиться туда. Не отправиться ли мне переодетой? Если б мне можно было скрываться у кого-нибудь в деревне и наблюдать за Ланцелотом, когда он предполагает менее всего, что за ним следят. Мне все равно, как бы туда не ехать, Ричард, но быть там я должна. Только те открытия, которые я сделаю в настоящее время, могут проложить мне след к истории прошлого. Я должна отправиться туда.

– И взять на себя обязанность полицейского сыщика, Элинор? Вы этого не сделаете, если от меня зависит вас удержать.

Невысказанная любовь Ричарда Торнтона давала

ему некоторую степень власти над молодой девушкой. В каждом истинном чувстве заключается достоинство и сила. В «Notre Dame de Paris»<sup>3</sup> любовь горбатого уродца к Эсмеральде в течение всего романа ни разу не внушает презрения, тогда как красивый и блестящий, но лживый и пустой Феб нередко возбуждает в нас насмешливое пренебрежение.

Элинор не возмутилась против решительного тона молодого человека.

– О, Дик, Дик! – вскричала она жалобно, я знаю что я должна казаться вам очень злою. Я причиняла одно беспокойство вам и бедной синьоре, но я не могу забыть смерти моего отца, не могу забыть письма, которое он мне написал. Я должна оставаться верною моей клятве, хотя бы мне пришлось пожертвовать жизнью для ее исполнения.

Элиза Пичирилло вошла прежде чем Ричард успел ответить на слова Элинор. Молодые люди условились ничего не говорить синьоре об открытии, сделанном мисс Вэн, вследствие чего они ее приветствовали с той поддельной веселостью, которую обыкновенно принимают в подобных случаях.

Проницательность синьоры Пичирилло, быть может, была немного помрачена от трудов, понесенных ею в течение целого утра, в которое она должна бы-

---

<sup>3</sup> Известный роман Виктора Гюго, «Собор парижской Богоматери».

ла переходить от одной ученицы к другой, и когда Элинор, суетясь вокруг стола, приготавливала чай, добрая учительница музыки вполне верила в притворную веселость своей протее. После чая Ричард вышел на улицу курить свою коротенькую пенковую трубку между сырой соломой и ветхих кэбов. Элинор села за фортепиано. Пальцы ее быстро летали по клавишам, извлекая из них бесчисленные сочетания звуков, но душа, верная одному чувству, была полна тайного плана мщения, который она положила себе целью жизни.

– Во что бы то ни стало, – повторяла она себе, – какие бы последствия это не повлекло за собой, я должна возвратиться в Гэзльд.

## Глава XXIV. Единственное средство на успех

После свидания своего с маклером, Элинор Вэн не спала большую часть ночи. Лежа без сна, она старалась придумать какое-нибудь средство для возвращения в Гэзльуд. Открыть положительное доказательство виновности Ланцелота, которого она так жаждала, ей можно было только продолжительным и терпеливым наблюдением за самим молодым человеком. Обвинительная улика должна была сойти с его собственных губ, какое-нибудь случайное сознание или необдуманное слово могли послужить ключом к открытию тайны прошлого. Но для достижения этого и ей следовало сблизиться с человеком, ею подозреваемым. В беззаботной откровенности обыденной жизни, в свободе постоянных сношений могли представиться тысячи случаев, которых она не дождалась бы никогда, пока двери Гэзльуда останутся для нее запертыми. Правда, было еще одно средство: Ланцелот Дэррелль просил ее руки. Его любовь, хотя бессильная против действия времени, в настоящую минуту могла быть искренна: ей стоило написать слово – и он, без сомнения, поспешил бы к ней. Показы-

вая вид, что отвечает на его любовь, она могла бы приманивать его к себе и, в полном доверии подобных отношений, достигнуть своей цели. Нет! Ни за что на свете – даже за тем, чтоб остаться верной памяти отца, она не была способна изменить таким образом чувству женской чести.

«Ричард прав, – думала она, отвергая это средство с тяжким сознанием собственной низости, что допустила хотя бы только на один миг подобную мысль. Он был прав: сколько постыдного унижения я должна буду вынести прежде чем исполню мой обет»!

А чтоб исполнить этот обет, ей надо снова быть в Гэзльуде. К этой мысли она возвращалась постоянно. Но возможно ли ей будет занять прежнее положение в доме мистрис Дэррелль? Не постарается ли вдова удалить ее, успев уже раз изгнать из общества Ланцелота.

Мисс Вэн не была одарена способностью составлять тайные планы. Откровенная, простодушная, поддаваясь увлечению минуты, она имела достаточно силы воли и твердости, чтоб обвинить Ланцелота Дэррелля как низкого обманщика и шулера, но в ней не было качеств, необходимых для того, кто медленно и с терпением пролагает себе путь к открытию постыдной тайны через извилистые, темные и скрытные тропинки, которые ведут к ней. Не прежде как после



рассвета, молодая девушка наконец заснула, измученная душой и телом. Ночь не принесла ей совета. Элинор Вэн впала в тревожный сон с горячей молитвой на устах – молитвою о том, чтоб Провидение даровало ей средство отомстить убийце отца.

Мисс Вэн прибегнула к Богу – по примеру многих – тогда только, как убедилась в бессилии собственного ума для достижения желаемой цели. Весь следующий день она провела одна, сидя на ситцевом диване возле окна, она смотрела на детей, которые играли в котел и в камешки на неровных плитах тротуара. Каждый час ложился тяжелым гнетом на ее душу и делал ее еще менее способною для обыденной деятельности жизни. Во всякое другое время она постаралась бы чем-нибудь облегчить тяжелый труд синьоры, имея вполне надлежащее знание, чтоб заменить ее при некоторых из ее учениц, но в этот день она допустила Элизу Пичирилло ходить при удушливом зное по улицам Лондона, не сделав никакой попытки для того, чтоб разделить ее труд.

Она даже казалась неспособной исполнять, по своему обыкновению, незначительные услуги по хозяйству, дала пыли накопиться на фортепиано, не сняла с чайного стола остатки завтрака и не взяла на себя труда собрать разбросанные листы нот, открытые книги, раскиданное шитье, которыми усеяна была

комната. Она сидела, положив локоть на закоптелый косяк, подпирая рукою голову и устремив в окно утомленный и бессознательный взгляд. Ричард вышел рано поутру, ни молодого человека, ни его тетки нельзя было ожидать прежде сумерек.

«К их возвращению я все успею прибрать», – думала Элинор, бросая равнодушный взгляд на немый чайный прибор, который, казалось, смотрел на нее с безмолвным укором, от него она опять отвела глаза к окну, освещенному солнцем, и душа ее с убийственным упорством возвращалась снова к единственной мысли, занимавшей ее. Если бы действительно она видела предметы, на которые глаза ее были обращены, то удивилась бы появлению незнакомца высокого роста и благородной наружности. Он пробирался по улице, служившей местом прогулки для жителей Пиластров, покрытой соломой и находившейся между столбами и конюшнями, и стирал подошвами сапог мел, которым были проведены черты для игр в котел, всячески становясь помехой для юного населения.

Незнакомец направил свои шаги прямо к лавке башмачника, у которого жила синьора Пичирилло, и спросил мисс Винсент.

Башмачник только два дня тому назад, когда пришло письмо Лоры в Пиластры, услышал об имени, принятом Элинор. Он составил себе какую-то неопре-

деленную мысль, что прекрасная девушка, с золотистыми волосами, которая в первый раз вступила в его жилище еще в детском возрасте, должна была теперь отличаться, как замечательная, гениальная артистка, и намеревалась удивить музыкальный мир под чужим именем.

– Вы, вероятно, желаете видеть мисс Элинор, сэр? – сказал он на вопрос незнакомца.

– Да, мисс Элинор.

– Так потрудитесь взойти по этой лестнице, сэр. Молодая девица сегодня одна дома, мистер Ричард занят по ту сторону реки: пишет декорации для насущного хлеба, а синьора дает уроки. Таким образом бедная мисс и осталась в четырех стенах при такой прекрасной погоде. Довольно грустно и без того, сэр, когда к этому бываешь вынужден необходимостью, – прибавил сапожник, выражаясь довольно темно. – Неудобно ли вам будет взойти наверх, сэр? Дверь синьоры прямо против лестницы.

Башмачник отпер дверь со стеклами, она вела через маленькую комнату к крутой винтовой лестнице, по которой всходили на первый этаж. Посетитель не ждал второго приглашения, в несколько шагов он был уже наверху и остановился перевести дух перед дверью маленькой гостиной синьоры Пичирилло.

– Это, верно, какой-нибудь директор театра, – по-

думал простодушный башмачник, возвращаясь к своей работе. Вот точно так же однажды мистер Кромшоу приехал сюда за мистером Ричардом в фаэтоне парю и с бесчисленным множеством бриллиантовых перстней и булавок.

Элинор не слыхала шагов незнакомца, хотя лестница не была устлана ковром, но вздрогнула и обернулась, когда отворилась дверь. Неожиданный посетитель был Монктон.

В смущении она быстро приподнялась со своего места, встала спиной к окну и смотрела на нотариуса. Она была слишком исключительно поглощена одной мыслью, чтобы прийти в замешательство от неопрятности бедно мебелированной комнаты, беспорядка собственного туалета и прически, или чего-нибудь из той наружной обстановки, которая обыкновенно приводит в замешательство женщин. Она видела в нем только связь между собою и Гэзльудом. Она даже не спросила себя, что могло его привести к ней?

«Я могу разузнать что-нибудь от него», – думала она. Перед главной целью всей ее жизни даже этот человек, которого она ценила и уважала более всех других, превращался в лицо незначительное. Она не позаботилась ни минуты о том, что он может подумать. Она только смотрела на него, как на ору-

дие, которое ей может быть полезно.

– Вы, верно, очень удивлены моим посещением, мисс Винсент, – сказал нотариус, протягивая ей руку.

Молодая девушка слегка положила на нее свою и Джильберт Монктон был поражен лихорадочным жаром этих нежных пальчиков, которые едва касались его руки. Он взглянул на лицо Элинор: сильное душевное волнение последних трех дней оставило на нем свой след.

Мистрис Дэррелль сделала нотариуса своим поверенным. Необходимость заставила ее пояснить ему причину отъезда Элинор. Она изложила дело сообразно своим видам, говоря истину, но умалчивая о некоторых сторонах вопроса.

«Мисс Винсент, – говорила она, – хорошенькая и привлекательная девушка и потому очень важен был вопрос о том, чтобы удержать Ланцелота Дэррелля от серьезной к ней привязанности или даже от мимолетной прихоти, могущей вредно действовать на его будущее. Безрассудное замужество удалило меня от дяди, Мориса де-Креспиньи, безрассудная женитьба может лишить моего сына возможности наследовать поместье Удлэндс. При подобных обстоятельствах благоразумие требовало удалить мисс Винсент из Гэзльуда, и молодая девушка с большим великодушием покорилась необходимости, когда дело

было представлено ей в настоящем свете.»

Мистрис Дэррелль тщательно остерегалась всякого намека на объяснение в любви, подслушанное ею через полуоткрытую дверь мастерской сына. Монктон выразил большое неудовольствие на счет внезапно-го отъезда компаньонки его воспитанницы. Досада, выраженная им, по-видимому, основывалась только на участии в горе мисс Мэсон, которая сообщила ему, заливаясь слезами и прерывающимся от рыдания голосом, что она никогда, никогда не может быть более счастлива, когда нет с нею ее милой Элиноры.

Нотариус почти ничего не отвечал на ее жалобы, но тщательно записал адрес мисс Винсент и на следующий день после своего посещения Гэзльуда отправился прямо из своей конторы в Пиластры.

Смотря на изменившееся лицо Элиноры Вэн, Монктон пришел в сильное недоумение, не был ли отъезд из Гэзльуда для нее источником большого горя и не имело ли опасение мистрис Дэррелль на счет возможности любви ее сына к бедной компаньонке основание более сильное, чем она сочла за нужное ему сообщить.

«Я опасался, чтоб этот молодой человек не произвел впечатления на легкомысленную Лору, – думал Монктон. Но никогда бы не предположил, чтоб могла полюбить его эта девушка, которая в десять раз ум-

нее Лоры.»

Мысли эти пробежали у него в голове, пока горячая рука Элинор слабо и как-то машинально лежала на его руке.

– Вы не совсем хорошо поступили со мною, мисс Винсент, – сказал он, – вы уехали из Гэзльуда, не спросив моего совета и даже не повидавшись со мною. Вспомните, что я доверил вам мою воспитанницу.

– Вашу воспитанницу?

– Да. Вы обещали мне наблюдать за моею сумасбродною, молодою питомицею и охранять ее от любви к мистеру Дэрреллю.

Говоря это, Монктон внимательно наблюдал за выражением лица Элинор, в особенности, когда произносил имя Ланцелота Дэррелля, но это бледное утомленное лицо ничего не изобличало. Прелестные серые глаза смотрели на него откровенно, без боязни, их блеск исчез, но их невинное чистосердечие сохранилось во всей своей девственной красоте.

– Я старалась исполнить ваше желание, – отвечала мисс Вэн, – но боюсь, что мистер Дэррелль нравится Лоре, я не могу только вполне определить, насколько это чувство серьезно, и во всяком случае, хотя я знаю, что она меня любит, все, что я могла бы сказать ей, мало имело бы на нее влияния.

– И я так думаю, – возразил Монктон с некоторою горенью, – в подобных случаях на женщин нелегко иметь влияние. Любовь женщины – это высшая степень эгоизма. Женщины находят наслаждение в том, чтоб жертвовать собою и остаются совершенно равнодушными к числу невинных жертв, которых увлекают в гибель своим падением. Индианка жертвует собою из уважения к умершему мужу, англичанка принесет в жертву мужа и детей на алтарь, воздвигнутый живому любовнику. Извините меня, если я говорю с вами слишком откровенно, мисс Винсент. Мы, юристы, узнаем много странных историй. Меня несколько бы ни удивило, если б Лора с упорством стала требовать своего собственного несчастья на всю жизнь из-за того только, что у Ланцелота Дэррелля греческий нос.

Монктон сел без приглашения возле стола, на котором невымытые чашки свидетельствовали о нерадении Элинор. Он незаметно окинул взглядом всю комнату: он был способен все увидеть и все понять по одному беглому взгляду.

– Разве вы жили здесь когда-нибудь прежде, мисс Винсент? – спросил он.

– Да, я прожила здесь полтора года перед тем, как переехала в Гэзлуд. Я была здесь очень счастлива, – поспешила она прибавить в ответ на взгляд нота-



риуса, выразивший полусострадательное участие. – Мои друзья очень добры ко мне, и я никогда не желала бы другого домашнего крова.

– Но вы, кажется, привыкли к лучшему образу жизни в вашем детстве?

– Я не могу этого сказать, оно было немногим лучше. С моим бедным отцом я всегда жила в меблированных комнатах.

– Разве ваш отец не имел состояния?

– Никакого.

– Так он имел какую-нибудь профессию?

– Нет, не имел. Он некогда был очень-очень богат.

При этих словах краска выступила на лице Элинора и она вдруг вспомнила, что имеет тайну, которую должна сохранить. Нотариус мог узнать Джорджа Вэна по ее описанию.

Джилльберт Монктон приписал ее внезапное смущение оскорбленной гордости.

– Извините меня за расспросы, мисс Винсент, – сказал он ласково, – я принимаю в вас большое участие. Я давно имею его к вам.

Он замолк на несколько минут. Элинора опять заняла свое место у окна и сидела с видом задумчивым и потупленным взором. Она придумывала средства извлечь пользу из этого свидания и узнать все, что было возможно о прошлом Ланцелота Дэррелля.

– Позвольте ли вы мне задать вам еще несколько вопросов, мисс Винсент? – сказал нотариус после непродолжительного молчания.

Элинор подняла глаза и взглянула ему прямо в лицо. Этот ясный, открытый взор был главным очарованием мисс Вэн. Она вообще не имела повода жаловаться на природу за скудость даров: черты лица, цвет кожи – все в ней было прекрасно, но выражение чистоты души и невинности во взоре придавали ее красоте еще более изящества, налагали на нее печать высшего дара.

– Поверьте мне, – сказал Монктон, – прося вас быть со мною откровенной, я не имею на то никакого недостойного побуждения. Вы скоро узнаете почему и по какому праву я решаюсь вас расспрашивать. Теперь же я прошу вас быть со мною откровенной и довериться мне.

– Вы оставили Гэзльуд по желанию мистрис Дэррелль – не так ли?

– Да, по ее желанию.

– Сын ее предложил вам свою руку?

Вопрос этот вызвал бы румянец на лице всякой другой молодой девушки, но Элинор Вэн выходила из ряда обыкновенных девушек вследствие исключительных обстоятельств ее жизни. С той минуты, как она открыла, что Ланцелот Дэррелль тот самый,

которого она ищет, всякая мысль о нем, как о любовнике, как о поклоннике, была изглажена из ее души. Для нее он не был более на ряду с другими вследствие совершенного им проступка, точно так же, как она отделялась от других мезтью, которую она питала в своей душе.

– Да, – сказала она, – Ланцелот Дэррелль просил моей руки.

– А Вы? Вы отказали ему?

– Нет, я только не дала ему никакого ответа.

– Так вы не любили его?

– Любила ли я его! О, нет, нет!

При этих словах глаза ее раскрылись так широко, как будто ничего не могло ей казаться удивительнее, как подобный вопрос от Джильберта Монктона.

– Может статья, вы не находите Ланцелота Дэррелля достойным любви порядочной женщины?

– Не нахожу, – возразила Элинон – Прошу вас, не говорите о нем более – лучше сказать, не говорите о нем и вместе о любви, – прибавила она поспешно, вспомнив, что единственное желание ее заключалось в том, чтоб нотариус говорил именно о нем. – Вы... вы, верно, знаете многое о его молодости. Кажется, он вел жизнь праздную, разгульную и... и был игроком.

– Игроком?

– Да, игроком, человеком, который играет в карты,

рассчитывая на верный выигрыш.

– Я никогда не слыхал о нем ничего подобного. Без сомнения, он вел жизнь пустую, убивал время в Лондоне под предлогом изучения искусства, но я ни от кого не слышал, чтоб он имел этот порок. Однако я пришел сюда говорить не о мистере Дэррелле, а о вас. Что вы теперь намерены предпринять, оставив Гэзльд?

Вопрос этот привел Элинор в большое затруднение. Она сильно желала возвратиться в это поместье или в его окрестности. Так как все ее мысли стремились к одной этой цели, то она не составила себе никакого плана в будущем. Она даже не подумала, что теперь остается совершенно одна на свете, имея всего несколько фунтов стерлингов, накопленных ею из ее небольшого жалованья, не вспомнила и того, что ей недостает самого необходимого орудия для всякого рода боя – денег.

– Я... едва ли я знаю, что мне следует предпринять, – сказала она. – Мистрис Дэррелль обещала отыскать мне место.

Произнося эти слова, она вдруг подумала, что принять его значило бы в некоторой мере есть хлеб, доставленный матерью врага ее отца, и в душе поклялась скорее умереть с голода, чем принять покровительство вдовы.

– Я не очень полагаюсь на дружбу мистрис Дэррелль, когда ее цель уже достигнута, – возразил Джильберт Монктон – Эллен Дэррелль способна любить только одного человека, и человек этот, как обычно бывает в этом свете, поступил против нее хуже всех. Она любит своего сына и, наверно, пожертвовала бы большею частью своих ближних для его пользы. Если она может доставить вам новое место, нет сомнения, что она это сделает. Если же нет, то так как ей удалось уже отстранить вас от пути своего сына, то она мало будет заботиться о вашей будущей участи.

Элинор гордо подняла голову:

– Я не нуждаюсь в помощи мистрис Дэррелль, – сказала она.

– Но от человека, которого бы вы любили – неправда ли, Элинор, вы не отказались бы принять совет и даже помощь? – возразил нотариус. – Вы очень молоды, очень неопытны. Жизнь в Гэзльуде была совершенно прилична для вас и могла бы еще продолжаться таким же образом несколько лет спокойно, без страданий, без опасений, если б не приехал Ланцелот Дэррелль. Я познакомился с вами уже полтора года назад и все это время внимательно следил за вами. Я полагаю, что теперь знаю вас. Ецш сила проницательности и навык наблюдения должны ставиться

во что-нибудь, то я должен хорошо знать вас в настоящее время. Я мог быть набитым дураком двадцать лет тому назад, теперь же я должен быть довольно опытен для того, чтоб понять восемнадцатилетнюю девушку.

Он сказал это более рассуждая сам с собою, чем обращаясь к Элинор. Мисс Вэн взглянула на него, удивляясь, к чему ведет вся эта речь и что на свете могло побудить нотариуса, который приобрел уже такое значение, как он, уйти из своей конторы среди самого разгара дневной деятельности? и для чего же? уж не для того ли, чтобы сидеть в бедной меблированной комнате, положив локоть на грязную скатерть среди беспорядка невымытых чашек и блюдец?

– Элинор Вэн, – сказал Монктон после непродолжительного молчания, – деревенские жители самые несносные сплетники. Вы не могли провести полутора года в Гэзльуде и не слышать какого-нибудь рассказа обо мне.

– Рассказа о вас?

– Да, вы, вероятно, слышали, что в ранней поре жизни меня постигло тайное горе? Что с покупкою Толльдэля были сопряжены тяжелые для меня обстоятельства?

Элинор Вэн была в высшей степени несведуща в искусстве хитрить. Она не умела дать уклончивого

ответа на прямой вопрос.

– Да, – сказала она, – до меня дошли эти слухи.

– И вы, без сомнения, слышали также, что мое горе – как, по моему мнению, и все другие страдания в этом мире, – причинила женщина?

– Я слышала и это.

– Я был очень молод, когда меня постигло это испытание, Элинор. Я, безусловно, верил прекрасно-му лицу и был обманут. В этих трех словах передана вся моя история, она, впрочем, вещь не новая. Большие трагедии и эпические поэмы были написаны на ту же тему, до того теперь известную всем, что распространяться, я считаю, излишним. Я был обманут, мисс Винсент, и горький урок послужил мне на пользу на целых двадцать лет. Да поможет мне Провидение теперь, когда я чувствую себя склонным его забыть. Мне сорок лет, но я еще не думаю, чтобы все радости жизни были уже для меня утрачены навсегда. Двадцать лет тому назад я любил и в пылкости свежих сил души был способен говорить много милых сумасбродств. Я полюбил опять, Элинор. Простите ли вы мне, если всякая способность говорить нежные бредни во мне уже утрачена. Позвольте ли вы мне сказать вам во немногих и простых словах, что я люблю вас, люблю давно и буду невыразимо счастлив, если вы найдете мою глубокую преданность до-

стойною ответа.

Румянец медленно исчезал с лица Элинор. Было время, до возвращения Ланцелота Дэррелля, когда одно слово похвалы, одно слово дружбы или уважения от Джильберта Монктона было бы высоко ею оценено. Она никогда не давала себе труда разбирать свои чувства. Время перед приездом молодого человека было самым светлым, самым беззаботным периодом ее молодости. В этот промежуток времени она не оставалась верною воспоминанию об отце и позволила себе наслаждаться счастьем. Но теперь целая бездна разверзлась между нею и этою эпохою забвения. Она не могла представить себе прошлое так ясно, как представляла прежде, не могла припомнить, не могла вернуть своих прежних чувств. Предложение Джильберта Монктона в то время скорее могло бы возбудить в ее сердце нежное чувство в ответ на его любовь. Теперь же рука его касалась ослабевших струн разбитого инструмента и не могла извлечь из него ни одного гармоничного звука.

– Можете ли вы любить меня, Элинор? – спрашивал Монктон умоляющим голосом, взяв ее руки. – Ведь ваше сердце свободно – я это знаю. Это уже что-нибудь да значит. Да простит мне Небо, если я стараюсь склонить вас на согласие, представляя вам выгоды того положения, которое я могу вам предло-



жить. Положим, что молодость моя уже прошла и я едва ли могу надеяться быть любимым за себя самого, но подумайте, как печальна, как беззащитна будет ваша жизнь, если вы отвергнете мою любовь и покровительство! Обдумайте это, Элинор! Ах! Если бы вы знали, какова судьба женщины, брошенной среди света без защиты и любви мужа, вы серьезно обдумали бы мое предложение. Я желаю иметь в вас более чем жену, Элинор: я желаю, чтобы вы были покровительницей и руководили легкомысленною бедною девушкою, которой будущность вверена моим попечениям. Я желал бы, чтоб вы поселились в Толльдэле, моя дорогая, по соседству от Гэзльуда и этого бедного ребенка.

По соседству от Гэзльуда! При звуке двух этих слов кровь жарким потоком прилила к лицу Элинор, смертельная бледность скоро сменила яркий румянец, она задрожала и ухватилась за спинку своего стула ища опоры. До той минуты, то, что говорил ей Джильберт Монктон, она выслушивала в тупом бесчувствии, но теперь ум ее вдруг пробудился и вполне понял все значение его мольбы. Она мгновенно сообразила, что единственное средство на успех того, чего она желала всего более на свете и что ей казалось совершенно недостижимым, теперь у нее под рукою. Она может возвратиться в Гэзльуд женою Монктона. Она не оста-

навливалась на той мысли, сколько этим брала на себя. По свойству своего характера, она всегда действовала под влиянием настоящей минуты и ей предстояло еще научиться покорности лучшему руководителю. Она могла вернуться в Гэзльуд. Она решила бы возвратиться туда судомойкою, представься на то случай; могла ли она теперь не решиться сделаться женою Джильберта Монктона?

«Моя молитва услышана, – думала она. – Моя молитва услышана. Само Провидение дает мне возможность сдержать мой обет; Проведение ставит меня лицом к лицу с этим человеком».

Элинор все еще стояла, держась за спинку стула, обдумывая все это и устремив прямо перед собою бессознательный взор. Она, по-видимому, оставалась совершенно равнодушною к серьезным глазам Монктона, которые следили за нею, пока он с замирающим сердцем ожидал ее решения.

– Элинор! – вскричал он умоляющим голосом. – Элинор! Раз в жизни я уже был обманут женщиной. Не дайте мне в другой раз быть жертвою обмана теперь, когда уж в волосах моих показывается седина. Я люблю вас, моя дорогая, я могу вам дать независимость, могу вас обеспечить, но не могу лишь предложить вам состояния или положения в свете, достаточно блестящего или высокого, чтоб ввести в искушение

женщину честолюбивую. Ради самого Бога, не шутите моим счастьем! Если вы любите меня теперь или надеетесь полюбить со временем, согласитесь быть моею женою, но если какой-нибудь другой образ уже занимает в вашем сердце хоть малейшее место, если между мною и вами стоит хоть одно воспоминание, хоть одно сожаление – удалите меня, не колеблясь ни минуты. Поступая таким образом, вы будете сочувственны ко мне да, может быть, и к себе самой. Я был свидетелем союза, в котором любовь с одной стороны встречала в другой одно равнодушие, может быть, даже более чем равнодушие, Элинор! Обдумайте, взвесьте все это и скажите мне откровенно: можете ли вы согласиться быть моею женой?

Элинор Вэн смутно сознавала, что под спокойным и серьезным обращением Монктона крылась глубокая страсть. Она силилась прислушиваться к его словам, старалась вникнуть в их смысл, но не могла. Единственная мысль, которая овладела ее душою, делала ее недоступною для всякого другого впечатления. Не любовь свою, не имя, не состояние предлагал ей Джильберт Монктон, а только средство вернуться в Гэзльд.

– Вы очень добры, – сказала она, – я соглашаюсь быть вашею женой. Я возвращусь в Гэзльд.

Она протянула ему руку. Ни тени стыдливости

или весьма естественного кокетства не отразилось в ее обращении. Бледная и задумчивая, она протягивала руку и жертвовала своею будущностью, как вещь маловажной, не стоящей внимания в сравнении с единственной преобладающей мыслью всей ее жизни – обещанием, данным умершему отцу.

# Глава XXV.

## Предложение принято

Когда человек ставит на весы свое счастье, он склонен довольствоваться самым легким наклонением чаши в его пользу. Нельзя предполагать, чтоб он стал разбирать критическим взглядом склад речи, которою ему присуждается желаемая награда. Джильберт Монктон не имел низкого мнения о своем уме, проницательности и суждении, но так же слепо, как Макбет, вверился обещанию прорицательных голосов в пещере колдуньи, так принял и он, серьезный и замечательно одаренный юрист, те немногие холодные слова, которыми Элинор Вэн выразила свое согласие быть его женой.

Нельзя сказать, чтобы он вовсе не обратил никакого внимания на то, как странно молодая девушка приняла его предложение, но его размышления на этот счет привели его посредством самой непогрешимой логики к тому заключению, что ей едва ли можно было выразиться в других словах. Он находил тысячу причин, вследствие которых ей следовало употребить именно те же выражения и произнести их тем же звуком голоса. Девическая скромность, невинность,

удивление, неопытность, детская робость: он перебрал целый каталог побудительных причин, приводя каждую, которая могла быть вероятна, исключая одной, и этой одной он опасался бы всего более – равнодушия или даже отвращения к нему со стороны Элинор. Он долго вглядывался в лицо молодой девушки в пройденном им юридическом поприще; он приобрел способность подмечать и выводить свои заключения из каждой улыбки, невольного движения бровей, едва заметного сжатия губ, каждого тона и полутона в оттенках выражения лица. Смотря на Элинор Вэн, он говорил сам себе:

– Эта девушка не может быть с продажною душою; она чиста, как ангел, так же бескорыстна, как дочь Иеффайя, так же неустрашима, как Юдифь или Жанна д'Арк. Она не может быть иначе как хорошею женой. Человек, на долю которого она выпадает, должен благодарить Всевышнего за его благодать.

С подобными мыслями нотариус принял решение девушки, которое должно было иметь влияние на всю его будущность. Он наклонился к прекрасной головке Элинор – несмотря на ее высокий рост, лицо ее доходило только до плеч Джильберта Монктона – и прижал свои губы к ее лбу, как будто налагая на нее печать собственности.

– Моя дорогая! – говорил он тихим голосом, – моя

возлюбленная! Я не могу вам выразить, насколько вы меня осчастливили, я не смею вам высказать всей силы моей любви. Одно время я полагал, что могу сохранить мою тайну и унести ее с собою в могилу. Пока вы находились бы вблизи от меня, под покровительством людей, заслуживающих мое доверие и, наслаждаясь счастливыми, светлыми днями невинной юности, я думаю, что я был бы в состоянии это сделать, но когда вы покинули Гэзльд, когда вы остались одна на свете, мне изменила твердость. Мне так хотелось предложить вам мою любовь, как опору, как твердый оплот. «Лучше мне быть жертвою обмана, лучше мне быть несчастным, чем ей оставаться без защиты», – думал я.

Элинор слушала слова счастливого Монктона. Он был неистощим, когда первый шаг был уже сделан и решение – так долго обсуждаемое, так долго избегаемое – наконец, принято. Казалось, ему возвращена была молодость какой-то сверхъестественной властью духа, невидимого, но явно присутствующего в этом бедном жилище. Он снова помолодел. Одним взмахом жезла какой-то доброжелательной феи исчезли паутины, целых двадцать лет затемнявшие его душу. Предубеждения, которых он придерживался с любовью и почти с упорством, подозрительность и недоверие были из нее изглажены, оставляя ее пре-

красным листом, таким же ясным, каким она было до того времени, как сгустившийся над нею мрак набросил такую черную тень на жизнь этого человека. Внезапно было превращение мизантропа – искателя руки Элинор, под влиянием истинной, чистой к ней любви.

Целых двадцать лет он смеялся над женщинами, над верою в них мужчин, а теперь, по прошествии этого времени, он стал верить сам и, избавившись от добровольного заключения, распускал свои крылья и пользовался свободой.

У Элинор вырвался невольный вздох, пока она слушала своего жениха. То время прошло безвозвратно, когда она еще могла бы надеяться уплатить большой долг благодарности мужу, под бременем этой благодарности она испытывала какое-то тягостное чувство. Она начинала усматривать, хотя и смутно – так силен был эгоизм, порожденный единственной целью ее жизни что приняла на себя обязанность, исполнение которой, может быть, выше ее сил: она вошла в долг, который едва ли могла надеяться уплатить. На минуту мысль эта представилась ей под влиянием нового впечатления, она была готова отступить назад, думая сказать:

«Я не могу быть вашею женой: я слишком связана прошедшим, чтоб быть в состоянии исполнять



долг, налагаемый на меня настоящим. Я стою отдельно от всех других женщин и должна оставаться одна до тех пор, пока достигну цели, которую себе предположила, или должна буду расстаться навсегда с надеждою на ее исполнение».

Она думала это и слова уже носились на ее губах, как вдруг образ отца предстал перед нею с выражением гневного укора, как будто говоря: «Так-то ты помнишь зло, мне нанесенное, и мои страдания, что способна уклониться от какого бы то ни было средства мести за меня?»

Эта мысль изгнала все другие.

«Я сперва исполню свой обет, а после обязанность против Джильберта Монктона, – думала Элинора. – Быть доброю женой для него мне будет нетрудно. Я всегда очень любила его».

Она припомнила прежние дни, когда, сидя немного поодаль от нотариуса и его питомицы, она завидовала Лоре Мэсон и ее очевидному влиянию на Монктона; и на минуту слабое содрогание радости и торжества пробежало по ее жилам, когда ей пришла вдруг мысль, что с этой минуты она имеет более нрав на этого человека, чем кто-либо другой на земле. Он будет принадлежать ей, будет ее любовником, ее мужем, другом и наставником – будет всем для нее в этом мире.

«О, только бы мне отомстить за жестокую смерть отца, – думала она. – После я могу быть доброю и счастливою женой».

Монктон охотно простоял бы век возле своей невесты у окна, освещенного солнцем. Глазам его представлялись двери конюшен, празднично стоящие конюхи, которые в промежутках отдыха после труда курили свои трубки и пили; бедно одетые женщины, которые вывешивали только что вымытое белье и составляли из этих мокрых платьев род триумфальных арок поперек улицы; дети, играющие в котел, или отзываемые от этой увлекательной забавы для того, чтоб сходить для родителей за горячим и еще дымящимся двухфунтовым хлебом, или за кружкою пива для старших. Все эти предметы были исполнены красоты в глазах владетеля Толльдэльского Приората. Избыток солнечного сияния, озарявшего его душу, бросал свой отблеск на эти обыкновенные предметы. Монктон смотрел на угловатые очертания тощих лошадей, классические формы ветхих кэбов и на все другие предметы, составлявшие исключительную принадлежность Пиластров, с сиянием удовольствия и наслаждения на лице. Наблюдатель, который видел бы только его, а не зрелище, ему представлявшееся, мог бы вообразить, что перед окном мисс Вэн неаполитанский залив расстилается во всем блеске своей роскошной красо-

ты.

Синьора Пичирилло возвратилась по окончании своего дневного труда и застала Монктона, погруженного в это созерцание. Он тотчас отгадал кто она и приветствовал ее с дружелюбием, очень удивившим бедную учительницу музыки. Когда Монктон заговорил с синьорою, Элинор ускользнула из комнаты: молодая девушка была рада избавиться от того человека, с которым так необдуманно связала свою судьбу. Она подошла к зеркалу, зачесала назад волосы, чтоб освежить горячий лоб, и бросилась на постель, изнемогая от сильных потрясений, вынесенных ею, неспособная даже мыслить. «Я желала бы иметь возможность почти вечно лежать здесь таким образом, – думала она. – Это так похоже на мир, лежать спокойно, откинув всякую мысль».

До сих пор ее молодые силы бодро выдерживали борьбу с бременем, взятым ею на себя, теперь же они ей изменили, и она впала в тяжелое забытие без сновидений; благословенный укрепляющий сон, которым природа вознаграждает себя за наносимый ей вред. Джильберт Монктон передал свой рассказ коротко и просто. Он и не имел нужды говорить много о себе, потому что Элинор часто писала о нем из Гэзльуда синьоре и много про него рассказывала, когда однажды приезжала гостить в Пиластры.

Элиза Пичирилло была слишком бескорыстна, чтоб не радоваться при мысли о том, что Элинор любима человеком добрым, положение которого в свете удалит от нее всякую опасность, всякое искушение, но к ее бескорыстной радости примешалось и грустное чувство: она подметила тайну своего племянника и была уверена, что замужество Элинор будет для него тяжким ударом.

«Я не предполагаю, чтоб бедный Дик когда-либо надеялся приобрести ее любовь, – думала синьора Пичирилло. – Но если б он мог продолжать любить ее и восхищаться ею, обращаясь с нею свободно, на правах брата, он был бы счастлив. Впрочем, может быть, оно и лучше, как случилось теперь: может быть, эта самая неизвестность, набросив тень на его жизнь, лишила бы его доступного для него счастья».

– Так как моя дорогая Элинор сирота, то вы, синьора Пичирилло, единственное лицо, согласия которого я должен искать. Я не раз слышал от Элинор, скольким она вам обязана, и, поверьте мне, прося ее руки, я вовсе не желаю, чтоб моя будущая жена не считала себя более вашею приемною дочерью. Она говорила мне, что в самые тяжкие минуты ее жизни вы были для нее таким же верным другом, как родная мать. Она никогда не сообщала мне, в чем заключалось ее горе, но я верю ей безусловно и не желаю мучить ее

расспросами о прошлом, которое, по ее словам, так печально.

Элиза Пичирилло опустила глаза под пристальным взглядом Монктона. Она вспомнила обман, к которому должны были прибегнуть при поступлении Элинор Вэн в дом мистрис Дэррелль, чтоб удовлетворить гордость единокровной сестры молодой девушки.

«Мистер Монктон должен знать историю жизни Нелли прежде, чем женится на ней», – подумала прямодушная синьора.

Она представила это на следующее утро Элинор, когда, подкрепив свои силы продолжительным сном, молодая девушка встала, воодушевленная какой-то отчаянной уверенностью в успех – скорый успех ее мести за смерть отца.

Мисс Вэн некоторое время горячо опровергала доводы синьоры.

– Зачем ей было открывать Джильберту Монктону свое настоящее имя? – говорила она. – Она желала его сохранить в тайне от мистера де-Креспиньи, от обитателей Гэзльуда. Оно должно оставаться тайною, – продолжала она.

Но мало-помалу Элизе Пичирилло удалось поколебать ее решимость. Она растолковала пылкой молодой девушке, что брак ее под чужим именем не будет признан законным.

Кроме этого довода, она представляла ей, как с ее стороны было бы неблагородно обманывать будущего мужа.

Страшно спешили со свадьбою, так казалось Ричарду и синьоре, но даже короткий промежуток времени между объяснением в любви Монктона и днем свадьбы показался Элинор почти невыносимо длинным.

Важный шаг, вследствие которого она делалась женою Монктона, казался ей ничтожным. Она не обращала никакого внимания на этот переворот в ее жизни. Все ее мысли, все желания стремились к одному – возвращению в Гэзльуд, чтоб найти явные доказательства низкого обмана Ланцелота Дэррелля и успеть изобличить его прежде смерти Мориса де-Креспины.

Некоторые приготовления были необходимы: надо было подумать о приданом. Оно было очень просто, приличнее для невесты молодого деревенского пастора с семидесяты фунтами годового дохода, чем для будущей владетельницы Толльдэльского Приората. Элинор вовсе не занималась хорошенькими нарядами нежных цветов, недорогих и простых, как относительно ткани, так и относительно покроя, которые синьора выбрала для своей протее. Также понадобилось время на составление брачного контракта:

Джильберт Монктон непременно хотел поступить в отношении к своей невесте так же великодушно, как будто она была знатного происхождения и имеет аристократа отца, позаботившегося выговорить ей со всем уменьем дипломатии полное обеспечение.

Но Элинор оставалась равнодушна к законному акту, упрочивавшему ее благосостояние, равно как и к приданому, и ее с трудом можно было заставить понять, что со дня своей свадьбы она становится полной владельницей небольшого поместья с тремястами фунтами годового дохода.

Раз, только один раз она выказала Джильберту Монктону благодарность за его великодушие; это было в тот день, когда ей в первый раз пришла мысль, что эти триста фунтов, к которым она так равнодушна, дадут ей средство обеспечить Элизу Пичирилло.

– Милая синьора, – говорила она, – после моего замужества, вам более уже никогда не нужно будет работать.

– Как вы добры, мистер Монктон, что даете мне эти доходы! – продолжала она, и глаза ее вдруг наполнились слезами. – Я постараюсь быть достойной вашей доброты, от души постараюсь.

В тот же вечер, когда Элинор обратилась к своему жениху с этими немногими словами искренней признательности, она открыла ему свою тайну.

Он проводил все свои вечера в Пиластрах. Он чувствовал себя там, как дома и был невыразимо счастлив в этой бедной цыганской колонии.

– Элино́р и я, – говорил он, – избрали для нашей свадьбы церковь св. Георга в Блумсбери. Свадьба будет самая тихая. Мои два свидетеля, вы да мистер Торнтон, одни будете присутствовать на ней. Жители Беркшира очень удивятся, когда я привезу в Толльдэль мою молодую жену.

Нотариус уже собирался уйти, когда синьора положила руку на плечо Элино́р:

– Вы должны поговорить с ним сегодня, Нелли, – сказала она ей шепотом, – ему нельзя позволить взять разрешение на брак под ложным именем.

Элино́р наклонила голову.

– Я исполню ваше желание, синьора, – сказала она.

Минут через пять, когда Джильберт Монктон подавал ей руку на прощанье, Элино́р сказала спокойно:

– Я еще не прощаюсь с вами, я сойду с вами вниз: мне надо кое-что сообщить вам.

Она сошла по узкой лестнице и вышла на улицу в сопровождении Монктона. Было десять часов; все тихо и спокойно; лавки закрыты и в трактире никакого движения. При лунном свете бедные жилища имели менее жалкий вид, а полуразрушенные деревянные столбы казались почти живописными. Мисс Вэн сто-



яла, слегка прислонясь к одному из столбов, перед лавкою башмачника и прямо и доверчиво смотрела на своего жениха.

– Что вы желаете мне сказать, моя дорогая Элино́р? – спросил ее Монктон, когда она продолжала смотреть ему в лицо, с выражением сомнения, как будто недоумевая насчет того, что хочет ему сообщить.

– Мне вам надо сказать, что я поступала очень дурно: я обманывала вас.

– Обманывали, Элино́р?

Даже при свете луны она могла видеть, какую бледностью вдруг покрылось лицо Монктона.

– Да, я обманывала вас. Я скрывала от вас тайну и могу открыть ее вам только с одним условием.

– С каким?

– Чтоб вы не сообщали ее ни мистеру де-Креспиньи, ни мистрис Дэррелль, пока я не разрешу вам этого.

Джилльберт Монктон улыбнулся. Его внезапный ужас рассеялся пред правдивостью, которая слышалась в голосе молодой девушки, пред искренностью, которою дышало все ее обращение.

– Не говорить мистеру де-Креспиньи или мистрис Дэррелль? – повторил он, – конечно, не скажу, моя дорогая. Зачем я стану говорить им то, что касается вас,

когда вы не желаете, чтоб они это знали?

– Так вы обещаете?

– Без сомнения.

– И вы мне торжественно даете слово не открывать ни мистеру де-Креспиньи, ни кому другому из семейства тайну, которую я вам доверю; ни в каком случае не быть введенным в искушение нарушить ваше обещание?

– Что с вами, Нелли? – вскричал Монктон, – вы так серьезны, как будто заставляете произносить страшную клятву неопита какого-нибудь политического общества. Я не нарушу данного вам слова, моя дорогая, будьте в том уверены. В моем звании я мог приобрести навык сохранять тайны. Что же это, Элинора? Что же это за страшная тайна?

Мисс Вэн устремила на лицо своего жениха внимательный взгляд, чтоб следить за малейшею переменю в его выражении, которое могло бы изобличить неудовольствие и презрение. Она очень боялась лишиться его доверия и уважения.

– Когда я ехала в Гэзлуд, – сказала она, – я приняла чужое имя, но не по собственному желанию, а в угождение моей сестре: ей хотелось скрыть от света, что кто-нибудь из членов ее семейства находится в зависимом положении. Моя фамилия не Винсент, а Вэн. Я – Элинора Вэн, дочь старого друга мистера де-

Креспиныи.

Удивление Джильберта Монктона не знало границ. Он слышал об истории жизни Джорджа Вэна от мистрис, Дэррелль, но никогда не слышал о рождении младшей дочери старика.

– Элино́р Вэ́н, – сказал он. – Так мистрис Баннистер ваша сестра?

– Она мне сестра но отцу; по ее-то желанию я и поехала в Гэзльуд под чужим именем. Вы на меня за это не сердитесь?

– Могу ли я сердиться на вас! Нет, моя дорогая: это обман довольно невинного свойства, хотя со стороны вашей сестры я нахожу это глупой гордостью. Моя Элино́р несколько не была унижена тем, что извлекала пользу из своего знания. Мое бедное, доверчивое дитя! – прибавил он нежно. – Быть одною на свете и решиться сохранять тайну! Но почему же вы желаете сохранить ее и теперь, Элино́р, не стыдитесь ли вы имени вашего отца?

– Стыдиться его имени – о, нет! нет!

– Так зачем же вы хотите и теперь скрывать ваше настоящее имя?

– Я еще не могу вам сказать почему, но ведь вы сдержите ваше слово? Вы слишком благородны, чтоб не сдержать.

Монктон посмотрел с удивлением на серьезное ли-

цо молодой девушки.

– Я сдержу его, моя дорогая, – сказал он, – но решительно не могу понять вашего сильного желания сохранять эту тайну. Впрочем, мы не будем говорить об этом более, Нелли, прибавил он как будто в ответ на умоляющий взор мисс Вэн. – Ваше имя будет уже Монктон, когда вы вернетесь в Беркшир, и никто не посмеет оспаривать ваших прав на него.

Монктон поцеловал в лоб молодую девушку и простился с нею на пороге двери башмачника.

– Да благословит вас Бог, мое дорогое дитя! – сказал он тихим голосом, – и да сохранит он нашу веру друг в друга. Между мною и вами, Нелли, не должно быть тайн.

## Глава XXVI. Лукавый демон

В ясное сентябрьское утро мисс Вэн и ее друзья отправлялись в наемной карете в мирную, старинную церковь Гэртской улицы в Блумсбери. Небольшая толпа собралась вокруг дома башмачника и, кроме того, многие другие сочувствующие зрители были рассеяны по конюшням, потому что свадьба – вещь такого рода, которую самые искусные люди не сумеют сохранить в тайне.

Шелковое платье мисс Вэн светло-коричневого цвета, черное мантио и простенькая белая шляпка не составляли наряда, положенного для невесты, но молодая девушка была так прекрасна в своей простой одежде и девственной невинности, что ни один из конюхов, вышедших из конюшен взглянуть на нее, пока она шла к карете, шепнул на ухо своему соседу желание назвать своею женой такую же красавицу.

Ричард Торнтон не провожал прекрасной молодой невесты: в этот именно день он должен был писать декорацию большей значительности, чем все прежние его работы. Итак, он рано вышел из дома, простясь с Элинор самым нежным и братским приветствием. К сожалению, однако, надо сознаться, что он вместо того, чтоб идти прямо в театр «Феникс», пе-

решил медленным, ленивым шагом Уэстминстерский мост, потом устремился почти с бешеной быстротой в самые отдаленные части Лэмбета, мрачно хмурясь на уличных мальчишек, попадавшихся ему на дороге, обогнул Архиепископский дворец и бросал грозные взгляды на пустынный вокзал, бежал далеко, в самые уединенные места Бэттерсийских полей. Там он провел большую часть дня в мрачной и плохой таверне, потягивая подмешанное пиво и куря дурной табак.

В честь дня свадьбы ее протеже, на синьоре было черное шелковое платье – подарок Элинор к прошедшему Рождеству; но в этот день мирного счастья сердце Элизы Пичирилло делилось между радостью за успех и счастье мисс Вэн и грустью за бедного Дика.

Монктон и его два свидетеля встретили невесту на паперти церкви, старший из свидетелей, человек пожилой, с седыми волосами, который должен был вести ее к алтарю, наговорил ей много соответствующих случаю, но довольно обветшалых приветствий. Может быть, в этот день мисс Вэн еще в первый раз взглянула на шаг, который ей предстояло сделать как на шаг важный и страшный, может быть, в этот день ей в первый раз пришла мысль, какой грех она взяла себе на душу, приняв так необдуманно любовь Джильберта Монктона.

«Если бы он знал, – думала она. – Что я согласилась за него выйти не из любви к нему, а из желания возвратиться в Гэзльд!»

Но вскоре мрачные тени сошли с ее лица, и легкий румянец покрыл ее щеки.

«Впрочем, я полюблю его со временем, когда отомщу за смерть отца», – подумала она.

Вероятно, что-нибудь в роде этой, мысли наполнило ее душу, когда она встала у наоя возле Джильберта Монктона.

Сквозь высокое окно церкви лучи осеннего солнца освещали их обоих и обливали их желтоватым светом, подобно изображению Иосифа и Марии на старинной картине. Жених и невеста, стоя друг возле друга, в этом золотистом свете солнечных лучей, оба были прекрасны. Года Джильберта Монктона придавали ему еще более благородного и возвышенного достоинства, и святой обет любви и покровительства он произнес с той торжественностью, на которую едва ли может быть способен юноша двадцати лет.

В это утро свадьбы все, казалось, предзнаменовывало счастье. Свидетели жениха находились в самом блестящем расположении духа, служитель и сторож церкви были воодушевлены надеждою на ожидаемое вознаграждение. Одна только синьора тихо плакала во время чтения молитв, представляя себе, как бед-

ный ее Ричард отчаянно курит и пьет пиво в своей уединенной мастерской; но когда обряд венчания был окончен, добрая учительница музыки осушила свои слезы и скрыла всякий след грусти прежде чем подошла обнять и поздравить молодую.

– Вы должны к нам приехать, посмотреть на нас в Приорате, милая синьора, – говорила Элинон, крепко обнимая ее перед выходом из церкви, – вы знаете, что этого желает и Джильберт.

Голос Элинон слегка задрожал, когда она в первый раз назвала своего мужа просто Джильбертом. Она бросила на него робкий взгляд. Казалось, как будто она не признает за собой право говорить так фамильярно о владельце Толльдэльского Приората.

Вскоре Элиза Пичирилло осталась на паперти одна – в обществе лишь церковного служителя, которого предупредительная услужливость соразмерялась щедрости полученного вознаграждения. Она следила глазами за каретой, уносившей молодых к станции железной дороги. При отсутствии всякого предпочтения со стороны Элинон, Монктон избрал тихое местечко минеральных вод в Йоркшире, чтобы провести там время медового месяца. Синьора Пичирилло вздохнула, спускаясь со ступеней паперти и поспешно села в наемную карету, которая должна была отвести ее в Пиластры.



«Итак, Блумсбери простился с Элинор навсегда, — думала она с грустью. — Конечно, мы можем съездить к ней в ее новый великолепный дом, но к нам она, вероятно, не вернется никогда, никогда более она не будет мыть чашки и готовить чай с поджаренным хлебом для своей утомленной старой учительницы».

Низкие багрово-оранжевые лучи заходящего сентябрьского солнца уже спускались за серую черту океана, при исходе последнего дня медового месяца Джильберта Монктона. В первый день октября он перевозил свою молодую жену в Приорат. Мистрис и мистер Монктон ходили по песчаному берегу моря, когда исчезал последний слабый отблеск на западе. Нотариус был серьезен, молчалив и по временам украдкой бросал взгляд на свою собеседницу. Иногда его взгляд сопровождался вздохом.

Элинор была бледнее и более грустна, чем во все время после своего посещения конторы маклера. Уединение и тишина того местечка, в которое Джильберт Монктон привез свою жену, дали ей полную возможность предаться единственной преобладающей мысли всей ее жизни. В вихре удовольствий она, быть может, осталась бы верна глубоко вкоренившемуся решению, так давно питаемому ею в душе, но, с другой стороны, можно было надеяться, что прелесть новизны и перемены образа жизни, прелесть, к которой

молодость никогда не остается равнодушной, отвлекла бы молодую женщину от постоянных мыслей, отделивших ее от мужа так же действительно, как мог бы разделять океан, если бы находился между ними.

Да, Джильберт Монктон открыл ту роковую истину, что брак не всегда бывает вполне союзом, и что самые священные слова, когда-либо произносимые, не могут соткать той таинственной ткани, посредством которой две души соединяются в одну нераздельную, если в одной из них находится хоть одна нить, не соответствующая магической ткани.

Джильберт Монктон узнал это на опыте и чувствовал, что какая-то фальшивая нота звучала в струне, которая могла бы издавать такую стройную гармонию.

Сколько раз ему случалось, разговаривая с женой, увлекаться собственной мыслью, рассчитывать на ее сочувствие, как на вещь верную, взглядывать на лицо Элинор и вдруг замечать, что душа ее далеко от него, далеко от предмета разговора витает в неизвестных ему пределах. Он не находил ключа к разгадке ее тайных помыслов; с губ ее не срывалось ни одного случайного слова, могущего служить ему руководящею нитью.

Итак, до истечения еще медового месяца Джильберт Монктон стал уже ревновать свою жену, порождая таким образом в себе самом целое гнездо скорпи-

онов или, лучше сказать, гнездо молодых коршунов, которым он с этих пор сам должен служить пищей.

Но ревность его не имела свирепого свойства ревности Отелло. Чудовище с зелеными глазами не представлялось ему под грубой оболочкой, которое изливает свою ярость посредством подушек, яда и кинжалов. Чудовище приняло вид ласкового демона-философа. Оно скрыло свои демонские свойства под личной степенной важности друга-мудреца. Другими словами, Монктон, обманутый в своих надеждах относительно результата своей женитьбы, старался примириться со своим разочарованием; на деле же он только постоянно терзал себя тайными предположениями насчет причины чего-то неопределенного в обращении его жены, которое говорило ему, что между ними нет полного сочувствия. Нотариус упрекал себя в безумии и слабости, построив прекрасный замок надежд на шатком основании того лишь факта, что Элинор приняла предложение его руки. Разве девушки в положении дочери Джорджа Вэна не выходят замуж по расчету в наш денежный продажный век? Кто знал это лучше нотариуса Джильберта Монктона? Он составлял столько свадебных контрактов, принимал участие в стольких разводах, присутствовал при стольких торговых сделках под фирмой брака, корыстные побуждения которых так же

мало скрывались, как в каком-нибудь акте о продаже скота в окрестностях Смитфильда. Кто мог знать лучше его, что прекрасные, невинные молодые девушки ежедневно продают свою красоту и невинность для нескольких строк, составленных нотариусом и переписанных набело за известную плату с листа?

Он хорошо знал все это, а между тем, в своей безумной самоуверенности сказал сам себе: «Я один из всех буду исключением из общего правила. Девушка, которую я избрал, бедна, но отдается она мне не из других низких побуждений, а за любовь мою, за искренность и преданность. Эти чувства мои будут принадлежать ей до последнего дня моей жизни».

Когда Джильберт Монктон говорил это, злобный демон уже занял себе постоянное место на плече несчастного, вечно нашептывал ему на ухо коварные сомнения, внушая ему призрачный страх.

В течение медового месяца Элинор не казалась счастливой. Ей надоедало смотреть на песчаный берег, плоский и пустынный, который тянулся в беспредельном пространстве под сентябрьским небом. Ей надоедало смотреть на нескончаемую непрерывную линию, которая граничила с неизмеримым серым океаном. Свою скуку она выказывала довольно откровенно, но зато скрывала тайный источник этой скуки — этого лихорадочного нетерпения возвратиться в Гэз-

лбуд, чтобы прежде смерти мистера де-Креспиньи открыть то, к чему стремились все ее желания.

Однажды Элинор стала расспрашивать мужа насчет здоровья старика.

– Как ты полагаешь, долго ли может еще прожить мистер де-Креспиньи? – спросила она.

– Это известно одному Богу, душа моя, – ответил небрежно нотариус. – Он уже двадцать лет находится в болезненном состоянии, кто знает, может прожить еще столько же. Мне кажется, что смерть его непременно должна быть внезапна, когда бы она ни случилась.

– Как ты думаешь, оставит ли он свое состояние Ланцелоту Дэрреллю?

Произнося имя молодого человека, Элинор слегка побледнела, невидимый дух, постоянный спутник Монктона, тотчас обратил его внимание на этот факт.

– Я не знаю, – отвечал Монктон. Но скажи, что побуждает тебя принимать такое сильное участие в судьбе мистера Дэррелля?

– Я задала только простой вопрос, Джильберт, но никакого особенного участия в нем не принимаю.

Даже коварство злобного духа не могло ничего заметить в выражении голоса Элинор, когда она произносила эти слова, и Монктон устыдился минутной острой боли, причиненной ему напоминанием об име-

ни Ланцелота Дэррелля.

– Я полагаю, что де-Креспиньи, наверно, оставит свое состояние молодому Дэрреллю, моя милая, – сказал он ласковее прежнего, – и хотя я не имею очень высокого мнения о характере этого молодого человека, но мне кажется, что наследство от его деда принадлежит ему по праву. Конечно, и старым девицам должна быть назначена пожизненная пенсия. Одному Богу известно, как они упорно боролись для достижения этой награды.

– Как могут люди поступать так низко из-за денег! – вскричала Элинор во внезапном порыве негодования.

Монктон посмотрел на нее с восторгом: лицо ее горело ярким румянцем от силы и глубины чувства, наполнявшего ее душу.

Она думала о своем отце и о деньгах, выигранных у него в ту ночь, когда он лишил себя жизни.

«Нет, – думал Монктон. – У нее не может быть продажная душа. Такое прелестное существо, с такой впечатлительной душой, никогда не может быть виновно в преднамеренной низости. Что может быть подлее того, когда женщина выходит за человека нелюбимого ею, из-за одного только расчета, обманывая его притворною любовью и тем доставляя себе более выгодное положение в свете? Но если сердце ее принадлежит мне во всей своей непомрачен-

ной ясности, то я должен быть доволен, хотя это девственно-невинное сердце и может казаться холодным; впрочем, она, конечно, полюбит меня со временем. Она приобретет ко мне доверие, научится сочувствовать мне».

Подобными доводами Монктон старался успокоиться и по временам успевал в этом.

Рассеяние Элинора он принимал за врожденное ей свойство, а задумчивость молодой женщины – за непривычку к новому положению. Утром 1 октября Джильберт Монктон заметил некоторую перемену в обращении Элинора, и в это утро демон снова занял свое место на его плече.

Мистрис Монктон не была более серьезна и равнодушна. Лихорадочное нетерпение, внезапное оживление воодушевляли ее.

– Примечаешь ли, – шептал неотвязчивый дух, пока Элинора сидела против мужа в одном из отделений экстренного поезда, который мчал их в Лондон, на пути в Беркшир – замечаешь ли ты живой румянец на щеках твоей жены и блеск ее глаз? Ты ведь видел, как она намертво побледнела при имени Ланцелота Дэррелля и, верно, помнишь, что говорила тебе мать этого молодого человека. Разве ты не сумеешь сделать такой простой выкладки логического исчисления? Можешь ты сложить два да два, я надеюсь.

Жене твоей до смерти прискучили и Йоркшир, и море, и песчаный берег, и ты сам. Сегодня она в блестящем расположении духа; ничего не может быть легче, как пояснить причину подобной перемены: она рада возвратиться в Беркшир, а рада она потому, что увидит Ланцелота Дэррелля. Покрыв лицо батистовым платком, Монктон исподтишка наблюдал за женой через искусно сложенные ею складки и наслаждался подобной беседой с коварным демоном, который не оставлял его.



## Глава XXVII. Медленный огонь

Элинор Монктон показалась очень странной ее новая жизнь в Толльдэльском Приорате. Чопорная важность старого дома ложилась тяжелым гнетом на ее душу. Она более привыкла к свободе – несколько цыганского образа жизни, без всяких условных стеснений, и ее новое счастье сначала, казалось, более удивляло ее, чем приносило ей наслаждение. Благовоспитанные слуги, которые окружали ее в почтительном безмолвии, сознавая ее своею хозяйкою и стараясь наперебой угождать ей, резко отличались от содержательниц меблированных комнат, в которых она жила со своим отцом, или от добродушного башмачника в Пиластрах.

В Гэзльуде она сама находилась в зависимости, и те, которые оказывали ей услуги, исполняли это с откровенными улыбками и бесцеремонным приветствием. Но хозяйке Толльдэля надо было в некоторой степени поддержать свое достоинство, и ей пришлось учиться новым обязанностям в ее новом положении.

Сначала эти обязанности показались очень тяжелыми впечатлительной женщине, с врожденным презрением ко всякого рода этикету и стереотипному принятому ходу вещей. В особенности же они ей были

стеснительны потому, что Джильберт Монктон требовал от своей молодой жены тщательного соблюдения всех своих новых прав и был склонен строго взыскивать за всякое упущение, могущее унижить ее достоинство. Он как будто ревновал ее к ее девической необдуманности в действиях, считая это явным доказательством того, что она жалеет о свободе своего прежнего образа жизни. Вообще Монктон был склонен к ревности. Эти слова показывают, какие муки и он изобрел для себя. Он ревновал свою молодую жену ко всему и ко всем, что ее касалось.

Таким образом Джильберт Монктон начал свою супружескую жизнь; таким образом он сам положил основание разрыву между собой и женщиной, которую боготворил. Когда же недоверие и недоразумение легло мрачной и непроходимой бездной между этим слабым человеком и тою, которую он любил более всего на свете, он только бросился на край зияющей пучины и предался отчаянию. Мы не без основания называем Джильберта Монктона человеком слабым. Во всех обыкновенных делах жизни и во всех исключительных, которые ему встречались на пути его профессии, ясность и сила ума нотариуса не могли быть превзойдены никем из его собратьев по профессии. Раз составив себе мнение, он был тверд, решителен, верен своему убеждению и непреклонен.

Ему вверялись, безусловно, те, которые обращались к нему. Но в своей любви к жене он был слабее и нерешительнее всякого двадцатилетнего юноши в минуту отчаяния. Однажды в своей жизни он обманулся в женщине, которую любил, как теперь любил Элинор. Он не мог забыть этого разочарования. Тень, брошенную на его жизнь, не мог бы рассеять никакой солнечный свет доверия и любви. Раз он уже был обманут, стало быть, обманут и в другой раз. Вред, наносимый вероломством женщины, оставляет продолжительный, иногда неизгладимый след. Тогда как сочувствующие друзья радуются тому, что постепенно заживает поверхность язвы, рана гноится глубоко под наружным рубцом и внутренний яд, распространяясь далее и далее, приобретает со временем только более силы. Тайное горе, поразившее молодость Джильберта Монктона, отняло у него веру в искренность и чистоту души каждой женщины. Он наблюдал за своей женой, как прежде за своей питомицей, следя за каждым ее движением подозрительным взором, исполненным опасений, даже и тогда, как восхищался ею всего более. Он считал ее в некоторой мере причудливым, своевольным существом, ежеминутно способным обратиться против него и обмануть его.

Долго боролся он против любви к прекрасной ком-

паньонке своей питомицы. Он старался закрыть свою душу от всякого сознания ее очарований, он старался в нее не верить. Если бы она оставалась в Гэзльуде, эта внутренняя борьба в его душе могла бы продолжаться еще много лет, но внезапный отъезд молодой девушки заставил нотариуса забыть свою осторожность; увлеченный чувством, он выдал свою тайну, так искусно скрываемую, и во второй раз в своей жизни рисковал своим счастьем на шатком основании правдивости женщины.

«Могу ли я знать ее более, чем знал Маргарету Рэвеншо, – думал он иногда? – Могу ли я довериться ей только потому, что она мне смотрит прямо в лицо взором ясным, как небо над моей головой? По большей части какая-нибудь наружная примета дает возможность разгадать характер мужчины, как бы он ни был искусен в лицемерии, но женщина – красота ее собьет с толку любого физиономиста. Мы доверяемся женщинам, мы веруем в женщин на основании собственного восторга». «Она не может быть порочна с таким прелестным греческим носиком, – говорим мы. Рогик такой изящной красоты не может произносить неправды».

Если бы молодая жена Джильберта Монктона казалась счастливою в своем новом доме, он принял бы это за благоприятное предзнаменование и блеск ее

веселости, конечно, отразился бы на нем светлым сиянием; он видел ясно, что Элино́р не была счастлива день и ночь, он терзал себя тщетными усилиями открыть причину ее изменчивого расположения духа, внезапных припадков рассеяния, задумчивого и продолжительного молчания.

И пока Монктон испытывал все эти муки и каждый день расширял пропасть, им самим разверзтую, жена его, вся поглощенная своей собственной тайной целью, почти ничего не замечала вокруг себя. Видя мужа задумчивым и мрачным, она делала заключение, что пасмурное настроение его духа, вероятно, происходит от забот по делам, которые ее не касались. Если он вздыхал – она приписывала его грусть той же причине. Утомительные дела по духовному завещанию, какой-либо хлопотливый процесс, что-нибудь в этих пыльных конторах, но ее мнению, возбуждало его досаду, но это что-нибудь ни в каком случае не должно иметь ничего общего с ней.

Элино́р Монктон взяла на себя обязанность, не свойственную ее природе; принятый ею на себя долг не позволял ей оставаться в нормальном положении, и вся ее жизнь должна была облечься в такую форму, которая могла бы приспособляться к неженственной цели всех ее стремлений. Она отказалась от преимуществ жены, но, не исполняя своих обязан-

ностей, все так же оставалась верною роковому обету, произнесенному в первую минуту безумного отчаяния от смерти своего отца.

Она провела более недели в Толльдэльском Приорате и еще не подвинулась ни на шаг на нуги, по которому намеревалась идти с такой отчаянной решимостью. Она не видела еще Ланцелота Дэррелля. Джильберт Монктон провел первый день после своего возвращения в Беркшир в посещениях соседей; он объехал небольшое число домов, с которыми сохранил сношения, сообщая о своей женитьбе на молодой девушке, бывшей за несколько дней еще тому назад компаньонкой его питомицы.

Весьма естественно, что от каждого, кому сообщал он это известие, он слышал одни дружеские поздравления и сердечное желание счастья; естественно также, что те же самые люди тотчас по его отъезде принимались удивляться его сумасбродству и предсказывать всякого рода гибельные последствия от такого нелепого и неосновательного брака.

В Гэзльуде он оставался всего долее. Там новость, им сообщенная, возбудила искреннюю радость без всякой примеси. Ланцелот Дэррелль работал в своей мастерской и потому не слышал этого известия. Вдова радовалась тому, что замужество Элинор оградит ее сына от грозившей ему опасности – же-

нитьбы на бедной девушке, а Лора от души радовалась мысли опять увидеть свою подругу.

– Скоро ли мне можно будет к вам приехать в Толльдэль, мистер Монктон? – спросила она. – Милая Нелли! Мне так хочется ее видеть! Но подумать только, что она ваша жена! Никогда в жизни я не была ничем удивлена до такой степени! Вы довольно стары, чтобы быть ее отцом. Как это смешно!

Монктон не был очень признателен своей питомице за крайнюю наивность ее замечания, но пригласил ее провести следующий день с Элинор.

– Я завтра уеду в Лондон, – сказал он, – и боюсь, чтобы мистрис Монктон Приорат не показался очень скучным.

– Мистрис Монктон? – вскричала Лора. – Ах! Ведь это Нелли, я и забыла! Еще бы ей не скучать в Приорате! Я полагаю, что бедная Нелли даже будет очень скучать в этих мрачных, заросших садах с деревьями неизмеримой вышины и обведенными такими высокими стенами, в каком грустном одиночестве она почувствует себя.

– Она не будет одна, я каждый день буду возвращаться к обеду.

– Вы возвратитесь, разумеется, к семи часам, а от завтрака до семи часов ей придется забавляться, как она сумеет. Но я не стану ворчать. Я слишком

счастлива при мысли, что моя Нелли так близко от меня.

Монктон стоял у калитки сада – той самой, у которой так часто стаивал с Элинор – слушая болтовню своей питомицы. Его молодая жена может быть несчастлива в скучном однообразии ее нового образа жизни – что, если слова Лоры окажутся справедливыми, не будет ли это явным доказательством, что Элинор его не любит? Он никогда не почувствовал бы ни скуки, ни одиночества в ее обществе, хотя бы Толльдэль был самым мрачным, самым пустынным жилищем среди степей африканских.

– Вы полагаете, Лора, что Элинор станет скучать, – заметил он с опенком грусти.

– Еще бы! Без всякого сомнения, – возразила молодая девушка. – Пожалуйста, не подумайте, чтобы я была любопытна, – прибавила она заискивающим тоном, – мне так хочется сказать вам кое-что.

– Вы желаете мне что-нибудь сказать? – повторил нотариус несколько сурово.

Лора продела свою руку в его руку, поднялась на кончики пальцев, чтоб ближе поднести свои розовые губки к его уху, и шепнула с плутовской улыбкой:

– Действительно ли она вас любит? Был ли это действительно брак по любви?

Джилльберт Монктон вздрогнул так же сильно,



как будто этот ребяческий шепот был шипением ядовитой змеи.

– Что вы этим хотите сказать, Лора? – вскричал он, быстро поворачиваясь к своей питомице. – Конечно, Элинор и я, мы любили друг друга, когда соединились браком. По какой же другой причине он мог бы совершиться?

– Конечно, это должно быть так, но бывает иногда, что девушки выходят замуж из-за денег, я слышала от мистрис Дэррелль, будто одна из Уипдзорских Пенудов вышла за отвратительного старого богача только из-за его богатства. Впрочем, я не предполагаю Элинор способной на подобный поступок. Только мне кажется так уморительно, что она была влюблена в вас все это время.

– Какое время?

– Известно, все время, как мы жили вместе. Я удивляюсь, как могла она никогда о вас не говорить.

Нотариус закусил себе губу.

– Разве она никогда не говорила обо мне? – спросил он, стараясь принять равнодушный вид.

– О, конечно! Она иногда говорила, но не в таком смысле.

– Не в таком смысле? Когда вы научитесь выражаться яснее, мисс Мэсон? Неужели вы на всю жизнь останетесь ребенком?

Девушка бросила на Монктона взгляд ужаса, не лишенный своей доли комизма. Нотариус не имел обыкновения говорить с ней так сурово.

– Не сердитесь, прошу вас, – сказала она. – Я знаю, я не всегда выражаюсь ясно. Верно, это происходит от того, что в пансионе я всегда упрашивала подруг писать за меня темы – там сочинения у нас назывались темами. Я только хотела сказать, что Элинор не говорила о вас в таком смысле, как будто любила, не так, как говорю я... как говорила бы я о том, кого бы любила, поправила себя молодая девушка, сильно покраснев. Мисс Мэсон имела понятие об одном наружном проявлении этой всепокоряющей страсти.

Тайная – безответная любовь, которая не давала о себе знать бесконечными цитатами из Перси Шелли или Летиции Лэндон, была, по ее мнению, вещь очень незначительная.

Монктон пожал плечами.

– Кто поставил вас судьей вопроса? Каким образом женщина должна говорить о том, кого любит? – сказал он резко. – Моя жена слишком скромна, чтоб объявлять во всеуслышание о своей любви к мужчине, кто бы он ни был. Кстати, мисс Мэсон, не желаете ли вы переехать в Толльдэль?

Лора взглянула на своего опекуна с невыразимым

удивлением.

– Переехать в Толльдэль? – повторила она. – Я думала, что вы меня не любите, я думала вы презираете меня за мое легкомыслие и ребячество.

– Презирать вас, Лора! – вскричал Монктон. – Не любить мое бедное дитя! Грубо же я обращался с вами, если произвел на вас подобное впечатление. Напротив, я очень люблю вас, милое дитя, – прибавил он, серьезно положив руку на ее голову и смотря на нее с грустью и нежностью – Я очень к вам привязан и если иногда сержусь на ваше детское легкомыслие, то единственно от заботы о вашей будущности.

– Отчего же вы так озабочены?

– Потому, что мать ваша была таким же легкомысленным ребенком, как и вы, и потому всю жизнь свою была несчастлива.

– Моя бедная мать! Ах, как я желала бы, чтобы вы мне рассказали про нее что-нибудь.

– Когда Лора произносила эти слова, лицо ее приняло очень серьезное выражение. Она обеими руками опиралась на руку Монктона, и ее прелестные голубые глаза как будто приняли оттенок более темный, когда она устремляла на его задумчивое лицо серьезный взгляд.

– Не теперь, моя милая Лора, а когда-нибудь, со временем, мы, может быть, и поговорим обо всем

этом, но только не теперь. Но вы, однако ж, не ответили на мой вопрос. Желаете ли вы жить в Толльдэле?

Яркий румянец покрыл щеки молодой девушки, она опустила глаза.

– Я душевно была бы рада жить с Элинон, – ответила она, но...

– Но что?

– Я не полагаю, чтоб с моей стороны было хорошо оставить мистрис Дэррелль: она очень нуждается в деньгах, которые вы платите ей за меня, я от нее слышала, что без них едва ли бы она имела достаточно средств к жизни, особенно теперь, когда мистер Ланцелот... когда мистер Дэррелль возвратился домой.

Лора Мэсон, говоря об этом, покраснела еще сильнее. Нотариус следил за изменением в ее лице с большим беспокойством. «Она любит этого черноокого Аполлона», – подумал он.

– Вы крайне совестливы и озабочены насчет удобств мистрис Дэррелль. Я воображал, что вы будете в восторге от мысли жить с вашей прежней подругой. Но завтра, я надеюсь, вы, верно, проведете день с Элинон?

– Без сомнения, если вы позволите.

– Я пришлю за вами мою карету, когда она отвезет меня в Сло. Прощайте.

Монктон ехал домой медленным шагом, свидание с Лорой не оставило в нем приятного впечатления. Молодая девушка, удивляясь его женитьбе, раздражила его и встревожила. Слова ее показались ему протестом против тех двадцати лет, которые отделяли его года от лет его молодой жены. Итак, в его женитьбе было нечто выходящее из ряда обыкновенного, нечто исключительное. Те люди, которые поздравляли его с такими желаниями счастья, были только светские лицемеры, которые, вероятно, смеялись исподтишка над его безумством.

Нотариус возвращался в Толльдэльский Приорат с пасмурным, озабоченным лицом.

«Лора любит Ланцелота Дэррелля, – думал он. – В своей невинной откровенности она изменила своей тайне. Очевидно, молодой человек должен быть до крайности привлекателен, когда все в него влюбляются. Я не люблю его: я не имею к нему доверия и не желал бы видеть Лору его женой».

Однако ж, вслед за тем Монктон подумал, что, взяв все в соображение, брак между его питомицей и Ланцелотом не был таким безрассудством, которое следовало отвергать без разбора. Молодой человек имел благородную наружность и не лишен был дарований. Притом он происходил от хорошего рода и имел в виду блестящие надежды. Женясь на Лоре, он мог бы

отправиться в Италию и посвятить несколько лет усовершенствованию своего таланта.

– Если это бедное дитя действительно к нему привязалось, и он отвечал на ее любовь, то стать между ними с деспотическим благоразумием было бы жестоко, – подумал Монктон. – Молодой человек, по-видимому, действительно стремится к приобретению славы на поприще художника, и если он посвятит себя этой карьере, то, конечно, ему надо будет усовершенствовать свой талант за границей.

Нотариус был занят этой последней мыслью все остальное время своего переезда домой. Когда же он проходил по каменным плитам сеней, где седла и охотничьи сапоги освещались таинственным светом, проникавшим сквозь высокие окна с гербами, он почти дошел до того убеждения, что Лора Мэсон и Ланцелот Дэррелль должны быть соединены.

Он застал Элинор в библиотеке, она сидела у одного из окон, опустив руки на колени и устремив неподвижный взор на сад, который расстился перед ней. Она вздрогнула при его входе и взглянула на него с жадным нетерпением.

– Ты был в Гэзльуде? – спросила она.

– Да, я прямо оттуда.

– И ты видел... она внезапно замялась.

Имя Ланцелота Дэррелля уже было у нее на язы-

ке, но она остановилась вовремя, опасаясь выдать свою тайну и показать, как сильно он занимал ее мысли. Конечно, она нисколько не боялась, чтоб ее участие в его судьбе было перетолковано иначе, подобной мысли ей никогда не приходило на ум. Она только опасалась, чтобы какое-либо неосторожное слово или взгляд, не изменили ее мстительной ненависти к этому молодому человеку.

– Ты видел Лору и мистрис Дэррелль? Я полагаю, – сказала она. – Да, я видел Лору и мистрис Дэррелль, – отвечал Монктон, наблюдая за лицом жены.

Он заметил, с какой нерешительностью она задала этот вопрос. Он видел и то, что его ответ, видимо, обманул ее ожидание.

Элинор не умела скрывать своих чувств, и обманутое ожидание против ее воли выразилось у нее на лице. Она ожидала услышать что-нибудь о Ланцелотте Дэррелле и надеялась придраться по этому поводу, чтобы расспросить о нем своего мужа.

– Так ты не видел мистера Дэррелля? – спросила она после минутного молчания.

Монктон занял место против нее у открытого окна. Лучи солнца прямо падали на лицо молодой женщины, освещая каждое изменение, давая возможность подметить каждый оттенок мысли на этом выразительном лице, подвижность которого составляла

главную его прелесть.

– Нет, мистер Дэррелль был в своей мастерской, я его не видал.

Затем последовала минута молчания. Элинор не знала, каким образом изложить свой вопрос, как бы приобрести посредством его какие-нибудь сведения насчет того человека, тайны которого она положила себе целью жизни вывести на свет.

– Знаешь ли, Элинор, – сказал нотариус после минутного молчания, во время которого он внимательно наблюдал за женой, – я полагаю, что я открыл тайну, относящуюся к Ланцелоту Дэрреллю.

– Тайну? – вскричала Элинор, и внезапная краска запылала на щеках ее. – Тайну! – повторила она, – ты открыл тайну?

– Да, я подозреваю, что Лора Мэсон его любит.

В лице Элинор произошла перемена. Ее лихорадочное нетерпение сменилось равнодушием.

– Только-то? – сказала она.

Она не питала большого доверия в силу любви мисс Мэсон. В сентиментальной болтовне и общительном восторге Лоры она находила что-то ложное. Мистрис Монктон была бы расположена любить Лору очень нежно после разрешения главной задачи ее жизни, когда у нее будет достаточно времени на то, чтоб любить других, и теперь романтическая страсть



Лоры к молодому художнику мало ее тревожила.

«Лора так же непостоянна, как ветер, – подумала она. – Ланцелота она возненавидит, если только я скажу ей, до какой степени он низок».

Но как удивилась Элинор, когда Монктон сказал очень спокойно:

– Если Лора действительно к нему привязана, и он отвечает на ее любовь – она такая хорошенькая, в ней столько очаровательной прелести: можно ли предполагать, чтоб он не полюбил ее – то я не вижу, почему бы этому браку не состояться.

Элинор быстро подняла глаза и вскричала:

– О, нет, нет, нет! Ты никогда не можешь согласиться на брак Лоры с мистером Дэрреллем.

– А почему же нет, мистрис Монктон?

Лукавый дьяволенок, которому с некоторых пор нотариус дал убежище в своей груди, вдруг превратился в свирепого демона, который бешено счал грызть своего хозяина.

– Почему же Лоре не следует выходить за Ланцелота Дэррелля?

– Потому что ты имеешь о нем дурное мнение. Вспомни, что говорил ты мне у калитки сада в Гэзльуде, когда он только что возвратился в дом матери. Ты говорил, что он эгоистичен, пуст, легкомыслен, даже, может быть, лжив. Ты говорил, что в жизни его кро-

ется тайна.

– Я так полагал тогда.

– А разве теперь ты переменял свое мнение?

– Я, право, сам не знаю. Может быть, прежде я и в самом деле был предубежден против него, – возразил Монктон с видом сомнения.

– Я этого не думаю, – ответила Элинор, – я не полагаю его человеком хорошим. Прошу тебя, ради Бога, не допускай, чтобы Лора выходила за него.

Она скрестила руки и смотрела мужу в лицо с убедительной мольбой.

Лицо Монктона вдруг сделалось еще мрачнее.

– Какое же тебе до этого дело? – спросил он.

Элинор удивилась резкому и почти сердитому обращению мужа.

– Мне до этого большое дело, – сказала она, – я была бы очень огорчена несчастным замужеством Лоры.

– Да разве ее брак с Ланцелотом Дэрреллем непременно должен быть несчастлив?

– Без всякого сомнения, потому что он человек очень дурной.

– Какое право имеешь ты на подобное мнение? Разве ты имеешь на то какую-нибудь особенную причину?

– Да, я имею на то причину.

– Какую?

– Я не могу этого сказать по крайней мере теперь...

При этих словах Элинора, зубы яростного демона вонзились еще глубже в сердце Монктона.

– Мистрис Монктон, – сказал нотариус, – я опасюсь, что для вас и для меня будущее готовит мало счастья, если вы начинаете вашу супружескую жизнь, имея тайны от вашего мужа.

Джилльберт Монктон был слишком горд, чтобы сказать более этого. Мрачное отчаяние прокралось к нему в грудь, болезненная ненависть – к себе самому и своему безумству. Каждый из тех двадцати годов, которыми он был старше своей жены, как будто восстали против него, чтоб издеваться над ним с злобным укором.

С какого права взял он жену молодую, с какого права верил в возможность ее любви? Какое оправдание мог он найти для своего собственного безумия? Как мог он надеяться, выводя ее из бедности и неизвестности на более горячее к нему чувство, чем слабая благодарность за доставленные выгоды? Он ей дал прекрасный дом и внимательных слуг, экипажи и лошадей, богатство и независимость взамен блеска ее красоты и молодости – и он негодовал на нее за то, что она, как ему казалось, не любила его. Он обратил взор на прошедшее свидание в Пиластрах, каждая его подробность представлялась ему теперь яс-

но с помощью очков, которыми его снабдил ревнивый демон, его спутник. Монктон вспомнил, что ни одного слова любви не было произнесено Элинор. Она изъявила только согласие быть его женой – и более ничего. Вероятно, в ту минуту колебания, когда, он ожидал ее ответа с замирающим духом, она спокойно взвешивала и тщательно обдумывала, какие выгоды приобретет посредством жертвы, которую он от нее требовал.

Естественно, что постоянные размышления такого свойства не могли сделать Монктона приятным и веселым собеседником для впечатлительной молодой женщины. Замечательно одно: с каким упорством страдалец, пораженный страшным недугом, называемым ревностью, стремится к увеличению причины своих мук.

## Глава XXVIII. Возле солнечных часов

Лора Мэсон переехала в Толльдэль. Джильберт Монктон всячески старался убедить себя в том, что главная причина, побудившая его жениться на Элинор, было желание доставить надежный домашний кров и приличное общество своей питомице. Молодая девушка очень радовалась, что будет жить с Элинор, но расстаться с Гэзльудом ей было немного грустно, особенно теперь, когда присутствие мистера Дэррелля придавало этому месту новую прелесть.

– Это правда, что он не очень весел и любезен в обращении, Нелли, – однажды заметила, мисс Мэсон среди длинного рассуждения о всех достоинствах мистера Дэррелля. – Он несколько не похож на человека, довольного своей судьбой. Он все бродит по окрестностям, как будто у него на душе лежит что-нибудь тяжелое. Впрочем, это придает ему еще более прелести, и мне даже кажется, что он не был бы и наполовину так привлекателен, как теперь, если бы у него не было чего-нибудь на душе. После вашего отъезда, Нелли, он сделался страшно скучен и пасмурен: вернр, он вас любил.

Мистрис Дэррелль утверждала, что нет, что он, напротив, восхищается другой, совсем другой особой.

– Как вы полагаете, не я ли эта особа, милочка? – прибавила молодая девушка, краснея, улыбаясь и бросая робкий взгляд на серьезное лицо подруги.

– Я не знаю, Лора, я надеюсь, что нет, я была бы очень огорчена вашим замужеством с Ланцелотом Дэрреллем, – возразила Элинор.

– Почему же бы оно вас огорчало, Нелль?

– Потому что я не считаю его хорошим человеком.

Мисс Мэсон надула нижнюю губку и пожалала плечами с самой обворожительной капризной миной.

– Вы злая, Нелли, если так говорите! – вскричала она. – Он очень хороший человек – я в этом уверена! А если и нет, то я еще более люблю его за это, – прибавила она с милым, свойственным ей легкомыслием. – Я вовсе не желаю выходить замуж за человека хорошего, как, например, мой опекун или мистер Нит, пастор Гэзльуда. Корсар был человеком нехорошим, а как его любила Гельнэр и Медора! Я не нахожу, чтобы Гяур поступил хорошо, убив Гассана, но кто бы мог отказаться выйти за Гяура?

Мистрис Монктон не сделала никакой попытки оспаривать подобное мнение молодой девушки.

Романтическая любовь Лоры заставляла Элинор ожидать еще с большим нетерпением той минуты, ко-

гда она будет в состоянии изобличить Ланцелота Дэррелля, как низкого обманщика.

«Через меня он будет лишен наследства, через меня же отвергнут женщиной, которой любим, и тогда, как он будет страдать всего сильнее, я по-прежнему останусь безжалостна к его страданиям, как он был безжалостен к бедному старику, повергнутому в отчаяние его низким обманом».

Элинор провела около двух недель в Приорате, прежде чем ей представился случай увидеть Ланцелота Дэррелля. Она несколько раз намеревалась ехать в Гэзльуд, но Монктон всегда находил к тому какое-нибудь препятствие. Она стала уже отчаиваться в возможности войти в тайную борьбу с убийцей своего отца. Казалось, как будто она напрасно приехала в Толльдэль. В своем нетерпении она опасалась, что де-Креспиньи может умереть, оставив свое состояние племяннику. Она знала, на какой слабой нитке держится жизнь старика, эта нитка ежеминутно могла порваться.

Наконец, однако, совершенно неожиданно, без всякого участия с ее стороны, представился случай, которого она ждала с таким жадным нетерпением. Лора провела уже несколько дней в Приорате, и Элинор гуляла с ней по одной из крытых аллей старинного сада, в ожидании приезда Монктона и призывного звука

обеденного звонка.

Октябрьское солнце сияло ярко и весело, осенние цветы возвышали своими пестрыми красками темную и густую зелень сада. Легкий ветер колебал высокие стебли аллей.

Молодые женщины ходили некоторое время молча по гладко укатанному песку аллеи. Элинор погрузилась в свои мысли и даже Лора не могла болтать беспрестанно без всякого поощрения. Но вдруг молодая девушка вздрогнула и остановилась, она сильно покраснела, схватила руку Элинор и крепко сжала ее. На другом конце аллеи показался Ланцелот Дэррелль. Он шел к ним навстречу, озаренный колеблющимся светом солнечных лучей, проникавших яркими пятнами сквозь ветви орешника. Элинор подняла глаза.

– Что с вами, Лора? – спросила она.

В эту минуту она увидела мистера Дэррелля.

Случай представился, наконец.

Молодой человек подошел к мистрис Монктон и ее подруге. Его бледность и серьезный вид изобличали душевное страдание. Он любил Элинор по-своему и ее внезапный от него побег возбуждал в нем сильное негодование. Мать его откровенно сообщила ему причину этого побега после замужества Элинор.

– Я приехал, чтобы иметь честь поздравить вас,



мистрис Монктон, – сказал он тоном, которым намеревался уязвить молодую женщину прямо в сердце, но который, подобно всему, что он говорил, заключал в себе, что-то натянутое, что-то отзывающееся мелодрамой, лишавшее его слова всякой силы и значения.

– Я хотел приехать с матушкой, когда она была у вас на днях, но...

Он внезапно остановился, взглянув на Лору с худо скрытой досадой.

– Могу ли я поговорить с вами наедине, мистрис Монктон? – спросил он, – я имею вам кое-что сообщить и должен говорить с вами без свидетелей.

– Но при Лоре, я надеюсь, вы можете говорить обо всем.

– Ни при ней, ни при ком другом... Я должен говорить с вами одной.

Мисс Мэсон взглянула на предмет своей любви с жалобным выражением на своем детском личике.

«Как он жесток со мной! – подумала она. Он, верно, влюблен в Элинора. Как гадко с его стороны любить жену моего опекуна!»

Мистрис Монктон не думала отказывать молодому человеку в его просьбе.

– Я готова выслушать о том, что вы желаете мне сообщить, – отвечала она.

– Очень хорошо! – вскричала Лора. – Я уйду, ес-

ли вы желаете говорить секреты, которых мне не следует слышать. Только, право, я не могу постичь, какие между вами могут быть секреты. Мистера Дэррелля вы не знаете ни одним днем более моего, Элино́р, и я не могу себе представить, что он может сообщить вам.

После этого протеста, мисс Мэсон повернулась к ним спиной, побежала по направлению к дому и пролила несколько тихих слез за большим кустом златоцветника.

«Он не любит меня ни на каплю, – шептала она, вытирая слезы. – Мистрис Дэррелль гадкая и старая лгу́нья. Я чувствую точно то же, что, должно быть, испытывала бедная Гельнер, когда корсар обошелся с ней так жестоко, а она только что из любви к нему совершила убийство».

Элино́р и Ланцелот вышли из крытой аллеи и пошли обширным лугом по направлению к старым солнечным часам странной формы, с серым каменным пьедесталом, обросшим мохом. Возле него молодой человек остановился и оперся локтем на испорченный циферблат.

– Я приехал сказать вам, что вы бессовестно поступили со мной, Элино́р Монктон.

Молодая женщина гордо выпрямилась.

– Что вы хотите сказать этим? – возразила она.

– То, что вы со мной кокетничали.

– Я кокетничала с вами?..

– Да, вы обманывали меня. Вы приняли мое объяснение в любви, вы допустили меня предположить, что вы меня любите.

– Мистер Дэррелль...

– Вы сделали более того, – вскричал молодой человек с запальчивостью: вы любили меня, а ваше замужество с Джильбертом Монктоном, человеком двадцатью годами старше вас, основано на одних низких и корыстолюбивых побуждениях. Да, вы любили меня, Элинор – это выказывало ваше молчание в тот день, хотя вы и не изменили себе ни одним словом. Вы не имели права поддаваться убеждениям моей матери, вы не имели права оставлять Гэзлуд, не переговорив прежде со мной. Сердце ваше исполнено лживости и корыстолюбия, мистрис Монктон. Вы вышли за этого человека только потому, что он владелец прекрасного дома и может давать вам деньги на удовлетворение ваших женских прихотей, вашего эгоистического тщеславия...

Говоря это, Дэррелль презрительно указал на ее шелковое платье и на драгоценные вещи, украшавшие ее наряд. Элинор взглянула на него со странным выражением на лице.

– Думайте обо мне все, что вам угодно, – сказа-

ла она, – полагайте, что я вас люблю, если вам это нравится.

Она как будто говорила ему:

«Попадайте в свою собственную ловушку, если вам этого хочется, хоть я недостаточно низка, чтоб поставить вам подобную западную».

– Да, Элиноор, вы поступили вероломно и корыстолюбиво... и даже, может быть, поступили безумно. И я скоро могу быть богатым человеком: я могу стать владельцем Удлэндского поместья.

– Я не полагаю, чтобы вы когда-нибудь унаследовали это имение, – медленно произнесла Элиноор. – Вы приписываете мне низость и корыстолюбие, разумеется, вы вольны думать обо мне что вам угодно, но разве вы никогда не поступали подло из-за денег, мистер Ланцелот Дэррелль?

Лицо молодого человека вдруг сделалось мрачно.

– Совершенным никто быть не может, – отвечал он. – На ком нет своих пятен? Я очень страдал от бедности и потому нередко был вынужден поступать так, как поступают все другие, когда карман их пуст.

Наблюдая за его пасмурным лицом, Элиноор вдруг вспомнила, что не таким образом ей следовало вести свою игру. Цель, которой она решилась добиться, не могла быть достигнута прямою и честностью.

Ланцелот Дэррелль обманул ее отца, а потому и она могла обмануть его.

– Будемте друзьями, – сказала она, протягивая ему руку.

– Я этого желаю.

Ее движению было два свидетеля: мисс Мэсон, которая стояла в это время возле своего опекуна, наблюдая за группой у солнечных часов, и Монктон, возвратившийся из Лондона и пришедший в сад отыскивать жену.

– Они отослали меня, – сказала Лора, – пока нотариус смотрел на Элинор и Ланцелота. – Он хотел ей что-то сообщить, о чем мне будто бы не следовало слышать. Вы оставите его к обеду – я надеюсь.

– Нет, – отвечал резко Монктон.

Ланцелот держал несколько минут руку Элинор, прежде чем выпустил ее из своей.

– Я желаю, чтоб мы были друзьями, мистер Дэррелль, – повторила она, – завтра я приду в Гэзльд посмотреть на ваши картины. Мне хочется взглянуть на Розалинду и Челию: успешно ли они идут вперед.

Она возненавидела себя за свое лицемерие. Каждое великодушное побуждение ее души возмущалось против ее собственного вероломства, но эти поступки были только естественным последствием неестественной задачи, которую она предположила себе ис-

ПОЛНИТЬ.

## Глава XXIX. Настороже

Два ревнивых глаза неусыпно наблюдали за Элинор, после того октябрьского вечера, в который нотариус и мисс Мэсон, стоя друг возле друга, смотрели на группу у солнечных часов.

Джилльберт Монктон был слишком горд, чтоб жаловаться. Он схоронил прекрасные надежды возмужалости в ту же могилу, в которой уже заключались разбитые мечты его юности. Он склонил голову и покорился своей судьбе.

«Я ошибался, – думал он. – Было слишком нелепо рассчитывать в сорок лет на любовь восемнадцатилетней девушки. Моя жена добра и прямодушна, но...»

Но что? Могла ли эта женщина быть прямодушна и добра? Разве не умышленно обманула она самым жестоким образом того, кто так искренне любил ее, объявив ему с полным самообладанием, что совершенно равнодушна к Ланцелоту Дэрреллю.

Монктон припоминал собственные слова Элинор, взгляд ее внезапного удивления, в котором высказывался почти ужас, тогда как он обратился к ней с важным вопросом.

– Вы не любите Ланцелота Дэррелля?

– Люблю ли я его? О, нет, нет! – отвечала Элиноор.

И несмотря на это энергичное отрицание, мистрис Монктон, с самого приезда в Толльдэльский Приорат, по-видимому, принимала самое живое, почти лихорадочное участие в этом недостойном человеке.

– Если она способна на ложь, – думал Монктон, – то, верно, на земле не существует правды. Доверяться ли мне ей и терпеливо ожидать разрешения тайны? Нет, между мужем и женой не должно быть ничего скрытного! Она не имеет права таиться от меня.

Таким образом Монктон ожесточал свое сердце против прекрасной молодой жены и строго и неусыпно наблюдал за каждым ее взглядом. Он прислушивался к каждому изменению в ее голосе, строго охраняя свое достоинство и свою честь.

Бедная Элиноор была слишком невинна, чтобы верно разгадать все эти приметы; она только находила в муже перемену; этот строгий, мрачный спутник ее жизни не был тем самым Джильбергом Монктоном, которого она знала в Гэзльуде; он не был тем снисходительным наставником, философом и другом, которого тихий бас в темные вечера давно – давно тому назад – раздавался так звучно и выразительно в небогатой гостиной мистрис Дэррелль и отзывался в ее ушах как нечто вроде душевной гармонии.

Не будь Элиноор вся поглощена одной мыслью, по-



стоянство которой и сила придавали ее взгляду односторонность, она горько почувствовала бы перемену в своем муже. Теперь же ее разочарование в нем казалось ей чем-то далеким, на что обратить внимание, о чем следует пожалеть, разве только со временем, после того, как будет исполнена главная цель ее жизни.

Но между тем, как пропасть между мужем и женой расширялась с каждым днем более, Элино́р нисколько не приближалась к своей главной цели. Проходили день за днем, неделя за неделей, а Элино́р не видела себя ближе к концу предпринятого ею дела.

Несколько раз она ездила в Гэзльуд и исполняла свою роль как только умела; однако ж ее дарования там, где следовало прибегать к обману, были более чем посредственны, она наблюдала за Ланцелотом Дэрреллем, расспрашивала его, но не открыла ни малейшего следа улики, которую могла бы представить мистеру де-Креспиньи, обвиняя сына его племянницы.

Нет, каковы бы ни были тайны, скрытые в груди молодого человека, он был так осторожен, что с успехом отражал все усилия Элино́р. Он в совершенстве владел собою, не изменял себе ни взглядом, ни звуком голоса. Между тем он проводил много времени в обществе Элино́р. В это время Монктон с удивительным

упорством поощрял молодого художника с пустым карманом ухаживать за Лорою Мэсон, а тот слишком был непостоянен, чтоб долго оставаться верным одному и тому же чувству. Притом же, с одной стороны, он находился под влиянием своей матери, с другой, ему льстил нескрываемый к нему восторг Лоры, так что вскоре он почел себя счастливым, преклоняя колени перед новым алтарем, и простил мистрис Монктон ее измену.

«Элинор и мать моя были правы, – думал молодой человек, бросая взгляд на свою судьбу с чувством грустного уныния. Надо сознаться, что они были умнее меня. Я непременно должен жениться на богатой. Я бы не был в состоянии выносить нищету. Бедность для холостяка – вещь уже довольно некрасивая, хотя в ней и заключается своего рода поэзия беззаботной нищеты. Шамбертен один день, а на следующий кисленькое дешевое винцо; вдова Клико у „Трех Братьев“, или в „Парижском“ кафе вечером, а на другое утро плохое пиво на мрачном чердаке. Но бедность в супружеской жизни – грязь и отчаяние, вместо беззаботного веселья: больная жена, изнуренные, голодные дети и муж, относящий под залог ростовщику еще мокрое белье... Уф! Право, Элинор поступила весьма хорошо для себя и мне следует ступить на ту же стезю – приобрести любовь богатой наследницы и огра-

дить себя от всякой мгновенной причуды моего достойного старика-дяди».

Таким образом, Ланцелот Дэррелль сделался частым гостем Толльдэльского Приората. Именно в это время у Монктона случились дела, довольно незначительные, он легко мог сдать их на руки своих двух помощников и почти всегда был дома, чтоб самому принимать своего гостя.

Ничто не могло представлять более разительной противоположности, как характеры этих двух людей. Между ними не могло существовать ни сочувствия, ни одинакового взгляда на вещи. Слабость одного становилась еще очевиднее от силы другого. Решительный характер нотариуса казался суровым и непреклонным в сравнении с небрежным равнодушием художника.

При виде такого поражающего различия, Элинор Монктон настолько же восхищалась своим мужем, насколько презирала Ланцелота Дэррелля.

Если бы нотариус это знал, если бы он мог увидеть, когда серьезный взгляд его жены следил за каждым изменением в лице молодого человека, когда она слушала особенно внимательно его небрежную и мечтательную, а но временам даже и блестящую болтовню, что она видела насквозь его пустоту, его ничтожность, лучше, чем Сделал бы это самый внимательный на-

блюдатель; если бы Джильберт Монктон мог попятить все это – от скольких липших мук, от скольких напрасных страданий он был бы избавлен.

– Что случилось бы со мною, если б я полюбила этого человека? – думала Элинон, когда с каждым днем больше узнавала характер Ланцелота Дэррелля.

Ум ее как будто одарен был сверхъестественною пронизательностью, происходившею от сильного желания просмотреть его насквозь.

Между тем Лора Мэсон шла по пути, усеянному розами, единственные шипы которых заключались в ревности к Элинон, причинявшей ей по временам мучительную боль.

«Ланцелот любил ее прежде, чем полюбил меня, – думала богатая наследница с унынием. – Я знаю, это верно. Он предлагал ей свою руку в тот самый день, когда швея принесла мне голубое шелковое платье, с таким окороченным лифом, что я была вынуждена отдать его перешить. Поэтому именно она – т. е. Элинон, а не швея – уехала из Гэзльуда. Неприятно подумать, что тот, кого боготворишь, менее чем три месяца тому назад, восхищался другого. Элинон была не права, завлекая его».

Этой последнею, неопределенною фразою мисс Мэсон обыкновенно извиняла своего жениха. Элинон завлекала его; этим Лора извиняла и минутное

увлечение Ланцелота, которое на время удалило его от нее. А чем именно завлекала его Элинор? Молодая девушка не давала себе труда разъяснить. Она желала простить своего жениха, желала иметь повод даровать ему прощение и поступала так же, как вообще все слабые женщины, когда они предаются владычеству мечтательной любви к красивому лицу. Но хотя Ланцелот Дэррелль помирился с питомицей Монктона и стал ухаживать за ней, говоря ей множество нежных слов и миленьких стереотипных фраз под тенистыми тисовыми деревьями старинного толльдэльского сада, он даже формально просил ее руки, и его предложение было принято, как опекуном, так и его самою, но Лора все-таки не была удовлетворена вполне. В сердце ее скрывалось какое-то тайное недоверие и муки ревности, которые, как мы уже сказали, заключали в себе шипы ее розами усеянного пути. Шипы эти были очень остры и очень многочисленны.

Монктон тоже не был совершенно спокоен насчет Лоры, хотя и согласился на ее союз с Ланцелотом Дэрреллем. Он сделал более того: он поощрил молодого человека на этот шаг, и теперь, когда возвращаться назад было уже поздно, он вдруг стал сомневаться в благоразумии своего поступка.

Он старался заглушить голос совести, но не мог

скрыть от самого себя, что главная причина, побудившая его согласиться на замужество Лоры, заключалась в желании удалить Ланцелота Дэррелля от общества его жены. Он не был достаточно слеп к своей собственной слабости, чтоб не сознавать тайного наслаждения, с которым пользовался случаем доказать Элинор ничтожность чувства, способного так легко переходить от одного предмета к другому. Кроме того, Джильберт Монктон старался убедить себя, что насколько от него зависело, он избрал лучшее для счастья легкомысленной девушки, вверенной его попечениям. Воспротивиться любви Лоры значило бы нанести ей тяжелый удар. Ланцелот Дэррелль даровит и приятен, он происходит от семейства, в котором благородство почти достоинство врожденное. Характер его может приобрести со временем более твердости, и на нем по праву опекуна будет лежать прямая обязанность пробудить в муже питомицы все лучшие чувства его природы и поставить его на стезю приличной и почетной деятельности.

«Я постараюсь развить его талант... Кто знает, – думал Монктон, – может быть, у него явятся гениальные способности, он отправится в Италию и будет изучать великих мастеров живописи».

Свадьба была назначена в самом начале весны, а тотчас после нее Ланцелот со своею женой от-

правится за границу, объедут все города континента, где представится что-нибудь интересное для изучения художника. Таким образом, они пробудут в отсутствии около года, а зиму проведут в Риме.

Смертельная бледность покрыла лицо Элинор, когда муж сообщил ей о дне свадьбы.

– Так скоро! – воскликнула она тихим голосом, почти задыхаясь от волнения. – Так скоро! Мы теперь в начале декабря... далеко ли до весны?

Монктон следил за выражением ее лица в мрачной задумчивости.

– Чего же ждать? – спросил он.

Элинор молчала несколько минут. Что ей было говорить? Должно ли ей допустить свадьбу? Должна ли она позволить Ланцелоту находиться среди этих людей, которые доверялись ему, не зная его. Может быть, она высказалась бы и открыла мужу, по крайней мере, часть своей тайны, но удержалась из опасения, чтоб и он также не стал смеяться над нею, как делал это Ричард Торнтон? Не мог ли он – который в последнее время стал с него так холоден, так осторожен, иногда саркастичен и даже суров – не мог ли он строго осудить ее за безумное желание мести и тем или другим способом помешать исполнению главной задачи ее жизни? Она доверилась Ричарду Торнтону, умоляла его о помощи. Из этого доверия она не почерпнула

ровно никакой пользы: ничего, кроме предостережений, упреков и убеждений, даже насмешек. Нет, с этой минуты она твердо решила не открывать своей тайны никому и рассчитывать только на одну себя для достижения победы.

– Зачем было бы откладывать свадьбу? – повторил Монктон свой вопрос довольно резко, – разве у тебя есть на то какие-либо причины?

– Нет, – произнесла Элинор, запинаясь, – причины нет никакой, если только ты находишь Дэррелля достойным доверия Лоры, нет, если ты считаешь его человеком хорошим.

– Разве ты имеешь повод думать противное?

Мистрис Монктон уклонилась от прямого ответа на этот вопрос.

– Ты, первый внушил мне сомнение на его счет, – сказала она.

– Ах, действительно! – возразил Монктон, – я совсем забыл об этом. Я, право, удивлюсь одному, Элинор, почему у тебя о нем такое дурное мнение, а между тем ты так много занимаешься им?

Пустив эту стрелу в сердце, по мнению его, виновное в тайной любви к другому, нотариус вышел из комнаты.

«Да поможет ей Бог, бедное дитя! – думал Монктон. Она вышла за меня ради положения в свете, а я,



может быть, считал вещь слишком легкой побороть sentimentalную мечту, лишенную глубины. Как мне кажется, она старается исполнить свой долг, и когда молодой человек будет далеко от нее, она может по-любить меня».

Размышления, подобные этим, обыкновенно сопровождалась переменою в обращении нотариуса с Элинор, и убитая духом молодая женщина оживлялась под благотворными лучами его возвращенной любви. Дочь Джорджа Вэна уже полюбила своего мужа. Правда, эта любовь не стоила ей большого труда, ей не следовало превозмогать никакого чувства отвращения. Напротив, она уважала Монктона и восхищалась им с первой минуты, как встретила с ним. Она готова была любить его более искренне, от всей души, когда ей удастся достигнуть своей главной цели в жизни, освободиться от одной всепоглощающей мысли.

## Глава XXX. Прихоть старика

Хотя крайняя бдительность Элинор не открыла ей ничего, что доказывало бы тождество между Ланцелотом Дэрреллем и тем человеком, который был виною смерти ее отца, она имела успех в другом отношении, к большой досаде многих, а в число их следует включить и молодого художника.

Морис де-Креспиньи, много лет уже не принимавший участия ни в чем и ни в ком, оказывал большое расположение к молодой жене Джильберта Монктона.

Старик никогда не забывал тот день, в который воспоминание о прошлом внезапно предстало перед ним вследствие появления молодой девушки с прекрасными светлыми волосами, которая показалась ему живым изображением потерянного друга. Минуты этой он не забывал никогда и, спустя немного дней после прибытия Элинор в Толльдэлль, он случайно встретил ее во время прогулки. Он настойчиво требовал, чтобы остановились и дали ему возможность поговорить с нею, к душевному прискорбию двух старых девственных стражей. Элинор пользовалась каждым случаем для сближения с другом ее отца, на него она рассчитывала для исполнения своего обета мести. От законов она удовлетворения ждать не могла, один

де-Креспиньи имел в руках и мог располагать тем состоянием, на которое так сильно надеялся его молодой родственник. В его власти было наказать низкого обманщика, который ограбил беспомощного бедного старика. Даже если б не существовало такого побуждения, любви Элинор к ее покойному отцу было бы достаточно, чтоб внушить ей нежное чувство к владельцу Удлэндса. Ее обращение с ним, под влиянием этого нежного чувства, на него действовало, как волшебство. Он требовал непременно, чтобы во время его ежедневных прогулок всегда направлялись к той стороне, где их имения разделялись только легкою железною решеткой и где он мог надеяться встретить Элинор. Понемногу он вынудил ее дать обещание в назначенный час выходить к нему на встречу, если только погода бывала хороша, и тщетны были все усилия двух старых девиц посредством всех возможных хитростей, какие они только могли придумать, удержать старика дома в назначенный им час. Они усердно молили Бога о постоянном дожде, бурях, туманах, ураганах и других непогодах, которые могли бы удержать дома болезненного старика, их пленника.

Наконец, однако, ни дождь, ни буря не могли приносить более пользы этим ожидающим девам, приведенным в отчаяние. Морис де-Креспиньи положитель-

но настоял на том, чтоб пригласить мистера и мистрис Монктон в Удлэндс.

– Прошу вас приезжать, когда вам только будет можно, хотя бы и каждый день, – писал старик дрожащею рукою, немного криво, но еще достаточно твердо для того, чтобы подписать свое имя под духовным завещанием. Две сестры не могли видеть, как он пишет без того, чтобы не вспомнить об этом акте. Написан ли он, и в их ли пользу? Или еще предстоит его написать? Или, может, его никогда не составят, а Ланцелот Дэррелль получит столь желаемое состояние, как законный наследник.

Лавиния и Сара де-Креспиньи терзались при одной мысли о возможности этого последнего случая. Они думали не об одних деньгах, землях и постройках, они думали также о доме, в котором прожили так долго, с которым сроднились, о тех сокровищах из домашней утвари, с которых пыль они стирали сами, не допуская до них более низких рук – такими священными предметами они были в их глазах. Тут были старинные серебряные подносы, сервизы для кофе и для чая, большие фарфоровые вазы с драконами на лестнице, и игорные столы с инкрустацией в зеленой гостиной. Неужели безжалостный законный наследник захватит в свои руки и эти предметы благоговейного поклонения двух престарелых се-

стер? Они знали, что не могли по праву прибегать к милосердию Ланцелота Дэррелля. Не они ли настояли на его отправлении в Индию и тем на век сделали его своим врагом. Может быть, было бы лучше, если бы они с ним обходились более ласково и позволили ему оставаться в Англии и бывать в Удлэндсе сколько угодно, давая ему полную возможность чем-нибудь оскорбить старого дядю.

– Кто может рассчитывать вперед на прихоти старика, – думали сестры, – может быть, от того только, что дядя редко видел Ланцелота, он к нему лучше расположен. С другой стороны, теперь угрожала еще большая опасность от внезапной прихоти, внушенной больному старику к Элинор Монктон; сестры следя за успешным ходом этой странной дружбы, становились с каждым днем бледнее и мрачнее.

Джилльберт Монктон не препятствовал посещениям своей жены Удлэндса. Он знал, как тщательно дверь дома мистера де-Креспиньи ограждалась от племянницы-вдовы и ее сына, и был уверен, что там Элинор, вероятно, не встретится с Ланцелотом Дэрреллем.

Вследствие этого, мистрис Монктон пользовалась полною свободою навещать друга ее покойного отца, когда ей было угодно, и вопросом первой важности для нее было находиться в дружеских отношениях с мистером де-Креспиньи и иметь свободный доступ

в его дом. Она вполне могла судить по наружному виду старика, по страшной изменчивости его здоровья, что положение его было ненадежно: один день он был весел и оживлен, а на другой лежал, обессиленный на болезненном одре. Он мог еще прожить несколько лет или умереть внезапно – умереть, оставив свое состояние в руках Ланцелота Дэррелля.

Две сестры с возрастающим беспокойством наблюдали за успехами мистрис Монктон в расположении их дяди. Старик как будто повеселел в ее обществе. Он не имел и тени подозрения об истине, он верил вполне, что сходство между молодой женой нотариуса и Джорджем Вэном один из тех случаев, которые встречаются в жизни каждого. Он думал это, а между тем, несмотря на то, ему казалось, что присутствие Элинор возвращало ему честь утраченной молодости. Ему даже как будто возвратилась память в обществе дочери его покойного друга: он мог сидеть с ней целыми часами, разговаривая так, как не слышали его племянницы, чтобы он говорил уже много-много лет; он рассказывал о том прошлом, в котором Джордж Вэн играл такую важную роль.

Элинор никогда не наскучали его рассказы, и Морис де-Креспиньи находил наслаждение передавать их слушательнице, которая слушала их с таким участием. Он привык только к равнодушной учтиво-

сти своих племянниц; случалось иногда, что, слушая его, они подавляли зевету в самую интересную минуту рассказа и тем перебивали нить его мыслей очень неприятным образом. Их неподвижные и тупые физиономии производили неприятное впечатление, как будто смотрели на него и слушали двое деревянных шварцвальдских часов. Он не привык к тому, чтоб во время его разговора было к нему обращено прекрасное, серьезное лицо, пара ясных, серых глаз, оживлявшихся новым блеском в критическую минуту рассказа и прелестные губы, полураскрытые от напряженного внимания.

Старик не привык ко всему этому, он совершенно сделался рабом и поклонником Элинор. Старые девицы поистине радовались, что мисс Винсент уже замужем за Монктоном, а то, пожалуй, мистер де-Креспиньи мог бы привязаться к ней до безумия. Мисс Винсент могла быть побуждена корыстолюбием и вместо Толльдэльского Приората Удлэндс мог бы получить новую хозяйку.

На счастье Элинор, встревоженные души старых девиц были в некоторой мере успокоены несколькими словами Мориса де-Креспиньи в разговоре с мистрис Монктон. В числе сокровищ, которыми владел старик, и воспоминаний о прошлом, главная ценность которых заключалась в мысли ими возбуждаемой, было

одно особенно драгоценное для Элинор. Это был миниатюрный портрет Джорджа Вэна в одежде, которую он носил шестьдесят лет тому назад, в Оксфордской коллегии.

Этот портрет был очень дорог для Элинор. Отделка не представляла дивного произведения искусства, но терпеливое, добросовестное исполнение, которое стоило более времени и денег, чем изображения половины членов Нижней Палаты могли бы стоить теперь. Портрет представлял белокурого юношу с ясными голубыми глазами, исполненными надежд. Это было живое олицетворение юности ее покойного отца. Глаза ее наполнялись слезами, когда она смотрела на эту миниатюру на слоновой кости в овальном футляре красного сафьяна.

«Крокодил», – подумала одна из старых дев.

– Льстивая угодница, – пробормотала себе под нос другая.

Но именно этот портрет и подал повод к разговору, который имел такое благодетельное, успокаивающее действие на двух сестер.

– Да, моя милая, – сказал Морис Де-Креспиньи, – этот портрет был написан шестьдесят лет тому назад. Джордж Вэн, будь он теперь жив, имел бы около восьмидесяти. Вы сами, вероятно, не можете судить о вашем сходстве с этим лицом, редко бывает, чтоб мы



видели, его сами! Но лицо этого юноши до того походит на ваше, моя милая, что вы мне напоминаете мою молодость точно так же, как запах старомодного цветка, изгнанного нашим усовершенствованным садоводством в палисадники коттеджей, напоминает мне лужайку, где я в детстве игрывал у ног моей матери. Знаете ли вы, что я намерен сделать, мистрис Монктон? Элинор подняла немного брови, плутовски улыбаясь, как будто говоря: – «Я не в силах разгадать ваших причудливых фантазий».

– Я намереваюсь в моем завещании назначить вам этот портрет.

Обе старые девы вздрогнули, взволнованные одним и тем же чувством: глаза их встретились.

Старик написал завещание или еще думает его написать. Это намерение уже имело свое значение. Они так много выстрадали от мысли, что их дядя умрет, не оставив завещания, и имение, конечно, перейдет в руки Ланцелота.

– Да, моя милая, – повторил мистер де-Креспиньи, – я оставляю вам этот портрет после моей смерти, он не имеет никакой ценности, но я и не желаю, чтобы вы, когда меня не станет, имели другой повод вспоминать обо мне, как только по нежному чувству вашего сердца. Вы слушали с живым участием мои рассказы о Джордже Вэне, со всеми его недостатка-

ми, которых я вовсе не отвергаю, он был и лучше меня и с более блестящими дарованиями. Может быть, вам иногда доставит удовольствие взглянуть на его портрет. Вы озарили лучом солнца очень печальный путь жизни, моя милая, – прибавил старик, не обращая никакого внимания на то, как мало лестного заключалось в этом замечании для его преданных сиделок и попечительниц. – Я вам очень благодарен. Если бы вы не имели состояния, я бы оставил вам денег, но вы замужем за богатым человеком и, кроме того, мое имение уже предназначено. Я не имею права им распоряжаться по собственному усмотрению, на мне лежит исполнение долга, долга, который я считаю священным, и я исполню его.

Старик никогда еще не говорил так откровенно о своих намерениях. С бледностью на лице, сестры, едва переводя дыхание, устремляли друг на друга неподвижный взор.

Что значили эти слова? Ясно, что состояние должно же быть оставлено им. В каком долгу мог быть Морис де-Креспиньи у кого-нибудь другого, как у них? Не ходили ли они за ним столько лет? Не держали ли его взаперти и в отдалении от всякого живого существа? Какое право имел он быть благодарен кому-нибудь, кроме них, когда они так тщательно наблюдали за тем, чтоб никто не мог оказать ему услуги?

Однако для Элинор Монктон слова старика имели другое значение, кровь прилила ей к лицу, сердце забилось сильно.

«Он думает о Ланцелоте Дэррелле, – заключила она в уме, – он оставит свое состояние Ланцелоту, он умрет прежде, чем узнает зло, нанесенное моему отцу. Его духовная, верно, уже написана, и он может умереть, прежде чем я решусь ему сказать: „Сын вашей племянницы – низкое существо и обманщик“».

Это был единственный раз, когда Морис де-Креспильни упомянул о своих намерениях насчет своего состояния. Он высказал ясно, что Элинор его деньги не достанутся, и сестры, которые до сих пор неусыпно наблюдали ревнивым взором за стариком и его любимицею, с той поры предоставили мистрис Монктон полную свободу приезжать и уезжать, когда ей было угодно. Но все это не приближало Элинор к достижению ее главной цели.

Ланцелот Дэррелль бывал в Толльдэле, он ухаживал за своею невестою со свойственным ему свободным и несколько равнодушным обращением. Лора была счастлива по временам, по временам же невыразимо страдала, когда жестокие муки ревности – ревности к Элинор и ревнивые подозрения в искренности ее жениха – терзали ее душу. Джайльберт Монктон сидел день за днем то в библиотеке, то в гостиной,

то в комнате Элинор, наблюдая внимательно за женой и влюбленными.

Но хотя дни и недели мчались с неестественною быстротой, как казалось Элинор, и тянулись с убийственной медленностью, по мнению ее мужа, – время проходило, а дочь Джорджа Вэна не подвигалась ни на шаг по тому пути, который избрала себе.

Настало Рождество. Девушка, молодость которой прошла в бедных жилищах, где отец ее скрывал нищету последних дней своей жизни, прежняя молодая хозяйка, изведавшая одну нужду, не зная, как разделить несколько унций чая, как умиловать лавочника и вымолить у него отсрочку долга, теперь была вызвана принять на себя роль щедрой владельницы Толльдэльского Приората и раздавать мясо и хлеб, одеяла и водку, уголья и шерстяные платья целой толпе голодных нищих, дрожащих от холода.

Прошло Рождество, и новый год являлся в свете при самых невыгодных условиях дурной погоды, тогда как весна, эта страшная весна, которая должна быть свидетельницей свадьбы Лоры, приближалась незаметными шагами, с каждым днем ближе и ближе.

В отчаянии Элинор обратилась к Ричарду Торнтону. Она сделала это скорее по силе привычки – подобно тому, как нетерпеливый ребенок жалуется матери – чем в надежде получить от него помощь для главной

цели ее жизни.

«О Ричард! – писала она в отчаянии. – Помогите мне, помогите мне, помогите! Я думала: все пойдет так легко, если только я доберусь до Гэзльуда. Но я здесь, я вижу Ланцелота Дэррелля ежедневно, а несмотря на то, я не подвинулась ни на шаг. Что мне делать? Январь на исходе, а в марте Лора Мэсон выйдет за этого человека. Мистер де-Креспиньи очень болен и с часу на час может умереть, оставив все свое состояние сыну своей племянницы.

Неужели этому человеку, который причинил смерть моему отцу, суждено пользоваться всем счастьем, какое только может быть дано на этом свете? Неужели же ему выпадет на долю большое состояние и прелестная жена? А мне так назначено стоять при этом и допустить его счастье, припоминая, что произошло в ту страшную ночь в Париже, припоминая, что мой бедный отец лежит в своей неосвященной могиле и что кровь его на руках счастливец. Помогите мне, Ричард! Приезжайте ко мне, помогите мне отыскать явное доказательство вины Ланцелота Дэррелля. Вы можете помочь мне, если только захотите. Ваш ум яснее моего, ваша проницательность не омрачена страстью, как моя, вы не ослеплены негодованием. Вы были правы, говоря, что я никогда не буду иметь успеха в моем предприятии. Но я наде-

юсь на вас, чтоб отомстить за смерть моего отца».

# Глава XXXI.

## Могущественный союзник

Ричард Торнтон немедленно отвечал на приглашение Элинора. С той же самою почтою отправлено было письмо и к синьоре от мистрис Монктон с убедительною просьбой оставить своих учениц, хотя на время, и немедленно приехать в Толльдэлль. Элинора не забыла верных друзей, помогавших ей в печальные дни ее жизни, но трудно было победить привычки к независимости, с которыми сжилась синьора, и мистрис Монктон понимала, что Элиза Пичирилло очень немного согласилась бы принять от нее.

Элинора умоляла музыкальную учительницу переехать из дальних краев Пиластров в комфортабельный первый этаж на Дедлейской улице. К ее приезду Элинора убрала новую квартиру прекрасной мягкой мебелью, брюссельскими коврами, приготовила рояль Эрара и несколько копий с особенно любимых синьорою картин. Все это почти истощило весь ее годовой доход, что доставило большое удовольствие Джильберту Монктону, который умолял ее свободно обращаться к нему за деньгами, сколько бы она ни пожелала для своих друзей.

Приятно было ему смотреть на все эти хлопоты. С восхищением видел он ее нежную благодарность к друзьям ее несчастья.

«Женщина, живущая своим трудом, вероятно, с радостью бросит свои тяжелые занятия и переселится на более удобное житье, – думал он. – Но что за благородное создание эта Элинор! И я верил, что она такова, когда во второй раз поверг свое счастье к ногам женщины».

С радостью отдала бы Элинор свой последний шиллинг для Элизы Пичирилло и ее племянника, но, несмотря на свои старания, она никак не могла убедить ни музыкальную учительницу, ни живописца театральных декораций принять более удобную жизнь в сравнении с той, которую они вели в продолжение многих тяжелых лет. Синьора все-таки продолжала ходить из дома в дом, с неутомимой заботливостью давая уроки и по-прежнему принимала молодых девиц, стремившихся к достижению лаврового венка в лирической драме. Ричард все еще рисовал снегом венчанные вершины гор и невозможные ущелья в Альпийских горах, несбыточно цветущие деревни и обширные поля со золотыми колосьями, окруженные простыми белыми палисадами, с их жителями в холщовых штиблетах и ситцевых жилетах. Все убеждения, все просьбы мистрис Монктон оставались на-



прасными: друзья не переезжали в Толльдэль и только вследствие серьезного недоразумения с господами Спэвином и Кромшоу, недоразумения, лишившего Ричарда места декоратора, молодой Торнтон решился, наконец, принять убедительное приглашение мистрис Монктон.

Холодный и мрачный январь был на исходе, когда синьора Пичирилло с племянником прибыли в Приорат. Покрыты снегом были деревья вокруг Толльдэля, обширные луга перед Удлэндсом побелели, как ущелья Альпийских гор, нарисованные Ричардом, и Морис де-Креспиньи не выходил уже из дома несколько недель. День свадьбы назначен был на пятнадцатое марта и Лора, если не была занята присутствием своего жениха, то вся поглощалась заботами и переговорами с портнихой о необходимых приготовлениях к ее подвенечному наряду.

Ричард Торнтон тщательно изменил эксцентричный вид своей бороды и купил новую пару платья в честь своей прекрасной молодой хозяйки. Живописец не видался с Элинор с того утра, когда он убежал из Пиластров, чтобы скрыть свое горе в болотах театральных; следовательно, их встреча была тяжела только для него одного, тем тяжелее, может быть, что мистрис Монктон приняла его с искренним дружеским радушием, как брата.

– Вы должны быть моим помощником, – сказала она, – если не для меня, то для других. Нет, вы не можете отказать мне в помощи, чтобы проникнуть в эту тайну. Если Ланцелот Дэррелль действительно тот человек, как я подозреваю, то он не достоин быть мужем любящей и доверчивой девушки. Он не имеет права принять наследство от Мориса де-Креспиньи! Свадьба Лоры с этим человеком назначена на 15 марта. Морис де-Креспиньи может завтра умереть. Ричард, у нас мало остается времени впереди.

И Торнтону пришлось повиноваться властолюбивой молодой женщине, которая привыкла распоряжаться им с того старого времени, когда он, бывало, держал кроликов и шелковичных червей для ее удовольствия. Так и теперь он решился добросовестно исполнить наложенную на него обязанность и напрягал все свои способности, чтоб лучше познакомиться с характером Ланцелота Дэррелля.

Молодой художник, хорошего происхождения, мечтавший при первом удобном досуге сделать что-нибудь великое для академии, в обращении с театральным живописцем выказывал высокомерную благосклонность, что ни в каком случае не могло быть приятно Торнтону.

Дик решил, что не будет смотреть с предубеждени-

ем против воображаемого врага Элинор, или по крайней мере что пылкая впечатлительность молодой женщины не будет иметь на него влияния и не введет его в страшное заблуждение; по в надменной самоуверенности Ланцелота Дэррелля было что-то такое оскорбительное, что невольно возбуждало Ричарда, и ему нелегко было сохранять приличную вежливость к нареченному жениху бедной Лоры.

Ланцелот обедал в Толльдэле в день приезда элинориных гостей. За обедом Ричард имел первый случай наблюдать за человеком, которого дал слово узнать. Монктон, сидя посредине стола и посматривая украдкой на свою жену при блеске хрустальных и серебряных украшений, заметил какую-то перемену в обращении Элинор. Перемена эта была для него загадочна и непонятна, но не совсем неприятна.

Ревность мужа в особенности возбудилась от постоянно напряженного состояния Элинор в присутствии Ланцелота Дэррелля. Элинор украдкой, почти никогда не смотря на молодого человека, постоянно наблюдала за всеми его движениями. В настоящий же вечер Монктон заметил в ней перемену: не за Ланцелотом Дэрреллем она наблюдала теперь, а за Ричардом Торнтоном.

Следуя за разнообразным выражением ее лица, Джильберт Монктон видел, что она смотрела на де-

коратора серьезным, вызывающим, пытливым взглядом, как будто требовала чего-нибудь от него, как будто убеждала его совершить какое-то дело. Затем, перенося свой взор с жены на Ричарда, адвокат видел, что за Ланцелотом Дэрреллем строго наблюдают только на этот раз глаза племянника синьоры.

Мистер Монктон чувствовал себя в положении зрителя, перед которым разыгрывается драма на неизвестном ему языке. Действующие лица выходят на сцену, ведут суровые или восторженные речи, веселы или печальны, смотря по необходимости; но несчастный зритель, не зная в чем дело, вряд ли находит удовольствие в этом представлении.

В продолжение вечера Элинор удалось спросить своего союзника.

– Ну как же вы полагаете, Ричард, – сказала она. – Ланцелот Дэррелль тот ли человек, который обыграл моего отца?

– Этого я не знаю, мистрис Монктон, но...

– Но что же?

– Я думаю, что во всяком случае он – не лучший из людей. Он презирает меня только потому, что я пишу декорации в театре «Феникс», и с видом султана принимает ласки простодушной девушки.

– Так он вам не нравится, Дик?

Торнтон глубоко вздохнул, как будто делая усилие,

чтоб удержатъ запальчивое и не совсем приличное выражение.

– Я думаю, что он... Помните ли вы, как великий трагик называет тех нервозных людей, которые бегут вой из театра за три минуты до того, как король Лир начинает проклинать свою старую дочь, или отворачиваются спинами к котлу ведьм в «Макбете»? Он называет их скотами. Я думаю, что Ланцелот Дэррелль тоже скот и, я уверен, что он способен быть шулером, если только представится удобный случай, чтобы остаться при том целым и невредимым.

– Вы так думаете? – воскликнула Элинор, ухватившись за последние его слова, – вы думаете, что он в состоянии мошеннически обыграть бедного, беззащитного старика? Докажите это, Ричард, докажите и я буду так же безжалостна к Ланцелоту Дэрреллю, как он был безжалостен к моему отцу – другу своего дяди: он знал это.

– Элинор Монктон, – сказал Ричард сурово, – я никогда не останавливался серьезно на этом предмете и надеялся, что вы отказались уже от своего ребяческого намерения и, главное, полагал, что, вышедши замуж...

Тут его голос несколько задрожал, однако, он мужественно продолжал:

– Вы поймете, что новые обязанности должны за-

ставить вас забыть старые обеты, и Бог видит, что я употреблял все свои усилия, чтоб отвратить от вас это искушение. Но теперь, как только я увидел этого человека, Ланцелота Дэррелля, я понял, что вы могли узнать его по какому-то необъяснимому предчувствию. Я довольно видел его, чтобы понять, что он не годится в мужа этой бедной романтической девушке с ее золатыми кудрями, и употребляю все усилия, чтобы допытаться, где он был и что он делал в продолжение тех лет, которые он, по общему предположению, провел будто бы в Индии.

– Ричард, точно ли вы это сделаете?

– Точно, мистрис Монктон...

Молодой человек величал свою старинную подругу непривычным именем, употребляя его вместо карательного прута для восстановления порядка и приведения в покорность некоторых возмутительных мыслей при воспоминании, что это очаровательнейшее в мире создание теперь навсегда потеряно для него.

– Точно, мистрис Монктон, я употребляю все усилия, чтобы проникнуть в эту тайну. Хитер будет Ланцелот Дэррелль, если он успел уничтожить всякий признак своей жизни в те годы, которые он провел, по его словам, в Индии. Как бы тихо ни тянулось время, а все же оно оставляет за собою след, и очень было бы странно, если бы не остались где-нибудь крас-

норечивые признаки, которые обличат тайну Ланцелота Дэррелля. Вам представлялось обширное поле для наблюдений, мистрис Монктон, что же подметили вы особенного, что могло бы относиться к прежней жизни его?

Элинор покраснела и несколько медлила отвечать на прямой его вопрос.

– Внимательно я наблюдала за ним, – отвечала она, – прислушивалась к каждому слову, которое произносил он...

– Понимаю... Вы надеялись, вероятно, что он когда-нибудь изменит себе, нахмутив брови, или принимая на себя грозные виды и другие судорожные движения лица, к которым прибегают жалкие актеры... или, быть может, вы ожидали, что он когда-нибудь проговорится и скажет нечто в этом роде: «как я был в Париже», или «в то время, когда я подтасовывал карты». Нет, мистрис Монктон, для любителя обличений вы не совсем хитро принялись за дело.

– Но, что же оставалось мне делать? – спросила Элинор уныло.

– Следовало отыскивать следы прошлого по тем уликам, которые не могут изгладиться даже житейским прогрессом. Наблюдайте за привычками и привязанностями человека и вы гораздо скорее узнаете его, чем наблюдая за его личностью. Бывали ли вы

в комнатах, где он живет?

– Да, я часто бывала с Лорою в Гэзльуде с тех пор, как здесь живу. Я бывала даже в собственных комнатах Ланцелота Дэррелля.

– И ничего не заметили? Ни книги, ни письма, ни одной обличительной черты, которая могла бы служить первой строчкою в истории жизни этого человека?

– Ничего, ничего особенного... В углу его гостиной стоят на этажерке несколько французских романов.

– Но эти романы могут тоже служить доказательством был ли он в Париже в 1853 году. Взглянули ли вы на заглавия этих книг?

– Нет, да и какая была бы польза, если бы я и взглянула?

– А может быть, какая-нибудь польза да была. Французы – народ ветреный и непостоянный. На все бывает у них мода, и в этом году не та, что в прошлом. Если б вы нашли у него какой-нибудь роман, от которого все с ума сходили в таком-то году, то понятно бы стало, что Ланцелот Дэррелль именно в том году шатался в Орлеанской галерее или на бульваре, где в то время выставлен был за окошками магазинов модный роман. Если бы у него были новые романы, а не вечные новые издания Мишеля Леви, сочинений Ж. Занда, Сулье, Бальзака и Бернара, так и из этого можно бы кой-какие вывести заключения. Наука об-



личения именно и состоит в наблюдении пустяков. Это есть нечто вроде умственной геологии. Геолог смотрит на песчаную яму и рассказывает вам историю мироздания, проницательный взгляд наблюдателя видит дорожный мешок путешественника и признает в нем убийцу или фальшивомонетчика.

– Теперь понимаю, как я была глупа, – прошептала Элинор почти со слезами.

– Да сохранит вас Бог от такого ума и на будущее время. Для этого есть полицейские сыщики, настоящие обученные ищейки нашего цивилизованного века и истинно благородные и достойные уважения животные, когда они исполняют добросовестно свои обязанности. Но прекрасным молодым дамам следует держаться подалеже от этой каторги. Перестаньте же об этом думать, Элинор. Если Ланцелот Дэррелль действительно тот человек, который обыграл в экартэ вашего отца 11 апреля 1853 года, то я отыщу доказательство его вины. Доверьтесь же мне вполне.

– Я верю вам, Ричард.

С величественным движением королевы мистрис Монктон протянула свою руку, как будто хотела этим пожатием скрепить предполагаемый союз между нею и ее старым другом, и Ричард Торнтон, как истинный рыцарь, без страха и упрека склонил свою честную голову и принес клятву верности над рукою молодой

жены Джильберта Монктона.

– Еще одно слово, мистрис Монетой и после этого лучше будет оставить наш разговор, чтобы не возбудить подозрения в других, что у нас с вами есть какая-нибудь тайна. Как я мог понять из разговоров, этот Дэррелль художник – много он рисует?

– О, да! Очень много, то есть много начинает и ничего не заканчивает.

– Оно так и должно быть... Наверное, он набрасывает очень много эскизов, очерков карандашом и кистью?

– Да.

– И наполняет ими портфели, разбрасывает их по всей мастерской?

– Да.

– В таком случае, мистрис Монктон, мне надо побывать в его мастерской. Художник, даже самый плохой, а все же любит свое искусство и делает его по-веренным своих задушевных дум. В своей свободной мастерской он обличает тайны, которые тщательно скрывает от всякого живого существа. Кисть – это внешнее выражение мысли. Художник может лгать и обманывать своих товарищей, но его альбом выскажет истину. Рисунки обличат его, если он вероломен, оправдают его, если он праводушен. Я должен осмотреть мастерскую Ланцелота Дэррелля. Дайте мне ри-

сунки художника и я скажу вам, что он за человек.

## Глава XXXII. Альбом-обличитель

Очень натурально, что художник всегда интересуется работами другого художника. Мистер Дэррелль нимало не удивился, когда Ричард Торнтон явился на другой день в Гэзльуд под покровительством мистрис Монктон и Лоры.

– Я приехала за тем, чтобы сказать вам, милая мистрис Дэррелль, как мне было жаль, что вчера вы не приехали к нам обедать, – сказала Лора своей будущей свекрови, – а также и за тем, чтобы спросить у вас, как будет лучше отделать вышитые кисейные капоты: розовым или голубым? Или вы думаете лучше будет сделать три с голубым да три с розовым, а то, пожалуй, Ланцелоту надоест видеть меня все в одном и том же цвете. Это очень понятно. А то можно два из них отделать персиковым цветом, если только вы найдете, что этот цвет идет к утренним капотам. Вот и Элинор со мною приехала да и мистер Торнтон тоже... Ах, да! Позвольте вам представить: мистрис Дэррелль – мистер Торнтон, мистер Торнтон – мистрис Дэррель, вот и мистер Торнтон с нами приехал, потому что он художник и желает посмотреть на картины Ланцелота, особенно же на ту прекрасную картину, которая посылается в академию, наверное,

комитет примет ее из первых на выставку. Я уверена, что Ланцелот покажет мистеру Торнтону свою мастерскую – не правда ли, милый Ланцелот?

При обращении к своему жениху, Лора сложила розовые губки и наклонила хорошенькую голову на сторону – точно хорошенькая канареечка. Прелесть, как она была мила в своем зимнем костюме, со множеством дорогого темного меха вокруг пунцового бархата и пунцовых лент. Она была похожа на «Красную Шапочку», нарядно одетую и довольно простенькую, чтобы попасть прямо в пасть какому-нибудь оболъстительному волку – словом, она была до того мила, что даже ее жених удостоил ее благосклонною улыбкою, значительно происходившею от сознания, что она ему принадлежит и что в сущности она имеет нечто такое, чем можно гордиться, нечто, что увеличивало достоинство молодого султана, представляя доказательство его высокого значения.

С презрительною улыбкою Элинор посмотрела на них. Она до такой степени ненавидела Ланцелота, что готова была почти ненавидеть и Лору, зачем она любит его.

– Да, – думала она. – Мистер Монктон прав: пустота, себялюбие и легкомыслие – Ланцелот все это вместе, да и еще, кроме того, вероломство. Да поможет тебе Бог, бедная Лора, если мне не удастся снасти те-

бя от брака с этим человеком.

Мистеру Дэрреллю было очень приятно похвастаться, своею мастерскою. Для бедного помощника театрального декоратора видеть зародыш академической мысли, это было нечто совершенно новое. Быть может, в первый раз в жизни бедняку придется проведать, что значит свежая мысль, получить понятие об искре высокого искусства.

Ланцелот Дэррелль повел гостей в прекрасную, роскошно меблированную комнату, которую он называл своею мастерскою. Розалинда и Челия все еще занимали почетное место на мольберте. Мистер Дэррелль очень много работал, но с теми судорожными порывами, которые всегда бывают противниками успеха. Иногда работал он с таким жаром, что не обращал внимания на то, что солнце заходило и давно пора работу оставить; но проходил этот страстный порыв – наступал припадок недовольства собою, отвращение от искусства и он по целым неделям не брал в руки ни карандаша, ни кисти.

Ланцелот Дэррелль ставил себе в достоинство такие восторженные порывы, находя, что энергия постоянного и настойчивого труда есть принадлежность труженика, работающего за деньги, а не художника. Он верил себе на слово, что долгие промежутки, в которые он предавался праздности, необходимы в ожи-

дании так называемого им вдохновения, и рисовался в глазах матери великолепной болтовнею о важности, добросовестности и уважении к высокому искусству и тому подобными красноречивыми фразами, которыми прикрывал свою ленивую и себялюбивую натуру. Таким образом, Элинор Вэн, в образе печальной Розалинды все еще грустно улыбалась над глупо улыбающейся Челией, не было никакой возможности разубедить мисс Мэсон не делать пошлой улыбки сладенькой натурщицы, которая никак не может забыть, что портрет, снятый с нее, будет действительно висеть на стене и век улыбаться потомству, или обязан изображать модную лавку с бесконечным множеством атласа или бархата. Смотря на работу знатного артиста, Торнтон сам себе удивлялся и припоминал, сколько верст холста пришлось ему расписать с тех пор, как он в первый раз стал махать своею кистью и мазать небо с облаками вместо главного декоратора «Феникса».

Держа в руках свой муштабель, Ланцелот улыбался с видом высокого покровительства смиренному другу Элинор.

– Полагаю, что все это несколько отличается от того, что вы до сих пор видели? – спросил он, – совсем не та работа, что ваши декорации, или гроты и водопады, бьющие брызгами по белой тесемке, или без-

облачные небеса из голубого газа и мишуры?

– Но мы не всегда обязаны писать превращения, мистер Дэррелль, – отвечал Торнтон несколько оскорбленный нахальством артиста, – декорации состоят не из одной только мишуры и подклейки, мы обязаны знать несколько перспективу и иметь маленькое понятие о красках, и многие из моих товарищей стали впоследствии хорошими пейзажистами. Кстати, а вы, мистер Дэррелль, занимались ли когда-нибудь этим родом живописи.

– Занимался, – отвечал Ланцелот равнодушно, – я старался набить руку над ландшафтами, но живой интерес – человеческий интерес, вот, мистер Торнтон, настоящий предмет живописи! По моему мнению, живопись должна изображать историю, драму, трагедию, поэму – словом, что-нибудь такое, что можно бы узнать без помощи каталога.

– Именно так: эпическая поэма на поясный портрет, – отвечал Торнтон рассеянно.

Он видел, что пытливые глаза Элинор устремлены на него и чувствовал, что с каждой минутой она теряет доверие к нему. Осмотревшись вокруг себя, он увидел два больших портфеля, прислоненных к стене в довольно грязной бристольской папке.

– Да, – продолжал Ланцелот, – я пробовал рисовать и пейзажи. В этих портфелях сохранилось еще



несколько – в верхнем, кажется, но не в красном: в том хранятся мои личные воспоминания и очерки. Возьмите зеленый портфель, мистер Торнтон: вы найдете тут некоторые вещи, которые будут для вас интересны, может быть, вы извлечете из этого какую-нибудь пользу.

Артист бросил свой муштабель и перешел на другую сторону комнаты, где Лора с мистрис Дэррелль расположились у камина. Элино́р с Ричардом оставались у мольберта, в том углу, где стояли на полу портфели.

В этом углу находилось огромное старинное окно с амбразурой, где стояла Элино́р, когда Ланцелот просил ее руки. В глубокой амбразуре стоял стол, над окном повешены тяжелые малиновые занавеси, так что сидевшие за столом были почти закрыты от других присутствующих в комнате.

Ричард Торнтон взял оба портфеля и положил их на стол. Элино́р стояла возле него с замирающим дыханием от ожидания.

– В красном портфеле заключаются его личные воспоминания, – прошептал Ричард, – так тут нам и надо искать, мистрис Монктон. О чести не может быть и речи на той дороге, которую мы с вами избрали.

Живописец развязал тесемки красного портфеля

и быстро открыл его. Беспорядочная масса рисунков лежала перед ним. Очерки карандашом, эскизы кистью, оконченные и неоконченные рисунки; грубые карикатуры пером, чернилами и акварелью; слабые признаки полуистертых предметов, головы, профили, подбородки и носы, литографии, гравюры, эстампы, иллюстрации, вырванные из книг и журналов, – все это разбросано в неопisanном беспорядке.

Мистер Торнтон сел у стола, наклонив голову над лежавшими пред ним рисунками и принялся твердо и обдуманно рассматривать все предметы, заключавшиеся в красном портфеле, Элинор стояла возле него.

Тщательно он перебирал одни за другими все рисунки, как бы они ни были слабы, грубы или небрежны. Каждую бумажку он переворачивал во все стороны и при внимательном осмотре, на обороте иногда ничего не находил, а иногда едва заметное указание года карандашом или подпись пером.

Долго он ничего не находил, что при остроумном соображении могло бы открыть какое-нибудь отношение к тому периоду жизни, который, по мнению Элинор, проведен был Ланцелотом в Париже, а не в Индии.

– Велисарий. Девушка с корзиною клубники. Мария-Антуанетта. Палач. Цветочница. Оливер Кром-

вель, отказывающийся от короны. Оливер Кромвель, обличающий сэра Гэрри Вэна. Оливер Кромвель и его дочери... Не говорил ли я вам, Элинор, – шептал Ричард, продолжая рассматривать рисунки, – не говорил ли я вам, что альбом художника – это его мемуары, воспоминания его жизни? Все эти Кромвели подписаны одним и тем же годом. Около десяти лет тому назад, то есть именно в то время, когда Дэррелль имел мало познаний в анатомии и великое стремление к республиканскому духу. Далее, как видите, мы переходим к пасторальному настроению. Водяная мельница. Роза. Тут идет нескончаемый ряд воспоминаний Розы и мельницы: Роза в подвенечном платье; мельница во время грозы; Роза в сельском костюме; мельница при закате солнца. Грусть Розы; мельница при лунном свете: на всех этих рисунках обозначено время двумя годами позже, когда художник был отчаянно влюблен в деревенскую красавицу по соседству. Теперь теряется из виду Роза и любовь, наступает римский период: художник стремится к высокому и классическому. Недолго продолжается римский период. Вот мы в Лондоне, да, пред нашими глазами открывается жизнь студенческая в столице. Вот эскизы жизни художника на Клинстонской улице и в предместьях Фицройского сквера. Это Гай-маркет ночью. Ложа в опере. Леди Клэра Вер-де-Вер.

Леди Клэра на цветочной выставке – в Гайд-Парке – на концерте – ага! художник опять влюблен, но теперь он влюблен уже в аристократическую, недосыгаемую красавицу. Вот наброшены эскизы пером, намекающие на задуманное самоубийство: молодой человек лежит на бедной кровати, подле него, на полу, стоит бутылка с надписью: «синильная кислота», а тут юноша наклонился через перила Ватерлооского моста, лунная ночь; на заднем фоне виден собор св. Павла. Да, тут видна страстная любовь и отчаяние и дикое стремление к смерти и общее болезненное и неприятное настроение ума, как неизбежное следствие праздности и крепких напитков. Пстойте! – воскликнул Ричард неожиданно, – мы, кажется, во всем ошибались.

– Что вы хотите этим сказать? – спросила Элинор.

Она следила за обзором Ричарда со страстным участием, с возрастающим нетерпением от желания дойти до чего-нибудь, что могло бы служить уликою против Ланцелота.

– Что вы хотите этим сказать? – повторила она. – Какой вы медленный, Дик! Я ничего так не желаю, как иметь доказательство, которое подтвердило бы мое убеждение, что Дэррелль и человек на бульваре – одна и та же личность.

Боюсь, что мы с вами все время ошибались, – ска-

зал Ричард с унынием, – кажется, все эти эскизы наброшены не Дэрреллем, а каким-нибудь его товарищем. Боюсь, что это не его работа.

– Не его – так чья же? чья?

– Первый разряд рисунков, все эти Кромвели и Розы подписаны размашистым автографом – «рис. Ланцелот Дэррелль», всем именем, как следует молодому человеку, гордящемуся своей фамилией.

– Да-да, ну, так что же потом?

– Очерки лондонской жизни, все эти леди Клэры и самоубийцы, сделанные гораздо лучше первого разряда, подписаны только начальными буквами, которые я в первую минуту принял за одну и ту же подпись.

– Начальными буквами.

– Да, двумя начальными буквами. Долго старался я разобрать их и только теперь мне это удалось. Буквы эти Р. Л.

Ричард Торнтон почувствовал, как задрожала рука Элинор, лежавшая на спинке его стула, он услышал, как ее дыхание становилось быстрее и, повернувшись к ней, увидел, что она бледна как смерть.

– Это должно быть все равно, Ричард, – сказала она, – человек, обыгравший моего отца назывался: «Роберт Ла». Остальная часть имени была оторвана в письме отца моего: начальные буквы этой фальши-

вой подписи Р. Л. Продолжайте, Дик, скорее, скорее! Сжальтесь надо мной! Мы найдем еще что-нибудь более осязаемое.

Элино́р Монктон говорила шепотом, но живописец вдруг прикоснулся к ее руке и знаком показал необходимость быть осторожнее. Но на другом конце мастерской никто и не думал наблюдать за тем, что происходило в амбразуре окна. Лора весело болтала, жених подшучивал над нею, забавляясь ее ребяческим легкомыслием.

Ричард Торнтон, ни слова не говоря, обратился к куче рисунков.

Перед ними лежал теперь рисунок акварелью, представлявший длинную улицу, освещенную фонарями, где толпился народ в масках и странных костюмах.

– Мы переплыли канал, Элино́р, – сказал Ричард, – перед нами Париж во время карнавала и тут подписано имя всеми буквами: «Роберт Ланц, 2 марта, 1853 года». Тише, Элино́р, ради Бога успокойтесь. Этот человек – преступник. Я теперь в этом так же убежден, как и вы, но мы должны до конца выяснить его преступления.

– Спрячьте этот рисунок, Ричард, спрячьте его, – прошептала Элино́р. – Это доказательство, что он носил фальшивое имя, эта улика, что он прожил в Па-

риже то время, которое, по его уверению, он находился в Индии, это доказательство, что он был в Париже за несколько месяцев до смерти моего отца.

Живописец сложил измятый рисунок и всунул его в грудной карман своего широкого сюртука.

– Дальше, Ричард, дальше: может быть, мы еще что-нибудь найдем, – шептала Элинор.

Молодой человек повиновался страстной торопливости своей подруги, один за другим осматривал он эскизы карандашом, рисунки акварелью и китайской тушью.

На всем был отпечаток жизни в Париже и его окрестностях. Вот дебардер висит на руке студента; вот гризетка пьет лимонад с ремесленником за заставой; погребальная процессия подъезжает к кладбищу Перлашез Лашеза; балаган на бульваре; группа звуков; ландшафт в Сен-Жерменском лесу с конными фигурами близ арки; сцена на Елисейских Полях.

И вот, наконец, грубо набросанный эскиз группы в маленькой комнате какой-то кофейной; старик сидит при свете лампы за столом и играет в экартэ с человеком, лица которого не видно; старик с аристократической красивою наружностью, в поношенном платье, судорожно сжал кучку наполеондоров, лежавших перед ним на столе.

Тут была еще третья фигура: щегольски одетый

француз стоял позади стула старика, и в этом наблюдателе за игрою Элинор тотчас узнала человека, убедившего ее отца оставить ее на бульваре, товарища угрюмого англичанина.

На рисунке значилось число «12 августа, 1853 года», именно тот день, когда Ричард Торнтон узнал мертвеца в страшном морге. На обороте рисунка написаны следующие слова: эскиз будущей картины под названием: «Последний из Наполеонов» – Роберта Ланца.

Сходство главной фигуры с Джорджем Вэном было неопровержимо. Человек, так безжалостно обыгравший друга своего родственника, занес в свою летопись картину своей жестокости, но не настолько еще закоренел в преступлении, чтобы после самоубийства своей жертвы исполнить свое намерение.



# Глава XXXIII. Духовное завещание Мориса де-Креспиньи

Ричард Торнтон сложил эскиз, сделанный карандашом, и положил его в карман вместе с акварельным рисунком.

– Я говорил вам, что у Ланцелота Дэррелля карандаш служит поверенным, – сказал Ричард вполголоса, – теперь мы можем опять положить на место красный портфель: тут ничего нет более, что могло бы нам помочь... Едва ли может быть приятна память вашего отца этому молодому человеку после 12 августа. Когда он набрасывал этот эскиз, наверное, тогда ему были уже известны последствия его действий.

Молчаливо и неподвижно стояла Элинор у стула живописца. Бледно было ее лицо, сурово и судорожно сжат рот от усилия сдержать свое волнение. Но огонь горел в ее блестящих серых глазах и нежные, прозрачные ноздри судорожно раздувались.

Торнтон осторожно сложил рисунки в красном портфеле, связал тесемки и поставил его на прежнее место, у стены. После этого он стал быстро пересматривать пейзажи в зеленом портфеле.

– Эти рисунки очень слабы, – сказал Ричард. –

Ланцелот Дэррелль не сочувствует природе. Будь у него столько же постоянства, сколько таланта, то из него мог бы выйти очень замечательный художник... Его картины похожи на него самого: поверхностны, искусственны, фальшивы, но в них ум и искусство есть.

Живописец говорил это с умыслом: он знал, что Элинор стоит позади него, как неподвижная статуя, крепко ухватясь за спинку стула, точно бледная Немезида, готовая мстить и разрушать. Ему хотелось успокоить ее, привести к чувству настоящего, навести на общий разговор прежде чем Ланцелот Дэррелль увидит ее лицо. Но, оглянувшись на это бледное, молодое лицо, Ричард вмиг понял, как сильна была борьба в груди Элинор и как легко она могла в эту минуту изменить себе.

– Элинор, – сказал он, – если вы желаете довести до конца намерение, то не выдавайте своей тайны. Ланцелот Дэррелль идет сюда. Помните, что художник – всегда тонкий наблюдатель. В эту минуту на вашем лице вся завязка трагедии.

Мистрис Монктон хотела улыбнуться, но ее попытка оказалась не совсем удачна: улыбка была печальной и болезненной. В эту минуту Ланцелот подходил к амбразуре окна, но не один: Лора Мэсон была с ним. Бесперывно болтая, она задавала бесконечные во-

просы то своему жениху, то Элинор, то Торнтону.

– Как долго вы любовались его пейзажами! – говорила она, – ну как они вам показались и какие из них больше всех вам понравились? Любите ли вы больше морские виды или лес? Тут есть картина, изображающая Толльдэль с куполом и колоколом. Но мне гораздо больше нравятся рисунки в красном портфеле. Ланцелот позволяет мне смотреть на них, хотя никому другому не дает этого позволения. Но я не люблю Розу. Я ужасно ревную к Розе – да, ревную, Ланцелот, это ничего не помогает, что вы уверяете меня, будто никогда не были в нее влюблены, а только восхищались ею, как прекрасною деревенскою моделью. Никто на свете не переуверит меня в том, что вы не были в нее влюблены. Неправда ли, мистер Торнтон? Не так ли Элинор? Когда художник вечно рисует одно и то же лицо, это значит он непременно влюблен в оригинал... Не всегда ли это так бывает?

Никто не отвечал на многочисленные вопросы молодой девушки. Ланцелот Дэррелль улыбался, покручивая свои усы тонкими женственными пальцами. Ему был очень приятен безграничный восторг, который показывала ему Лора и он сам начинал уже ее любить, конечно, особенного рода любовью, на свой лад, которая не требовала большого труда.

Со странным выражением на лице Элинор смотре-

ла на питомицу своего мужа, ее суровый, безжалостный взгляд обещал мало доброго молодой наследнице.

«Что значит для меня прихоть этой ветреной, легкомысленной девочки в сравнении с тем, что лежит у меня на сердце после смерти моего отца? – думала она. Что мне до того, что она будет страдать? Я должна помнить только горечь его страдания, помнить только эту долгую ночь, когда я прождала его с такою тоской, ту страшную ночь, когда он, доведенный до отчаяния, так ужасно умер. Конечно, одно это воспоминание удалит из моего сердца всякую мысль о сострадании».

Может быть, Элинор имела нужду убеждать себя, может быть, ей трудно было верно следовать плану своего мщения, когда по дороге пришлось затоптать и растерзать это молодое сердце невинного, девственного, доверчивого создания, которое так сильно привязалось к ней и, вполне доверившись ей, полюбило ее с первой минуты их знакомства.

«Но разве это была бы жалость или сострадание, или справедливость к ней, если б я допустила, чтобы она стала женой злодея? Нет, мой долг обличить Ланцелота Дэррелля как для ее пользы, так и в память моего отца».

На обратном нуги в Толльдэль мистрис Монктон

молчала, размышляя об утренних событиях. Ричард Торнтон действительно оказался могущественным союзником: как часто бывала она прежде в этой самой мастерской и ни разу не приходила ей в голову мысль порыться между рисунками художника, чтобы поискать доказательств, свидетельствующих против него в отношении ее отца.

– Не говорила ли я вам, Ричард, что вы можете помочь мне, – сказала она, оставшись наедине с живописцем? – Вы мне доставили доказательство, которого я так долго желала. Сегодня я поеду в Удлэндс.

– Это зачем?

– Да за тем, чтобы показать оба рисунка Морису де-Креспиньи, – отвечала она.

– Но достаточно ли одного этого доказательства, чтобы убедить человека, у которого сила соображения, по всей вероятности, ослаблена годами и болезнями? Что если мистер де-Креспиньи не поймет улики, показанной в этих рисунках? Что если он откажется поверить вашему обвинению против его внука.

– Я покажу ему письмо моего отца.

– Вы забываете, что письмо вашего отца обвиняет Роберта Ланца, а не Ланцелота Дэррелля.

– Но эти рисунки подписаны именем Роберта Ланца.

– А разве трудно мистеру Дэрреллю отпереться

от тождества с человеком, который подписывался этим именем? Не можете же вы требовать от Мориса де-Креспиньи, чтобы он признал своего внука под лецом только по свидетельству рисунка, от которого его племяннику ничего не стоит отказаться. Нет, Элино́р, дело этого дня есть только первый шаг по дороге, которую мы с вами избрали. Будем терпеливы и подождем более убедительного доказательства чем то, которое нам представляется в этих двух рисунках.

Элино́р тяжело вздохнула.

– А между тем, – сказала она, – наступит 15 марта, или Морис де-Креспиньи может умереть! Позвольте мне поехать к нему, дайте мне высказать ему кто я и показать письмо моего отца, дайте мне рассказать ему жестокую историю смерти его старого друга. Ведь он ничего не знает, кроме того краткого известия, которое прочел в газетах. Невозможно, чтобы он не поверил мне.

Ричард Торнтон покачал головой.

– Вы просили меня помочь вам, Элино́р, – сказал он строго, – если я готов это сделать, то и вы должны иметь доверие к моему совету. Подождите, пока мы будем иметь полную возможность доказать наши убеждения, подождите открыть вашу тайну мистеру де-Креспиньи.

Мистрис Монктон не могла пренебрегать советами

своего старого друга: он доказал положительным образом превосходство своего соображения в сравнении с неблагоприятной, впечатлительной деятельностью молодой упрямой женщины.

– Я не могу не повиноваться вам, Дик, потому что вы так добры и так многое уже сделали для меня: вы доказали уже на деле, что вы гораздо умнее и проникательнее меня. Но если Морис де-Креспиньи умрет, пока мы с вами будем все ждать, то я...

– То вы, вероятно, станете укорять меня зачем он умер, – прервал Ричард со спокойною улыбкою, – ведь, кажется, так обыкновенно делается у женщин?

Нелегко было Элинор повиноваться своему руководителю, тем более что Джильберт Монктон сказал ей за обедом, что был утром в Удлэндсе, и что ее старый друг, Морис де-Креспиньи, с каждым днем становится слабее и вряд ли доживет до весны.

– Старик, видимо, ослабеваает, – сказал Монктон, – его спокойные и воздержанные привычки поддерживают его долее, чем доктора надеялись. Они говорят, что он постепенно будет таять, как свечка: пламя мало-помалу угасает в подсвечнике. Тебе бы надо, Элинор, навестить бедного старика, пока он жив.

– Пока он жив! – повторила мистрис Монктон, – пока он жив! Так ты думаешь, что он скоро умрет?

– Да, я думаю, что он скоро умрет, по-крайней мере

доктора так говорят.

Элинор посмотрела на Ричарда Торнтона.

– Да, мне надо его видеть, непременно надо, пока он жив еще, – сказала она задумчиво, – а что, Джильберт, его рассудок так же ясен и память ему не изменяет, как это было неделю тому назад?

– Да, – отвечал мистер Монктон. – Я имею причину думать так, потому что, когда я разговаривал с его сестрами в столовой, то вошел труда Генри Лауфорд, уиндзорский нотариус и пригласил меня в спальную к Морису де-Креспиньи. Как ты думаешь, Элинор, зачем он меня приглашал?

– Не имею никакого понятия.

– Меня пригласили подписаться свидетелем на духовной вместе с клерком Лауфордом. Правду сказать, меня ничуть не удивило, что Морис де-Креспиньи только теперь вздумал сделать распоряжение насчет своего имущества. Полагаю, что он делал уже до полудюжины завещаний и опять уничтожал их, одно за другим, смотря по расположению духа. Надеюсь, что сестры по крайней мере получат приличное вознаграждение за долгие годы терпения и ожидания.

Дрожащие пальцы Элинор судорожно теребили брелки цепочки часов. Она с трудом удерживала свое волнение.

– Но кому же достанется все богатство? – спросила



она с замирающим дыханием, – не слышал ты этого, Джильберт?

– Нет, моя милая, свидетель при духовном завещании подписывается не читая его, да и вообще не принято, чтобы свидетель знал содержание духовной. Я видел, как бедный Морис де-Креспиньи подписывал слабою рукой свое имя и сам приложил свою твердую подпись на указанном мне месте, не задавая вопросов. Для меня достаточно знать, что я не имею участия в этом документе.

– Но не сказал ли чего-нибудь Морис де-Креспиньи, из чего бы ты мог догадаться кто будет...

– Морис де-Креспиньи ничего не сказал такого, что могло бы хоть несколько пояснить его намерения. Видно было, что его радовала мысль, что духовная его сделана и дело закончено. Лауфорд желал увезти с собой документ, по старик упорствовал в желании сохранить его у себя, говоря, что желает еще пересмотреть его, чтоб удостовериться, вполне ли выполнены его намерения как в духе, так и в букве. Бумагу он положил под подушку и лег спать с видом совершенного удовольствия. Я думаю, что он до своей смерти успеет опять повторить несколько раз такую же комедию.

– Может быть, он еще уничтожит это завещание? – спросила Элинор с озабоченным видом.

Двойная опасность грозила, что Ланцелоту Дэрреллю достанется наследство: он может получить его просто, если оно отказано ему по завещанию, и он возьмет его, как законный наследник, если дед умрет не сделав завещания.

– Да, – отвечал Монктон равнодушно, – старик может переменить свои мысли, если проживет столько, что успеет раскаяться в этом новом распоряжении. Но я сомневаюсь, чтобы он мог дожить до этого.

– Но ты сам, Джильберт, разве ты не имеешь идеи о том, кому может достаться это наследство?

Монктон улыбнулся.

Этот вопрос касается вас, Лора, гораздо больше, чем кого-нибудь из нас.

– Какой вопрос? – спросила мисс Мэсон, выглядывая из-за большой законченной работы, которую она показывала синьоре Пичирилло.

– Мы говорим о наследстве Мориса де-Креспиньи, милая моя, верно, и вам интересно знать кому оно достанется?

– О да, разумеется, – отвечала молодая девушка, – я должна интересоваться выгодами Ланцелота. Известно, что ему должно достаться наследство и что никто не имеет права лишить его этого, и тем менее эти противные старые девы, которые прогнали его в Индию против его воли. Я, право, боюсь, что он

когда-нибудь на старости лет поплатится жестокими и разными болезнями от ужасного климата в Индии. Разумеется, он должен получить наследство, а между тем мне приходит иногда в голову мысль, что гораздо было бы лучше, если бы он остался беден. При богатстве, может быть, он никогда не станет великим художником. С какою радостью я поехала бы с ним в Рим и вечно сидела бы у его мольберта, пока бы он работал, расплачивалась бы за счета в гостиницах и за все расходы путешествия, и за все, за все, собственными моими деньгами! Это было бы для меня гораздо приятнее, чем видеть его помещиком. Я не буду любить его, если он станет настоящим помещиком. Он стал бы ходить на охоту, носить длинные сапоги с отворотами и отвратительные кожаные штиблеты, точно какой-нибудь мужик, собравшийся на охоту. Ненавижу помещиков! Сами посудите, во всех поэмах Байрона и помину нет о помещиках и этот отвратительный муж в Локслейском замке, показывает вам, какое мнение и Теннисон имеет о помещиках.

Мисс Мэсон возвратилась к синьоре и к своему шитью совершенно довольная, что решила вопрос на свой лад.

– Он не будет похож на корсара, если ему достанется Удлэндс, – пробормотала она уныло, – ему на-

добно сбрить свои усы, если выберут его в судьи. Что выйдет хорошего из его серьезных разговоров с браконьерами? Народ никогда не станет уважать его, если он не будет носить скрипучих сапог и огромных брелков на цепочке.

Элинор продолжала свои допросы.

– А ты тоже думаешь, Джильберт, что Морис де-Креспиньи оставит свое богатство Ланцелоту Дэрреллю?

Монктон, поддаваясь злomu гению, который иногда бывал его спутником, посмотрел на жену несколько подозрительно, но ее глаза встретили этот подозрительный взгляд спокойно без всякого смущения.

– Зачем тебя так интересуют это богатство и Ланцелот Дэррелль? – спросил он.

– Со временем я это тебе скажу. Но теперь ты должен сказать мне: думаешь ли ты, что все это имение достанется мистеру Дэрреллю?..

– Я думаю, что это очень правдоподобно, это факт, что Морис де-Креспиньи сделал новую духовную, шесть месяцев спустя после возвращения молодого человека, и, по-моему, это доказывает, что предубеждения старика смягчились и что он изменил прежние распоряжения в пользу сына своей племянницы.

– Но Морис де-Креспиньи очень редко видал Ланцелота Дэррелля?

– А может быть, и не очень, – отвечал мистер Монктон холодно, – я могу ошибиться в своем предположении, но ты желала знать мое мнение и я выразил его откровенно. Пожалуйста, переменим разговор, я ненавижу всякую спекуляцию и толки о том, кому достанется достояние мертвеца, что касается до выгод Ланцелота Дэррелля, то мне кажется, что в романтической болтовне Лоры, есть некоторая доля здравого рассуждения. Может быть, для него было бы лучше всего остаться бедным человеком и уехать в Италию на несколько лет, чтобы заняться своим искусством.

Говоря эти слова, Монктон пытливо посмотрел на свою молодую жену, как бы думая прочесть на ее лице неудовольствие при мысли о продолжительном отсутствии Ланцелота Дэррелля.

Но Джильберту Монктону не удалось прочитать на лице жены тайну ее сердца, напрасно он наблюдал за нею: бледный и задумчивый вид ничего не говорил мужу, искавшему ключ, чтобы разгадать эту загадку.

## Глава XXXIV. Открытие

Почти непреодолимое влечение внушало Элиноор Монктон желание прямо отправиться к смертному одру Мориса де-Креспиньи и сказать ему: «Ланцелот Дэррелль есть тот злодей, который был причиною жестокой смерти вашего друга. Именем прошлого, умоляю вас, отомстите за горькие обиды, нанесенные вашему старому другу!»

Тяжела была борьба, но благоразумие одержало наконец победу, и Элиноор покорила совету своего преданного раба и союзника. Она знала теперь, что Ланцелот Дэррелль виновен, но она это знала с той минуты, когда увидела его в первый раз на Уиндзорской улице. Задача ее состояла в том, чтобы достать доказательство верное, которое могло бы убедить старика. Вопреки непреодолимому желанию приступить к безотлагательной деятельности, Элиноор вынуждена была сознаться, что улика альбома недостаточно сильна, чтобы обвинять Ланцелота Дэррелля.

Ответ молодого человека против такого обвинения довольно легко было предвидеть.

Что может быть легче как сказать: «Роберт Ланц не мое имя. Рисунок, украденный из моего портфеля, не мне принадлежит и я не обязан отвечать за дей-

ствия человека, сделавшего этот рисунок».

И против такого ясного опровержения ничего нельзя было представить, кроме бездоказательного подтверждения одной Элинор, что Ланцелот и неизвестный живописец один и тот же человек.

Тут ничего не оставалось делать, как только следовать совету Ричарда Торнтона и – ждать.

Ждать! Какой это тяжелый труд! Эта тайна заставила Элинор чуждаться мужа, сделала ее несчастною в обществе Лоры Мэсон от сознания, что она замышляла расстроить счастье своей доверчивой подруги, даже в дружеской беседе с Элизой Пичирилло ей было неловко и невесело. Тревожно и печально бродила Элинор Монктон по обширному дому, который стал ее собственностью и томилась страшным нетерпением, чтобы достичь конца, как бы он ни был мрачен. Каждый день, а иногда и несколько раз в день, она заглядывала в свою комнату и открывала свое бюро, в котором хранились обличительные рисунки и письмо ее покойного отца. Почти с ужасом она думала, что по какому-нибудь адскому влиянию у нее украдут эти вещи прежде, чем она воспользуется ими, как орудием своей мести. Так тянулись дни за днями. Вот прошла неделя после приезда Ричарда, вот и другой как не бывало; вот уже и половина февраля – а все еще ничего не сделано.

Здоровье Элинор пострадало от непрерывной душевной лихорадки нетерпения и тревожного ожидания. Муж стал уже замечать, что она с каждым днем становилась бледнее и худее; при каждом ничтожном волнении, при самой пустой неожиданности на ее лице выступал лихорадочный румянец но, кроме этих зловещих пятен, ее лицо было бледно, как мрамор.

Видя такую перемену, муж ее мучился и тем более чувствовал себя несчастным, что низкие сомнения и подозрения по обыкновению терзали его: «Отчего Элинор больна? Отчего она несчастлива? – задавал он себе эти вопросы тысячу раз в день и всегда решал их более или менее на один лад.

Верно, от того была она несчастлива, что приближался день свадьбы Лоры с Ланцелотом. Элинор противилась этому браку, насколько это было в ее возможности. Она слишком понадеялась на свои силы, когда решила пожертвовать любовью к молодому художнику для того, чтобы приобрести блистательное положение в свете, выйдя за немолодого, но богатого адвоката.

„Почему она не будет похожа на других женщин?“ – думал Джильберт Монктон. Она вышла за меня замуж не по любви, а за мои деньги, и теперь печалится за чем это сделала и, пожалуй, еще накануне свадьбы бедной Лоры произойдет сцена в том же роде, как бы-



ла в Лозанне восемь лет назад».

Вот как рассуждал мистер Монктон, предоставленный самому себе, когда мрачное расположение духа овладевало им.

Все это время Ланцелот Дэррелль разъезжал взад и вперед из Гэзльуда в Толльдэль и обратно, пользуясь правами объявленного жениха, который чувствует, что как бы ни были велики выгоды, доставляемые ему брачным контрактом, но все же он сам обладает такими неопровержимыми достоинствами, что, взяв все в соображение, его жена будет в большом выигрыше при этом торге.

Ланцелот являлся в Толльдэль, когда ему хотелось. То он играл целое утро на рояле с Лорою, то в бильярд с Ричардом, который старался сойтись с ним, несмотря на то, что от души его ненавидел.

«Должно быть, у сыщиков и обличителей бывают тяжелые минуты, – размышлял Торнтон после одного утра, таким образом проведенного. Каково чокаться стаканами с Уильямом Пальмером только затем, чтоб вытянуть из него какие-нибудь два слова, которые могут довести его до каторги. Конечно, профессия чрезвычайно почетная, но не думаю, чтоб она могла быть очень приятна».

Наступило 15 февраля, темный, холодный и скучный день. Элинор напомнила живописцу, что оставал-

ся только месяц до свадьбы Лоры. Поглощенная в хаос лент, кружев, атласа и бархата, молодая девушка перестала ревновать своего жениха к жене своего опекуна. Для ее счастья достаточно было добровольного согласия ее любезного Ланцелота принять от нее любовь и верность. Что же оставалось делать корсару, если не покручивать свой черный ус и не принимать великодушно этого поклонения?

Именно 15 февраля Ричард Торнтон сделал новое открытие. Конечно, оно было, может быть, не очень важно и не относилось прямо до тайны Ланцелота, однако все же значило что-нибудь.

Тотчас после завтрака Торнтон уехал из Толль-дэля в легком кабриолете, который предоставлялся гостям, желавшим прокатиться по окрестностям. Он вернулся только в сумерки и своим приходом прервал одиночество Элинор. Когда темнота начинала проникать из окна в комнату, где она сидела, он нашел ее в маленькой гостиной рядом с кабинетом ее мужа, сидящей на низеньком кресле против камина, положив голову на руки, красное пламя отражалось на ее лице, во всей ее наружности выражались тревога и уныние.

Дверь сообщения между кабинетом и гостиной, где сидела Элинор, была заперта.

Элинор оглянулась при входе Ричарда. День был

такой же дождливый, как и холодный, крупные капли дождя и снега висели на сюртуке живописца, от которого пахло сыростью и холодом в комнате. Элинор мало обратила внимания на его приход.

– Это вы, Ричард? – спросила она рассеянно.

– Я мистрис Монктон. Меня не было дома целый день: я был в Уиндзоре.

– Неужто!

– Да, и встретил там Ланцелота Дэррелля.

– Ланцелота Дэррелля? – переспросила она. – Ричард! Вдруг вскрикнула она, вставая с места и подходя к нему, – вы еще что-нибудь нашли.

– Я не нашел того, чего вы желаете, Элинор, то есть не нашел доказательства, которое вы могли бы представить Морису де-Креспиньи с требованием, чтобы он лишил наследства своего внука, но мне кажется, я сделал некоторое открытие.

– Какое? – спросила мистрис Монетой, едва сдерживая свою пылкость. – Говорите тише, Дик, – продолжала она шепотом, – мой муж в кабинете. Я сижу иногда возле него, когда он занимается своими бумагами, но мне показалось, что мое присутствие надоело ему. Он очень переменился ко мне. О, Ричард! Я чувствую, как все мне стало чуждо, кроме вас, я верю вам, потому что вы знаете мою тайну. Когда ж этому будет конец!

– Очень скоро, надеюсь, друг мой, – отвечал Торнтон важно, – было время, когда я умолял вас отказаться от своего намерения, Элинор, но теперь не то. Ланцелот дурной человек и голубоокая, златокудрая дева не должна попасться ему в руки.

– Нет, нет, ни за что в мире! Но какое же открытие вы сделали сегодня, Ричард?

– По крайней мере я так думаю. Помните ли, что недавно рассказывал нам мистер Монктон о том, что де-Креспиньи только недавно сделал свое духовное завещание.

– Да, я это очень хорошо помню.

– Тут была и Лора, когда ее опекун это рассказывал, очень натурально, что она передала Ланцелоту все что случилось.

– Она все ему рассказывает, так, наверное, и это рассказала.

– Наверное, и мистер Дэррелль немедленно принялся действовать по этому указанию.

– Что это значит?

– Это значит, что мистер Дэррелль не посовестился подкупить писаря нотариуса Лауфорда, чтоб выведать тайну, заключающуюся в духовной.

– Как вы это узнали?

– Совершенно случайно – хвалить меня не за что. Я начинаю думать, Элинор, что наука обличения еще

очень слаба и несовершенна и что господа сыщики обязаны по большей части терпению за свои великие триумфы, терпению и счастливому стечению обстоятельств. Да, Элинор, жадность или скупость Дэррелля или... уж не знаю что, не дают ему покоя и не позволяют дождаться смерти деда. Он решился во что бы ни стало узнать тайну завещания, но чего бы ни стоило ему это знание, только, кажется, он не в выигрыше.

– Почему?

– Потому что он лишен наследства.

Тут послышалось в смежной комнате движение тяжелым стулом.

– Тише! – прошептала Элинор. – Муж мой одевается к обеду.

В эту минуту раздался колокольчик, призывавший к обеду, и Ричард услышал, как в смежной комнате отворилась дверь и потом опять затворилась.

## Глава XXXV. Что случилось в Уиндзоре

– Да, – сказал Ричард, – я имею причины думать, что духовная, при которой был свидетелем ваш муж, очень неприятная для Ланцелота Дэррелля, потому что она, кажется, лишает его даже жалкого утешения в том единственном шиллинге, который достается обыкновенно несчастным старшим сыновьям.

– Но расскажите же мне, Ричард, что это значит?

– Сейчас, мистрис Монктон. История довольно долга, но я успею рассказать ее в четверть часа. Успеете ли вы одеться к обеду в остальную четверть часа?

– О! конечно, успею.

– Как мучительна эта цивилизация, Нелли! В Пиластрах мы никогда, бывало, не переодевались к обеду, надо сказать, у нас были совсем другие обычаи, чем у важных господ в здешних краях.

– Ричард, Ричард! – воскликнула Элинор нетерпеливо.

– Правда, правда, мистрис Монктон, вам надо скорее услышать мои уиндзорские приключения. Ненавижу я этого Ланцелота Дэррелля, потому что считаю его пустым, себялюбивым, бессердечным фатом,

а если бы я не так думал, то ни за что не взял бы на себя той обязанности, которую сегодня исполнял.

– Несколько часов кряду, Элинор, я разыгрывал роль шпиона. У Герцога Отрантского всегда было под рукою множество людей удобоприменимых для такого рода дел: художники, актеры, актрисы, аббаты, женщины – словом, люди, которых вы наименее могли бы подозревать шпионами, во Франции это гораздо легче, но по эту сторону канала, люди совсем не так способны для такого ремесла.

– Ричард! Ричард!..

Молодая женщина потеряла всякое терпение. Она не спускала глаз со стрелок небольших часов, стоявших на камине, пламя то ярко разгоралось и освещало часы, то опять потухало и оставляло их в темноте.

– Вот я и приступаю к моей истории, Нелль, только не теряйте терпения, – сказал Ричард, опять называя ее нежным, дружеским именем, и начиная покоряться неизбежной судьбе, разрушившей его самые задушевные надежды, – будьте же терпеливы, моя голубушка, и не мешайте мне рассказывать эту историю на мой лад. Сегодня рано утром я уехал отсюда в кабриолете вашего мужа. Поехал я в Уиндзор с намерением осмотреть город и замок и если можно приобрести кой-какую пользу для своего дела, ну вы пони-

маете: все эти башни, башенки, замок, потаенные переходы очень интересны для меня. Вы помните, какое у нас было утро мрачное, неприятное, но дождя не было до двенадцати часов. Когда я приехал в Уиндзор было четверть первого, начинался дождь пополам со снегом, да так прямо в лицо хлещет и точно иголками колет. Я остановился у гостиницы на улице, перпендикулярно идущей от замка, который, как посмотришь на него оттуда, – точно сейчас хочет повалиться и уничтожить полгорода. Я вышел из кабриолета, чтобы порасспросить у хозяина: как бы мне достать позволение осмотреть королевский дворец. Разумеется, мне объяснили, что такое позволение невозможно получить в этот день. Парадные комнаты можно было вчера осматривать, да и в конце будущей недели тоже можно, но нельзя только тогда, когда имеешь желание осмотреть. Намекнул было я, что мое главное желание было видеть потайные переходы, башенки на замке, рвы и подвижные панелины, но ни хозяин, ни половой, по-видимому, не понимали меня и мне оставалось только с отчаянием усесться у окна таверны в ожидании, когда дождь пройдет и можно будет прогуляться по дворцовой террасе для изучения эффектов зимы в парке...

– Но что же тут Ланцелот Дэррелль? Где вы встретились с ним?



– А вот сейчас и до него речь дойдет. Перпендикулярная улица не совсем многолюдна в подобные тоскливые февральские дни, так что, за неимением прохожих, мне пришлось глазеть на противоположные дома. Как раз напротив гостиницы стоит дом выше и лучше других и совсем в другом роде, красный каменный дом – памятник древних времен, но украшенный в новейшем вкусе зеркальными стеклами и зелеными решетками. Блестящая медная доска украшала дверь, а на этой доске, сиявшей и блиставшей, несмотря на дождь, я прочел имя мистера Генри Лауфорда, нотариуса.

– Того нотариуса, который писал духовное завещание для Мориса де-Креспиньи?

– Именно. С одной стороны у двери был колокольчик для гостей, а с другой стороны – для деловых посетителей конторы. Пяти минут не прошло с тех пор, как я рассматривал дом, вдруг увидел я молодого человека с щегольским шелковым зонтиком в борьбе с ветром, звонящего у этой двери...

– Это был Ланцелот Дэррелль? – воскликнула Элинора.

– Это был он. Мальчик отворил дверь, мистер Дэррелль задал несколько вопросов. Не знаю, какой ответ он получил, только дверь затворилась, и он удалился, но так медленно, что я невольно подумал, что

он недалеко уйдет, а скоро вернется. Вообще никому не весело гулять, когда сильный холодный дождь так и хлещет вам в глаза, ветер и снег режет вам лицо. «Он возвратится назад», – думал я, – и, приказав подать бутылку эля, ожидал в терпении.

– И он возвратился?

– Вы отгадали, он ушел в половине первого, но минут через десять или около этого, до его возвращения, я увидел маленького старика в изношенном платье, отворявшего ключом небольшую боковую зеленую дверь, над которою была надпись: «контора клерков». Как взглянул я на этого старика, так сейчас и догадался, что это должен быть сам клерк. Вот видите ли у всех клерков есть какой-то особенный вид, по которому сейчас можно узнать, что это клерк, а не кто другой, даже когда он не тащит с собою синего мешка. Ну, так вот и у этого старика был точно такой вид. Через десять минут после этого вернулся и Ланцелот Дэррелль. На этот раз он только постучал ручкою своего зонтика в зеленую дверь – и опять отворил ему мальчик, который тотчас же и вызвал к нему старого клерка. Мистер Дэррелль постоял на крыльце со стариком минут десять и толковали они что-то по секрету, после чего наш приятель-художник опять ушел, но на этот раз он медленно разгуливал по дождю, как будто ему надо было подождать некоторое

время и он не знал куда ему деваться на ту пору... Я думаю, Нелли, что у аматеров обличительного искусства голова всегда наполняется разными подозрительными умозрениями. Как бы там ни было, но мне невольно пришла в голову мысль, что тут что-нибудь не совсем ладно и что Ланцелот Дэррелль не даром повторяет свои визиты в красный каменный дом напротив меня. Во-первых, какое может быть у него дело до юристов, а во-вторых, если у него в самом деле есть дела, так зачем он прямо не спрашивает самого хозяина? А хозяин был дома, потому что я сам видел сквозь проволочную решетку зеркального окна, как голова его поднималась над конторкой, когда он покрикивал на своих клерков. Тут было что-то таинственное, а так как я давно уже томился наблюдением за Дэрреллем, ничего не находя в нем особенного, то и решился еще раз попытаться счастья и во что бы то ни стало, добиться сегодня же цели... «Он непременно вернется, – думал я, – или я очень ошибаюсь». Вышло, что я очень ошибался, потому что мистер Дэррелль не вернулся, но минут пять спустя после того, как пробил час, зеленая дверь отворилась, вышел старший клерк, только на этот раз без синего мешка, и торопливыми шагами пошел по тому же направлению, как и Ланцелот Дэррелль... Я надел шляпу и вышел на улицу. Клерк порядочно ушел вперед, однако

я старался не терять его из вида и, следуя по его стопам, повернул за угол на улицу, ведущую к башенкам замка. Некоторое время шел он по этой улице и вдруг повернул в одну из лучших гостиниц.

– Ага! приятель, – подумал я, – ведь нечасто приходится тебе пировать в такой гостинице. Это, как я полагаю, расход выше твоих возможностей... Я тоже отправился в гостиницу и прямо в общую залу... Мистер Дэррелль сидел с маленьким клерком в изношенном костюме, за особенным столиком и попивал херес с сельтерской водой. Очень серьезно и очень тихо художник что-то толковал своему собеседнику. Нетрудно было догадаться, что он старался уговорить изношенного клерка сделать какое-то дело, против которого возмущалось чувство клеркова благоразумия. Оба они взглянули, когда я вошел в общую залу, где они до того времени были только вдвоем. Ланцелот Дэррелль, узнав меня, покраснелся как рак. Видно было, что он совсем не желал, чтобы кто-нибудь видел его в обществе лауфордовского клерка.

– Доброе утро, мистер Дэррелль, – сказал я, – вот я приехал сюда осмотреть замок, но оказалось, к моему несчастью, что сегодня не впускают посторонних посетителей и теперь я вынужден часа два протаскаться по такой мокроте... Ланцелот Дэррелль отвечал мне с той покровительственной благосклонностью,

которая делает его таким милым для людей, считающих себя почему-то ниже его. Он почти уже оправился от своего замешательства и пробормотал что-то об нотариусе Лауфорде и о делах. Затем я потребовал бутылку эля – вот новое возражение против должности сыщика: она невольно вовлекает в пьянство. Между тем Дэррелль сидел на своем месте и как-то неловко и тревожно кусал себе ногти. Выпив бутылку эля, я ушел из гостиницы, оставив Дэррелля вдвоем с клерком, но далеко я не уходил. Сделав вид, что наружная часть замка, выходящая на эту улицу, чрезвычайно интересует меня, я принял такое положение, что один мой глаз был устремлен на величественные башни королевского замка, а другой не упускал из вида дверь, из которой Дэррелль должен был когда-нибудь показаться с клерком мистера Лауфорда.

Через полчаса времени я имел удовольствие видеть их появление и самым невинным образом встретился с ними носом к носу как раз на углу перпендикулярной улицы... Я был вполне вознагражден за все поднятые мною труды, потому что мне никогда еще не случалось видеть такое сильное выражение бешенства, досады, обманутой надежды, почти отчаяний, которые ясно выражались на лице Ланцелота Дэррелля, когда я увидел его, выходя с противоположного угла. Он был бледен, как полотно, и как-то

диком посмотрел на меня, как будто не узнал меня. Его неподвижный взор ясно показывал, что ум его был так поглощен душевной бурей, что он не мог уже обращать внимания на внешние предметы, но, казалось, что в своем сдержанном бешенстве он готов был броситься, как безумный, на все и на всех, кто стал бы ему поперек дороги.

– Но почему же, Ричард, почему же он был так взбешен? Что же это значит? – спросила Элинора.

Руки у нее дрожали, ноздри сильно раздувались от быстрого дыхания.

– Разве я жестоко ошибаюсь, мистрис Монктон, но только, по моему мнению, это значит, что Ланцелот Дэррелль вел переговоры с клерком нотариуса, писавшего духовное завещание Мориса де-Креспиньи, и что он выведал от него что-нибудь очень неблагоприятное...

– Но что ж такое?

– А только то, что духовная переделана и блистательный мистер Дэррелль не получит ни копейки из богатого наследства после своего родственника.

В это время раздался второй звонок к обеду, и Элинора бросилась в свою уборную, чтобы как-нибудь переменить свой туалет и появилась в гостиной взволнованная, смущенная, десять минут спустя после того, как аккуратнейший буфетчик объявил во всеуслы-

шание, что кушать подано.

## Глава XXXVI. Второе открытие

На другой день после прогулки Ричарда по Уиндзору, Ланцелот Дэррелль приехал в Толльдэль, и Элинора с помощью полученных сведений легко уже могла заметить сильную перемену в его обращении. Она нарочно провела целый час в гостиной до обеда, чтобы увидеть эту перемену и самой убедиться в справедливости замечания Ричарда Торнтона. Но эта перемена была до того поразительна, что даже Лора заметила, что с ее женихом случилось что-нибудь необыкновенное, Лора, которая век свой никогда не замечала никаких оттенков чувства, если только они не выражались внешними признаками, то есть словом или движением, но, заметив это, она чуть было с ума не свела Ланцелота своими ребяческими вопросами и изъявлениями сострадания.

Что его так встревожило? Почему он бледнее обыкновенного? Почему он иногда вздыхает? Почему он так странно смеется? О! нет, он не всегда таков бывает. Никак нельзя сказать, чтоб он всегда был одинаков. Верно, у него голова болит или он, засиделся поздно ночью? А то не выпил ли он этого гадкого вина, которое ему всегда бывает вредно? Неужели он был таким гадким, жестоким обманщиком, веролом-



ным чудовищем, что отправился куда-нибудь в гости, не сказав о том своей бедной Лоре, и, верно, пил там шампанское, ухаживал за девицами, танцевал? А может быть, он слишком много работал над своей картиной.

Вот подобными вопросами молодая девушка мучила целое утро своего жениха, мучила до тех пор, пока он взбесился на нее и приказал ей молчать, говоря, что от ее болтовни у него чуть не лопнет голова.

– Ланцелот Дэррелль, как видно, очень мало стеснялся в выражении своих чувств, и, усевшись пред камином на покойном кресле, облокотился обеими руками на свои колени и устремил свои прекрасные черные глаза на огонь. Желая рассеять свои тяжелые мысли, он по временам схватывал кочергу и с яростью колотил ею уголья, как будто на угольях хотелось ему сорвать свою злобу. Каждый другой человек стал бы опасаться, чтобы посторонние зрители не вывели каких-нибудь заключений из его поступков, но вся жизнь Ланцелота была основана на одном принципе: крайнее презрение ко всему живущему в мире, кроме самого себя, и потому он ничуть не опасался наблюдательности людей, которых считал ниже себя.

Лора Мэсон села на скамеечке у ног его и, вышивая туфли, – это была уже третья пара, которую она начи-

нала для своего будущего супруга и повелителя – сама думала, что он никогда так не был похож на корсара, как в настоящую минуту, и в то же время выводила заключение, что, должно быть, Медора не совсем веселую проводила жизнь. Наверное, и у Конрада была такая же привычка: чуть что не по нем – так и давай колотить уголья и с яростью мешать огонь так, чтоб камин ярко пылал.

Ланцелот был приглашен к обеду в Толльдэлль на 16 февраля, приглашал же его мистер Монктон, говоря, что ему надо переговорить с ним насчет некоторых дел относительно приданого Лоры.

– Теперь уже пора, Дэррелль, откровенно объяснить нам насчет ее состояния, – сказал Монктон, – и потому я прошу вас пожаловать ко мне в кабинет после обеда, часа на два, не больше, чтобы потолковать о делах, если только вы ничего не имеете против этого.

Разумеется, Дэррелль ничего не имел против этого, но только именно в этот день он имел престранное обращение в отношении бедной Лоры, которая не знала, что и думать о такой перемене.

– Вы полагаете, что это очень странно, почему я так не люблю все эти церемонии с переговорами и договорами? Не правда ли, Лора, что это приятные слова? Ваш опекун удостоил сказать мне, что на первые

года нашей брачной жизни положит нам хороший годовой оклад. Вы думаете, может быть, что мне должно благодушно принимать подобного рода вещи и спокойным духом вступить на поприще благородной нищеты, в зависимости от карандаша, или от жены на счет того, что мне есть или во что одеться?.. Нет, Лора, этому не бывать! – воскликнул он запальчиво, – я не покорюсь этому благодушно, я не вынесу этого спокойно. Мысль о предстоящем мне положении бесит меня против самого себя, против вас, против всех и против всего в мире.

Все это Ланцелот говорил своей невесте, при Ричарде и Элинор. Ричард сидел у окна и на чистых листках разных писем рисовал карандашом разные эскизы, а мистрис Монктон, стоя у другого окна, смотрела на деревья, лишенные своего зеленого украшения, на черные цветники без цветов, на дождевые капли, висевшие на елях и соснах.

Дэррелль очень хорошо знал, что его слышат посторонние, но и не желал, чтоб это было иначе: никакой не имел он охоты сохранять в тайне свою досаду. Вся его эгоистическая натура высказывалась в этом. Он представлялся жертвою и выказывал презрение к выгодам, которые получал от женитьбы на своей доверчивой невесте – словом, он заранее провозглашал себя оскорбленным и несчастным, почему у его буду-

щей жены богатое приданое, заставляя ее извиняться за богатство, которое она готова была передать ему.

– Как будто брать мои деньги значит быть нищим? – воскликнула мисс Мэсон с глубокой нежностью. – Вы так говорите, Ланцелот, как будто я жалею для вас этих гадких денег. Право, я даже не знаю, сколько их у меня. Может быть, пятьдесят фунтов в год – именно столько надо было платить за мои платья и наряды с тех пор, как мне минуло пятнадцать лет – а может быть, и пятьдесят тысяч. Я и не желаю знать, сколько у меня всего. Если же у меня в самом деле пятьдесят тысяч годового дохода, то милости просим, голубчик мой Ланцелот, берите, сколько хотите.

От этих слов «голубчик Ланцелот» его подернуло как-то неприятно.

– Ах! Лора, вы все лепечете, как малый ребенок, – сказал он с пренебрежением, – а я так полагаю, что назначение прекрасного годового оклада, обещанное мистером Монктоном, будет достигать не более двух или трехсот фунтов в год, именно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду, увеличивая доход трудами рук своих, как какой-нибудь ремесленник. Одному Богу известно, сколько он мне проповедовал насчет необходимости труда. Послушаешь его, так невольно подумаешь, что свободный артист то же, что какой-нибудь каменщик или плотник.

При этих словах Элинор вдруг отвернулась от окна: нельзя же было безнаказанно обвинять ее мужа при ней.

– Нет никакого сомнения, что мистер Монктон всегда прав, что бы он ни говорил, – воскликнула она, гордо подняв голову, с вызывающим выражением против голоса, который осмелился бы усомниться в достоинствах ее мужа.

– Без всякого сомнения, мистрис Монктон, но нельзя и того отрицать, что не все то приятно, что может быть справедливо. Я никак не могу согласиться, что призвание артиста есть торговля и что когда Грации вдохновят мне счастливую мысль, так я должен скорее работать, как невольник, до тех пор, пока изложу ее на холст и отошлю на рынок продавать.

– А иные полагают, что Грации покровительствуют неумолимому труду, – сказал Ричард Торнтон спокойно и не поднимая глаз от своего быстрого карандаша, – и что счастливейшие мысли приходят скорее художнику, когда он сидит с кистью в руке, чем когда он лежит на диване с французским романом в руках, а я знавал на своем веку многих артистов, предпочитавших такое положение в ожидании вдохновения. Что касается меня, то я верую в то вдохновение, которое достигается энергичным, неумолимым трудом.

– Конечно, – отвечал Ланцелот с видом ленивого

равнодушия, ясно выразившего, как ему скучно толковать об искусстве с каким-нибудь помощником декоратора, – но позвольте сказать, что вы находите этот ответ – в вашей сфере. Много приходится вам перепачкать холста прежде, чем вы доберетесь до сцены превращения – не так ли?

– Рубенс тоже много перепачкал холста, – сказал Ричард, – да и Рафаэль поработал также порядочно в свою очередь, если судить по множеству картона и других безделиц.

– О! во все времена бывают гиганты, но я совсем не увлекаюсь желанием соперничать с подобными мастерами. Да и то сказать, я совсем не понимаю, зачем непременно нужно, чтобы люди прошли целые версты картинных галерей прежде чем решились произнести мнение о художнике. Я считал бы себя совершенно счастливым, если бы мог оставить потомству полдюжины картин в роде «Гугенота» Миллэ.

– А я так совершенно уверена, что вы могли бы целыми дюжинами рисовать такие же хорошие картины, – воскликнула Лора, – ну что за особенная мудрость в этой картине «Гугенот»? Женщина перевязывает шарфом своего любезного и тут же множество зеленых листьев – и больше ничего. Конечно, это очень мило и, смотря на эту картину, так многое чувствуешь за нее, бедняжку, и так боишься, что

его убьют жестокие католики и что она умрет с тоски, с разбитым сердцем. Но и вам, Ланцелот, стоит только захотеть, так и вы кучами нарисуете таких картинок.

Молодой человек не удостоил обратить внимания на критический талант своей прелестной невесты, но погрузился в угрюмое молчание и снова принялся за дикое утешение, доставляемое ему кочергою.

– Послушайте же, Ланцелот, – принялась и мисс Мэсон за старое, – вам не за чем горевать, почему у меня есть богатство, тогда как вы бедны. Ведь останется же наследство после Мориса де-Креспиньи, это было бы и стыдно и грешно, если б он оставил свое имущество кому другому, а не вам. Вот и мой опекун недавно еще говорил, что, наверное, все вам достанется.

– Уж и наверное! – пробормотал Дэррелль угрюмо, – против этого может быть еще много случайностей.

– Не может же быть, однако, чтоб он оставил все свое богатство этим старым девам – как вы думаете, Ланцелот?

– Моим почтенным тетушкам? Бедняжкам придется еще долго ждать! – воскликнул Дэррелль, – да кажется, и не дожждаться им ничего.

И к удивлению слушателей молодой человек залился громким презрительным смехом.

До самой этой минуты Ричард и Элинор были твердо убеждены, что духовное завещание, лишившее наследства Ланцелота, предоставляло все богатство двум сестрам, Лавинии и Саре де-Креспиньи, но презрительный смех, с которым он отнесся к своим старым теткам, ясно показал им, что если он знал тайну завещания Мориса де-Креспиньи, что оно сделано не в его пользу, то ему также было известно, какое оскорбительное разочарование ожидает его теток.

Обыкновенно он говорил о них с яростною, хотя сдержанною ненавистью, но на этот раз его тон крайне изменился, как будто он чувствовал презрение и жалость к их бесполезному терпению, ко всем их неутомимым хлопотам, когда вспоминал, какое страшное разочарование ожидает их.

Но кому же в таком случае оставлено наследство?

Элинор и Ричард обменялись взором удивления. Можно бы предполагать, что старик оставил все свое состояние самой Элинор, под влиянием каприза, заставившего его привязаться к ней потому только, что она похожа на его покойного друга, но это невозможно именно потому, что он ясно объявил, что ничего не оставит своей новой любимице, кроме миниатюрного портрета Джорджа Вэна. Морис де-Креспиньи был не такой человек, чтобы говорить одно, а делать другое. Он говорил, что должен исполнить ка-



кой-то долг и он непременно исполнит его.

А между тем в отношении кого он должен исполнить долг, если не в отношении своих родных? Разве у него есть еще родные, кроме трех племянниц и Ланцелота? А может быть, еще кто-нибудь имеет на него права? Какой-нибудь бедный и скромный родственник, живет вдали от него и не имеет возможности выказывать ему свою преданность, за что старик и намерен вознаградить его неожиданным образом.

Кроме того, он мог отказать свое богатство какому-нибудь богоугодному заведению или на учреждение какого-нибудь нового филантропического заведения. Подобное распоряжение ничуть не было бы странно в отношении старика, который в своих ближайших родственниках видел только жадных наследников, ожидавших его смерти как ворон крови.

Впрочем, Элинор не очень тревожилась насчет этого вопроса. Она видела только по обращению Ланцелота, что Ричард верно угадал, о чем велись толки у Дэррелля с клерком.

Она слепо верила теперь, что Ланцелот был лишен наследства последней духовною, и что он сам это знал. Эта уверенность внушала ей новое чувство. Теперь она могла иметь терпение. Если б Морис де-Креспиньи и умер внезапно, то все же его богатство не обогатит злодея, мошеннически обыгравшего бес-

помощного старика. Теперь ее единственная забота состояла в том, чтобы помешать Лоре выйти замуж за Ланцелота, а для этого она должна уже обратиться к мужу.

«Он ни за что не согласится вручить судьбу своей питомицы такому злодею, – думала она. Мне стоит только рассказать ему историю смерти моего отца и доказать ему виновность Дэррелля».

Обед прошел совершенно спокойно. Монктон был задумчив и молчалив, как это постоянно было с ним в последнее время. Ланцелот Деррелль все еще сидел надувшись, что делало его пренеприятным собеседником весь день: он был не лицемер и не умел скрывать своих чувств. Он мог наговорить кучу лжи и обмана, если это было необходимо для его спасения или удобства, но лицемером он никогда не был. Лицемерие дает много хлопот человеку, упражняющемуся в этом пороке и, кроме того, лицемером может быть только тот человек, который высоко ценит мнение своих ближних. Дэррелль был нерадив, легкомыслен, ненавидел всякий труд физический или нравственный. С другой стороны, он имел о себе такое хорошее мнение, что совершенно был равнодушен к мнению других о себе. Если б его обвинили в преступлении, то, наверное, он отрекся бы, что совершил его для своей пользы. Но никогда он не побеспокоил-

ся бы подумать о том, что люди о нем скажут до тех пор, однако, пока их мнение не задевало за живое его личной безопасности или удобства.

Со стола убрали приборы, но собеседники оставались еще за столом, потому что в Толльдэле сохранились добрые английские обычаи и обед *a la russe* (на русский лад), показался бы там нелепым учреждением, детской игрою, а не пиршеством людей чувствительных к гастрономическим наслаждениям. Итак, со стола убрали принадлежности обеда и добрый старый английский обычай – этот скучнейший церемониал с десертом – был в полном разгаре, когда слуга торжественно подал карточку на подносе Ланцелоту Дэрреллю, среди общего молчания.

Элинор, сидевшая около Дэррелля, заметила, что карточка была очень глянцеви́та и необыкновенного размера, средней величины между мужскими и дамскими карточками.

Кровь бросилась в лицо Ланцелоту, когда он прочел имя на этой карточке и Элинор заметила, как губы его судорожно сжались, как бы от сильной досады.

– Как, это он? Каким образом этот джентльмен приехал сюда? – спросил он, обращаясь к слуге.

– Сэр, прямо из Гэзльуда. Узнавши там, что вы изволите здесь обедать, джентльмен, пожелав скорее вас видеть, приехал сюда. Прикажете провести в го-

стиную?

– Да... нет. Я сам сейчас выйду к нему. Простите меня, мистер Монктон, но это старый знакомый, даже скорее неотступный, упорный знакомый, как вы можете видеть по его манере, преследовать меня даже ночью.

Дэррелль встал с досадою, толкнув в сторону стул и вышел из столовой в сопровождении слуги.

Зала была ярко освещена и Элинор, сидевшая прямо против двери, имела возможность увидеть незнакомца, приехавшего в Толльдэль в то время, пока слуга, медленно следовавший за Дэрреллем, затворил дверь.

Незнакомец стоял под большою газовой лампой и стряхивал дождевые капли со своей шляпы, как раз лицом против двери в столовую.

Он был невысок, толст, щегольски одет и смотрелся фатом даже в своем дорожном платье – словом, это был никто другой, как тот болтливый француз, который убедил Джорджа Вэна оставить свою молоденькую дочь одну на бульваре ночью на 11 августа, 1853 года.

## Глава XXXVII. Тревога

Дверь затворилась, а Элинор все еще пристально смотрела туда, как будто ее взор мог проникнуть сквозь толстую дубовую дверь и открыть ей, что за нею происходит.

С удивлением смотрели на нее Ричард Торнтон и ее муж: на ее лице происходила удивительная перемена в выражении; неожиданность, изумление и ужас отпечатались в ее глазах, когда Ланцелот выходил в залу. Ричард догадывался, что она открыла что-нибудь неожиданное, но Джильберт Монктон был как в потемках в отношении чувств своей жены. Устремив на нее глаза, он безмолвно удивлялся всем таинственностям, которыми она его мучила. Лора Мэсон, целый день напуганная странным обращением своего жениха, тоже сильно встревожилась за него, когда взглянула на лицо своей подруги.

– Верно, что-нибудь недоброе случилось, – сказала она, – верно, что-нибудь да не так – не правда ли, мистер Монктон? Вы не знаете, как нынче целый день Ланцелот был встревожен, право, я чуть с ума не сошла, смотря на его тревогу. Не правда ли, мистер Торнтон? Он все говорил о том, что не хочет быть нищим, не хочет зависеть от своей жены, что вы, ми-

стер Монктон, оскорбили его чувства, говоря с ним об искусстве, как будто вы каменщик... нет, ошиблась, как будто он плотник – право, от перепуга я уж и забыла, как это было. Целое утро меня мучило предчувствие: верно, что-нибудь особенное случилось сегодня, особенно же, как я вспомню, как Ланцелот, там сидел у камина и смотрел на огонь, да как он колотил кочергою по угольям, да тяжело вздыхал, так тяжело, как будто у него какое-нибудь страшное бремя на душе, как будто он совершил ужасное преступление.

Монктон с досадою посмотрел на свою воспитанницу, – ее легкомысленная болтовня странно противоречила его печальному настроению духа, как пародия его душевной тревоги.

– Что это, Лора, пришло вам в голову говорить о преступлениях? – сказал он. – Право, я боюсь, что вы никогда не научитесь говорить как следует разумному существу. Что ж тут удивительного, что старый приятель Дэррелля приехал повидаться с ним, и не имея времени долго оставаться здесь и не желая, чтобы его хлопоты даром пропали, он приехал даже сюда для свидания с ним?

Лора Мэсон вздохнула свободнее.

– Так вы не думаете, что Ланцелот сделал что-нибудь ужасное, и что этот человек приехал за тем, чтобы арестовать его? – спросила она. Но согласитесь

сами, это действительно странно, что он приехал сюда в такую темную зимнюю ночь, притом же Ланцелот, когда слуга подал ему карточку, так сердито посмотрел на нее, что я имела полное право думать, что, наверное, случится что-нибудь ужасное. Элинор, душенька, пойдите в гостиную. Мы должны проходить через залу, и если должно случиться что-нибудь нехорошее, так мы по крайней мере узнаем в чем дело?

Элинор взглянула на Лору, когда та ее назвала по имени, и тотчас встала, как будто машинально готовилась исполнить то, что ей было сказано и едва ли сознавая свое действие.

– Элинор! – воскликнул ее муж, – что значит, что ты так побледнела? Почему ты так странно смотришь на эту дверь? Неужели же нелепые страхи Лоры имели на тебя такое влияние?

– О нет! Я ничего не боюсь, но...

Она остановилась в нерешимости и опустила глаза в тяжелом недоумении.

– Но, что же, Элинор?

– Но мне показалось, что я видела человека, который приехал на свидание с мистером Дэрреллем: его лицо напомнило мне человека, которого я очень давно видела.

Ричард быстро взглянул на нее.

– Но что же тут удивительного и зачем пугаться, ес-

ли видишь какое-нибудь сходство между людьми?

– О! конечно, тут нечему пугаться.

– Клянусь честью, Элинор, – воскликнул Джильберт Монктон с досадою, – кажется, мы живем с тобою в атмосфере таинственностей, которая, чтоб не сказать больше, очень неприятна для тех, кто удостоивается только роли зрителей. Ступай с Лорой в гостиную: мы с мистером Торнтоном скоро к вам придем. Мы только немножко посидим за столом, чтобы иметь удовольствие допить стакан вина с сознанием, что там, в зале, готовится вроде порохового взрыва.

Монктон наполнил свой стакан вином и передал бутылку Ричарду, но, не прикоснувшись к стакану вина, он молча сидел и обдумывал свои подозрения, нахмурив брови и сжав губы.

«Наперекор судьбе не пойдешь – думал он, – видно, жизнь всегда бывает похожа на плачевный французский роман, в котором мне назначено разыгрывать роль мужа и жертвы». Как он любил, как он верил этой женщине! Ему казалось, что на ее лице выражается сама невинность и чистота, и он надеялся и верил ей – и что же? На первых же порах его женитьбы какой страшный переворот совершился в этом простодушном девственном создании! Тысячи изменчивых выражений, все одно другого для него таинственнее, переменяли это любимое лицо в печаль-



ную и непонятную загадку, которую тщетно старался он разгадать! Эта жизнь превратилась для него в пытку. Ричард Торнтон отворил дверь, и Элино́р с радостью вышла из столовой, держа Лору за руку, синьора же следовала за ними. Все три дамы вошли группой в залу и на минуту приостановились, чтобы взглянуть на Ланцелота Дэррелля и на его неизвестного друга.

У отворенной двери стоял Дэррелль, засунув руки в карман и опустив голову в угрюмой позе, которая была слишком памятна для Элино́р. Незнакомец, тщательно приглаживая свою шляпу, казалось, говорил ему что-то, как будто предостерегал или уговаривал его о чем-нибудь. По в этом можно было только догадываться по выражению его лица, потому что он говорил почти шепотом.

Дамы прошли через залу прямо в гостиную. Элино́р при втором взгляде на незнакомца еще более убедилась, что узнала ужасного француза. Она села у камина и стала обдумывать: не поможет ли это неожиданное появление исполнению ее намерения? или не помешает ли он ей? или нельзя ли, как-нибудь убедить его помочь ей?

«Мне надо поговорить с Ричардом, – подумала она, – он лучше меня знает свет, ведь я в этом деле почти такой же ребенок, как и Лора».

Между тем, как мистрис Монктон рассеянно смотрела на огонь и мечтала о том, как бы лучше воспользоваться приездом француза для выполнения цели своей жизни, мисс Мэсон так и рассыпалась в похвалах незнакомому приятелю своего жениха.

– У него и вид-то такой добродушный, такой милый! – восклицала она, – он так красив со своими кудрявыми волосами и усами, точно у императора Луи-Наполеона! И как это я могла испугаться и думать, что он ужасный злодей с надвинутою шляпою на брови и с поднятым воротником, чтобы закрыть свое лицо! Как могла прийти мне мысль, что он приехал за тем, чтобы арестовать Ланцелота за какое-то страшное преступление? Теперь же все мои страхи исчезли, и я очень буду рада, если Ланцелот приведет его к нам чай пить. Одно слово, что он иностранец. Я думаю, что все иностранцы должны быть интересные люди – не правда ли, Нелли?

Элинора, услышав свое имя, оглянулась, но ни слова не слыхала, что говорила Лора.

– Что такое, душенька? – спросила она рассеянно.

– Не правда ли, что все иностранцы очень интересны? – повторила Лора свой вопрос.

– Интересны? Нет.

– Как, и французы-то?

Легкая дрожь пробежала по телу мистрис Монктон.

– Французы! Нет, я не люблю их!.. Почему я знаю, Лора? Низость и вероломство свойственны не одному только народу.

В эту минуту вошли в гостиную Монктон и живописец, а за ними очень скоро последовал Ланцелот Дэррелль.

– Куда вы девали своего друга, Дэррелль? – спросил Джильберт Монктон с удивлением.

– Он отправился назад, – отвечал молодой человек равнодушно.

– Вы допустили его уехать, не предложив ему отдохнуть или закусить чего-нибудь.

– Да я сам постарался скорее выпроводить его.

– У нас никогда не было в обычае выпроваживать друзей, когда они приезжают в холодную и ненастную зимнюю ночь, – сказал мистер Монктон. – Боюсь что, по милости вашей, о Толльдэле пройдет молва, как о самом негостеприимном месте. Почему вы не пригласили вашего друга остаться здесь?

– Потому, что я совсем не имел желанья знакомить его с вами, – отвечал Ланцелот холодно. – Я никогда не говорил вам, что он друг мне, он просто знакомый и очень докучливый знакомый, как вы сами можете видеть. Он не имел права выведывать, где я нахожусь, затем чтобы ехать вслед за мной. Никто не должен навязываться со своим прошлым знакомством,

хотя бы оно было самое приятнейшее...

– И тем менее, когда оно неприятно, – понимаю. Но что это за человек?

– Это француз *commis voyageur*, (путешествующий приказчик), или что-нибудь в этом роде, так уж во всяком случае, неважное знакомство. Он добрый товарищ и рад был бы свернуть с дороги для того, чтобы оказать мне услугу, но, к сожалению, он слишком страстен к полынной водке или к простому вину – словом, ко всем спиртным напиткам, какие только попадают ему под руку.

– Попросту он пьяница?

– Нет, я этого не могу сказать, но знаю, что у него бывала уже несколько раз белая горячка. Кажется, он приехал сюда по поводу какой-то патентованной горчицы, недавно изобретенной каким-то гастрономом-парижанином.

– Вот как!.. А где вы с ним познакомились, Дэррелль?

При этом вопросе лицо Дэррелля точно так же побавровело, как и в ту минуту, когда слуга подал ему карточку француза. Не вдруг решился он отвечать на вопрос Монктона, однако очень скоро оправившись, он отвечал с обычной беспечностью.

– Где бишь я с ним познакомился? Ах, да! В Лондоне, разумеется, в Лондоне, в этом убежище отвержен-

цев всех наций. Это было несколько лет тому назад, когда я там разгуливал свою безумную молодость.

– Прежде чем вы уехали в Индию?

– О да, разумеется, прежде, чем я уехал в Индию.

Монктон пытливо посмотрел прямо в лицо молодому человеку. Были минуты, когда рассудительная проницательность юриста, когда щекотливость честного человека брали в нем верх над себялюбивым страхом мужа, и в эти минуты Джильберт Монктон с сомнением спрашивал себя: добросовестно ли он исполняет обязанность опекуна, допуская Лору выйти замуж за Ланцелота?

Достоин ли Ланцелот той доверенности, которую он возлагает на него, вручая ему свою воспитанницу? Приличный ли он муж для неопытной и легкомысленной девушки?

Мистер Монктон мог решить этот вопрос одним только образом и только циническим взглядом на этот предмет мог заставить свою совесть молчать.

«Ланцелот Дэррелль не хуже и не лучше других молодых людей, – так размышлял он, – он красив, высокомерен, пусть и ленив, но бедная девушка вздумала влюбиться в него, и если я стану между ними, чтобы помешать этому браку, то сделаю это бедное дитя несчастною, тем более что, заставив ее выйти замуж по моему выбору, я подвергаюсь точно такой же

ошибке, как и она; и может случиться, что выбранный мною человек выйдет еще хуже Ланцелота. Так пускай лучше она сама вынет билет в эту страшную потерю, и я уверен, если Провидению угодно, то на ее долю достанется счастливый жребий».

Но и настоящий именно вечер, во всей наружности Ланцелота Дэррелля было что-то особенно тревожное, невольно возбуждившее в душе Монктона неясное подозрение.

– Итак, вы отправили вашего приятеля, странствующего приказчика, назад в Уиндзор, – спросил он.

– Нет. Хоть он и непрошенный гость, а все же я не мог отказать ему в крове и не принять его под кров своего дома. Я отправил его назад в Гэзльд, написав несколько строк к матери моей, которая, конечно, сделает все, что только может, чтобы принять его радушно. Известно, она так добра, что не могла бы отказать в радушном приеме какой-нибудь забулдыжной собаке, если бы она дорогою привязалась ко мне.

– Вот это правда, мистер Дэррелль! – сказал Монктон, – вы имеете полное право дорожить беспредельною любовью вашей матери. Но как бы нам не забыть, что нам с вами много надо дела сегодня покончить. Не хотите ли пойти со мною в кабинет, когда допьете свой чай?

Ланцелот поклонился и поставил чашку на ближай-

ший стол. Элинор и Ричард не спускали с него глаз с тех пор, как он пришел в гостиную. Нетрудно было разобрать, что он никак не мог прийти в себя от неприятной неожиданности, доставленной ему нечаянным появлением француза, его видимая беспечность была притворна и с явным замешательством он отвечал на обращенные к нему вопросы.

Медленно и молча последовал Дэррель за Джильбертом Монктоном из гостиной, не сказав ни слова Лоре, даже не удостоив ее взглядом.

– А ведь мог бы, кажется, он со мною поговорить, – прошептала молодая девушка, с огорчением смотря вслед за своим женихом.

Прошло добрых два часа, прежде чем опекун и жених вернулись в гостиную, два скучных часа для Лоры, которая или зевала над книгою, или играла со своими собаками, которые, по случаю своей высокой породы и хорошего воспитания, постоянно находились в гостиной. Ричард Торнтон играл в шахматы с мистрис Монктон. По правде сказать, престранная была та игра, потому что шахматы двигались взад и вперед без всякой цели, но как средство, придуманное самою Элинор, чтобы посоветоваться со своим верным союзником.

– Как вы думаете, Дик, не послужит ли нам на пользу приезд этого человека? – спросила она после того,

как объяснила ему историю, почему она узнала француза.

Ричард покачал головою не отрицательно, но знаменательно.

– Как могу я вам сказать, может ли этот человек или нет изменить своему другу? Во всяком случае нам очень трудно было бы одержать над ним победу.

– Не для вас, Ричард, – прошептала Элинор с убеждением.

– Не для меня? – повторил молодой человек. – Ах! сирена, русалка, морская нимфа, удалитесь! Нет ли на вас опять синей шляпки, которая имела влияние на маклера и его клерков? Нет ли на вас новой синей шляпки, Нелли, или не имеете ли вы другого волшебного влияния, которым вы можете действовать на странствующего негодяя по горчичным делам?

– Ну, если он вспомнит меня?

– Это едва ли возможно. Его лицо запечатлелось в вашей памяти только по случаю того страшного обстоятельства, которое последовало за вашей встречей с ним. По вы, Нелли, очень переменялись с тех пор, как вам было пятнадцать лет: тогда вы были нераспустившийся еще цветок, теперь же нельзя себе представить, что такое теперь вы. Какая-то Немезида в кринолине, грозно задумавшаяся над делами мрака и ужаса... Нет, мне кажется, нечего опасаться, чтобы



этот человек узнал вас...

На лице Ланцелота выразалось мрачное уныние, когда он опять вошел в гостиную за мистером Монктоном.

Монктон сел за стол, на котором лежали вечерние газеты, пересылаемые из Уиндзора в Толльдэль и стал их пересматривать. Ланцелот опять сел возле Лоры и занялся дерганьем шелковых ушей ее любимой собаки.

– Да скажите же мне что-нибудь, Ланцелот, – сказала мисс Мэсон, – если бы вы знали, как я настрада-лась за сегодняшний день! Надеюсь, что по крайней мере последнее свидание было приятно.

– О! нечего сказать, чрезвычайно приятно! – отвечал Дэррелль насмешливо, – уж, конечно, меня-то нельзя упрекнуть, что я женюсь на деньгах, никак нельзя, Лора.

– Это что значит, Ланцелот? – воскликнула молодая девушка, в ужасе смотря на своего жениха, – не может быть, чтобы вы хотели этим сказать, будто мой опекун все время обманывал меня, что я бедное, беспомощное существо, что я должна стать гувернанткою, или компаньонкою или кем-нибудь в этом роде, как прежде была Элинор, пока не вышла замуж! Ведь не это же подразумевается в ваших словах, Ланцелот?

– Не совсем так, – отвечал он, – но я хочу этим сказать, что годовой доход, о котором говорил ваш опекун, не превышает двухсот фунтов в год, с чем далеко не уйдешь с нашими несчастными привычками жить порядочно, как следует благородным людям.

– Но разве у меня нет приданого? Разве я не богатая наследница? Разве мне не предстоят в будущем так называемые надежды?

– О! разумеется, вам предстоят какие-то туманные надежды на будущее богатство, как вознаграждение за лишения в настоящем. По правде сказать, хотя ваш опекун принимал на себя великие старания, чтобы объяснить мне тоскливейшие деловые подробности, но мне было так скучно слушать его, или я слишком тупоумен для этих дел, только я не совсем ясно понял в чем дело. Кажется, вы должны со временем получить какой-то капитал, только после смерти кого-то... Но, по-видимому, этот кто-то в цвете еще лет и имеет полное право изменить свою духовную, когда ему вздумается, так что я смотрю на эту надежду, как на далекую случайность. Нет, Лора, мы должны смотреть прямо и положительно на наше положение. Мне предстоит жить в борьбе с тяжелым трудом, а вам – с бедностью.

Судорожно скорчилось лицо мисс Мэсон. Ее ум ничего не мог представлять, кроме крайностей,

и для нее мысль о бедности заключала в себе что-то особенно ужасное: нищенская жизнь с необходимостью в настоящем зарабатывать иголкой насущный хлеб, а в будущем – надежда получить место в богадельне.

– Но как бы мы ни были бедны, Ланцелот, – сказала она шепотом, – все равно я люблю вас. Что ж такое? Я буду носить платья без особенных украшений и не настоящие кружева. Наверное, вы не сумеете различить настоящее кружево Valenciennes от imitation. Потом я выучусь сама делать пироги и пудинги и стану приучаться к экономии. Притом же опекун дал мне множество бриллиантов: мы можем их продать, если вы хотите. Для вас, Ланцелот, я готова прилежно работать, как та бедная швея в поэме – помните ли? «Шей, шей, шей отвороты, ластовицы и рубцы». Видите ли, голубчик мой, о рубцах-то я не беспокоюсь: их очень легко делать, если пальцы не уколоты и на нитке узелков нет, но за ластовицы я ужасно боюсь: мне кажется, я никогда не научусь их шивать. Но прошу вас об одном, Ланцелот, обещайте мне, что всегда будете любить меня! – скажите, что вы не ненавидите меня за то, что я бедна?

Молодой человек взял нежную ручку, с мольбою положенную на его руку, и нежно пожал ее.

– Я был бы ужасным скотом, если б не чувствовал

благодарности за вашу любовь, милая Лора, – сказал он, – я никогда не желал, чтобы вы были богаты и не принадлежу к числу людей, которые способны дойти до такой низости, чтобы брать жену ради приданого. Одного только я желал... я желал получить свою собственность, – прошептал он с душившей его яростью – Со всех сторон я обманут и ограблен, тысячи оскорблений я испытал только потому, что терплю недостаток в деньгах. Но поверьте, моя дорогая Лора, я постараюсь быть добрым мужем.

– И непременно будете! – воскликнула Лора, тронутая и обрадованная грустным и искренним тоном своего жениха, в первый раз приятно звучавшим ей какою-то особенною искренностью. Как это великодушно с вашей стороны, что вы говорите мне такие добрые слова! Но кроме доброты и великодушия, от вас ничего нельзя и ожидать... Вы станете великим художником, весь свет будет восхищаться вами, слава пройдет о вас повсюду, и мы будем счастливы и поедем путешествовать в Италию – не правда ли, Ланцелот?

С горьким смехом отвечал ей молодой жених:

– Правда, Лора, и чем скорее мы уедем, тем будет лучше. Богу известно, что теперь нет ни одного интереса, который привязывал бы меня к Англии.

## Глава XXXVIII. Печальные вести из Удлэндса

После приезда француза, Ланцелот не показывался несколько дней в Толльдэль, к великому огорчению своей невесты, даже радостные заботы о приданом не могли утешить ее в отсутствии возлюбленного жениха. Безутешная бродила она по комнатам, посматривала из окна на обнаженные деревья, на печальные аллеи и декламировала стихи Теннисона, сочувствуя его грустным созданиям, потому что Ланцелот не приходил; тоска овладела ею, и она произносила тому подобные сетования.

Наконец она вышла прогуляться в холодный мрачный февральский день, покрыв голову тонким носовым платком, как достаточную защиту от ненастной погоды; ветер развевал ее светлые локоны, когда она стояла у калитки, ведущей из сада в поле и посматривала не идет ли ее жених через лес по узкой тропинке, где он обыкновенно ходил для сокращения дороги.

Это было 22 февраля: ровно двадцать один день оставался до того памятного дня, когда она станет женой Ланцелота. Рядом с Лорой стояла Элинора. Короткий зимний день был уже на исходе. Обе подру-

ги молчали. Элино́р была в самом мрачном настроении духа, потому что в этот самый день она лишилась своего друга и советника: Ричард Торнтон получил самые выгодные предложения от одного из эдинбургских театров, чтобы приготовить к Святой великолепные декорации и потому поспешил уехать в Шотландию вместе со своею теткой. В отсутствие своего верного союзника Элино́р чувствовала всю свою беспомощность. Конечно, Ричард дал слово явиться по первому ее призыву, но расстояние, разделяющее их, так велико, да и *кто* может сказать, когда придет настоящая пора действовать? Одна, одна среди людей, не сочувствующих цели ее жизни? Элино́р с горечью сознавала безнадежность своего положения.

Неудивительно, что задумчивая и грустная Элино́р была не похожа на прежнюю веселую и добродушную подругу, которую Лора так сильно любила до приезда Ланцелота. Украдкой, почти со страхом, посматривала на нее Лора, удивляясь перемене, в ней совершившейся, и, размышляя, какая могла бы быть тому причина?

«Верно, она была влюблена в Ланцелота, – думала она, да и кто бы в него не влюбился? За опекуна моего вышла потому, что он богат, а теперь она раскаивается, зачем это сделала, и страдает от того, зачем

я выхожу за Ланцелота. Ну что, если и Ланцелот все еще влюблен в нее, как герой страшного французского романа?»

В лесу начинало темнеть, когда две фигуры показались на узкой тропинке. Высокий и стройный молодой человек хлестал по кустарникам своею тросточкою, а с ним рядом бодро выступал коротенький и толстенький господин с кудрявыми черными волосами.

Лора немедленно узнала своего жениха даже и при наступавшей темноте, в его же спутнике Элинор тотчас узнала француза, путешествующего приказчика.

Дэррелль представил дамам своего приятеля.

– Мосье Виктор Бурдон – мистрис Монктон и мисс Мэсон, – пробормотал он торопливо. – Я думаю, Лора, вы считали меня большим невежей, что я так давно не был у вас, но эти дни я возил Бурдона по окрестностям. Он никогда не бывал в этих местах, хотя он почти такой же англичанин, как и я.

Услышав такой комплимент, Бурдон рассмеялся с явным намерением показаться очаровательным.

– Точно так, – сказал он нечистым английским произношением, – мы были в Уиндзоре: там очень мило.

Ланцелот нахмурил брови и сердито посмотрел на своего приятеля.

– Бурдон желал осмотреть дворец, чтобы сделать

сравнение с бесконечной версальской галереей и, кажется, к ущербу нашей национальной гордости!

– Но во дворец не пускают по этим дням, – заметила Элинор.

– Действительно, – отвечал Дэррелль, смотря на нее подозрительно, – туда никогда не пускают по тем дням, когда желаешь видеть. Вот и всегда так бывает в этом мире противоречий и парадоксов.

«Он возил своего друга в Уиндзор, – подумала Элинор, – не имеет ли это отношения к его последнему посещению? Не за тем ли они ездили, чтобы опять толковать с клерком мистера Лауфорда?»

Без Ричарда она была как без рук и ничего не могла придумать.

«Сегодня же вечером, – думала она, напишу я к нему, чтобы он немедленно приехал».

Но через минуту ей самой стало совестно за свое эгоистическое чувство. Она могла жертвовать своею жизнью для осуществления мечты своей жизни. День и ночь вопиял к ней голос ее отца из могилы, не освященной молитвою церкви и, казалось, требовал мщения, но она не могла требовать, чтобы и посторонние ему люди приносили такую же жертву.

«Нет, – думала она, – куда бы ни повела меня избранная мною дорога, сколько бы ни было преград на этом трудном пути, но отныне я одна пойду по нему.



Бедный Дик! Я и так уже много мучила его своими печальями и беспомощным положением.»

– Ланцелот, вы, верно, пришли обедать к нам? – сказала Лора, видя, что Элинор неподвижно и безмолвно стоит у калитки, погруженная в свои мысли, точно бледная статуя в темноте, – и пригласили тоже вашего друга, мосье Бурдона.

– Ах, как это можно! – воскликнул француз в порыве самоунижения, – я не принадлежу к вашему обществу. Мосье Дэррелль только по доброте своей удостоивает меня названия друга.

Француз рассыпался в извинениях, прося снисхождения в том отношении, что он ничто иное, как смиренный приказчик, путешествующий для распространения коммерции некоторого патентованного товара, удостоенного милостивым вниманием всех коронованных глав в Европе и который с помощью его стараний и влияния его соотечественников вскоре станет всемирною потребностью и источником колоссального богатства.

Элинор вздрогнула и с невольным отвращением отступила рт француза, когда он обратился и к ней со своим болтливym красноречием, хвастаясь собою и товаром, который он обязан был восхвалять.

Она вспомнила, что этот самый болтливый хвастун был орудием Ланцелота Деррелля в ночь смерти ее

отца, тот самый злодей, который стоял позади стула Джорджа Вэна и, смотря через его плечо в карты, передавал знаками его игру своему сообщнику.

Если бы она могла забыть мошенничество Ланцелота, то достаточно было присутствия его друга, француза, чтобы припомнить ей всю эту бесчеловечную низость и внушить ей полное отвращение к этим жестоким людям. Ей показалось, что само Провидение привело француза сюда, для возобновления ее энергии и решимости.

«Человек, который мог вступить в товарищество с этим гнусным французом для того, чтобы ограбить моего отца, никогда не получит наследство от Мориса де-Креспиньи и никогда не женится на воспитаннице моего мужа», – думала Элинор.

При этих мыслях она невольно положила руку на руку Лоры, как бы желая защитить ее от Ланцелота.

В эту самую минуту позади двух подруг послышались твердые мужские шаги по садовой дорожке, посыпанной песком, и в ту же минуту рука Джильберта Монктона лежала на плече его жены.

Неожиданное прикосновение испугало Элинор, она обернулась к нему с испуганным лицом, что служило новой уликою против нее, новым доказательством, что она скрывает какую-то тайну от своего мужа.

Рано Монктон выехал из дома, чтоб позаботить-

ся о делах, которыми почти не занимался последнее время, и возвратился домой двумя часами ранее обыкновенного.

– Зачем, Элино́р, в такую дурную погоду ты выходишь в сад? – сказал он строго, – этот тонкий платок не защитит тебя от холода, да и вы, Лора, можете также простудиться. В такую погоду гораздо приличнее сидеть в гостиной у камина, чем ходить по сырости. Здравствуйте, господа. Гораздо было бы лучше, Дэррелль, если бы вы пригласили своего друга в дом.

Ланцелот пробормотал бессвязную фразу в оправдание себя, а француз рассыпался в поклонах и шарканьях в ответ на холодное приветствие Монктона.

– Ты сегодня, Джильберт, вернулся гораздо раньше обыкновенного, мы не ждали тебя раньше семи часов, – сказала Элино́р, чтобы прервать неприятное молчание, последовавшее за появлением ее мужа.

– Я выехал из Уиндзора с трехчасовым поездом, но не прямо домой, а заехал прежде навестить больного в Удлэндсе.

Элино́р взглянула на него с живостью.

– Надеюсь, ему лучше? – спросила она.

– Нет, Элино́р, кажется, тебе не придется уже видеться с ним. Доктора не думают, чтобы он протянул еще до конца этой недели.

Элино́р сжала губы и подняла голову с выражением

твердой решимости и вызова.

«Я увижу его! – подумала она, – я не передам случаю своей надежды на мщение. Он мог переменить свою духовную, может быть, уничтожил ее. Пускай будет что будет, по я стану еще у его смертного одра, я скажу ему, кто я и именем покойного отца потребую от него правосудия».

Ланцелот стоял, опустив голову и устремив глаза в землю.

Как у Элинор была привычка поднимать кверху голову, подобно молодому боевому кошо, который слышит бранные звуки, так у Ланцелота была привычка угрюмо смотреть в землю, когда он находился под влиянием жестокой душевной бури.

– Так старик умирает? – спросил он медленно.

– Да, ваш дед умирает, – ответил Монктон, – и может быть, чрез несколько дней вы будете хозяином Удлэндса.

Молодой человек испустил глубокий вздох.

– Да, может быть, может быть, – пробормотал он.

## Глава XXXIX. Помощник и советник Ланцелота

Недолго оставались у калитки Дэррелль со своим приятелем, потому что в приме Монктона видно было не радушное дружелюбие, но ясное нежелание знакомиться или сближаться с Виктором Бурдоном.

Да и сам Дэррелль не имел ни малейшего желания, чтобы его приятель был приглашен в Толльдэль, да и по правде сказать, привел его сюда только потому, что мосье Бурдой принадлежал к числу тех неотвязчивых личностей, от которых трудно бывает отделаться тем несчастным жертвам, которые раз попали к ним в руки.

– Ну что же, – спросил художник, когда, простившись с Монктонами, они опять пошли по лесу, – как она вам показалась?

– Кто она: прекрасная невеста или другая?

– Я совсем не желаю знать вашего мнения о моей невесте, благодарю вас... Мне хотелось бы знать, как вам показалась мистрис Монктон?

С улыбкою, почти с насмешкою посмотрел Бурдой на своего спутника.

– Ух! Какой гордый этот месье Лан... Дэррелль, –

сказал француз. – Вы спрашиваете, что я думаю о мистрис Монктон, но смею ли я откровенно выразить свое мнение?

– Разумеется.

– Я думаю, что это одна из тысячи женщин недостижимая, непревышаемая во всем, что касается энергии, вдохновения силы воли. Она так прекрасна, что ангелы могли бы позавидовать ей. Если б эта женщина стала поперек пашей дороги в том дельце, которое мы намерены обработать, то наперед говорю, любезный друг, берегитесь! Если у вас с нею есть какие-нибудь счеты, опять скажу вам: берегитесь!

– Пожалуйста, Бурдон, оставьте трагические выходы, – возразил Ланцелот с видимым неудовольствием.

Тщеславие было одним из сильнейших пороков художника, и его корчило при напоминании о возможном на него влиянии какого-нибудь низшего существа, тем более женщины.

– Не первый день, – продолжал он, – знаком я с мистрис Монктон и мне хорошо известно, что она умнейшая и образованнейшая женщина. Я совсем не нуждался, чтобы вы мне это повторяли. Что касается до счетов, то у нас с нею быть их не может, не она стоит на моей дороге.

– Отчего же вы не хотите сказать вашему предан-

нейшему другу, как имя той женщины, которая должна стоять на вашей дороге? – проговорил Бурдон самым вкрадчивым тоном.

– А оттого, что это сведение не принесет ни малейшей пользы моему преданнейшему другу, – отвечал Ланцелот холодно, – если моему преданнейшему другу угодно помогать мне, то, надеюсь, он заранее уверен, что ему будет заплачено по заслугам.

– Еще бы! – воскликнул француз с видом простодушия, – вы непременно наградите меня за все услуги, если они увенчаются успехом и, главное, за внушение, которое прежде всего подало вам мысль...

– Внушение, которое побудило меня...

– Тише, любезный друг, в этих делах даже деревья в лесу имеют уши.

– Да, Бурдон, – продолжал Ланцелот с горечью, – я имею полные причины благодарить и вознаградить вас. С первой встречи с вами до настоящей минуты вы оказывали мне благороднейшие услуги.

Бурдон засмеялся насмешливым, язвительным смехом, что-то адское звучало в этом хохоте.

– Фауст, Фауст! что это за благороднейшее создание поэтической души! – воскликнул он, – этот превосходный, этот любви достойный герой, никогда со своего произвола не хочет пачкать рук в грязи порока или преступления, но обыкновенно все комиссии воз-

лагает на злодея Мефистофеля; сам же, погружаясь в бездну греха до самых ушей, этот великодушный страдалец обращается к своему ненавистному советнику и говорит: «Демон, для твоего только удовольствия совершены все эти преступления!» Разумеется, этот впечатлительный Фауст забывает, что не Мефистофель, а он сам по уши влюблен в бедную Гретхен!

– Не забывайте, Бурдон, – пробормотал художник нетерпеливо, – вы хорошо понимаете, что я хочу этим сказать. Когда я начал только жить, я был тогда слишком горд, чтобы совершить какое-либо преступление. Вы и, подобные вам люди, сделали из меня то, что я теперь.

– Баста! – воскликнул француз, щелкнув пальцами с выражением крайнего презрения, – вы только что просили меня не вдаваться в трагедию, теперь моя очередь попросить вас о том же. Не станем укорять друг друга, как театральные злодеи. Необходимость сделала из вас то, что вы теперь, необходимость будет держать вас на этом пути и толкать вас все вперед по кривым дорогам, пока вам это будет надо. Кто станет спорить, что очень приятно не уклоняться от прямого пути? Конечно, не я, мистер Ланц. Поверьте мне: быть добродетельным гораздо приятнее, без сравнения, спокойнее и легче, чем стать злодеем. Дайте мне несколько тысяч франков ежегодного дохода, и, уве-



рюю вас, я стану самым честным человеком. Вы боитесь предстоящего нам дела, потому что оно трудно, потому что оно опасно, а совсем не потому, что оно бесчестно. Будем лучше говорить откровенно и называть вещи настоящим именем. Желаете ли вы получить наследство от старого деда?

– Да, – отвечал Ланцелот, – меня с детства приучили к мысли, что это мое право. Да, я имею право надеяться на это.

– Именно так. Но вы не желаете, чтоб это наследство досталось другой особе, имени которой я не знаю.

– Нет.

– И прекрасно! Так не будем же более спорить о словах. Не упрекайте бедного Мефистофеля за то, что он показывал желание помогать вам достигать цели и что он своею решительною и быстрою деятельностью совершал то, чего вам никогда не удалось бы сделать. Скажите просто вашему Мефистофелю, чтобы он убирался к черту – он и пойдет, не заставляя два раза повторять приказания. Но он никогда не захочет быть кошкой и жечь свои пальцы, таская каштаны не для себя, а для своего друга, обезьяны. Любезный друг, каштаны в настоящем случае чрезвычайно горячи, и я рискую обжечь свои пальцы, только в надежде, что получу свою долю в добыче. Но козлом от-

пущения – уж я-то никогда не буду!

– Да я никогда не думал делать из вас козла отпущения, – возразил Ланцелот Дэррель, – и никогда не воображал пользоваться вашими кошачьими лапами. Поверьте, Бурдон, я совсем не желал вас оскорбить. Мне очень хорошо известно, что вы добрый товарищ, конечно, на свой лад; и если ваш образ мыслей иногда чересчур уже свободен, то, как вы ни говорите, человек при крайней необходимости готов наложить руку и на свои собственные принципы. Если Морис де-Креспиньи вздумал совершать незаконную духовную в ущерб своего законного наследника и для вознаграждения прихотей сумасшедшего старика, то пускай же последствия такой несправедливости падут на его голову, а не на мою.

– Совершенно справедливо, – возразил француз, – это доказательство совершенно справедливо, так что и возражать на него нельзя. Будьте спокойны, любезный друг: мы уж постараемся уладить и исправить заблуждения старика. Сделанная им несправедливость будет исправлена прежде чем его прах отправится не место вечного покоя. Не тревожьтесь, все готово, как вам известно, настанет время действовать, так мы готовы тотчас приступить к делу.

Ланцелот Дэррель испустил глубокий вздох, как бы выражая тем нестерпимую тоску. Много в жиз-

ни своей сделал он нечестных поступков, но при всяком новом, бесчестном предприятии, он принимал вид возмущающейся невинной жертвы, удобно увлекающейся внушениями гнусного злодея. В настоящую минуту он делал вид как будто уступает злобным ухищрениям своего друга, агента по торговле патентованной горчицей.

Друзья шли молча в продолжение некоторого времени. Они давно уже вышли из леса и шли прямо через луг, ведущий в Гэзльуд. Ланцелот Дэррелль шел молча, опустив голову вниз и нахмутив свои черные брови. Походка его спутника отличалась свойственную ему легкомысленною живостью, но время от времени зеленоватые глаза француза устремлялись украдкой на угрюмое лицо художника.

– Я еще забыл сказать одно замечание в отношении мистрис Монктон, – заговорил опять Бурдон, – мне кажется, что я где-то видал ее прежде.

– О! я это очень хорошо понимаю, – отвечал Ланцелот беззаботно, – когда я увидел ее в первый раз, то и я тоже самое подумал. Она похожа на дочь Джорджа Вэна.

– Дочь Джорджа Вэна?

– Да, на ту девочку, которую мы видели на бульваре в ту ночь...

– Молодой человек остановился и опять испустил

тяжелый вздох, которым обыкновенно выражалось его воспоминание о прошлой жизни.

– Я не помню что-то дочери Джорджа Вэна, – про-  
бормотал француз в раздумьи, – я помню, что с этим  
несносным старым англичанином была девочка боль-  
шого роста с светло-желтыми волосами и большими  
глазами, от нее еще нам так трудно было отвязаться,  
а больше ничего не помню. Но лицо мистрис Монктон  
мне очень знакомо, точно я прежде видал ее.

– Говорю вам, что это вам оттого так кажется, что  
Элинор Монктон похожа на ту девочку. Это сходство  
тотчас бросилось мне в глаза, как только я увидел ее,  
приехав домой, несмотря на то, что в то время я толь-  
ко раз, и то мимоходом, взглянул на дочь Джорджа  
Вэна, и не имея я причины думать совсем иначе, то,  
конечно, и я мог бы вообразить себе, что она нарочно  
приехала в Гэзльуд за тем, чтобы составить какие-ни-  
будь злые умыслы и лишить меня моих прав.

– Решительно не понимаю вас.

– Ну помните ли, что Джордж Вэн всегда болтал  
об обещании своего друга и что он получит богатое  
наследство?

– Очень хорошо помню: мы еще всегда посмеива-  
лись над богатыми надеждами бедного старика.

– Вы еще всегда удивлялись, зачем я с таким жи-  
вым интересом всегда прислушивался к болтовне

старика. Богу известно, что никогда не желал я ему зла, менее того желал отнять у него его собственность...

– Кроме денег из его кармана, – пробормотал Бурдон вполголоса.

Молодой человек с досадою повернулся к нему.

– Что вам за радость раздражать меня вечными напоминаниями прошлого? – сказал он полуяростным, полужалобным тоном. – Джордж Вэн был только один из многих других.

– Конечно, из многих и даже из очень многих.

– И если мне случалось играть в карты лучше многих других...

– Не говоря уже о маленьком фокусе, передернуть карточку, запрятанную в рукаве вашего пальто, чему я научил вас, друг мой!.. Но продолжайте насчет Джорджа Вэна и его друга.

– Друг Джорджа Вэна никто другой, как мой дед, Морис де-Креспиньи. Когда они учились в Оксфордском университете, то дали друг другу обещание.

– А какого рода это обещание?

– Самое нелепое и романтическое, простительное только глупым школьникам. Вот что было сказано ими: если кто из них умрет прежде и неженатым, то все свое состояние оставит другому в наследство.

– Конечно, в том предположении, что тот другой

переживет его, но Морис де-Креспиньи никак не мог оставить наследство покойнику. Джордж Вэн умер, следовательно, вам нечего опасаться.

– Нет, не его я должен опасаться.

– Но кого же? Ланцелот покачал головой.

– Не беспокойтесь, Бурдон, – сказал он, – вы очень умный и добрый товарищ, когда хотите, но бывает иногда и такое время, когда гораздо полезнее и безопаснее сохранять про себя свои тайны. Вы помните о чем мы вчера с вами разговаривали? Если я не приму вашего совета, то я совсем пропал, погиб!

– Но вы примете его? Не правда ли? Вы так далеко зашли, так много потеряли трудов и хлопот, так сильно доверились посторонним, что, кажется, теперь и возврата нет, нечего и думать об отступлении, – сказал Бурдон самым внушительным тоном.

– Если мой дед умрет, то страшный переворот наступит, и я должен решиться на то или на другое, – отвечал Ланцелот медленно, каким-то густым, несвойственным ему басом, – я – я не могу видеть свое разорение, Бурдон, и потому думаю, что принужден буду принять ваш совет.

– Я знал, что это так будет, другой мой, – отвечал странствующий приказчик спокойно.

Они повернули из переулка между двумя заборами и перелезли через забор, ведущий на лужайку, ле-

жавшую между ними и Гэзльудом. Ярко горели огни в низких окнах дома мистрис Дэррелль. На деревенской колокольне пробило шесть часов, когда Ланцелот со своим приятелем переходили через лужайку.

Темная фигура тускло обрисовывалась у низенькой калитки, которая соединяла луг с Гэзльудом.

– Это мать моя, – шепнул Ланцелот, – она ждет меня у калитки. Бедняжка! Если не для себя, то для нее я должен позаботиться о наследстве! Обманутые надежды убьют ее.

Опять аргумент труса, опять лазейка, посредством которой Ланцелот желал, во что бы то ни стало, сложить на другого ответственность за свое собственное дело и заставить отвечать другого за свой грех.

## Глава XL. Решено!

Элинор Монктон медленно возвращалась домой, рядом с мужем, который, не спуская с нее глаз, тотчас заметил, что жена его необыкновенно бледна.

По возвращении в гостиную, Элинор, положив руку на плечо своего мужа и прямо смотря ему в лицо, освещенное ярким огнем камина, спросила:

– Скажи мне, Джильберт, точно ли Морис де-Креспиньи скоро умрет?

– Судя по словам докторов, мало остается сомнения, что старик очень скоро должен умереть.

Несколько минут помолчала Элинор и потом со страстною пылкостью сказала ему:

– Джильберт, я хочу видеть Мориса де-Креспиньи, непременно хочу его видеть! Я должна его видеть наедине!

С удивлением посмотрел на нее мистер Монктон. Откуда взялась такая внезапная энергия, такая настойчивая пылкость, от которой бледнело ее лицо и замирало дыхание? Дружелюбное чувство к больному, женственное сострадание к немощам старика, никак не могли внушить такого страстного порыва.

– Ты желаешь видеть Мориса де-Креспиньи? – спросил Монктон с нескрываемым удивлением, –



но зачем же, Элинор, тебе так хочется его видеть?

Мне надобно сказать ему такую вещь, которую он непременно должен узнать прежде, чем он умрет.

Монктон оцепенел от удивления, внезапный свет, казалось, озарил его, свет, который показал ему жену в отвратительном свете.

– Ты желаешь сказать ему свое настоящее имя? – спросил он.

– Сказать мое имя? – да, – отвечала Элинор рассеянно.

– Но для чего же?

Мистрис Монктон немного помедлила, потом, задумчиво смотря на своего мужа, сказала:

– Это моя тайна, Джильберт, даже тебе я не могу сказать ее теперь, но надеюсь скоро все разъяснить и, может быть, даже сегодня вечером.

Монктон закусил нижнюю губу и отошел от своей жены, насупившись. Он оставил Элинор у камина и в угрюмом молчании стал ходить взад и вперед по комнате.

Потом вдруг повернулся он к ней и сказал с раздражительною решимостью, которая окончательно охладила ее робкую доверчивость и заставила опять спрятаться в себя.

– Элинор! – во всем этом есть что-то такое, что жестоко огорчает меня. Между нами стоит тайна и тай-

на эта слишком долго продолжается. Зачем было тебе полагать условием, чтобы твоя настоящая фамилия была скрыта от Мориса де-Креспииньи? Зачем ты показывала ему особенное внимание с первого появления в эти места? Зачем теперь, когда говорят о его близкой смерти, ты непременно хочешь его видеть? Элиноор! Элиноор! Причиной всему этому, может быть, только недостойное, самое гнусное, самое корыстолюбивое чувство.

Элиноор посмотрела на своего мужа и как будто оцепенела от ужаса, стараясь напрасно уловить смысл его слов.

– Корыстолюбивое, гнусное чувство! – повторяла она медленно полупшепотом.

– Да, – отвечал Джильберт, с жаром, – почему ты не была бы похожа на других? То была моя вина, мое заблуждение, моя безумная мечта, когда я думал, что ты не похожа на других? Точно то же было и с другою женщиной, которая обманула меня, как не дай Бог быть обманутым еще и тобою. О, Элиноор! – я был безумен, когда, забыв прошлое, не воспользовавшись уроком опытности, я опять поверил женщине – поверил тебе! Я ошибся, еще раз ошибся, но на этот раз мое заблуждение еще ужаснее, потому что на этот раз мне казалось, что я поступал обдуманно, принял все предосторожности. Но на деле вышло, что и ты похо-

жа на всех других. Если все женщины корыстолюбивы, то ты еще более других, потому что тебе не довольно было пожертвовать своею любовью для того, чтобы сделать, как это называют, выгодную партию – нет! ты не довольствовалась тем, что приобрела богатство от мужа, ты еще добиваешься получить наследство от Мориса де-Креспиньи.

Элинор Монктон ухватилась обеими руками за голову, отбросив назад густые массы своих волос, как бы желая этим движением рассеять тучи, отуманившие ее душу.

– Я добиваюсь получить наследство от де-Креспиньи?

– Да, это понятно: отец воспитывал тебя в этих мыслях. Я слышал, как упорно он строил воздушные замки на пустых надеждах получить наследство от своего, друга, он приучил и тебя разделять эти надежды, он завещал их тебе как единственное имущество, оставшееся после него.

– Нет! – воскликнула Элинор, вспыхнув, – не надежды завещал мне отец, умирая. Не говорите более об этом, мистер Монктон, не говорите! Сегодня я не в силах выносить этих слов! Если вы можете иметь обо мне низкое мнение, то мне остается в настоящее время только необходимость вынести это бремя. Я знаю, что я очень виновата перед вами, что я

была очень невнимательна к вам с тех нор, как стала вашей женой, и вы имеете право дурно думать обо мне. Но душа моя была до того переполнена другими мыслями, что все остальное носилось передо мною как сон.

Монктон со страхом посмотрел на жену. В ней было что то особенное, чего он прежде никогда не замечал. До сих пор он видел только какую она обладала силою воли, чтобы сдерживать свои чувства, но теперь казалось ему эта сила воли начала ослабевать. Напряжение было слишком велико, и натянутые нервы начинали опускаться.

– Ни слова более об этом, – кричала она умоляющим голосом, – ни слова более не говорите! Это скоро пройдет.

– Что такое скоро пройдет? Отвечай же Элиноор? – спрашивал ее муж.

Но Элиноор, ничего не отвечая, закрыла лицо руками и, сдерживая рыдания, бросилась из комнаты, прежде чем муж мог повторить свой вопрос.

Монктон посмотрел вслед за нею с выражением сильной тревоги.

«Как сомневаться еще в истине? – думал он, – ее видимое возмущение против приписанного ей намерения добиться наследства ясно показывает, как несправедливо это обвинение. Но это замеша-

тельство, эти слезы и тревога – все обличает истину! Нет, ее сердце никогда не принадлежало мне! Она вышла за меня замуж с твердою решимостью исполнять честно все обязанности жены и сохранять ко мне верность. Я верю ей – да, несмотря ни на что, я все-таки верю ей! Но любовь ее принадлежит Ланцелоту, Ее любовь! Как я желал достигнуть этого! Как я надеялся на это блаженство! Но вся ее любовь принадлежит жениху Лоры. Что может быть яснее этих отрывистых слов, которые она с такою тревогою произнесла: „Это скоро пройдет, это скоро пройдет“? Что это значит, если не то, что свадьба и отъезд Ланцелота скоро положат конец этой жестокой борьбе?»

Растроганный такими предположениями, Монктон почувствовал, как жалость прокрадывалась в его сердце. Да, он чувствовал к ней жалость! Он чувствовал жалость к этому молодому, беспомощному существу, которое вверено судьбою его покровительству. Не он ли стал между прекрасным юношей и любовью невинной девушки? Не он ли, явившись пред нею в отчаянную минуту, заставил ее впасть в заблуждение, в такое страшное заблуждение, которое ценою честной преданности в продолжении целой жизни, он не в состоянии вознаградить.

«Она согласилась быть моей женой под влиянием минуты, она ухватилась за меня в своем беспо-

мощном одиночестве! И печальное настоящее ослепило ее насчет будущности. Инстинкт доверчивости, а не любви, привлек ее ко мне, а теперь, теперь, когда нет ни отступления, ни возврата, ничего, кроме бесконечных тяжелых годов, которые она должна проводить с нелюбимым человеком, теперь бедное дитя испытывает такие муки, которые она не в состоянии теперь скрывать даже от меня!»

Монктон расхаживал взад и вперед по обширной гостиной, размышляя обо всем этом. Иногда он с горькою улыбкою взглядывал на все эти признаки богатства, которые так роскошно разбросаны были вокруг него. На каждом шагу вся эта роскошь тяжело бросалась ему в глаза.

«Будь моя жена похожа на легкомысленную Лору, может быть, мне удалось бы сделать ее счастливою. Роскошные наряды, брильянты, картины, богатая мебель – все это было бы достаточно для счастья пустоголовой женщины. Если бы Элинор вышла за меня замуж под влиянием корыстолюбивых расчетов, то, наверное, она поспешила бы воспользоваться моим богатством. Она наряжалась бы в брильянты, которые я ей подарил, и не выходила бы из модных магазинов по крайней мере, в первое время нового положения. Но она одевается так просто, как последняя мещанка, и если тратила свои деньги, то только на то, чтобы

доставить удовольствие своему бедному другу, музыкальной учительнице».

Раздался второй звонок к обеду, и Монктон прошел прямо в столовую в пальто и без большого аппетита к изысканным блюдам, стоявшим перед ним.

Элинор заняла обыкновенное место хозяйки. На ней было темное коричневое платье, немножко потемнее ее каштановых волос, и ее белые плечи блистали, как слоновая кость в бронзе. Она умыла голову и лицо холодной водою, и ее приглаженные блестящие волосы были еще мокрые, она была очень бледна и серьезна, но на ее лице не было и следов жестокого волнения, только резкая черта вокруг ее рта показывала твердую, непоколебимую решимость.

Лора влетела в столовую, шелестя своим шелковым платьем, когда мистер и мистрис Монктон заняли уже свои места за обедом.

– Вот мое «розовое», – сказала молодая девушка, указывая на свое роскошное платье ярко-розового цвета, разукрашенное бесчисленным количеством лент и кружев, – я думала, что вы захотите взглянуть на мое розовое платье, да и притом же мне очень хочется знать, какого вы о нем мнения. Это совсем новый розовый цвет. Ланцелот говорит, что в этом новом розовом цвете я похожа на земляничное мороженое, но оно мне нравится. Это платье для парадного обе-

да, – прошептала она как бы оправдываясь перед мистером Монктоном, – так мне захотелось посмотреть, какой оно эффект будет производить. Только, разумеется, это платье для парадных выездов. Поперечная оборка великолепна – не правда ли, Элинора?

Большое счастье – на этот раз по крайней мере – что мисс Мэсон обладала большою способностью вести разговор монологами, а иначе самое скучное молчание царствовало бы за этим обедом.

Монктон во все время обеда почти ничего не говорил, разве при самых необходимых случаях, но особенная нежность звучала в его голосе, когда он обращался к жене. Он никогда не имел привычки сидеть долго за десертом, но на этот раз он тотчас за дамами последовал в гостиную.

Элинора уселась на низком кресле у самого камина. За обедом она два раза смотрела на свои часы, да и теперь глаза ее невольно поднимались к часам, стоявшим на камине.

Монктон прошел через комнату и облокотился на спинку ее кресла.

– Элинора, – сказал он вполголоса, – я очень жалею, что оскорбил тебя, можешь ли ты простить меня?

Элинора подняла на него свои ясные глаза, в них выразилась задумчивая кротость.

– Мне ли прощать тебя? – сказала она, – напротив,



вы должны многое мне простить, но я постараюсь все загладить после...

Последние слова она произнесла шепотом, как будто говоря сама с собой, но Джильберт Монктон услышал этот шепот и вывел из него свои заключения. К несчастью, каждое слово, произнесенное мистрис Монктон, подтверждало только его подозрения, увеличивая его несчастье.

Он сел на противоположной стороне камина у стола с журналами и газетами и, близко подвинув лампу, погрузился, по-видимому, в чтение газет.

Но по временам огромные листы газет опускались ниже, чем следовало для глаз чтеца, и Монктон взглядывал на свою жену. Случалось, что почти каждый раз глаза Элинор были устремлены на часы.

Открытие этого факта скоро стало мучить его. Следуя за направлением глаз своей жены, и он смотрел на медленно двигавшуюся стрелку от одной цифры к другой, и промежуток этих пяти минут для него тянулся, как пять часов. Он принуждал себя читать, но стук маятника становился между ним и смыслом страницы, на которую устремлялись его глаза, и этот однообразный звук оглушал его.

Тихо сидела Элинор на своем покойном кресле. Журналы для работ и открытые книги лежали перед нею, но она даже не принуждала себя занимать время

каким-нибудь рукоделием. Лора, скучая от безделья и недостатка общества, порхала по комнате, как беспокойная бабочка, иногда останавливаясь перед зеркалом, чтобы полюбоваться вновь открытым эффектом своего изысканного наряда, который она называла: «мое розовое», но Элинор не обращала внимания на все восклицания и призывы к сочувствию своей подруги. Видя, что напрасны все ее просьбы взглянуть на разнообразные красоты газовых украшений и рюша из лент, Лора наконец вышла из терпения и воскликнула:

– Право, Нелли, я не могу понять, что с вами стало с тех пор, как вы вышли замуж, вы перестали принимать участие в интересах жизни. Вы совсем не похожи на себя, какую вы бывали прежде в Гэзльуде, до приезда Ланцелота.

При этом воззвании Монктон бросил «Атений» и схватил «Понч». С каким-то остервенением глаза его рассматривали карикатуры! Элинор отвела глаза от часовых стрелок, чтоб отвечать на своенравное воззвание своей подруги.

– Я все думаю о добром Морисе де-Креспиньи: может быть, он умирает в эту минуту.

Монктон опустил «Понч» и на этот раз прямо посмотрел в лицо своей жены.

А что если в самом деле ее задумчивость и рассе-

ание происходят от того, что ей жаль потерять этого старика, который всегда был другом ее отца да и к ней самой проявлял искреннюю любовь?

Разве этого не может быть? Нет. Ее слова обнаруживали в этот вечер более чем обыкновенную печаль при подобных случаях они и обнаруживают тайную, но глубокую борьбу, которую нелегко скрыть или преодолеть. Неизвестно, долго ли он мог, сидя над газетами, раздумывать свое горе и мучения, но вдруг он вспомнил, что утром еще получены чрезвычайно важные бумаги из Лондона, которые он непременно сегодня же должен прочитать. Отодвинув лампу, он встал и, уходя из гостиной, сказал жене:

– Элинор, я уйду в кабинет заниматься. Мне было бы гораздо приятнее провести вечер здесь, но я должен непременно заняться делами и допоздна посижу за ними. Не хочешь ли и ты пойти наверх и посидеть около меня?

– Нет, разве только ты особенно этого желаешь.

– Ни в каком случае. Добрый вечер. Прощайте, Лора.

Даже прощаясь с мужем, Элинор неловко взглянула на часы. Было без четверти десять.

– Ведь ни разу и он не взглянул на мое «розовое», – проворчала Лора, когда дверь затворилась за ее опекуном.

Едва успел Монктон уйти, как Элинор тотчас же встала. Ее лицо пылало ярким румянцем, в глазах сверкал огонь.

– Я пойду спать, Лора, – сказала она отрывисто, – я очень устала. Покойной ночи.

Вместе с этим она взяла свечу, зажгла ее и поспешно вышла из гостиной прежде чем Лора успела сделать какое-нибудь замечание.

«И совсем не похоже, чтоб она устала, – рассуждала Лора сама с собою, – а скорее похоже на то, что она на бал собирается, или у нее начинается скарлатина. Я думаю, что вот и у меня был такой же вид, когда начиналась у меня скарлатина и когда Ланцелот делал мне предложение».

Пять минут спустя, после того, как пробило десять часов, осторожно отворилась дверь парадного подъезда и мистрис Монктон в шерстяном бурнусе украдкой вышла из дома, закутав голову капюшоном своего бурнуса. Тихо затворила она за собою дверь и, не оглядываясь назад, бросилась по каменному тротуару через двор, оттуда по садовой дорожке в калитку и в темную чашу леса, который отделял Толльдэль от замка Мориса де-Креспиньи.

# Глава ХLI. Ужасная нечаянность

Холодный февральский ветер дул прямо в лицо Элинор, когда она проходила через лес. Ни одной звездочки на темном, сером небе, раскинувшемся над этим пустынным местом. Черные массы елей и сосен шли сплошной стеною вдоль узкой тропинки, таинственный шум, причудливые завыванья зимнего ветра разносились по темной чаще леса и казались еще явственнее среди безмолвия ночного.

Давно уже не случилось Элинор оставаться одной в потемках, но и прежде она никогда не была одна в такой темной глуши. Мужества у нее было, как у молодой львицы, но вместе с тем она была в высшей степени нервозна и впечатлительна, и ужасна была для нее эта торжественная ночь в пустынном лесу, где раздавался свист и вой зимнего ветра. Но глубокая преданность к покойному отцу была выше всех женственных ощущений в этом молодом сердце. Не останавливаясь, она шла все вперед, крепко закутываясь в свой теплый бурнус и прижимая руки к сильно бьющемуся сердцу.

Неравнодушно шла Элинор, одолевая ночную тень и лесное одиночество, но с сердцем полным преданности и самоотверженности, с героическим вели-

чием души, возвышенной любовью, сквозь огонь и воду готова была она пройти, если б только эта пытка могла доставить ясное доказательство ее любви к несчастному самоубийце в Сент-Антоанском предместьи.

«Дорогой, милый папа! – шептала она, – я не скоро приступаю к деятельности, но никогда ничего не забывала – нет! Никогда я не забывала, что ты лежишь в этой жестокой негостеприимной могиле! Долго я ждала, но теперь не хочу более ждать: в эту самую ночь я все открою».

Ей казалось, что Джордж Вэн, разлученный с ней страшною бездною могилы, стоит рядом с ней, чтобы быть свидетелем ее дела и слышать ее слова.

Днем этот переход через лес был только приятною прогулкою, но в такую холодную беззвездную ночь это представлялось тяжелым странствованием. Раза два останавливалась Элинор, чтоб оглянуться назад, на освещенные окна Толльдэля, лежащего внизу, и потом еще торопливее ускоряла свои шаги.

«Что, если Джильберт хватится меня? – думала она, – что он подумает тогда? Что будет делать?»

При мысли о муже, Элинор почти бегом пустилась через лес: какие неожиданные препятствия встанут перед нею, – думала она, – если он пошлет кого-нибудь или сам пойдет за нею? Но она скоро успокоила

себя на этот счет.

«Что ж такого, если б он и в самом деле за мною пришел в Удлэндс, – думала она, – я скажу ему, что желала видеться еще раз с Морисом де-Креспиньи. Отчего мне этого не сказать, когда это правда?»

Элинор вышла на опушку леса и приблизилась к калитке в железной решетке, окружавшей замок, к той самой калитке, через которую она проходила с тех пор, как познакомилась со старым другом своего отца. Эта калитка очень редко оставалась незапертой, но в эту пору, к ее великому удивлению, она была настежь.

Но Элинор не останавливалась, чтоб удивляться этому обстоятельству, а бросилась в нее. Она была знакома с каждою тропинкою, когда, бывало, шла рядом с креслом, на котором возили больного старика, и хорошо знала кратчайшую дорогу в дом.

Кратчайшая дорога шла через широкую лужайку и между шпалерником в сад мимо комнат, занимаемых старым хозяином, который давно уже не в силах был всходить по лестнице и спускаться вниз, и потому занимал нижний этаж, откуда выходил балкон прямо на лужайку, защищаемую густою массой елей и пихт. В этом месте Элинор остановилась, чтобы перевести дух, потому что она запыхалась от поспешной ходьбы все в гору, и тут же, кстати, хотела осмотреть целы ли

ее бумаги, которые она захватила с собою, тщательно спрятав их на груди, то было письмо, написанное ее отцом перед смертью и рисунок акварелью, сделанный Ланцелотом. И то и другое было цело. Успокоившись насчет их сохранности, она хотела войти в дом, когда близкий шум остановил ее. Как раз подле нее зашумели ветви лаврового дерева, как будто раздвинутые сильною рукою мужчины.

Несколько раз во время перехода через лес Элинора была испугана каким-то шорохом между высокой травою, около древесных пней, но каждый раз вид фаза на перелетавшего через дорогу, или робкий заяц бросившийся в чащу, успокаивали ее, но на этот раз нельзя было разуверить себя. В саду у Мориса де-Крепспињи не бывало дичи, следовательно, Элинора была не одна и какое-нибудь живое существо притаилось в тени деревьев.

Элинора опять остановилась, ощупала документы, спрятанные на груди и, стыдясь своей трусости, вышла из кустарников на лужайку.

Вероятно, человек, испугавший ее, был садовник, наверное так, кстати, он и проведет ее в дом так, чтобы избавить ее от неприятной встречи со старыми хозяевами.

Она осмотрелась вокруг себя, но никого не видела, тогда она тихо окликнула по имени садовника —



не было ответа. В окнах спальни старика горел свет, но в его кабинете и в туалетной между кабинетом и спальней было темно.

Элинор подождала несколько минут в саду в надежде, что из кустарников кто-нибудь выйдет из слуг, но все было тихо и ей оставалось одно средство, обойти дом и позвонить у парадной двери.

«Я уверена, – думала она, – что кто-нибудь был возле меня, должно быть, Брукс, садовник, но какой же он должен быть глухой, что не слышал, как я его звала!»

Парадный подъезд состоял из двух стеклянных дверей, по обе стороны которых были каменные ступеньки, с правой и с левой стороны, смотря по желанию входящих. Этот вход был удивительно красив и зеркальные стекла, составлявшие верхние части дверей, представляли очень слабую преграду между посетителем, ожидающим на наружной стороне каменной платформы, и внутренностью дома. Но всякая массивная железная решетка или крепкая дубовая дверь, были доступнее для осаждающего, чем эти прозрачные двери под деспотическим надзором девственных племянниц старого холостяка. Много стояло отчаянных бедных родственников у этих роковых дверей с намерением взять штурмом крепость, по стеклянная преграда оставалась неприкосновен-

ною и злополучные родственники возвращались назад с отчаянием в душе от безуспешности своих усилий и все еще с надеждою, что богатый старик отомстит за них девственным церберам и отдаст кому бы то ни было свое богатство, только бы не этим завистливым наследникам.

Итак, Элинор стояла у стеклянных дверей, только в эту ночь душа ее волновалась совсем иными чувствами, которыми обыкновенно одушевлялись родственные посетители Удлэндса.

Она дернула за ручку колокольчика, очень тугого по случаю редкого употребления, но, уступая наконец ее решительным усилиям, колокольчик пронзительно и продолжительно зазвонил, резко прерывая безмолвие ночи.

Но как ни громко звонил колокольчик, а не скоро ответ был дан на его призыв, и Элинор имела время вдоволь рассмотреть в тускло освещенной зале старинную мебель, барометр и несколько военных морских картин, украшавших стены: один из рода де-Крепспины, служивший во времена Нельсона, отличился в каком-то сражении, взорвав несколько неприятельских кораблей, которые на картинах горели в пламени желтой охры и киновари.

Наконец из коридора вышел буфетчик, единственный слуга мужского пола в доме, и пренегостеприим-

ный старик, но очень любимый обеими мисс де-Креспиньи за эти самые неприязненные качества, за которые обещана была ему приличная награда. С удивлением и негодованием дышавшими на его лице, старик подходил к двери, где Бог знает с каким нетерпением ожидала его Элинор.

«Ланцелот Дэррелль, – думала она, – приходил, быть может, прежде меня, теперь он у деда и, может быть, успел убедить его переменить духовное завещание. Он в состоянии это сделать, если действительно уверен, что дед лишил его наследства».

Медленно и подозрительно отворял двери буфетчик и, помещаясь в этом отверстии с таким видом, который ясно показывал, что непрошенные гости, скорее пройдут через его тело, чем войдут в залу. У мистрис Монктон оставалась слабая надежда вести с ним переговоры о сдаче, она не знала, что крепость уже взята и что прежде нее вступила страшная гостья, для которой не существует ни железных засовов, ни дубовых дверей, и не понимала, что дворецкий только по старой привычке выходил на бой с воображаемыми наследниками.

– Я желаю видеть мистера де-Креспиньи, – воскликнула Элинор с жаром, – мне непременно надо видеть его по очень важному делу и я, уверена, что ему приятно будет видеть меня, если вы только доложи-

те ему, что я здесь.

Буфетчик отворил было рот, чтоб отвечать, как вдруг дверь в залу отворилась и вышла мисс Лавиния де-Креспиньи. Она была очень бледна и держала в руках носовой платок, который по временам прикладывала к глазам, хотя глаза ее были совершенно сухи и слезы не думали показываться.

– Кто там? – закричала она пронзительным голосом. – Что это значит. Паркер? Разве ты не можешь объяснить, что мы никого не можем принимать в нынешнюю ночь?

– Я только что хотел это сказать, – отвечал дворецкий, – но ведь это мистрис Монктон, которая желает видеть нашего бедного господина.

Он отошел от двери, как бы давая тем знать, что его ответственность прекратилась с появлением хозяйки, и Элинор вошла в залу.

– О милая мисс Лавиния! – воскликнула Элинор, задыхаясь от нетерпения, – позвольте мне видеться с вашим дядею. Он, наверное, не откажется видеть меня, ведь вы знаете, что он очень любит меня. Пожалуйста, пустите меня к нему.

Мисс Лавиния приложила носовой платок к своим сухим глазам, прежде чем отвечала на пламенное воззвание Элинор.

– Мой любимый дядюшка, – начала она медлен-

но, – покинул этот мир час тому назад. Последнее дыхание он испустил в моих объятиях.

– И в моих также, – подхватила мисс Сара, выскокившая в залу вслед за сестрой.

– Я тоже стоял у его смертного одра, – заметил буфетчик почтительно, но твердо, – и перед вашим приходом в его комнату, мисс Лавиния, последние слова моего покойного господина были таковы: «Паркер, ты всегда был добрым и верным слугою и не будешь мною забыт». Точно так, мисс, последние его слова были «и не будешь мною забыт, Паркер».

Пытливо или скорее подозрительно обе сестрицы посмотрели на Паркера, как будто заподозрив, что, пожалуй, и этот старик не подделал ли какую-нибудь духовную, которую намерен подменить законную подлинную.

– Я что-то не слыхала, Паркер, чтобы мой любимый дядюшка упоминал о тебе, – сказала мисс Сара при-  
нужденно, – но мы никого не забудем, кого он желал вспомнить – можешь быть в том уверен.

Молча и неподвижно стояла Элинор, как бы ошеломленная известием о смерти больного старика.

– Умер! – шептала она, – умер, прежде чем я успела сказать ему...

Она остановилась: на ее лице выразился ужас.

– Не знаю, откуда у вас такое сильное желание ви-

деть моего покойного дядюшку? – сказала мисс Лавиния, забывая свою минутную досаду на Паркера, чтобы прицепиться к Элинор, как возможной сопернице. – Не понимаю также, что вам надо было ему сказать, но, думаю, что с вашей стороны не совсем деликатно беспокоить нас в такой поздний час ночи, а тем более оставаться здесь после того, как вы узнали о несчастье, постигшем нас – опять платок поднесен к глазам – если же вы пожаловали сюда только за тем, чтобы узнать, подобно другим корыстолюбивым людям, сколько денег осталось у дядюшки, то я не могу вам дать этого сведения. Садовник отправлен в Уиндзор за клерком нотариуса Лауфорда. Сам же мистер Лауфорд отправился недавно в Нью-Йорк по делам. Это большое несчастье, что при таких важных обстоятельствах его нет здесь, потому что мы питаем к нему полное доверие. Впрочем, надеюсь, что и клерк все сделает, как следует. Он должен приложить печати ко всем вещам покойного дядюшки, и до самих похорон ничего не будет известно о духовном завещании... Но во всяком случае я не думаю, чтобы вам, мистрис Монктон, стоило беспокоиться насчет этого предмета, потому что мне очень хорошо помнится, что наш любезный дядюшка очень ясно объявил вам, что ничего не оставит вам, кроме какой-то картины или что-то в этом роде. Мы очень

будем рады вручить вам эту картину, – заключила она с холодной вежливостью.

А Элинор все стояла, устремив на нее неподвижный взор, который обе старые девы принимали за обманутое ожидание по поводу духовной: их умы всегда следовали по привычной колее. Наконец Элинор, сделав усилие, чтоб победить свое волнение, сказала почти спокойно:

– Поверьте мне, я не имею ни малейшего желания получить наследство. Мне очень, очень жаль, что он умер, потому что я должна была ему нечто сообщить, нечто очень важное. Мне следовало давно это сделать, а я была так боязлива, так безумна, что все ждала.

Последние слова она произнесла не для этих дам, а собственно для себя, и потом после некоторой паузы, она медленно продолжала:

– Надеюсь, что ваш дядюшка оставил наследство вам, мисс Лавиния, и вашей сестре. Дай Бог, чтоб он это сделал.

К несчастью, старые девы были в таком расположении духа, что на все обижались. Страшная пытка ожидания и неизвестности изгрызла сердце старых наследниц и научила их ненавидеть и подозревать всех, кто попадался им на дороге. В эту ночь им казалось, что из-под земли должны выскочить соперники, чтобы

оспаривать их права на наследство.

– Чувствительно благодарим за ваши добрые желания, мистрис Монктон, – сказала мисс Сара с кислой вежливостью, – и по достоинству оцениваем вашу любезную искренность. Добрый вечер!

При этом слове дворецкий отворил дверь с торжественной почтительностью, пока обе старухи выпроваживали Элинор из дома. Дверь затворилась за нею, и она медленно и рассеянно спускалась с крыльца ошеломленная быстрым окончанием своих ожиданий.

«Умер! – восклицала она полупшепотом, – умер! Я никак не хотела верить, что он мог так скоро умереть! Я все ждала и обдумывала, когда придет время говорить, когда он в состоянии будет поверить мне – и вот теперь он умер, и я потеряла всякую надежду отомстить за смерть моего бедного отца! Закон не может обвинить Ланцелота, но этот старик имел право наказать его, и он воспользовался бы этим правом, когда я рассказала бы ему всю историю смерти его друга. Я не сомневаюсь в том, что Морис де-Креспильи с нежностью любил моего отца».

Вдруг Элинор остановилась на ступеньке, как будто стараясь припомнить, не надо ли еще чего-нибудь сделать.

Нет, ничего не надо. Единственный случай посыла-



ла ей судьба для осуществления целей, но и этот случай потерян. Ей ничего не оставалось более делать, как возвратиться домой и спокойно дожидаться чте-ния духовной, по которой Ланцелот окажется – а может быть, и нет – законным наследником богатого со-стояния деда своего.

Но тут она вспомнила рассказ Ричарда о посе-щении Уиндзора и о наблюдениях его за встречею Ланцелота с писарем. Ричард был убежден, что на-следство, наверное, достанется кому-нибудь другому, только не Ланцелоту, а поступки последнего после этой встречи только подтверждали догадки Ричар-да. Следовательно, тут не могло быть сомнения, что по духовной, написанной Лауфордом и при которой Монктон был свидетелем, Морис де-Креспиньи ли-шал наследства Ланцелота Дэррелля. Покойник го-ворил о каком-то долге, который ему следует испол-нить. Вероятно, он этим намекал на двух племянниц, посвятивших себя ему на служение и на вознагра-ждение, которое они заслужили своей преданностью. Такие преданные сиделки обыкновенно заслуживают достойную награду за смой труды, почему же и тут не вышло бы того же?

Но, с другой стороны, надо и то взять, что старик был своенравен и причудлив. Его нервы были силь-но раздражены продолжительной болезнью. Как ча-

сто ночью, когда сон бежал от него, он раздумывал о распоряжениях своим богатством, желая, без сомнения, сделать все это к лучшему! Известно, что он несколько раз делал духовные и потом сжигал их, когда на него находило дурное расположение духа. Много у него было времени, чтобы изменять свои последние желания. Очень легко мог он уничтожить и ту духовную, которая была подписана Монктоном, и написать другую в пользу Ланцелота.

В этом раздумье Элинор все еще стояла на широкой ступеньке, положила руку на железную решетку, — наконец, с глубоким вздохом отошла от парадного подъезда.

## Глава XLII. При покойнике

Комнаты, занимаемые Морисом де-Креспиньи, находились на заднем фасаде и Элинор, возвращаясь по той же дороге, по которой пришла, могла еще раз взглянуть на окна, выходящие в сад и шпалерник.

Элинор остановилась под вечно зелеными соснами, осенявшими своею густою тенью дом. Венецианские створчатые ставни были опущены снаружи окон той комнаты, где лежал покойник, яркий свет был виден сквозь решетки.

«Бедный старик! – сказала Элинор, грустно заглянув в его комнату. Как он был всегда добр ко мне! Как мне жаль его!»

Деревья, стоявшие сплошною стеной по обеим сторонам окон, представляли надежную защиту, позади которой шесть человек могли безопасно спрятаться в такую темную февральскую ночь. Несколько минут Элинор шла около этого забора, пока вышла на маленькое место, выложенное дерном, которое по своему крошечному размеру едва ли заслуживало названия лужайки.

Медленно шла Элинор отчасти от того, что растрогана была нежным сожалением о покойном друге, отчасти же от нерешимости, овладевшей ею с той ми-

нуты, когда узнала она о его смерти, вдруг она остановилась, потому что услышала шорох как раз возле себя. На этот раз не было уже никакого сомнения, за шорохом последовал тихий, сдержанный шепот, но в царствовавшей кругом тишине слова ясно доносились до слуха Элинор, которая немедленно узнала голос Бурдона.

– Решетки спущены, но не заперты, – прошептал француз, – шоп агш, судьбы нам благоприятствуют!

Он был в двух шагах от Элинор, но она была закрыта густым кустарником. Вероятно, спутником его был Ланцелот, в этом тоже не могло быть сомнения. Но зачем они сюда попали? Верно, Ланцелот не знает еще о смерти своего деда и намерен прокрасться к нему, обманув бдительность своих старых теток?

А между тем двое друзей все ближе подкрадывались к окнам спальни, тихо со всеми предосторожностями, подвигались они, но все же производили шелест, цепляясь за ветки. Неподвижно, притаив дыхание, стояла Элинор, прижавшись к темной стене.

Была минута, когда Ланцелот со своим другом так близко стояли подле нее, что она слышала их торопливое дыхание так же ясно, как и свое. Француз чуть-чуть приподнял венецианскую решетку и осторожно заглянул в это узкое отверстие.

– Тут только сидит старуха, – шепнул он, – совсем

седая и почтенного вида старуха, кажется, она спит. Загляните-ка, mon ami, и скажите кто она.

Говоря это, Бурдон отодвинулся, дав место Ланцелоту, который повиновался своему сообщнику, но угрюмо и неохотно, что делало еще разительнее его сходство с угрюмым господином на парижском бульваре.

– Кто же это? – шепнул француз, когда Ланцелот, наклонившись вперед, заглядывал в окно.

– Мистрис Джекот, ключница деда.

– Кто она, друг или враг вам?

– Должно быть, друг. Я знаю, что она ненавидит моих старых теток и готова скорее служить мне, чем им.

– Хорошо. Мы не станем поверять наших тайн мистрис Джекот, но все же лучше знать, что она дружелюбно расположена к нам. Но послушайте, mon ami, нам непременно надо достать ключ.

– Полагаю, что надо, – проворчал Ланцелот сердито.

– Полагаете? Еще бы! – прошептал француз с постоянным пренебрежением в выражении. – Мы зашли так далеко и наделали так много обещаний, что, полагаю, отступить-то уже нельзя. Как это похоже на вас, англичан, которые всегда готовы струсить в последнюю минуту, когда наступает настоящая пора действовать! Вы храбры и велики до тех пор, пока може-

те громко кричать о своей чести, о своем мужестве и великодушии, когда барабаны бьют, знамена развеваются и целый мир смотрит на вас и удивляется вам, но когда приходит минута действовать с некоторыми затруднениями, немножко рисковать чем-нибудь – так вам сейчас и страшно и поглядываете вы в сторону, как бы тягу дать! Право, всякое терпение с вами лопнет. Вы великая нация, но вы никогда не произвели великого самозванца. Ваши Перкины-Уарбеки, ваши претенденты Стюарты, все они похожи друг на друга. Они едут в гору с десятками тысяч людей, а как въедут на гору, то ничего лучшего не могут придумать, как скорее удирать опять с горы.

При этом он произнес выразительную клятву, как бы в подтверждение своих слов. Не надо, однако, думать, что опытный француз мог бы разглагольствовать по пустому в такую критическую минуту – нет! – он хорошо знал Ланцелота и потому понимал, что ничем нельзя подтолкнуть его к действию как насмешкой. Гордость молодого англичанина возмутилась от оскорбительного пренебрежения француза.

– Что мне надо делать? – спросил он.

– Влезть в эту комнату и поискать ключи старого деда. Я сам бы это сделал и, верно, получше бы вас справился, да боюсь, как бы эта старуха не проснулась, а то она, пожалуй, криком своим поднимет на но-

ги весь дом. Беды не будет, если она увидит вас – расскажите ей только чувствительную историю о вашем пламенном желании увидеть в последний раз вашего деда и благодетеля, что удовлетворит ее и сомкнет ей уста. Вы должны отыскать ключи, мистер Роберт Ланц... виноват, Ланцелот Дэррелль! Не тотчас отвечал молодой англичанин на эту речь. Он все стоял у окна, держа в руках приподнятую решетку, и по движению решетки Элинор могла заметить, как дрожала его рука.

– Не могу, не могу, Бурдон! – проговорил он, едва переводя дыхание, – право, не могу! Как! Я должен подойти к постели, где лежит покойник, и украсть у него ключи? Но ведь это святотатство!.. Не могу! Не могу!..

Путешествующий приказчик пожал плечами, так высоко подняв их, что, казалось, он не мог уже опустить их когда-нибудь пониже.

– Прекрасно! – сказал он. – Кончено. Живи и умри в нищете, господин Дэррелль, только никогда уже не зови меня на помощь для совершения великих дел. Спокойной ночи!

Француз сделал вид, как будто уходит, но так медленно, что Ланцелот успел одуматься.

– Погодите Бурдон! – прошептал он, – не поступайте опрометчиво. Если вы действительно намерены помогать мне в этом деле, то имейте терпение.

Разумеется, я все сделаю что надо, как бы ни было это неприятно. У меня нет особых причин питать благоговение к покойнику: он любил меня не настолько, чтобы мне надо было чересчур деликатничать с ним. Я влезу туда и поищу ключи.

С этими словами Дэррелль поднял решетку и положил уже руку на окно, но француз остановил его.

– Что вы хотите делать? – спросил он.

– Пойти за ключами.

– Но не этой дорогой! Если откроем это окно, то холодный воздух ворвется в комнату и тотчас разбудит старуху... как вы ее там называете, мистрис Джепкот. Нет, вы должны снять сапоги и перелезть через окно из другой комнаты. Видно, что эти комнаты пусты. Пойдем со мною.

Друзья отошли прочь, передвигаясь к окнам гостиной. Элинор перешла к оставленному ими окну и, приподняв ту же решетку стала смотреть в комнату, где лежал покойник. Ключница сидела на покойном кресле у ярко горевшего камина, очевидно было, что она очень утомилась. Голова ее склонилась на мягкую спинку кресла и ровное громкое храпенье достаточно доказывало ее крепкий сон. Огромные занавеси из темно-зеленого шелка были задернуты вокруг кровати, толстая восковая свеча в старинном серебряном подсвечнике горела на столе у самой кровати, две



стеариновые свечи в медных подсвечниках, без сомнения, принесенные ключницей из своей комнаты, стояли на большом столе у камина.

Ничего еще не было тронут с места в комнате покойника. Старые девы считали это за особенное достоинство со своей стороны.

– Мы ни до чего не станем дотрагиваться, – сказала мисс Лавиния, красноречивейшая из сестер, – мы не будем переставлять вещи в комнатах нашего любезного дядюшки. Джепкот, мы вам предоставляем обязанность наблюдать за всем в комнатах покойного вашего господина, все остается на вашей ответственности и вы не должны ни до чего дотрагиваться. Смотрите же, чтобы даже носовой платок лежал на месте до самого приезда писаря мистера Лауфорда из Уиндзора.

Вследствие этого распоряжения, в комнате все оставалось на месте в том же порядке, как было до смерти Мориса де-Креспиньи. Опытная сиделка, исполнив печальный долг, удалилась, ее утомленное тело требовало успокоения. Глаза покойника были закрыты навеки, занавес опущен – все кончено.

На столе у кровати в беспорядке лежали очки, открытая библия, пузырьки с лекарствами, кошелек, косяной нож и ключи, никто не прикасался к этим вещам. Страстно хотелось обеим племянницам узнать

содержание духовной, но ни одной из них и в голову не приходила мысль получить это сведение посредством незаконных мер. Обе сестры были предбросовестные особы, которые по воскресеньям посещали церковь по три раза в день и с ужасом отступали перед мыслью о нарушении закона.

Приподняв немного решетку и наклонившись к окну, Элинор смотрела в освещенную комнату, в ожидании, когда появится Ланцелот Дэррелль.

Большая четырехугольная кровать стояла напротив окна, направо была дверь. Прошло минут пять, прежде чем совершилось появление непрошенных гостей. Наконец дверь тихо отворилась и Ланцелот прокрался в спальню.

Лицо его было покрыто смертельной бледностью, все тело сильно дрожало. В первую минуту он смотрел бессмысленными глазами, как будто окаменевший от страха. Потом он вынул из кармана платок и вытер холодный пот, выступивший у него на лбу и все так же бессмысленно озираясь направо и налево.

Но вот в полуотворенную дверь просунулась голова француза, и жирная маленькая рука протянулась по направлению к столу у кровати покойника и тихий шепот Бурдона раздался в комнате:

– Вот – стол – стол прямо перед вами.

Следуя указанию, молодой человек дрожащими руками стал ощупывать вещи, беспорядочно лежавшие на столе. Недолго пришлось ему искать: ключи лежали под одним из платков. Они звякнули, когда Ланцелот коснулся их, и мистрис Джекот пошевелилась, но глаза ее не открывались.

– Назад! Назад! – шептал француз, видя, что Ланцелот стоял с ключами в руках, как бы окаменевший от ужаса, что его цель достигнута. Повинуясь Бурдону, он поспешно ушел из спальни. По наущению своего сообщника, он скинул сапоги и его ноги, оставаясь в одних чулках, не производили ни малейшего шороха на мягком ковре. «Что он будет делать с ключами? – думала Элинора. – Если ему известно содержание духовной, как думает Ричард, то на что ему ключи?»

Она не отходила от окна освещенной комнаты, все думая, что из этого выйдет? Куда пошел Ланцелот? Что он будет делать с ключами? Тихо стала она прокрадываться вдоль стены, прошла мимо окон уборной, где было совершенно темно, и остановилась у окна кабинета. Все окна нижнего этажа были в одном роде: длинные до самого пола, как балконы, на всех были спущены венецианские створчатые ставни. Но в кабинете хотя решетки были спущены, окно же отворено, так что Элинора сквозь решетку увидела слабый свет. Свет этот происходил от маленько-

го потаенного фонарика у француза в руках. Он светил Ланцелоту, стоявшему на коленях перед нижней половиною старинной конторки, на которой Морис де-Креспиньи имел обыкновение писать и в которой сохранял свои бумаги.

Нижняя половина конторки заключала в себе множество небольших выдвижных ящиков, которые закрывались дверцами эбенового дерева накладной работы, дверцы были уже открыты, и Ланцелот занялся осматриванием бумаг, лежавших в ящиках, его руки все еще сильно дрожали и он исполнял это дело медленно и робко. Француз, как видно, не страдал нервами и деятельно помогал ему, направляя свет фонаря на бумаги, которые тот держал в руках.

– Нашли ли вы то, что надо? – спросил француз.

– Нет, пока еще ничего, ничего кроме контрактов, квитанций, писем, счетов.

– Торопитесь, вспомните, что мы должны положить на место ключи и успеть уйти. Другое-то у вас наготове?

– Да!

Они разговаривали шепотом, но шепот их был явственнее разговора в другое время. Элинор слышала все до слова.

Наступило продолжительное молчание. Ланцелот выдвигал и задвигал ящики, поспешно осматривая

что в них находилось. Вдруг из груди его вырвался полусдержанный крик:

– Нашли? – воскликнул француз.

– Нашел!

– Так подмените скорее и запирайте конторку.

Ланцелот бросил документ, найденный им в ящике, на близстоящий стул и, вынув другую бумагу из кармана, положил ее на место вынутой, потом задвинул ящик и запер дверцы на ключ. Все это сделал он с нервной торопливостью и никто из них не заметил, что в это время из одного ящика выпала третья бумага такого же вида и объема, как и первая, и лежала на ковре у самой конторки.

Только в эту минуту Элинор Монктон начинала понимать, какого рода был заговор, свидетельницей которого она была. Ланцелот Дэррелль и его сообщник подменили поддельным документом настоящую духовную, подписанную Морисом де-Креспиньи и засвидетельствованную Джильбертом Монктоном и писарем нотариуса Лауфорда. Настоящий документ и был тот, который Ланцелот бросил на стул, стоявший близ конторки.

## Глава XLIII. Короткое торжество

Первое побуждение Элинор было броситься в комнату и обличить Ланцелота в присутствии тех, которые, наверное, сбежали бы на ее крик. Тетки, вероятно, не пощадили бы его, он стоял бы перед ними, как уличный злодей, способный на всякое преступление, на всякое мошенничество для удовлетворения своих выгод. Но второе побуждение, столь же быстрое, как и первое, остановило ее запальчивость. Ей хотелось дождаться конца, ей хотелось видеть, что еще будут делать эти злоумышленники? Под влиянием первого своего побуждения – броситься в комнату, она выдвинулась вперед и при этом движении зашелестела листьями, под которыми стояла. До острого слуха француза дошел звук этого шелеста.

– Скорее, скорее! – прошептал он, – отнесите ключи назад, в саду кто-то есть.

Ланцелот Дэррелль встал с колен. Дверь из кабинета в уборную оставалась полуотворенной. Ланцелот бросился туда с ключами в руке. Виктор Бурдон закрыл фонарь и подошел к окну. Он поднял решетку и вышел в сад. Элинор крепко прижалась спиной к стене и присела совершенно закрытая деревьями. Француз начал свои поиски между кустарника-

ми по правую сторону окна, а убежище Элинор было по левую: это дало ей свободную минуту перевести дух и рассудить, что ей делать.

«Завещание, – подумала она, – подлинное завещание Прошено на стуле около конторки. Ах! Если бы я могла его достать!»

Как молния мысль эта промелькнула в ее голове. Бесстрашная в своем увлечении, она выдвинулась вперед и быстро, бесшумно проскользнула через отворенное окно в кабинет, прежде чем Виктор Бурдон успел осмотреть кустарники по правую руку.

Все ее нервы, все ее чувства были в высшей степени напряжены. В комнате был один только свет – слабый луч, проходивший через маленькую уборную из отворенной двери в спальней Мориса де-Креспины, этот свет был очень слаб, но отворенная дверь была как раз напротив конторки и весь этот слабый свет прямо падал на то место, которое с таким нетерпением искала Элинор. Она увидела на стуле бумагу и на полу другую бумагу, которые белели при тусклом свете отдаленных подсвечников. Она схватила духовную, лежавшую на стуле, и сунула к себе в карман, потом подняла другую бумагу с пола и положила на стул, после этого, закутавшись в бурнус, она опять вышла в сад.

Не успела Элинор снова притаиться под тенью де-

ревьев, как вдруг почувствовала легкое прикосновение одежды и горячее дыхание у самого своего лица: француз прошел мимо нее так близко, что почти невозможно было не заметить ее присутствия, а между тем он не заметил ее в своей торопливости.

Ланцелот возвратился в кабинет в ту минуту, когда Элинор вышла оттуда. Он с трудом переводил дыхание и остановился на минуту, чтобы еще раз обтереть пот, выступавший на его лице.

– Бурдон! – воскликнул он. – Бурдон! Где вы?

Француз проходил мимо балкона в то время, когда молодой человек его звал.

– А я тут смотрел, нет ли шпионов.

– Что же, нашли?

– Нет никого, фальшивая тревога.

– Уйдем скорее, – сказал Ланцелот, – нам удалось отделаться лучше, нежели я предполагал.

– Не лучше ли нам прежде запереть вон ту дверь, – сказал Бурдон, указывая на дверь, сообщавшуюся с другою частью дома.

Ланцелот запер ее, как только вошел в кабинет, и таким образом охранил себя от нечаянного нападения. Оба друга уходили, как вдруг Бурдон остановился.

– Друг мой, мы забыли одну вещь, – шепнул он, положив руку на плечо Ланцелота.



– Что такое?

– Духовную, настоящую-то духовную, – сказал француз, указывая на стул, – славную штуку выкинули бы мы, если б оставили ее здесь.

Ланцелот ужаснулся и схватился рукою за голову.

– Я совсем с ума сойду, – пробормотал он, – зачем вы вовлекли меня в это дело, Бурдон? Не вы ли тот демон, который всегда подстрекал меня на зло?

– На следующей неделе, *mon ami*, когда вам достанется этот дом со всеми угожьями, вы совсем иначе заговорите. Берите-ка бумагу и пойдемте скорее прочь, если вам не хочется дожидаться появления ваших старых девственниц.

Ланцелот схватил бумагу, которую Элинор положила на стул около конторки, и хотел было всунуть ее в карман, но француз вырвал ее у него из рук.

– Неужели вы хотите сберечь этот документ или выронить его где-нибудь в саду? Надо его сжечь, если это для вас все равно, чтоб избавиться от всех хлопот, которые могут нам наделать все эти господа-законники, королевские прокуроры и адвокаты.

Бурдон, когда смотрел не подсматривает ли кто за ним, спрятал свой фонарь в карман своего пальто, а теперь он вынул ящик со спичками, зажег спичку и, держа документ в левой руке, а в правой спичку, стал поджигать его.

Но бумага медленно загоралась, так что Бурдон успел зажечь новую спичку, прежде чем ему удалось исполнить свое намерение. Наконец бумага мало-помалу загорелась, и при этом свете Элинор ясно могла видеть напряженные лица двух сообщников, бледное как смерть лицо Ланцелота, было похоже на человека, который смотрит на смертоубийство, путешествующий приказчик смотрел на сожжение документа с улыбкою торжества, так казалось наблюдавшей за ними Элинор.

«V'la! – воскликнул француз, когда бумага, обратившись в пепел, выпала из его рук и медленно догорала на полу. V'la! – воскликнул он, топнув ногою по серому рассыпавшемуся пеплу – и так много хлопот из-за этой золы! По крайней мере наше маленькое предприятие, mon ami, теперь можно сказать, благополучно закончилось».

Ланцелот отвечал глубоким вздохом.

– Слава Богу! – сказал он, – что все закончилось. Ни за что на свете другой раз на подобное дело не пойду, хотя оно доставило бы мне двадцать таких богатств.

Элинор все еще стояла на мокрой траве, прижавшись к стене и ожидая, когда уйдут друзья. Крепко прижала она руку к сердцу, бившемуся надеждою на близкое торжество.

Наконец наступила минута мщения. То, о чем она мечтала так давно, теперь осуществилось. Закон не имел права наказывать Ланцелота за низкое мошенничество, которое довело ее старого отца до такой несчастной смерти, но злодей своим преступлением поставил себя ответственным перед правосудием закона!

«Духовная, которую положил он в бюро, поддельная, – думала она, – а настоящая у меня в кармане. Теперь он не ускользнет из моих рук – нет, не ускользнет! Его судьба в моих руках!»

Приятель вышел из-за кустарников на лужайку. Элинор оставила принужденное положение и зашелестела листьями. В эту минуту слышались голоса и издали показались огни. В числе голосов она ясно различала голос своего мужа.

«Тем лучше, – подумала она, – я расскажу ему, каков Ланцелот Дэррелль, сегодня же расскажу».

Голоса и огни приближались, и она услышала слова своего мужа:

– Не может быть, мисс Сара: зачем будет оставаться здесь моя жена, она, наверное, возвратилась в Толльдэль и, к несчастью, мы с ней разошлись дорогой.

Не успел произнести этих слов Монктон, как вдруг при свете фонаря, который был у него в руке, он уви-

дел Ланцелота, прятавшегося в кустарниках, окружавших лужайку.

Молодому человеку не удалось спрятаться под гостеприимную тень деревьев, прежде чем Джильберт Монктон увидел его. Бурдон, может быть, привычнее своего приятеля к подобным делам, был счастливее его и при первом звуке голосов успел нырнуть за деревья.

– Дэррелль! – воскликнул Монктон, как вы сюда попали?

С угрюмым видом стоял молодой человек в нерешимости.

– Кажется, я имею такое же право, как и всякий другой прийти сюда. Я услышал, что дед мой умер и пришел сам удостовериться, правда ли это.

– Вы слышали о смерти нашего любимого дядюшки! – воскликнула мисс Сара де-Креспиньи, устремляя пронзительный взгляд на своего племянника из-под огромного капора, охранявшего ее, как под навесом, от сырости ночного воздуха. – Как и от кого вы могли слышать об этом печальном событии? Мы с сестрицей именно дали строжайшее приказание, чтобы никому об этом не говорить до завтрашнего дня.

Разумеется, мистеру Дэрреллю не было никакой охоты объявлять, что один из удлэндских слуг был

подкуплен им и что этот слуга был тот самый садовник Брукс, который заехал прежде в Гэзльуд, чтобы сообщить ему известие о смерти деда, а потом уже отправился в Уиндзор.

– Слышал, да и все тут, и потому пришел сам удостовериться, правда ли это.

– Но вы отходили от дома, когда я увидел вас? – сказал Монктон несколько подозрительно.

Я не отходил от дома, потому что не был в доме, – отвечал Ланцелот неохотно, угрюмо, потому что знал, что всякое слово – совершенно бесчестная ложь.

Он принадлежал к числу тех людей, которые, делая зло, всегда оправдывают себя и обвиняют в том несправедливость людей. За все свои поступки он возлагал ответственность на общество.

– Не видали ли вы моей жены? – спросил Монктон все так же подозрительно.

– Нет, я сейчас только пришел и никого не видел.

– Должно быть, я с ней разошелся, – пробормотал Монктон с озабоченным видом, – никто не видел, как она вышла из дома. Она ушла, ничего никому не сказав. Я только по догадке узнал, что она сюда пошла. Это очень странно!

– Очень странно! – повторила мисс Сара со злобною радостью. – Что касается меня, я, право, не вижу, какая причина заставила мистрис Монктон поспешить

сюда в самую ночь смерти.

Время, о котором говорила мисс Сара, как о ночи смерти, в самом деле было не более одиннадцатого часа. Мистер Монктон и мисс де-Креспиньи медленно пошли по песчаной дорожке, идущей между лужайкой и кустарниками по другую сторону дома. Ланцелот пошел за ними, рядом с теткою, опустив голову, засунув руки в карманы.

Иногда он отставал, чтобы отбросить камни, попадавшие ему под ноги.

Нельзя себе представить ничего более достойного презрения, как в настоящую минуту был этот молодой человек. Он ненавидел себя за все дурное им сделанное, он ненавидел человека, который подводил его под это, он возмущался против неисповедимых путей Провидения, потому что, по его мнению, Провидение – судьба, или еще какая другая сила были причиною всех его побуждений и злодеяний, и неохотно шел он, стараясь принять вид невинного человека и употребляя все усилия, чтобы как-нибудь отделаться от пытливого взгляда мистера Монктона.

Ланцелот до такой Степени встревожился и напугался, что не в силах был отчетливо представить себе всей опасности своего положения. «Ужасно, что его захватили здесь, ведь это может погубить его, – думал он. – Ну что, если со временем возникнут сомне-

ния в действительности духовного завещания, найденного в конторке Мориса де-Креспиньи? Ведь, пожалуй, тогда припомнят, что он шатался вокруг дома в ночь смерти старика и представил не совсем достаточные причины своего присутствия?» Идя рядом с теткой, он передумал обо всем этом и в этом раздумьи ему вдруг пришло на ум желание: нельзя ли все это переделать по-прежнему? Нет, никак нельзя: дело сделано – преступление совершено. Виктор Бурдон сжег настоящую духовную, значит, этого уже не переделаешь и преступления не исправишь.

«Проклятая услужливость! – думал он, – если б не это, так я, может быть, успел бы все переделать по-прежнему».

Когда Монктон со своими спутниками повернул за угол дома к парадному входу, откуда мисс Сара вывела Монктона в сад, вдруг от стены отделилась темная фигура в широком бурнусе и вышла к ним навстречу из кустарников, окружавших окна покойного Мориса де-Креспиньи.

– Кто тут? – вскричал Монктон.

Сердце у него сильно забилося, и вопрос этот был почти лишним, он был убежден, что это его жена.

– Это я, Джильберт, – отвечала Элинор спокойно.

– Вы, здесь, мистрис Монктон! – закричал ее муж таким суровым голосом, что воздух издал сотрясение

металлических звуков. – Зачем вы прятались в кустарниках?

– Да, я здесь, давно ли я сюда пришла, мисс Сара? Мне, кажется, будто я стояла здесь целый век.

– Вы приходили сюда двадцать минут тому назад, – отвечала мисс Сара холодно.

– И по замечательному стечению обстоятельств, – закричал Джильберт Монктон тем же неестественным голосом, – мистер Дэррелль тоже случайно сюда попал! Только я должен отдать вам справедливость, мистрис Монктон, вы явились перед нами совсем не в таком расстроенном виде, как этот джентльмен. Женщины всегда имеют преимущество перед нами: им так легко обходятся подобные вещи, для них ничего не значит обман или разочарование.

– Обман! – повторила Элинор.

Что он хочет этим сказать? Зачем он сердится на нее? Она удивлялась его обращению, когда шла рядом с ним в дом. Ей и в голову не приходило, какого рода подозрения мучили ее мужа. Всепоглощающая мысль ее жизни была та, чтобы наказать человека, погубившего ее отца: могла ли она допустить мысль, что муж станет ревновать ее к единственному человеку, которого она ненавидела? Зная свои чувства и воображая, что эти чувства более или менее понятны и другим, могла ли она допустить подозрения Монк-



тона?

Рядом с мужем вошла она в залу, а оттуда в гостиную, где обыкновенно сидели обе сестры, за ними следовали мисс Сара с племянником. Ярко горела лампа на круглом столе, за которым сидела мисс Лавиния, держа в руках какую-то религиозную книгу. Кажется, она употребляла все усилия, чтобы настроить свой ум на молитвенное состояние, но роковая мысль о том, кому достанется наследство от дяди, была сильнее духовного влияния, и я боюсь, что мысли мисс Лавинии часто уносились далеко от духовной книги, чтобы углубиться в исчисления, сколько приносят дохода акции железных дорог или пятипроцентные билеты?

– Надо разъяснить, наконец, это дело, – сказал Монктон, – пора же понять нам друг друга. Много, слишком много было мистификаций, и все это мне страшно надоело!

При этих словах Монктон подошел к мраморному камину и облокотился на него. С этого места он обзирал всех присутствующих в комнате. Ланцелот Дэррелль бросился в кресло у стола, как раз против тетушки Лавинии. Он не побеспокоился поздороваться с нею и не поклонился даже мистрис Монктон, но поспешил сесть и, облокотившись на ручку кресла, кусал себе ногти и стучал каблуками по ковру, а в го-

лове его все та же неотвязная мысль: «Ах! Если б я мог поставить опять все по-прежнему! Хоть бы только то переделать и поправить, что было сделано четверть часа назад, для того, чтоб иметь право опять смотреть прямо в глаза людям».

Но к настойчивому желанию поправить дело, желанию, так сильно овладевшему Ланцелотом, не пришивалось раскаяния в сделанном преступлении, не было сознания в несправедливости его бесчестного поступка, не было желания сознаться в этом и возратить права другому, по принадлежности – нет! Одно только себялюбивое чувство имело влияние на его мысли: ему хотелось только казаться правым перед людьми. Ему ненавистно было новое положение, в которое он сам себя поставил в первый раз в жизни – положение уличенного преступника, ответственного перед законом, который будет судить его, как обыкновенно судят всех мошенников и злодеев, который заставит его претерпеть такое же наказание, какое терпят самые низкие преступники.

Казалось, что душа его впала в какое-то оцепенение, что он действует как будто во сне и что он в первый только раз понял всю преступность своего дела и способен был взвесить всевозможные последствия своего поступка.

«Я совершил мошенническую подделку, – думал

внесли откроется мое преступление, меня сошлют на Бермудские острова, где до самой смерти я должен жить и работать вместе с разбойниками и насильниками! Если откроется! Но как же не открыться, когда я зависим от злодеев, помогавших мне?»

Элинор сняла бурнус, но, отказавшись от стула, предложенного ей мисс Сарою, остановилась посреди комнаты, как раз против мужа, обратив к нему лицо, так что весь свет от лампы падал на нее. Ее большие серые глаза горели огнем вдохновения, щеки пылали, густые волосы, свободно падавшие вокруг лица, блестели, как золото на огне.

Никогда еще ее красота во всем своем молодом великолепии не казалась такою поразительною, как в эту ночь. Джилльберт был поражен: сознание своего торжества, мысль, что теперь в ее руках мщение за смерть любимого отца, придавали необыкновенный блеск ее прелестям, не простой женщиной, одаренной всеми земными прелестями женственности казалась она – нет, в ней явилась величественная Немезида, блистающая сверхъестественною красотою.

## Глава XLIV. Потеря

– Ты спрашиваешь у меня: зачем я сюда пришла ночью, – сказала она, смотря на своего мужа, – я объясню тебе это, Джильберт, но прежде я должна рассказать длинную историю, историю почти всей моей жизни.

Ее звучный, музыкальный голос пробудил Ланцелота от мрачного раздумья. Он взглянул на Элинор и в первый раз, сознавая ее присутствие, удивился, каким образом и она сюда попала. Они встретили ее в саду, но зачем же она зашла в сад? Что она там делала? Неужели она подсматривала за ним? Нет! Как можно это предполагать! И есть ли какая причина подозревать ее в таком шпионстве? Нет, – думал он, слишком нелепо и безумно предполагать такой ужас, а между тем вся его жизнь отныне будет состоять из таких ужасов и опасений, таких нелепых, безумных опасений...

– Помнишь ли, Джильберт, – продолжала Элинор, – что, давая тебе слово быть твоею женою, я объявила мое настоящее имя, с просьбою сохранить его в тайне от всех и от Ланцелота Дэррелля также?

– Помню, – отвечал Монктон.

Даже среди мучений ревности и подозрений, давно

терзавших душу Монктона, мучений, достигших в эту ночь высшей степени и совершенно овладевших им, все же он не мог уклониться от чувства восхищения, смотря на величавое спокойствие и самоуверенное достоинство Элинор.

А между тем она обманывала его – он в этом был уверен. Давно уже решил он в уме, что при втором, как и при первом случае его жизни, он был бесчеловечно обманут. В первый раз им играли, кокетничали с ним, дурачили и надували его и после всего этого, вероломная смеялась прямо ему в глаза смехом невинного ребенка, но во второй раз – Элинор была гораздо искуснее в хитрости и коварстве – вот и вся разница!

«Но теперь не удастся ей обмануть меня, – думал он, угрюмо, смотря на прекрасное лицо, обращенное к нему, – что бы она ни говорила, я не поверю ей».

– Надо ли говорить, Джильберт, зачем я просила тебя сохранить мою тайну? – продолжала Элинор, – я просила о том, потому что имела причину, побуждавшую меня приехать в эти места. Причина эта была сильнее даже моей любви к тебе, Джильберт, хотя я любила тебя, Джильберт, более чем воображала, что могу любить, потому что я не могла думать ни о чем другом, кроме как о той причине, которая стала един-

ственной целью моей жизни.

У Монктона судорожно искривилась верхняя губа от негодования. «Она любила его! Однако это чересчур уж нелепо: всю жизнь быть игрушкой вероломных женщин. В летах мужества быть обманутым и осмеянным, как в первой молодости и всегда любимую женщиною!» При мысли о своем безумии, он презрительно улыбнулся.

– Ланцелот Дэррелль! – воскликнула Элинор внезапно изменившимся голосом, – должна ли я сказать вам, что заставило меня вернуться по соседству со здешними местами? Должна ли я объяснять, почему желала сохранять втайне мое имя от вас и от ваших родных?

У молодого человека и руки опустились, он поднял голову и взглянул на Элинор. Изумление и ужас выразились на его лице: он удивился, почему жена Монктона обращается к нему, и ужасался сам еще не зная чего.

– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, мистрис Монктон, – сказал он, запинаясь. Какое мне дело до вашего фальшивого имени или до вашего приезда сюда?

– Очень важное! – воскликнула Элинор, – это было сделано для того, чтобы жить вблизи вас.

– Я так и думал! – пробормотал Монктон, – едва

переводя дыхание.

– Для того, чтобы жить вблизи вас, – повторила Элинор, – да, Ланцелот Дэррелль, чтобы жить вблизи вас, я так страстно желала возвратиться сюда, так страстно, что готова была прибегнуть к хитрости, подвергаться опасности – на все решиться, только бы ускорить свое возвращение сюда. Для этого я решилась на самый важный шаг в жизни женщины, совсем не думая о его важности. Имя мое сохранялось втайне для того, чтоб обмануть вас. Я возвратилась сюда за тем, чтобы обличить вас, Ланцелот Дэррелль, как злодея, который мошеннически обыграл несчастного старика, вы заставили его проиграть чужие деньги, и он не вынес этого позора и осудил себя на самоубийство. Долго выжидала я этой минуты, наконец она наступила. Благодарю тебя, Боже! что я дожидая до этой минуты.

Ланцелот Дэррелль вскочил со своего места. Его бледное как смерть лицо обратилось к Элинор и глаза остановились на ней в оцепенении от ужаса. В первую минуту замешательства ему хотелось броситься вон из комнаты, чтобы скрыться от этой женщины, которая во время только что совершенного преступления напомнила ему прошлое злодеяние. Но он стоял неподвижно, точно окаменевший, под влиянием волшебной силы устремленного

на него взгляда. Элинор стояла между трусом и дверью: не было возможности бежать от нее.

– Теперь вам известно, Ланцелот Дэррелль, кто я и как мало милосердия вы можете ожидать от меня, – продолжала Элинор звучным металлическим голо-сом, с которым обращалась к своему врагу. – Вспомните число одиннадцатое августа! Вспомните ту ночь, когда вы встретили моего отца на бульваре, в ту ночь я стояла возле отца и крепко ухватилась за его руку, когда вы со своим гнусным сообщником старались оторвать его от меня. Богу известно, как я любила отца! Богу известно, с каким счастьем я дожидалась этого будущего, чтобы жить с ним, работать для него! Ему одному известно, как отрадно осуществилась бы эта любимая мечта моего детства! Но выпадет на вашу голову преступная смерть старика! да падет на вашу голову погибшая надежда его дочери! Теперь вы угадываете, зачем я попала сюда ночью и что я здесь делала! Теперь вы можете понять, какого милосердия должны ожидать от дочери Джорджа Вэна.

– Дочь Джорджа Вэна!

В безмолвном ужасе Сара и Лавиния подняли руки и глаза к небу. Неужели это та самая женщина, та ядовитая змея, которая нашла доступ в самое сердце крепости, так ревностно охраняемой, то самое ужасное существо, которое они менее всего допустили бы



к покойному дядюшке?

Нет, это невозможно! Ни одна из племянниц де-Крепспињи не слыхивала о рождении младшей дочери Джорджа Вэна. Покойный дядя их получил известие о ее рождении в письме присланном украдкой, но сохранял это известие втайне.

– Какая нелепость! – сказала мисс Лавиния наконец, – у Джорджа Вэна младшая дочь Гортензия Баннистер, по и той уже по крайней мере тридцать пять лет.

Но Ланцелоту это было лучше известно. Он вспомнил страшную картину, представлявшуюся перед его глазами при сером рассвете августовского утра. Он вспомнил седого старика, посреди изношенной роскоши второклассной кофейной, плакавшего о своей младшей дочери, оплакивающего потерю денег, которые следовало заплатить за ее воспитание, несчастного, убитого горем старика, который, протянув над ним руку, проклял злодея, мошеннически обыгравшего его.

Как теперь, видел он фигуру этого старика с дрожащими руками, поднятыми над ним! Как теперь, он видел это морщинистое лицо, такое дряхлое, болезненное в это серое августовское утро, и слезы, струившиеся из его тусклых голубых глаз! С тех пор он жил под бременем этого проклятия и ему казалось,

как будто все это совершилось только в настоящую ночь.

– Я – Элино́р Вэн, я родная по отцу сестра Гортензии Баннистер. Из глупой гордости она заставила меня ехать в Гэзльуд под чужим именем. Но я, чтоб отомстить Ланцелоту Дэрреллю, сохраняла и впоследствии настоящее имя мое втайне!

Элино́р Вэн! Элино́р Вэн! Возможно ли это? Из всех людей, кого Ланцелот боялся, Элино́р Вэн казалась ему страшнее всех. Если бы он даже не поступил так жестоко с ее отцом, если б даже не был и косвенною причиною его смерти, так и тогда он имел причины бояться ее: он хорошо знал эти причины, и упал опять в кресло бледный и дрожащий, как дрожал в то время, когда крал ключи, лежавшие близ покойника.

– Морис де-Креспиньи с моим отцом были искренние друзья, – продолжала Элино́р.

Ее голос изменялся, когда она произносила имя отца, и светлое ее лицо покрывалось нежным оттенком грусти.

Она никогда не могла ни слышать, ни произносить имени отца без особенной грустной нежности, выражавшейся во всей ее физиономии.

– Всем здесь известно, – продолжала она, – как они искренне любили друг друга, и мой бедный, мой дорогой отец всегда питал безумную надежду, что после

смерти Мориса де-Креспиньи он получит в наследство этот дом и все его имение, и что он опять разбогатеет и мы с ним заживем счастливо. Я никогда не верила этому.

Станный, огненный взгляд бросил на нее Ланцелот, но ничего не сказал, между тем как старые сестры не могли пропустить без замечания слов Элинор.

– Никогда не верили? – ну уж этому, извините, я не могу поверить, – возразила мисс Лавиния.

– Уж, конечно, вы никогда не вступали в этот дом без корыстолюбивых видов на духовное завещание моего милого дядюшки! – воскликнула мисс Сара с ядовитостью.

– Никогда не имела я ни малейшей надежды на осуществление мечты моего милого отца, – продолжала Элинор, до того равнодушная к замечаниям старых сестриц, что можно было думать, будто она совсем не слыхала их, – но я не противоречила ему в этой и ни в какой другой мечте, как бы она ни была безрассудна. Но после его ужасной смерти я припомнила, что мистер де-Креспиньи был его другом и все ждала только явного доказательства преступления этого человека (при этом она указала на Ланцелота), чтоб обличить его перед дедом. Я думала, что друг моего отца выслушает меня и, узнав все дело, никогда не захочет, чтобы такой злодей был его наследником и на-

деялась этим средством отомстить ему за смерть моего бедного отца. Сегодня узнала я, что мистеру де-Креспиньи недолго уже остается жить и потому поспешила сюда с намерением представить ему в настоящем виде характер человека, который надеялся быть его наследником.

Старые девы переглянулись. Во всяком случае было бы недурно, если бы Элинор успела вовремя для свидания с покойником. Очень жаль, что любезный дядюшка умер, не узнав, каков его внук, тогда как именно в последнее время можно было опасаться, что духовная будет сделана в его пользу. Но, с другой стороны, дочь Джорджа Вэна для них гораздо опаснее соперница, чем Ланцелот. Кто знает, как бы ей удалось уломать старика?

– Я и не сомневалась, что вы желали обличить перед любезным дядюшкой мистера Дэррелля, а там и нас также, по тому же поводу, – заметила мисс Сара, – для того, чтоб иметь возможность самой воспользоваться наследством любезного дядюшки.

– Мне воспользоваться! – воскликнула Элинор, – но какое мне дело до наследства бедного старика?

– Моя жена так богата, что стоит выше такого подозрения, мисс де-Креспиньи, – сказал Монктон гордо.

– Я пришла слишком поздно, – продолжала Элинор, – слишком поздно, чтобы видеть друга моего от-

ца, но не так поздно, чтобы добиться, наконец, давно желанной цели: отомстить злодею, погубившему моего отца. Мисс Сара, посмотрите на сына вашей сестры, посмотрите на него, мисс Лавиния: вы имеете право гордиться им – с начала до конца он лжец и обманщик, на нынешнюю ночь он возвысился от мошенничества до преступления. Закон не наказал бы его за жестокость, с которой он довел моего несчастного отца до отчаяния, но закон накажет его за то, что он совершил в нынешнюю ночь, потому что он совершил преступление.

– Преступление!

– Да. Как вор прокрался он в этот дом, где лежал его дед мертвым, и подложил какой-то документ, вероятно, им подделанный, на место подлинного духовного завещания, оставленного мистером де-Креспиньи в конторке.

– Откуда ты это знаешь, Элинор! – закричал Монктон.

– Потому, что я стояла под окном кабинета, когда он подменивал бумаги в конторке, и потому что настоящая духовная у меня в кармане.

– Это ложь! – крикнул Ланцелот, вскакивая с кресла, – страшная ложь, потому что настоящая духовная...

– Сожжена вами, мистер Дэррелль, вы так думаете

те, но ошибаетесь. Ваш друг, Виктор Бурдон действительно сжег какую-то бумагу, которая выпала на пол из конторки, пока вы искали в ящиках духовное завещание.

– Элиноор, где ж этот документ? – спросил Монктон.

– Вот он, – отвечала она с торжеством.

Она сунула руку в карман – карман был пуст: духовная пропала.

## Глава XLV. Общая тревога

Духовная пропала. Элинор старалась припомнить, где и как она могла потерять ее? Она могла допустить одно только предположение: документ этот выпал из ее кармана. В то время, как она пряталась за кустарниками, прижавшись к стене, может быть, карман зацепился за ветку, а когда она встала, то бумага могла выпасть. Она не могла допустить мысли, что бумага потеряна другим способом. И неудивительно: она так была поглощена надзором за Ланцелотом, что совсем забыла, какой важный документ сунула в свой карман. Письмо отца и эскиз, сделанный Ланцелотом, лежали в целости у нее на груди, но духовная, подлинная духовная, на место которой подложил Дэррелль поддельную, пропала.

– Покажи мне духовную, Элинор! – сказал Джильберт, подходя к жене!

«Хоть она самая искусная актриса, самая коварная женщина, – думал Монктон, – однако в эту ночь она действовала не совсем как актриса, и не совсем как коварная женщина. Она не любила его и сама прямо созналась в том. Она не любила его и вышла за него замуж для того только, чтоб это благоприятствовало ее цели».

Но если верить ее страстным словам, она не любила и Ланцелота в этом уже большое облегчение для мужа.

– Покажи мне духовную, – повторял он жене, которая побледнела и в испуге смотрела на него.

– Я не могу найти ее, – сказала она с отчаянием, – она пропала. Ради Бога, пойдите скорее в сад и поищем ее везде. Вероятно, я выронила ее из кармана, когда стояла за деревьями под окном. Умоляю вас, пойдите искать!

– Я сейчас пойду, – сказал Монктон, взяв шляпу и подходя к двери.

Но мисс Лавиния не допустила его.

– Нет, мистер Монктон, прошу вас не выходите в такую сырость. Паркер тоже может поискать эту бумагу.

Она позвонила, на ее зов явился старый буфетчик.

– Возвратился ли Брукс из Уиндзора? – спросила она.

– Нет еще.

– В шпалернике около комнат покойного дядюшки обронена бумага: возьмите фонарь, Паркер, и поищите ее всюду хорошенько.

– Боже мой! – как долго этот Брукс не возвращается из Уиндзора! – воскликнула мисс Сара, – как бы я желала, чтобы скорее явился писарь мистера Лауфорда, тогда были бы приняты все меры и нас не стали бы



беспокоить.

Тут старая девица подозрительно бросила взгляд с племянника на Элинора, с Элинора на Монктона, не зная кому верить и кого больше надо опасаться. Перед нею сидел Ланцелот, яростно кусавший свои ногти и опустив голову на грудь. Возле нее села Элинора, глубоко сокрушенная потерей духовного завещания.

– Не опасайтесь, мисс де-Креспиньи, мы не станем долго беспокоить вас, – сказал Монктон, – но моя жена произнесла обвинение против человека, находящегося в этом доме. Справедливость требует для вашей же выгоды, как и для подтверждения слов и правоты моей жены, чтоб это дело было разъяснено, и без всякого отлагательства.

– Духовная непременно найдется: она, вероятно, выпала из моего кармана! – воскликнул Элинора.

Ланцелот ничего не говорил, но ждал исхода поисков. Если духовная будет найдена, то он готовился отречься от нее, потому что ему не оставалось другого выхода. Он ненавидел эту женщину, которая так внезапно восстала перед ним врагом и обличителем, которая напомнила ему самую тяжелую картину его первого великого бесчестья, которая поймала его с поличным во время его первого преступления. Он ненавидел Элинора и готовился принести ее в жертву ра-

ди своего спасения. С этим злым намерением он поднял голову и посмотрел на всех окружающих с презрительной улыбкой.

– Что это такое, мистрис Монктон, шутка или разговор? – спросил он, – неужели вы надеетесь уничтожить действительную духовную моего деда, какова бы ни была его последняя воля, заявлением какого-то документа, поднятого вами будто в саду, и который, вероятно, никогда не бывал в этом доме, тем более в руках покойника? Неужели вы думаете, что найдется человек, который поверил бы вашей остроумной романтической истории о самоубийстве в Париже и о ночной сцене в Удлэндсе? Конечно, это была бы приятная сказка для какой-нибудь дешевой газеты, но не для чего другого?

– Осторожнее, мистер Дэррелль, – сказал Монктон спокойно, – наглостью вы ничего не выиграете. Если я оставляю безнаказанно вашу дерзость против моей жены, так это потому только, что я начинаю понимать, что вы такой презренный бездельник, который недостойн гнева честного человека. Гораздо лучше будет для вас, если вы придержите свой язык за зубами.

В последних словах немного было красноречия, зато в них слышался отголосок закона, который произвел сильное влияние на молчание Ланцелота. Палку свою мистер Монктон положил на стул у камина,

а произнося последние слова, он взял в руки шляпу и палку, может быть, без умысла, но его движение не ускользнуло от брошенного украдкой взгляда виновного человека: он молчал и, мрачно нахмурившись, грыз себе ногти.

«Положим, – думал он, что завещание будет найдено и действительный документ будет сличен с подложным, который положен в бумаги деда, тогда на его долю выпадет жребий позора, казни и нищеты».

Все это он вытерпел в эту ночь, сидя посреди людей, из которых ни один не был его другом, все это было только предвкушением того, что придется ему вытерпеть на скамье преступников.

Некоторое время в комнате царствовало молчание. Встревоженные и испуганные сестрицы переглядывались друг с другом в ужасе, что все это дело закончится, пожалуй, тем, что они-то и пострадают, что они-то в своей беспомощности и будут обобраны – все равно кем бы то ни было: Ланцелотом или дочерью Джорджа Вэна. Утомленная своим напряженным состоянием, Элинор не спускала глаз с двери, в ожидании старого буфетчика.

Более четверти часа прошло в таком напряженном молчании. Наконец дверь отворилась и явился Паркер.

– Отыскали? – вскрикнула Элинор, вскочив к нему

навстречу.

– Нет, нигде нет, мисс Лавиния, – сказал старик, обращаясь к своей хозяйке. – Я искал на каждом шагу, обыскал весь сад и ничего не нашел. Горничная тоже искала со мною – ни одной бумажки нет.

– Непременно она в саду, непременно там, – разве ветром сдуло, – воскликнула Элинор.

– В саду нет ни малейшего ветра, – возразил Паркер, – кустарники высокие и надо быть очень уж сильному ветру, чтобы перенести бумагу через деревья.

– Искали ли вы под деревьями, на земле? – спросил Монктон?

– Искал, сэр. Мы с горничною всюду обыскали.

Ланцелот Дэррелль разразился громким дерзким хохотом.

– Еще бы! – воскликнул он, – иначе и не может быть, потому что вся эта история – выдумка. Прошу прощения, мистер Монктон за то, что я назвал это заговором. Это ничто иное, как маленькая галлюцинация вашей супруги, и, позвольте сказать, что она такая же дочь Джорджа Вэна, как я подделыватель подложного завещания.

От радости, что документ не найден, Ланцелот стал дерзким до безумия. В ту же минуту Монктон схватил его за шиворот и поднял палку над ним.

– Боже милосердный! – закричала Сара со страш-

ным воплем, – здесь разбой, убийство! О! Это ужасно!  
И еще в ночь смерти!

Но прежде чем удар был нанесен, Элинор ухвати-  
лась за руку мужа.

– Джильберт, ты сейчас только говорил, что он  
недостоин этого, истинно недостоин! Он ниже него-  
дования честного человека. Оставь его! – из любви  
ко мне оставь его! Рано ли, поздно ли, а его постигнет  
достойное наказание. Я думала, что это совершится  
в нынешнюю ночь, но тут произошло что-то непости-  
жимое, чего я никак не могу понять.

– Послушай, Элинор, – сказал Монктон, опуская  
палку и отворачиваясь от Ланцелота, как от дрянного  
щенка, которого ему не дали наказать, – кому по это-  
му последнему завещанию отказано наследство?

Ланцелот смотрел исподлобья, задыхаясь от бе-  
шенства, в ожидании ответа.

– Я не знаю, – отвечала она.

– Как, ты забыла?

– Нет я никогда не знала содержания этого заве-  
щания. Мне не было возможности взглянуть на него.  
Я схватила его со стула, куда бросил его Ланцелот  
Дэррелль, и сунула в карман. С тех пор я ни разу  
не взглянула на него.

– Так откуда же ты знаешь, что это было духовное  
завещание?

– Потому что я слышала, как Ланцелот Дэррелль говорил со своим сообщником, что это настоящее духовное завещание.

Сознание Элинор в ее неведении, видимо, облегчило Ланцелота.

– Теперь, мистер Монктон, позвольте и мне сказать одно слово, – сказал он с видом оскорбленной невинности, – вам очень хотелось удостовериться в справедливости обвинения, возводимого вашею женою на меня, и вы были готовы поверить на этот раз самой нелепой истории. Вы зашли так далеко, что хотели было тут же на месте выместить на мне гнев свой посредством этой палки. Надеюсь, что теперь настала и моя пора задать несколько вопросов.

– Сколько хотите, – отвечал Монктон сухо.

Все случившееся ошеломило Монктона. Уверения Элинор казались так правдоподобны – и что же? Все это кончилось ничем. Как все это случилось, какая мрачная тайна таится во всей этой путанице обвинения и отречения? В груди Монктона глубокий корень пустила болезнь подозрения, посеянного вероломством первой любимой женщины. Он утратил чистейший и лучший дар благородной природы – силу доверия.

– Очень хорошо, – сказал Дэррелль, – в таком случае, мистрис Монктон объяснит нам, может быть, ка-

ким образом мне удалось отворить конторку, из которой, вам угодно говорить, что я украл документ и положил на место его другой?

– Вы взяли ключи из комнаты мистера де-Креспильи.

– Вот как! А разве никого не было в комнате подле покойника?

– Как можно, – воскликнула мисс Сара. – Джеккот там. Джеккот не выходила оттуда с той минуты, как умер мой любезный дядюшка. Все было оставлено на месте и Джеккот должна стеречь комнату. Мы доверили бы Джеккоту груды золота.

– Да, ей можно доверить груды золота не считавши, – подтвердила мисс Лавиния.

– Но она спала, – воскликнула Элинора, – она слала, когда этот человек входил в комнату.

– Спала! – закричала мисс Сара, – о! Не может быть! Джеккот не стала бы нас обманывать! Нет уж этому я никогда не поверю. Вот какие были последние слова, которые я ей сказала: «Джеккот, может быть, ты спать хочешь?. Если ты чувствуешь, что тебя сильно клонит ко сну, то возьми с собой горничную, пускай она посидит с тобой, это будет вернее, возьми-ка горничную». – А Джеккот мне на то в ответ: «Нет, мисс, никогда еще в жизни я не чувствовала менее желания спать, а горничная такая трусиха, что, я думаю,

она и в комнату покойного барина ни за что не захочет войти, давайте ей хоть пять фунтов стерлингов, так она не согласится зайти». Так если после всего этого Джепкот заснет, зная, что все должно оставаться на месте после смерти любезного дядюшки, так уж я не знаю, на что это похоже, это было бы очень дурно с ее стороны.

– Пошлите за мистрис Джепкот! – сказал Ланцелот, – послушаем, что она скажет насчет правдоподобной истории о ключах, которые будто были украдены мною из комнаты покойного деда.

Мисс Лавиния позвонила, вошел Паркер, который всегда имел обыкновение медленно спешить на зов, но в этот вечер необыкновенно проворно являлся.

– Паркер, позови Джепкот, – сказала мисс Лавиния, – мне надо видеть ее.

Буфетчик поспешил исполнить приказание и опять молчание водворилось в комнате, время тянулось долго для всех, хотя всего прошло пять минут после отданного приказания. Явилась мисс Джепкот, почтенного вида старуха, чинной и суровой наружности. Тридцать пять лет она находилась в услужении у покойного старика, была пятнадцатью годами старше мисс де-Креспиньи и всегда говорила с ними, как с молодыми барышнями.

– Джепкот, – сказала мисс Сара, – мне хотелось бы



знать не входил ли кто в комнату любезного дядюшки с тех пор, как мы поручили вам присмотреть за всем?

– Разумеется, никто, мисс, – проворно отвечала старуха.

– Точно ли вы в этом уверены, Джепкот?

– Совершенно, мисс, это так верно, как и то, что я стою здесь перед вами.

– Смотрите, Джепкот, не ошибитесь: дело идет о важном вопросе. Мне говорили, что вы спали.

– Спала, мисс! О, господи! Кто мог сказать такую неправду? Как это было не грех сочинить такую историю?

– Так вы точно не спали, Джепкот?

– Точно, мисс, не сомневайтесь в том. Иногда сидела я закрывши глаза, потому что, как вам известно, глаза у меня слабы, так от света больно было. Известно, что вечерами при свечах я всегда сижу, закрыв глаза, потому что не могу ни шить, ни читать при свечах. Так и в нынешний вечер я сидела, может быть, с закрытыми глазами, но только не спала, нет, уж этого не было! Притом же я слишком растревожена и сокрушена, чтобы спать, у меня и сна то в глазах нет, да и то сказать, я никогда крепко не сплю, мой сон всегда такой чуткий, что мышка поскреби, так я бы и то услышала.

– А вы не слыхали, мистрис Джепкот, чтобы я захо-

дил в комнаты? – спросил Ланцелот.

– Вы? Мистер Дэррелль? Как это можно? Ни вы и никто другой не приходили.

– А как вы думаете, мог ли бы я прокрасться в ту комнату так, чтобы вы не знали этого? Вот, например, в то время, как вы спали, мог ли я войти так, чтобы вы не слышали?

– Но я не спала, мистер Ланцелот, и как мог бы войти кто-нибудь в комнату, чтоб я не слышала этого, тогда как я слышу как каждый листочек за окном шелестит?

– Боюсь, мистрис Монктон, что но крайней мере эта часть вашего обвинения не имеет никакого основания, – сказал Ланцелот угрюмо.

– Джекот, – сказала мисс Лавиния, – ступай туда и посмотри хорошенько в целости ли ключи моего любезного дядюшки.

– Да, мистрисс Джекот, осмотрите хорошенько, – сказал Ланцелот, – и удостоверьтесь, не трогал ли их кто-нибудь в то время, как вы спали, пояснил Ланцелот.

Ключница ушла и через три минуты вернулась.

– Ключи в сохранности лежат, мисс Лавиния, – доложила Джекот.

– А может быть, они положены уже на место? – спросил Ланцелот.

– Никак нет, мистер Ланцелот, они ни на волос не сдвинуты: они точно так лежат, как лежали, когда умирал бедный наш господин, и также прикрыты его платком.

Ланцелот глубоко вздохнул. «Удивительно, какими послушными игрушками в его руках были эти глупые старухи, – думал он, – еще сами помогали ему вывернуться из беды!»

– Довольно, Джекот, – сказала мисс Сара, – вы можете идти. Помните только, что вы отвечаете за каждую вещь в дядюшкиных комнатах до прибытия писаря мистера Лауфорда. Великий грех будет на вашей душе, если ключи мистера де-Креспиньи будут перемешаны.

При последних словах Джекот испуганно посмотрела и проворно ушла из комнаты. Положим, что она заснула минут на пять или около того: ну а как в это время, действительно, что случилось, так ведь, пожалуй, с нее станут взыскивать по закону? Она имела слабое понятие о силе закона и не понимала, какого рода наказание могло быть за пять минут сна. Добрая старуха привыкла в последние десять лет проводить все вечера в дремоте и не имела понятия, что в то время, когда она закрывала, по ее словам, глаза от света, она частенько спала прикрепим сном целые часы.

– Итак, мистрис Монктон, – сказал Ланцелот после ухода ключницы, – я полагаю, что вы сами теперь должны убедиться, что весь этот сон в зимнюю ночь есть не что иное, как галлюцинация вашего воображения?

– Не смейте говорить со мною, – закричала Элино́р, – помните, кто я и пускай это воспоминание заставит вас молчать.

Элино́р посмотрела на него с улыбкою презрения. Ее нескрываемая ненависть к нему была не последним мучением, которое он испытывал в эту ночь. Вдруг раздался громкий звонок.

– Слава Богу! – воскликнула мисс де-Креспи́ньи, – наконец прибыл писарь мистера Лауфорда. Он все уже приведет в порядок, и если окажется какая-нибудь подмена в бумагах любезного дядюшки – при этом она бросила подозрительный взгляд сперва на Ланцелота, потом на Элино́р – то я надеюсь, что он тотчас же поймет и объяснит все, как следует. Хоть мы и бедные сироты, не имеющие ни покровителей, ни защитников, но, надеюсь, что найдутся еще добрые люди, которые захотят защищать наши права.

– Кажется, нам не за чем здесь оставаться более, – сказал Монктон. – Готова ли ты, Элино́р, идти домой?

– Готова, – отвечала она.

– Ты ничего не хочешь более сказать?

– Ничего.

– Так надевай бурнус и пойдем. Прощайте, мисс Сара, прощайте мисс Лавиния.

Мистер Лэмб, писарь уиндзорского нотариуса вошел в комнату, когда выходили оттуда Джильберт Монктон с женой, это был тот самый старик, которого видел Ричард Торнтон в Уиндзоре. Элинор заметила, что он удивился, увидев Ланцелота Дэррелля! Он даже остановился, бросив на него испуганный и вместе с тем любопытный взгляд, но молодой художник даже не взглянул на него.

## Глава XLVI. Бедная лора!

Джилльберт Монктон подал руку жене при выходе из зала и помог ей спуститься с крыльца.

– Мне очень хотелось бы, Элинор, чтоб этот документ был найден, – сказал он, – но, конечно, это очень трудно в такую темную ночь. Нетрудно ли тебе дойти до дому?

– Напротив, очень легко.

При этих словах она глубоко вздохнула. Все случившееся сильно расстроило ее, а потеря документа поразила ее как громом. Всякая надежда погибла. Этот гнусный мошенник всегда выворачивался из беды и торжествовал, его мошенничества, как и преступления, всегда увенчивались успехом.

– Сейчас очень уже поздно? – вдруг спросила она.

– Да, поздно, первый час.

В молчании дошли они до дому. Дорога показалась для Элинор гораздо скучнее, хотя она шла не одна, а с мужем, но это потому, что прежде ее поддерживала надежда, а теперь отчаяние грызло ее сердце.

Наконец вот и Толльдэль. Буфетчик дожидался их, других же слуг отправил спать. Даже в эту ночь тревог и неприятностей Монктон старался сохранить благопристойность.

– Мы были в Удлэндсе, – сказал он старому буфетчику, – мистер де-Креспиньи умер.

Монктон был уверен, что отсутствие жены и его самого возбудило удивление в его мирном семейном быту и надеялся этим способом успокоить общее любопытство. Но не успел он сказать, как дверь из гостиной отворилась и влетела Лора.

– Слава тебе, Господи! – кричала она, – наконец вы возвратились. Боже! Сколько я выстрадала сегодня! О Господи! Да какую ж это страшную муку я вынесла, не зная, что и придумать куда вы девались, что случилось! Все ужасы приходили мне в голову.

– Но почему же, милая Лора, вы до сих пор не спите? – спросил Монктон.

– Спать? – воскликнула она, – спать в то время, как у меня голова чуть не лопнет от ужасных предположений? Я уверена, что тому всегда бывает не до сна, у кого голова горит, как у меня всю эту ночь. Я не знала уже что и думать. Во-первых, Элинор ушла ни слова ни кому не сказавши куда и зачем, во-вторых, вы ушли ни слова никому не сказавши куда и зачем, и потом обоих вас я ждала, ждала, целые часы проходили, а вас все не было. А тут я сидела одна-одинешенька, все считала часы и никого не было, чтоб успокоить меня, только один мой Скай не отходил от меня. Нервы мои дошли до такой степени

раздражения, что я боялась оглянуться назад и стало мне страшно так, что сам Скай казался мне каким-то адским псом. Ну расскажите же мне, ради Бога, что такое случилось.

– Пойдемте в гостиную, Лора. Я все вам расскажу, только, пожалуйста, не говорите так громко.

Монктон вошел в гостиную, за ним Лора и Элинора. Заботливо затворил он дверь и сел у камина.

– Пять раз подкладывала я угольев в камин, – воскликнула Лора, – но, кажется, все уголья в мире не могли бы меня сохранить от дрожи и ужаса, мне все казалось, что кто-то выходит из-за двери и заглядывает мне через плечо. Если б не было тут Ская, так я, кажется, с ума бы сошла. Что же такое случилось?

– Случилось... – начал было Монктон, но Лора не дала ему договорить.

– О! Не говорите, ради Бога не говорите! Лучше я не буду знать. Я наперед знаю, что вы хотите мне сказать! Лучше всего будет, Элинора, если вы ночь проведете со мною, если не хотите, чтоб я с ума сошла к завтрашнему дню. Неудивительно после этого, что мне все казалось, будто вся комната наполнена привидениями!

– Полно-те дурачиться, Лора! – сказал Монктон с нетерпением. – Вы спрашиваете, что случилось, ну



я и скажу вам, что просто мистер де-Креснины умер.

– Да, я догадывалась, что так, именно по вашему виду и голосу: вы так торжественно начали. Но ведь это ужасно! Не то именно, что он умер, вы сами знаете – я мало его знала, да и когда видела его, так он всегда или дремал или ворчал – нет, а то ужасно, что вообще люди умирают, мне все чудится тогда, что покойники входят в комнату ко мне ночью и заглядывают в зеркало через мое плечо, когда я волосы убираю себе на ночь, вот как это бывает в немецких романах.

– Лора!

– О, ради Бога не сердитесь на меня! – воскликнула мисс Мэсон сквозь слезы – Разумеется, тому легко презирать этот суеверный страх, кому даны крепкие нервы. Ведь я и сама была бы рада если б Бог сотворил меня мужчиной, или нотариусом, или кем-нибудь в этом роде, так, чтобы я не была нервозна. Поймите, я совсем не суеверна – о! Я совсем не такой ребенок, я совсем не верю в привидения и не боюсь их, но мне так страшно!

Досада, выразившаяся на лице Монктона, уступила место жалости к этому бедному, слабому ребенку, он должен сказать, что человек, которого он позволял ей называть своим женихом, теперь известен ему как недостойный мошенник! Теперь известен! Нет! Он только оправдывался перед своей совестью, по-

тому что давно, с самого начала это было ему известно и он допустил, что это бедное дитя полюбило Ланцелота Дэррелля! Разрушились ее надежды, погибли и его надежды, и в своем эгоистическом сокрушении он чувствовал сострадание к этой бедной, беспомощной девушке.

– Так умер мистер де-Креспиньи? – спросила Лора после некоторого молчания, – знает ли о том Ланцелот?

– Знает.

– Неужели он был там, в Удлэндсе, несмотря на своих старых, брюзгливых тетушек?

– Был.

С тоскою, почти с ужасом посмотрела Элинор на Лору. Страшное разочарование, смертельный удар готовы были поразить все ее надежды. Элинор видела руку, поднятую для нанесения удара, видела кинжал, готовый нанести удар и содрогалась при мысли, какое страдание должна вынести бедная беспечная девушка.

«Но что значит ее горе в сравнении со страданиями моего отца? – вдруг подумала она, – а разве я виновата в ее горе? Во всем виноват Ланцелот: его гнусные дела причиною всех горестей и несчастий».

– Как же вы думаете, ему достанется все наследство? – спросила Лора.

– Не знаю, душенька моя, – отвечал опекун серьезно, – я думаю, ни вам, ни мне дела нет, достанется ли ему наследство или нет?

– Это что значит? – воскликнула Лора, – какие странные речи вы говорите! С какую жестокостью и холодностью вы говорите о Ланцелоте, точно вам дела нет, богат ни или беден. О Боже милостивый! – вдруг закричала она с ужасом, – почему вы оба так странно на меня смотрите? О! теперь я знаю, что случилось что-нибудь ужасное! Верно, что-нибудь вышло с Ланцелотом! О! умер не мистер де-Креспиньи, а Ланцелот!

– Нет, нет, Лора, он не умер. Может быть, лучше было бы если б он умер, потому что он недобрый человек и никогда не может быть вашим мужем.

– О! если только он не умер, так я не очень забочусь о том, что он недобрый человек. Разве вы слышали, чтоб я когда-нибудь говорила, что он добрый человек, или чтоб я хвасталась его добротой? Я тоже недобрая: три воскресенья кряду я в церкви даже не была. И что за идея пришла нам уверять меня, что я не могу быть женой Ланцелота, бедного, милого Ланцелота, только потому, что он недобрый? Я именно и люблю его за то, что он немножко недобрый, как Джяур, как Манфред или другие герои байроновских поэм. Никогда не просила я его, чтоб он был добрым чело-

веком: доброта совсем не идет к стилю его физиономии. Добрые люди большей частью бывают с водянистыми голубыми глазами, с прямыми приглаженными полосами, без бровей, без ресниц... Я ненавижу добрых людей, и если вы не позволите мне теперь выйти за Ланцелота, так я выйду за него, как буду совершеннолетняя, то есть через три года.

С большой запальчивостью и негодованием говорила это Лора и, закончив свою речь, пошла было к двери, чтоб уйти из гостиной, но Элинор остановила ее, сжав в своих объятиях ее тонкий, стройный стан.

– Ах, Лора, Лора! вы должны выслушать нас, моя душенька. Я понимаю, какой жестокостью это вам кажется, когда говорят против человека, которого вы любите, но еще больше жестокости будет, если мы допустим вас стать его женой и если вы впоследствии уже узнаете, что он за человек, когда ваша жизнь будет уже связана навеки с его жизнью. Никогда, никогда вы не узнаете счастья, если раз убедитесь, что он не стоит вашей любви... Милая Лора, ужасно слышать вам это теперь, но в тысячу раз ужаснее будет узнать это, когда уже будет поздно. Пойдемте со мною, Лора, я проведу с вами всю ночь. Все, что я знаю о Ланцелоте Дэррелле, я расскажу вам теперь. Может быть, мне давно бы следовало это рассказать вам, но я ждала,

я все ждала того, чего, кажется, никогда уже не дождусь, как теперь я начинаю думать.

– Никогда ничему не поверю, что будет против него сказано, – закричала Лора, вырываясь из объятий Элинора, – и слушать вас не хочу, и ни одному слову не поверю. Я знаю отчего вам не хочется, чтоб я за него вышла замуж: вы сами были влюблены в него, да, вы не можете отпереться от этого, влюблены в него и ревновали ко мне, и теперь желаете помешать моему счастью.

Из всех неприятных речей для Монктона не было ничего неприятнее, как подобные предположения, как ужаленный змеєю, он вскочил и, схватив свечу со стола, пошел к двери.

– Право, у меня недостает терпенья все это выносить, – сказал он. – Оставайтесь, Элинора, с Лорой. Расскажите ей все, что знаете о Ланцелоте Дэррелле, но прошу вас, чтоб после этого при мне не произносилось это имя. Покойной ночи.

Молодые подруги остались вдвоем. Лора бросилась на диван и громко зарыдала. Перед нею стояла Элинора с тем же нежным и сострадательным выражением, как и прежде.

– Вида ваши страдания, Лора, я почти забываю свои. Мое бедное, дорогое дитя! Богу известно, как мне вас жаль.

– Но я не хочу вашей жалости, я возненавижу вас, если вы хоть слово скажете против Ланцелота. Зачем жалеть меня? Я невеста любимого мною человека, единственного человека, которого я когда-нибудь любила – вам это известно, Элинор; вам известно, что я влюбилась в него с первой минуты, как только он приехал в Гэзльдуд. Несмотря ни на что и ни на кого, я все-таки выйду за него! Через три года я буду совершеннолетней, и тогда, несмотря на всех противных опекунов, буду делать то, что мне нравится.

– Но вы не вышли бы за него, если бы знали, что он злодей, гадкий человек?

– Я никогда не поверю, что он злодей или гадкий человек!

– Душенька моя, Лора, выслушайте меня. Я скажу вам нею истину. Слишком долго скрывала я ее от вас и признаюсь, что очень виновата в том перед вами. Мне следовало сказать вам это, как только я возвратилась в Толльдэль.

– Что вы должны были мне сказать?

– Историю своей жизни, Лора. Но я боялась, что вы станете между мною и победою, которую мне хотелось одержать?

– Какую победу? Над кем?

– Победу над человеком, который был причиной смерти моего отца.

Тогда мало-помалу рассказала Элинор Монктон историю своего возвращения в Париж, встречу на бульваре и самоубийство Джорджа Вэна. Ее рассказ сто раз был прерван восклицаниями и возражениями бедной девушки, которая, положив голову на ее плечо, горько рыдала. Несколько раз она опять кричала, что не поверит ни одному слову против милого Ланцелота, что он никогда не может быть таким злодеем, таким мошенником, однако Элинор удалось объяснить ей, каким образом художник со своим гнусным сообщником, Виктором Бурдоном, обыграли старика и мошеннически выманили деньги, которые составляли честь отца и воспитание дочери.

– Вы называете меня жестокою и безжалостною, Лора, я и сама удивляюсь иногда своим чувствам, но вспомните, вспомните только, сколько выстрадал мой отец! Мошенники выманили у него деньги, не ему принадлежавшие! Он боялся показаться на глаза своей дочери. О! Мой милый, мой бедный папа! Как ты мог так жестоко обидеть меня! Как ты мог думать, чтоб я могла произнести хоть одно слово укора! Чтоб я могла меньше любить тебя за то, что ты проиграл бы хоть двенадцать раз все мое богатство? О, Лора! Я не могу забыть, сколько мой отец выстрадал, я не могу, не могу иметь сострадания к этому человеку!

Тяжела была обязанность Элинор! Лора не повери-

ла ей, а если б и поверила, так не захотела бы в том сознаться, хотя в душе не имела смелой и спокойной уверенности, которую могла бы внушить ей полная и глубокая вера в честность жениха. Рассуждать с нею – значило терять понапрасну слова. Вся логика была бессильна против запальчивых восклицаний молодой девушки.

– Не поверю, что бы вы там ни говорили дурного о нем! Я люблю его и не перестану любить его!

Ничего не хотела она слушать, никаких разумных спокойных доводов, потому что Элинор очень спокойно признавала свое поражение, почти безнадежно покоряясь мысли, что всякая борьба невозможна против Ланцелота. Лора не хотела ни слушать, ни убеждаться. В Париже Элинор видела не Ланцелота, а кого-нибудь другого, Ланцелот же был в это время в Индии. Письма его отсылались из Индии и имели тамошний штампель. В корабельных списках все было наврачено: чего эти глупые клерки не напишут в своих глупейших книгах! Словом, по мнению Лоры, бедный Ланцелот был жертвою несчастного стечения обстоятельств. Во время смерти Джорджа Вэна находился в Париже человек похожий на Ланцелота. В книгах корабельных клерки сделали ошибки, лицо на картине акварелью, украденной Элинор, имеет случайное сходство с ее отцом. Все улики отвергала мисс Мэсон;



что же касается до подложного духовного завещания, она клялась, что этот подлог сделан самою Элинором, чтобы разорвать ее брак с Ланцелотом.

– Как вы жестоки, Элинора! – кричала она, – я никогда не думала, чтобы вы могли действовать так гнусно! Во-первых, вы влюбились в Ланцелота, потом вы раздумали да и вышли за моего опекуна, но когда вы увидели, что опекуна не любите, так стали подкапываться под мое счастье, а теперь желаете восстановить меня против Ланцелота – только вам этого не удастся! Вот же вам!

Последнее восклицание было задушено громкими рыданиями, и долго сидели молодые подружки молча на диване напротив угасающего камина. Мало-помалу Лора все ближе прижималась к груди Элиноры, потом ее холодная от душевной тревоги рука упала небрежно на опущенную руку Элиноры и, наконец, тихим, почти замирающим голосом от рыданий, Лора прошептала:

– А вы, Элинора, думаете, что он такой злой? О, Элинора! Неужели вы в самом деле думаете, что он тот самый злодей, который обыграл вашего отца?

– Я знаю, что это он самый, Лора.

– И вы думаете, что он подложил поддельную духовную для того, чтобы воспользоваться этими противными деньгами? О! Для чего ему эти деньги, ко-

гда бы мы могли быть так счастливы в бедности? Так вы в самом деле думаете, что он подделал подложный документ?

Ее голос превратился в шепот, когда она произнесла это слово, столь ужасное для нее по отношению к Ланцелоту.

– Думаю и уверена в том, Лора, – отвечала Элинон печально.

– Но что ж они с ним сделают! Что будет с ним? Ведь они не повесят его, Элинон? За подделку не станут вешать? О, Элинон! Что с ним будет? О, как я люблю его! Мне все равно кто он или что он сделал: я все еще люблю его и готова умереть, чтобы спасти его!

– Не бойтесь, Лора, – возразила Элинон с горьким негодованием. – Ланцелот Дэррелль увернется от наказания, несмотря на все гадости, наделанные им – вы можете быть в том уверены. Он поднимет голову еще выше прежнего, Лора. Не пройдет недели, а он будет уже объявлен владетелем Удлэндса.

– Но совесть его, Элинон, совесть? О, как он будет страдать! Как он будет несчастлив!

Лора вырвалась из нежных рук, ее поддерживавших, и вдруг вскочила на ноги.

– Элинон, – вскрикнула она, – где он? Пустите меня к нему! Еще не поздно все переделать по-прежнему, он может опять подложить подлинную духовную.

– Нет, нельзя: подлинная пропала.

– Так пускай он уничтожит скорее поддельную!

– Не думаю, чтоб он мог это сделать, Лора. Если сердце его не закоsnело во зле, то у него довольно времени для раскаяния, прежде чем духовная будет прочтена. Если он пожелает переменить все по-прежнему, то ему стоит признаться своим теткам и умолять их о пощаде. Совершив это преступление, он обидел только своих теток. Без всякого сомнения, по настоящему завещанию они единственные наследницы.

– Он должен признаться, Элиноор! – закричала Лора, – я сама брошусь перед ним на колени и не встану до тех пор, пока он не даст слово, что все сделает как следует, по справедливости. Для самих себя тетки сохранят это втайне: они сами не захотят, чтобы весь мир узнал, что их племянник совершил преступление. Он признается им во всем и тогда все наследство им достанется, а мы можем с ним повенчаться и опять быть счастливыми, как будто он ничего дурного не сделал. Пустите меня к нему!

– Только не ночью, Лора. Посмотрите, который теперь час.

Элиноор указала ей на стоявшие против них часы. Была половина второго.

– Так я завтра утром повидаюсь с ним, Элиноор, непременно повидаюсь.

– Хорошо, душенька, если вы думаете, что это справедливо и хорошо.

Но завтра утром Лора не увиделась со своим женихом, потому что к утру открылась у нее жестокая нервная горячка. Из Уиндзора приглашен был доктор, чтобы лечить ее. Элинор ни на ми нугу не покидала ее, заботясь о ней как мать, нежно любящая свое дитя.

Джилльберт Монктон сильно встревожился за свою воспитанницу и часто подходил к двери, чтоб спросить в каком положении находится ее здоровье.

## Глава XLVII. Тяжелые минуты

Болезнь Лоры Мэсон не была опасна, даже вовсе не серьезного свойства. Нежные розы на ее щеках приняли яркий, алый оттенок, голубые глаза цвета бирюзы, блестели лихорадочным огнем, крошечные ручки были горячи и сухи. Напрасно доктор из Уиндзора предписывал успокоительные средства: его больная не хотела вести себя тихо, не хотела быть спокойною. Все усилия Элинора ее утешить остались тщетными: она не хотела принимать утешений.

– Вы трудитесь напрасно, Нелли, – с нетерпением восклицала больная, – я должна говорить о нем, должна говорить о моем горе, если вы не хотите, чтобы я сошла с ума. О, мой бедный Ланцелот! Мой милый дорогой Ланцелот! Как жестоко разлучать меня с тобою!

Главное затруднение заключалось в этом. Бедная Лора не переставала умолять о позволении видаться с Ланцелотом: отпустить ее к нему или послать просить его приехать к ней. Кто способен в этом отказывать, тот – жестокое бездушное создание.

Однако Элинора отказывала.

– Невозможно, моя душечка, – говорила она, – мне совершенно невозможно теперь встречаться с ним

иначе, как со врагом. Завещание будет открыто через несколько дней. Если Ланцелот Дэррелль раскается в своем поступке, он, конечно, постарается уничтожить сделанное. Если же он не почувствует раскаяния и вступит во владение в силу духовной, то он будет низкий человек, недостойный вашего сожаления.

– Но я жалею его, я люблю его.

Странно было видеть, до какой степени эта любовь овладела мелкой, пустою душою Лоры. Легкомысленная девушка была настолько же впечатлительна, насколько непостоянна. Удар поразил ее сильнее, чем он мог бы подействовать на женщину с природою более возвышенною, более гордою, но для подобной женщины последствия его остались бы, быть может, навсегда, тогда как едва ли было вероятно, чтобы страдания Лоры длились вечно. Она не старалась терпеливо переносить горя, выпавшего ей на долю. Она лишена была всякой гордости и не более стыдилась, оплакивая потерю Ланцелота Дэррелля, чем стыдилась бы плакать над сломанной куклой пятнадцать лет тому назад. Ей было решительно все равно, кому бы ни сообщать свое горе, она могла бы взять в поверенные свою горничную, если бы Элинор не удержала ее.

– Я очень страдаю, и очень несчастна, – говорила она, пока ее девушка поправляла подушки и приво-

дила в порядок простыни, скомканные в кучу от движений больной, беспрестанно метавшейся по кровати.

– Я самое несчастное создание, когда-либо рождавшееся на свет, Джэн, мне хотелось бы умереть. Желать смерти очень дурно – я это знаю, а все-таки желаю умереть. Какой в том толк, что мистер Фетерстон выписывает для меня рецепты, когда я не хочу лечиться? Какая мне польза в этом прохладительном питье, когда я охотнее бы умерла? К чему все эти гадкие усыпительные лекарства, со вкусом выдохлого лондонского портера? – Микстуры не возвратят мне Ланц...

Она остановилась на полуслове от значительного взгляда Элинора.

– Вы не должны говорить с людьми о Ланцелоте Дэррелле, Лора, – сказала мистрис Монктон, когда горничная вышла из комнаты, – вы тем заставите их подозревать, что между вами произошло что-нибудь необыкновенное.

– Узнают же они это, когда моя свадьба будет отложена.

– Ваш опекун все пояснит.

Мисс Мэсон после этого только стала еще более жаловаться на свою судьбу.

– Довольно того, что страдаешь, – говорила она, –

надо еще к тому молчать о своем несчастье и не сметь его высказывать!

– Многие должны также переносить тяжкое горе, не имея возможности говорить о нем, – возразила Элинор тихо. – Я также переносила свое горе о смерти отца в молчании.

Во время нескольких дней болезни Лоры, мистрис Монктон мало видела своего мужа, только тогда, когда он приходил к дверям осведомляться о состоянии своей питомицы, но даже в тех немногих словах, которыми они обменивались, она могла заметить в нем перемену к себе: он был холоден и удалялся от нее почти во все время ее замужества, теперь же обращение его приняло оттенок ледяной сдержанности человека, убежденного в том, что против него виноваты. Элинор поняла это и была очень огорчена, но ею овладело тяжелое, безнадежное чувство совершенного бессилия с ее стороны изменить положение дела. Она не достигла главной цели своей жизни и начала думать, что ей назначены в удел одни обманутые надежды. Это чувство совершенно удалило ее от мужа. В полном неведении тех подозрений, которые его терзали, она, конечно, не могла сделать никакой попытки, чтобы вывести его из заблуждения. Невинность женщины и гордость мужчины составляли бездну, через которую никакая сила любви не мог-



ла заставить их перешагнуть. Если бы Эли-пор Монктон имела малейшее понятие о причине холодности мужа, лед его сердца растаял бы от нескольких ее слов, но она вовсе не подозревала тайного источника тех горьких потоков, которые унесли все наружные изъявления любви ее мужа, и слова эти оставались невысказанными. Джилльберт Монктон, со своей стороны, считал жену если не вероломной, то по крайней мере равнодушной к нему и преклонил голову перед мрачной картиной своей судьбы.

– Не знать мне любви, – говорил он себе. – Прости, и эта мечта. Но я все-таки исполню по мере сил мою обязанность: принесу некоторую пользу ближним. Полжизни моей уже поглощено эгоистичным горем и сожалением. Да пошлет мне Господь свою милость и поможет употребить остаток ее с большим благоразумием. Он сказал Элинор, что как только Лоре будет лучше, он повезет ее куда-нибудь на берег моря.

– Бедное дитя не может оставаться здесь, – говорил он, – каждая сплетница в соседнем околотке станет с жадным любопытством разузнавать причину отсрочки свадьбы, и если мы не дадим какого-нибудь естественного основания для перемены наших намерений, то догадкам и предположениям не будет конца. Болезнь Лоры самый лучший предлог. Я повезу

ее на юг Франции: она забудет Ланцелота Дэррелля на новом месте, окруженная новыми людьми.

Элинор вполне разделила его мнение.

– Ничего не может быть благоразумнее этой меры, – отвечала она. – Я, право, думаю, что бедная девушка могла бы умереть, оставаясь здесь, где все напоминает ей об утраченной надежде.

– Итак, я повезу ее в Ниццу, как скоро она поправится настолько, что сможет ехать. Не возьмешь ли ты на себя труд сообщить ей о моем намерении и постараться внушить ей некоторое сочувствие к мысли о перемене.

Затем Элинор Монктон выдержала порядочную пытку в комнате больной. Легкомысленные люди сильно чувствуют страдание настоящей минуты и обыкновенно сваливают на плечи своих друзей большую долю бремени, под которым изнемогают. Слушать жалобы Лоры было и тяжело и довольно однообразно, и много стоило труда несчетное множество раз повторять одно и то же в утешение молодой девушки. Она и не воображала, что можно было страдать молча, обратившись лицом к стене. В ней не было и тени того притворного спокойствия, так часто причиняющего заботу тому, кто наблюдает за страдальцем, близким его сердцу в минуту тяжкого перелома в его жизни. Каждая вещь ей напоминала о ее

горе, а она недостаточно была тверда, чтобы удалить от себя то, что возбуждало ее страдания. Она не хотела задернуть завесу над прекрасною картиною прошлого и обратить решительный взор к бесцветному будущему. Она постоянно смотрела назад, оплакивая красоту погибших надежд, настаивая на том, что волшебный замок, еще, быть может, не совершенно разрушен, конечно, он не тот, чем он был прежде – это невозможно, все же он мог быть хоть чем-нибудь, осколки разбитой вазы склеены и благоухание поблекших роз еще носится над нею в воздухе.

– Если он раскается, я выйду за него, Элинор, – так заключала она каждое свое рассуждение, – и мы отправимся в Италию. Вместе мы будем там счастливы, и он станет великим художником. Никто не посмеет обвинить его в низкой подделке, когда он будет великим живописцем, как Гольмэн, Гент и мистер Миллее. Мы вместе поедem в Рим, он будет изучать великих мастеров, будет писать с натуры крестьянок, я не посмотрю на то, если они даже будут и хорошенькие, хотя не может быть приятно, чтобы муж ваш всегда писал портреты с хорошеньких крестьянок, но это, знаете, доставит ему развлечение.

Лора должна была пролежать четыре дня в постели, и во все это время Элинор редко выходила из ее комнаты, разве только иногда для того, чтобы заснуть

на часок в покойном кресле у камина в уборной Лоры. На пятый день мисс Мэсон позволено было встать и тогда пришлось выносить страшные сцены: молодая девушка настойчиво потребовала, чтобы все ее приданое разложили на кровати, стульях и диванах и развесили на всех возможных гвоздях, какие только оказались в обеих комнатах, вскоре они превратились в целый лес изящных нарядов, вокруг которых беспрестанно бродила больная, предаваясь при виде каждой вещи новому порыву горя и рыданий.

– Посмотрите на этот восхитительный зонтик, Нелли, – воскликнула она, смотря на богатый отлив шелковой материи, натянутой на кости, глазами полными слез. Какой прелестный вид имеет это кружево на розовом! А какую чудную тень он придаст лицу! Ах! Я надеялась быть так счастлива, когда этот зонтик у меня будет в руках. Я думала кататься на Корсо с Ланцелотом, а теперь!.. А лиловые атласные ботинки с высокими каблуками, Нелли, нарочно, заказанные для моего лилового шелкового платья! Могла ли я думать, что можно быть несчастной с такими вещами, а теперь!..

Каждая речь заканчивалась новыми слезами, часто они капали на богатые шелковые платья и оставляли следы на роскошной ткани, от которых мрачнел блеск ярких цветов.

– Могла ли я подумать, что буду так страдать и плакать над материей в девять шиллингов с половиной за ярд и остаться к ней равнодушной? – восклицала Лора Мэсон, как будто этими словами выражала высшую степень тоски, которую способно испытывать человеческое сердце.

У нее было несколько вещей, подаренных ей Ланцелотом, немного и не высокой цены, мистер Дэррелль, как нам уже известно, был крайне эгоистичен и вовсе не желал тратить свои небольшие деньги на других. Она целыми часами держала на коленях эти безделицы, проливая над ними слезы и говоря о них:

– Вот мой серебряный наперсток, мой милый, дорогой, маленький наперсток! – восклицала она, снова надевая его на палец и целуя с тем увлечением, которое французские водевилисты называют взрывом чувств. Эта гадкая, злая Амелия Шодерз вздумала сказать, что серебряный наперсток – подарок слишком простой; дать его невесте, по ее мнению, было бы прилично только плотнику или какому-нибудь простолюдину, а Ланцелоту следовало подарить мне кольцо или браслет, как будто он мог покупать кольца и браслеты без денег. Мне все равно, простой ли подарок мой наперсточек или нет, а он мне очень дорог: он Дан мне им. Я нашу целую кучу вещей для того только,

чтоб употребить его в дело, одно мне жаль, что никогда я не могла вполне научиться шить с наперстком. Мне все кажется, что гораздо легче обходиться без него, хотя иголка иногда и прокалывает пальцы. А вот и моя записная книжка! Никто не может сказать, чтобы книжка из слоновой кости была простым подарком. Моя милая маленькая книжечка с блестящими, такими блестящими застёжками, в которые вкладывают карандаш, а какая прелесть – каплюшечка бирюзовая печатка! Я пробовала написать имя Ланцелота на каждой листке, однако я не нашла довольно удобным материалом для письма эту записную книжку из слоновой кости: рука так и скользит во все стороны, как будто карандаш опьянел, и ни одной прямой линии я не была в состоянии начертить, совершенно так же, как, стараясь ходить на палубе парохода, бываешь иногда увлечен туда, куда вовсе идти не намерен.

Жалобы и стоны над приданным имели благоприятное влияние на больную с разбитым сердцем. На пятый день вечером она немного повеселела, пила чай с Элинор в уборной у стола возле камина, после же чая занялась примеркою перед трюмо мантильи и шляпки, назначенных для венца.

Это занятие имело крайне успокаивающее действие на молодую девушку: она долго смотрела на се-

бя в зеркало, жаловалась на красноту своих глаз, которые мешали отдавать полную справедливость красоте шляпы, и, наконец, она объявила, что чувствует себя гораздо лучше.

– Так или иначе, все будет улажено, – говорила она, – я предчувствую, верно, что-нибудь да случится.

Элинор не ответила ничего. Было бы жестоко лишать Лору такого неопределенного рода утешения, и вечер закончился почти весело. Но на следующий день назначены были похороны мистера де-Креспиньи и должны были прочесть завещание. Тоска Лоры в эти минуты действительно возросла до высшей степени. Она не могла не верить Элинор о подделке духовной, хотя долго боролась против убеждения, которое хотели внушить ей, единственная надежда для нее заключалась в том, что жених ее, может быть, почувствует раскаяние и позволит теткам наследовать имение, без всякого сомнения, отказанное им. Как ни была пуста и легкомысленна эта девушка, она ни минуты не считала своего замужества с Ларщелогом возможным при других условиях. Она не могла допустить мысли разделять с ним состояние, приобретенное обманом.

– Я уверена, что он сознается, – говорила она Элинор утром в день погребения. – Этот низкий француз,

его друг, у илек его к дурному поступку, но ведь это было не что иное как минутное увлечение. Он, наверно, давно раскаивается – я в этом уверена. Он уничтожит, что сделал.

– А если настоящее завещание уже уничтожено?

– Так мать его и тетки разделят между собою состояние. Мы обе заблуждались, Элинора, полагая, что Ланцелот законный наследник по смерти мистера де-Креспиньи, если тот не оставит духовной. Мой опекун сказал мне это наперед, когда я стала его расспрашивать на этот счет. Он говорил и Ланцелоту то же самое в тот вечер, когда речь шла о моем состоянии.

Если Лора испытывала душевную тоску в этот день, полный событий, и Элинора была не менее встревожена. В жизни ее должен был произойти новый перелом. Она думала: постарается ли Ланцелот занять прежнее свое положение, которым пользовался до смерти старого родственника, или он захочет удержать присвоенное себе посредством умышленного обмана, оставаясь закоренелым, нераскаянным преступником, издеваясь над законом и презирая его.



## Глава XLVIII. Чтение духовной

Джилльберт Монктон отправился в Удлэндс тотчас после похорон, чтобы присутствовать при чтении духовного завещания. Он сознавал за собою право быть там при окончании того дела, в котором жена его играла такую значительную роль. Духовную должен был читать клерк Генри Лауфорд в гостиной или, лучше сказать, в кабинете, в котором Морис де-Креспиньи провел столько лет до своей смерти.

Там собралось много людей, которые, подобно Монктону, считали себя вправе присутствовать при слушании этого акта, это были люди, удаленные от дома старика строгою бдительностью и упорной волею двух старых девиц в течение последних двадцати лет, но которые теперь имели в него свободный доступ на том основании, что не могли более приносить вреда. Всякого рода родство, до того дальнее, что едва его можно было определить, появилось при этом случае: двоюродные братья и сестры по свойству, свояченицы умерших внучатых братьев, некогда удаленных от дома, вдовцы, которые причисляли себя к семейству де-Креспиньи по праву покойных жен; вдовы, предъявлявшие свои притязания на близкое родство в силу прав покойных мужей; нуждающиеся

родственники, пришедшие пешком и до того бедные, что нельзя было не считать дерзостью с их стороны надежду на самую ничтожную сумму; богатые, приехавшие в великолепных экипажах, которые, по-видимому, ожидали еще с большею жадностью, чем самые бедные из всего собрания, чтоб на долю их выпало хотя бы каких-нибудь двадцать фунтов стерлингов для траурного кольца. И по правде сказать, эти владельцы богатых экипажей могли быть в большей нужде, чем запыленные пешеходы, подвергавшиеся всем изменениям погоды: когда люди силятся из полторатысячного дохода тратить три, каждые случайные двадцать фунтов – для них особенный дар Божий.

Как бы то ни было, каждый в гостиной Удлэндса в это замечательное утро находился под влиянием одного и того же чувства: смеси надежды с сомнением, ожидания с отчаянием. В ней, вероятно, никогда прежде не собиралось такое число нетерпеливых лиц: каждое – молодое или старое, красивое или дурное, с выражением аристократичным или простым – носило один и тот же отпечаток, и посредством этого общего сходства возбуждало мысль о семейной связи, соединявшей все собрание.

Каждый смотрел на своего соседа, как на предполагаемого наследника чего-нибудь такого, что могло

быть достойно желаний, а потому видел в нем лично-го врага.

Улыбающиеся родственники внушали подозрение, что знают содержание духовной и втайне наслаждаются уверенностью увидеть свои имена в ней упомянутыми приятным для них образом. Нахмуренные лица заставляли смотреть на них мрачно, как на предполагаемых интриганов, искавших влияния на покойного. Родственников, с сомнением на лице, опасались, как компаньонов и низких угодников, которые, вероятно, заискивали перед мистером де-Креспиньи хитрою лестью. С выражением же уверенности возбуждали опасение, как люди, имеющие, быть может, какое-нибудь право на состояние, и молча наслаждавшиеся в душе созерцанием своего счастья. Каждый из приезжих родственников ненавидел друг друга смертельной, мстительной ненавистью; но все разделяли общую, гораздо сильнейшую ненависть к четырем избранным счастливым этой игры в богатое наследство: к двум старым девицам, мистрис Дэррелль и ее сыну. Было почти верно, что один из четырех унаследует Удлэндс и большую часть состояния покойного, если только вследствие одной из тех прихотей, так часто встречаемых в болезненных, причудливых людях, он не оставил своего богатства какому-нибудь дальнему родственнику, слишком гордому, чтобы ухаживать

вать за ним и, сверх того, не имевшим на то случая. Да, три племянницы и Ланцелот имели первую возможность на успех в этом состязании, и приезжие спокойно обсуждали между собою возможный успех этих четырех счастливых. И если они отчаянно ненавидели друг друга за незначительные выгоды, могущие выпасть на их долю, что должны они были испытывать в отношении тех четырех лиц, которым назначались главные ставки?

После странной сцены в ночь смерти мистера Декреспины. Ланцелот Дэррелль в первый раз встретился с Монктоном. В этот промежуток времени, молодой человек приезжал в Толльдэльский Приорат, но не был принят ни нотариусом, ни его питомицей.

Может быть, из всех собравшихся в этой комнате, еще так недавно занимаемой покойным, никто не был более взволнован, как Монктон, хотя в душе его не было и тени жадного корыстолюбия. Монктон приехал в Удлэндс с надеждою увидеть жену свою оправданной. В течение недели, которая протекла после смерти старика, он постоянно обдумывал обвинение Элинор, но чем больше он старался вникнуть в это пылкое, энергичное обвинение, тем больше терялся в догадках и предположениях.

Не следует забывать, что характер Монктона стал ревнив и подозрителен вследствие жестокого разо-

чарования, отравившего его молодость и ожесточившего его врожденное великодушие. Он был проникнут убеждением, что Элинор никогда его не любила, а любила Ланцелота Дэррелля. Эта мысль была духом-мучителем, лукавым демоном, овладевшим его душою после короткого медового месяца на северном берегу моря. Злой дух вполне покорил его своей власти и изгнать его было нелегко каким бы то ни было заклинанием. Разом он не мог быть удален. Запальчивый донос, гневное обвинение, которое сорвалось с губ Элинор со всем увлечением пылкого негодования, могло быть взрывом бешеной ревности женщины и иметь основанием любовь. Элинор, вероятно, любила этого молодого человека и негодовала на него за предполагаемую женитьбу на Лоре. Если бы одно желание отомстить за смерть отца побуждало ее, то, верно, пылкая молодая женщина высказалась бы прежде. Таким образом рассуждал Джильберт Монктон. Он не знал, как Элинор жаждала возможности высказаться и как была удержана только светскою мудростью Ричарда Торнтонна. Как мог он знать, каким ужасным испытаниям подвергалось ее терпение! Какую тяжкую борьбу она вынесла между увлечением страсти и холодными расчетами благоразумия! Он ничего не знал, исключая того, что нечто – какая-то тайна – какая-то всепокоряющая страсть поглощала ее

душу и удаляла от мужа. Он стоял поодаль в кабинете покойника, пока мистер Лэмб, пожилой писарь, с седыми волосами, с порывистыми движениями и опущенным взором, раскладывал бумаги на маленьком столе, стоявшем возле камина, и прочищал горло, собираясь приступить к чтению духовной.

Страшная тишина царствовала в комнате, казалось, будто естественное дыхание каждого было прервано на эту минуту, и тогда писарь начал читать тихо, медленно и запинаясь, обыкновенную формулу:

«Я Морис де-Креспиньи, находясь в настоящее время» и т. д., и т. д.

Духовная была довольно длинна и терпение главных ожидавших лиц подверглось тяжелому испытанию. В начале завещания назначалось множество незначительных вещиц, как: траурные кольца, табакерки, книги, старинная серебряная посуда, некоторые вещи из драгоценного фарфора и всякого рода небольшие подарки дальним родственникам и друзьям, потерянным из вида во время уединенной жизни старика под суровым попечительством его двух стражей. Наконец, по назначении небольших пожизненных пенсий старым слугам, добрались до главного параграфа.

Каждой из трех сестер, Саре и Лавинии де-Креспиньи и Эллен Дэррелль, завещатель отказывал сум-

му денег, соответствующую годовому доходу двухсот фунтов стерлингов. Все остальное его имущество, движимое и недвижимое, завещано было Ланцелоту Дэрреллю безусловно и без всякого изъятия.

Кровь прилила к лицу вдовы и тотчас уступила место смертельной бледности. Она протянула руку сыну, стоявшему возле ее стула, и пожала его влажную руку.

– Слава Богу! – сказала она тихим голосом, – наконец и тебе выпало счастье. Завтра я могла бы спокойно закрыть глаза.

Две старые девицы, бледные от гнева, устремляли язвительные, яростные взгляды на племянника, могли только на него смотреть, но сделать они не могли ничего. Он выиграл, а они проиграли – вот и все. В ушах у них раздавался странный шум и пол, покрытый ковром, как будто шатался подобно палубе корабля во время шквала. Удар был слишком силен. От первого его действия произошла какая-то физическая бесчувственность, от которой и мозг был как будто поражен отуплением.

Я не предполагаю, чтобы какая-нибудь из этих престарелых девиц, носивших худые башмаки и круто завитые маленькие локоны неестественного коричневого цвета, могли бы каким-либо способом истратить на собственные потребности более ста фунтов в год;

ни одна из них не предавалась сладостному чувству делать добро. Они не были ни великодушны, ни честолюбивы. Они не имели ни малейшей склонности тратить деньги как на себя, так и на других: не менее того они домогались этого богатства с такою же жадностью, какую могла бы испытывать душа гордая, честолюбивая, стремившаяся к золоту, как к средству проложить себе путь к славе. Они любили деньги для денег, без всякого отношения к возвышенному или неблагородному их употреблению. Они были бы очень счастливы, владея богатством их покойного родственника, и достигли бы могилы, не истратив на себя и тех двухсот фунтов, которые получали по жестокому духовному завещанию. Они копили бы доходы, присчитывая проценты к капиталу, улучшали бы земли, возвысили арендную плату и были бы безжалостны и притеснительны с подвластными; считали бы свои барыши и рассчитывали бы вместе, на сколько возросло их богатство. Но они отдавали бы чинить изношенную обувь тому же плохому башмачнику, который делал это прежде, при жизни их дяди, и были бы также скупы на каждый пенс торгуясь с парикмахером, завивавшим их коричневые, накладные локоны.

Ланцелот Дэррелль продолжал стоять у стула матери, хотя чтение духовной давно уже было законче-



но и писарь уже складывал листы, на которых она была написана. Никогда ни одно живое существо не высказывало менее радости, как этот молодой человек при получении такого большого богатства.

Монктон подошел к маленькому столу, у которого сидел писарь.

– Могу ли я взглянуть на духовную, мистер Лэмб, – спросил он.

Писарь посмотрел на него с удивлением.

– Вы желаете видеть духовную? – сказал он после минутной нерешимости.

– Да, разве этого нельзя? Разве вы находите к тому какое-нибудь препятствие? Оно будет отослано в суд, я полагаю, где каждый может его видеть за шиллинг.

Писарь передал Монктону документ с маленьким сухим смехом.

– Вот оно, мистер Монктон, – сказал он. – Вы, вероятно, узнаете вашу собственную подпись: она тут вместе с моею.

Да, подпись была тут. Весьма нелегко человеку самому искусному, если только он не ученый специалист, разрешить вопрос о действительности своей собственной подписи. Джильберт Монктон взглянул на знакомый почерк и тщетно искал в нем какого-нибудь недостатка. Если это была подделка, то очень искусная. Нотариус хорошо запомнил число, когда

подписывался свидетелем под завещанием и на какой бумаге оно было написано: число и бумага вполне соответствовали его воспоминаниям.

Все завещание было написано рукою самого пиярца, на грех листах бумаги небольшого формата и подписи завещателя, а подписи свидетелей стояли в конце каждого листа. Каждая из трех различных подписей различалась между собою в какой-нибудь безделице. Несмотря на свою незначительность, это обстоятельство, однако ж, имело большое влияние на Джильберта Монктона. «Если бы завещание было подделкою Ланцелота Дэррелля, то подписи должны бы быть точными снимками одна с другой», – подумал нотариус. В эту ошибку всегда впадают все поддельватели. Они забывают, что редко один человек подпишется совершенно одинаково два раза. Они добудут один автограф и снимают с него точные снимки.

Итак, что ему было думать? Если это была подлинная духовная, то обвинение Элинор должно быть ложно. Мог ли он это подумать? Мог ли он представить себе жену свою ревнивой и мстительной женщиной, способной на клевету из жажды мести за неверность человека, которого она любила? Только подумать об этом, было уже безвыходным страданием. Но как было Джильберту Монктому думать другое, когда духовная оказывалась подлинною. Все осно-

вывалоьсь на этом, а не было ни одной улики против Ланцелота Дэррелля. Ключница мистрис Джекот утверждала положительно, что никто не входил в комнату покойного и не касался его ключей, лежавших на столе, возле кровати. Если можно было полагаться на слова этой женщины, то одного этого было достаточно, чтоб опровергнуть рассказ Элиноор. Но это еще не все: само завещание было во всех его пунктах совершенно противоположное тому, которое походило бы на фальшивое. В нем были поименованы старые друзья покойного, которых он сам не видел в последние двадцать лет, имена которых даже не могли быть известны Ланцелоту Дэрреллю. Это было завещание человека, душа которого вполне жила в прошлом. Так отказана была золотая табакерка «моему другу, Питеру Сиджеуику, бывшему рулевым, когда я был матросом на борту „Магдалина“ в Генли на Темзе, пятьдесят семь лет тому назад», а там ониксовая булавка оставлена была «моему веселому товарищу Генри Лоренсу, который в день моего рождения обедал со мною в Бифстэкском клубе, вместе с Джорджем Вэном и Ричардом Бринсли Шериданом». Пятьдесят лет назад завещание было полно личных воспоминаний. Возможно ли было предположить, чтоб Ланцелот мог его подделать? Он не имел в руках подлинного акта прежде чем пришел подменить его

фальшивым после смерти дяди. «Стало быть, основываясь на собственных словах Элинора, – рассуждал Монктон, – подделка должна была произойти, пока еще молодой человек находился в совершенном неведении относительно содержания подлинной духовной. Этот факт, – заключил мысленно нотариус, – положительное доказательство против моей жены, Ланцелот не мог бы подделать такого завещания, как это. Итак, оно было подлинное, а обвинение Элинора только внезапным взрывом бешеной ревности, которая делала ее почти равнодушною к последствиям». Монктон долго рассматривал подписи и вслед за тем, устремив на писаря внимательный взор, он сказал тихим голосом:

– Духовная написана вашею рукою, мистер Лэмб?

– Моею, сэра.

– Готовы ли вы дать присягу в подлинности этого акта, в том, что он тот же самый, который вы тогда написали и засвидетельствовали своею подписью?

– Без малейшего сомнения, – отвечал писарь с удивленным видом.

– Не имеете ли вы повода сомневаться в подлинности акта?

– Нет, сэра, никакого. Разве вы имеете какое-нибудь подозрение, мистер Монктон? – прибавил он после минутной нерешимости.

Нотариус глубоко вздохнул.

– Нет, – сказал он, возвращая писарю бумагу, – я полагаю, что это подлинное духовное завещание.

В эту самую минуту в обществе вдруг произошло движение и Джильберт Монктон повернул в ту сторону голову, чтоб узнать в чем дело.

Мистрис Джекот, ключница, что-то говорила и к словам ее все прислушивались с напряженным вниманием. Причина всеобщего любопытства заключалась в том, что она держала в руках какую-то бумагу. Глаза всех обращались на нее. Эта бумага могла быть припиской, которой уничтожалась сама духовная и в которой заключалось совершенно другое назначение этому богатству.

Слабая розовая тень показалась на щеках двух сестер-девиц, а Ланцелот Дэррелль побледнел как смерть, однако это была не приписка, а только письмо Мориса де-Креспиньи к его трем племянникам.

– В ту ночь, когда скончался мой бедный добрый барин, – говорила ключница, – я сидела при нем одна, он подозвал меня к себе и велел подать ему халат, который он надевал во время своей болезни, когда мог вставать с постели, я принесла его. Он вынул запечатанное письмо из бокового кармана и сказал: «Джекот, когда прочтут мою духовную, я полагаю, мои три

племянницы очень будут обмануты в своих надеждах и подумают, что я поступил с ними нехорошо. Я написал им это письмо, чтобы они на меня не сетовали после моей смерти. Прошу вас сохранить его и, по прочтении духовной, отдать его моей старшей племяннице Саре, для прочтения вслух сестрам в присутствии всех. Вот оно,» – прибавила мистрис Джепкот, подавая запечатанное письмо Саре де-Креспиньи.

«Слава Богу! – подумал Монктон, – я узнаю теперь, подлинное ли это завещание. Если же это подделка, то письмо изобличит подделывателя».

## Глава XLIX. Покинута

Мисс Сара прочла вслух, в присутствии любопытных слушателей письмо старика к трем племянницам. Из числа тех, которые слушали его с напряженным, тревожным вниманием, никто не мог быть более взволнован, как Джильберт Монктон.

Письмо Мориса де-Креспиньи не было длинным.

*«Мои любезные племянницы – Сара, Лавиния и Эллен.*

*Распоряжения, сделанные мною, насчет моего имущества, как движимого, так и недвижимого, может быть, удивят вас всех трех. Но верьте мне, я вовсе не был руководим в этом случае чувством неприязни к вам: могу ли не испытывать благодарности за те попечения, которыми вы окружали мою старость?*

*Я полагаю, что исполнил свой долг. Как бы то ни было, в последние десять лет моей жизни я имел твердое намерение поступить таким образом. Я писал несколько раз свое завещание и уничтожал их одно за другим, хотя в главном пункте они все были одинаковы, и одна прихоть старика побуждала меня делать некоторые изменения в незначительных подробностях.*

*Доход двести фунтов, который я оставляю каждой из вас, вполне достаточен – я в том уверен – для удовлетворения ваших скромных потребностей. Все эти три соединенных дохода по смыслу моего завещания, перейдут после вашей смерти к моему племяннику Ланцелоту Дэрреллю.*

*Я также вспомнил многих из старых друзей, кто знает, может быть, они меня давно забыли или посмеются над ребячеством старика и памятью, им оставленною.*

*Кажется, я никого не обидел, и, надеюсь, что когда я буду лежать в могиле, вы с добрым чувством, а не с горечью помянете Вашего преданного дядю*

*Мориса де-Креспиньи.*

*Удлэндс, 20 февраля.»*

Содержание письма ни в одном слове не противоречило смыслу завещания.

Ланцелот Дэррелль вздохнул глубоко и мать его, сидя возле него и держа его руки в своих руках, чувствовала, как их покрывал холодный пот; она могла слышать, как сильно билось его сердце. Монктон взял шляпу и вышел из комнаты. Он не хотел иметь никакого объяснения с человеком, которого считал вполне – несмотря на слова Элинор – своим счастливым соперником, лишившим его всякой возможности ко-



гда-либо приобрести любовь своей жены.

Им исключительно овладело одно чувство – то же самое, которое, двадцать лет тому назад, наполняло его душу – сильное желание бежать далеко, уйти от мук и от сомнения – словом, избавиться от ужасной среды обмана и заблуждений, оставляя за собой всякую надежду, всякую мечту и еще раз остаться одному на свете без радости, без любви, без будущего, скорее чем быть жертвою притворства вероломной женщины.

Он возвратился прямо в Толльдэль, пока толпа людей, собравшихся в Удлэндсе, разъезжалась понемногу, кто более, кто менее довольный событиями дня. Он возвратился в великолепное старинное поместье, где никогда не знал счастья. Он спросил о жене, не у Лоры ли она?

– Нет, – отвечал ему слуга, – мистрис Монктон отдыхает в своей комнате.

Этого он именно и желал. Он не хотел видеть прекрасного лица Элинор, обрамленного глянцевитыми прядями каштановых волос; он не мог надеяться устоять против влияния ее красоты. Ему хотелось видеть свою питомицу одну.

Лора выбежала из своей уборной, услышав шаги Монктона.

– Что же, – вскричала она, – завещание поддель-

ное?

– Тише, Лора, возвратитесь в вашу комнату.

Мисс Мэсон повиновалась, и Монктон последовал за нею в маленькую, хорошенькую комнатку – настоящий новомодный будуар с мебелью из лоснящегося кленового дерева, обитою ситцем с букетами цветов и драпированного прозрачными кружевами и кисеей воздушного и грациозного, как сама молодая девушка.

– Сядьте в это кресло, мистер Монктон, – сказала Лора, подвигая ему кресло-кушетку, до того низкое, что когда Монктон в него опустился, то колени его очень неловко приблизились к его подбородку.

– Сядьте и расскажите мне все, ради самого Бога! Поддельное ли оно?

– Я не знаю, Лора, подлинное ли это завещание или нет. Решение этого вопроса очень затруднительно.

– Но, Боже мой! – воскликнула мисс Мэсон, – как вы можете быть так недобры и говорить с таким равнодушием, как будто совершенно все одно и то же, поддельное ли это духовное завещание или нет! Если нет, то Ланцелот не дурной человек, а если не дурной, то я, конечно, могу выйти за него и прелестные вещи, приготовленные к свадьбе, не будут брошены. Я имела предчувствие, что все уладится.

– Лора, – вскричал Монктон, – вы не должны говорить так легкомысленно. Вы больше не ребенок, речь идет о самом важном шаге в вашей жизни. Я не знаю, в какой мере это настоящая духовная, по которой Ланцелот Дэррелль вступает во владение Удлэндсом, конечно, я имею повод предполагать, что духовная не подделана, но не могу взять на себя решение этого вопроса. Как бы то ни было, я знаю, что он человек нехороший и с моего согласия вам никогда не быть за ним.

Молодая девушка заплакала, приговаривая сквозь слезы, что жестокосердно обращаться с нею таким образом, когда она больна и проглотила целый океан успокоительного питья, но Монктон остался непоколебим.

– Если бы вам предстояла еще целая дюжина болезней такого рода, – сказал он, – это не могло бы заставить меня отступить от принятого мною намерения, изменить моей решимости. Когда я добровольно взял на себя ответственность за вашу судьбу, Лора, я взял ее с тем, чтобы свято исполнять свой долг. Я изменил ему, я разрешил вам быть невестою человека, к которому никогда не имел полного доверия. Но еще не поздно: ошибку можно исправить. Вы никогда не будете женой Ланцелота Дэррелля.

– Почему же? Если он не подменил духовного за-

вещания, как говорит Элинор, почему же мне нельзя за него выйти?

– Потому что он никогда вас искренне не любил, Лора. Вы сами сознаетесь, что он прежде ухаживал за Элинор. Вы полагаете же это – не так ли?

Мисс Мэсон надула губы, всхлипывала и с трудом наконец могла ответить. Монктон с нетерпением ждал ее ответа, он почти так же мало был способен разыгрывать роль ментора, как молодая девушка, которой он хотел читать наставления. Мысли его помрачнели от безумного, страстного сожаления, убийственного разочарования и оскорбленной гордости, а каждое из этих чувств, взятое отдельно, уже способно было поразить бессилием разум и превратить Соломона в совершенного безумца.

– Да, – наконец произнесла Лора, почти задыхаясь, – он без сомнения сначала просил руки Элинор, но тогда она завлекала его.

– Завлекала его? – вскричал Монктон. – Как?

Лора взглянула на него с большим смущением, прежде чем решилась ответить на его вопрос.

– О, ведь вы знаете, – сказала она после минутного молчания, – я не могу описать вам в точности, как она водила его за нос. Она ходила с ним, они разговаривали вместе, а меня исключали из разговора, что было очень жестоко с их стороны по меньшей ме-

ре будь сказано – если я не была довольна для них умна и не могла вполне постичь о чем они там толковали – Ланцелот все говорил о какой-то мета... как это называется? Вы ведь знаете, кто понял бы подобный разговор? Они могли бы говорить о вещах, которые мне понятны, как, например, о Байроне и Теннисоне. Потом она принимала такое живое участие в его работах, толковала о полутоне и рефлексе, среднем плане и ракурсе и подобных вещах, точно какой художник. Пфом она позволяла ему сидеть в чайной и курить, когда давала мне урок музыки. Желала бы я знать, кто сумел бы сыграть в такт пассажи с пятисвязными нотами, тогда как табачный дым щекотал нос, а в комнате находился неугомонный молодой человек, который то шумно переворачивал листы газеты, то носовым платком бил мух на стеклах окон. Потом он писал с нее Розалинду в своей картине. Впрочем, Боже ты мой! К чему повторять все это, она завлекала его.

Монктон вздохнул.

В том, что сказала его питомица, конечно, не заключалось ничего необыкновенного, но весьма достаточно для него. Элинор и Ланцелот прежде были в дружеских отношениях: они беседовали о метафизике, о литературе, о поэзии и живописи. Молодой художник проводил летнее утро, куря и предаваясь приятному бездействию в обществе мисс Вэн. Без сомне-

ния, в этом заключалось весьма мало значительно-го, но ровно столько, сколько обыкновенно содержит в себе история любви новейших времен. Век рыцарства не существует более с его турнирами, трубадурами и странствующими рыцарями. Если молодой человек нашего времени истратит деньги на отдельную ложу в Ковент-Гардене или лишнюю гинею на букет; если он достанет билеты на модную выставку цветов и доволен, когда может провести большую часть утра среди роскошного беспорядка гостиной, следя за белыми пальчиками своей возлюбленной в их разнообразных занятиях – его можно вполне предположить на столько же искренне влюбленным, как если бы он водрузил на своем шлеме ее зонтик, украшенный кружевом, и поскакал во весь опор с целью дать разбить себе голову в честь ее.

Монктон закрыл лицо руками, обдумывая услышанное. Да, сумасбродная болтовня его питомицы открыла ему все тайны сердца его жены. Он видел хорошенькую комнату, освещенную солнцем, молодого человека возле окна и его красивую голову, окруженную зеленью и розами. Он видел Элинор у фортепьяно, показывавшую вид, что она слушает свою ученицу, а между тем бросавшую украдкой взгляды на своего обожателя. Из этих материалов он составил прехорошенькую картину для собственного мучения.

– Итак, вы полагаете, что Элинор любила Ланцелота? – спросил он, немного спустя.

– Полагаю ли я это? – вскричала мисс Мэсон. – Еще бы! Без всякого сомнения. Иначе зачем бы ей так отговаривать меня выйти за него. Я люблю ее, она очень добра ко мне, – прибавила Лора, поспешно, почти стыдясь, что так строго судит свою приятельницу, которая с таким терпением еще недавно ухаживала за нею в ее болезни. – Я очень люблю ее, но будь она равнодушна к Ланцелоту, зачем бы ей так противиться моему браку?

Джилльберт Монктон громко застонал. Да, оно должно быть так. Элинор любила Ланцелота и ее внезапное негодование, ее волнение и пылкость происходили от ревности. Она не была нежной дочерью, питавшею в душе мечту мести против врага своего покойного отца, она была только ревнивая, злопамятная женщина, искавшая мести за неверность к себе самой.

– Лора, – сказал Монктон, – позовите вашу горничную и прикажите ей немедленно уложить ваши вещи.

– Для чего же?

– Я увезу вас за границу теперь же, не откладывая далее.

– Ах Боже мой! А Элинор?

– Элинор останется здесь. Я поеду с вами в Ниццу, и там мы постараемся излечить себя от нашего

безумства, если только возможно. Не берите с собою лишних вещей, возьмите только самое необходимое из белья и платьев, велите все это уложить в два чемодана. Все должно быть готово через час. Мы отправимся из Уиндзора четырехчасовым поездом.

– А мое приданое... что я с ним буду делать?

– Уложите его, сожгите его, если вам этого хочется, – сказал нетерпеливо Монктон, оставив Лору прийти в себя, от своего сильного удивления.

Он встретил ее горничную в коридоре.

– Чемодан мисс Мэсон должен быть готов через час, – сказал он. – Я увожу ее отсюда для перемены воздуха.

Монктон сошел вниз, в свой кабинет, заперся в нем и написал очень длинное письмо, которое стоило ему, по-видимому, большого труда.

Когда он его закончил, сложил и подписал адрес, он взглянул на часы. Было четверть третьего. Он опять пошел вверх, в уборную Лоры, и застал молодую девушку совершенно растерянную среди страшного беспорядка, она изо всех сил мешала своей горничной укладывать, под предлогом, что ей помогает.

– Наденьте вашу шляпку и шаль, Лора, и сойдите вниз, – сказал Монктон решительным тоном, – а то Джэн никогда не удастся уложить вашего чемодана, пока вы ее тормозите таким образом. Сойдите вниз,



в гостиную, и подождите там, пока все будет уложено.

– Разве мне нельзя проститься с Элинор?

– Где она? В своей комнате еще?

– Да, сэр, – ответила горничная, подняв глаза от чемодана, перед которым стояла на коленях, – я сейчас только смотрела в щелку двери и видела, что мистрис Монктон спит крепким сном. Она так утомилась за это время, ухаживая за мисс Мэсон.

– Хорошо. Ее не надо беспокоить.

– Но если я еду в Ниццу, – возразила Лора, – не могу же я уехать не простясь с Элинор. Вы знаете, как добра она была ко мне.

– Я переменял свое намерение, – сказал Монктон, – я передумал и решил не везти вас в Ниццу. Торкэй принесет вам такую же пользу.

Мисс Мэсон сделала гримасу.

– Я надеялась увидеть новые места, – сказала она. – Торкай для меня не новость: я была там ребенком. Я могла бы забыть Ланцелота при совершенной перемене обстановки, когда бы меня окружали люди, дурно говорящие по-французски, и которые носят деревянные башмаки – словом, когда все решительно было бы иначе, чем здесь, но в Торкэе я никогда не забуду Ланцелота.

Джильберт Монктон не обратил никакого внимания на жалобы своей воспитанницы.

– Ваши услуги нужны будут мисс Мэсон, Джэн, – сказал он горничной, – как скоро вы управитесь с укладкою ее вещей, приготовьтесь и сами для дороги.

Он опять сошел вниз, отдал приказание насчет кареты и стал ходить взад и вперед по гостиной в ожидании своей питомицы.

Через полчаса и Лора и ее горничная были готовы. Чемоданы положили в фаэтон – тот же, который привез Элинон в Гэзльдуд два года тому назад – и Монток уехал из Толльдэльского Приората, не простясь со своею женой.

# Глава L. Письмо Джильберта

Было уже поздно, когда проснулась Элинор. Ее разбудил обеденный звонок, звучащий в куполе над ее головою.

Во время болезни Лоры, она почти не отходила от нее, в эту неделю она изнурилась до крайней степени и спала очень крепко, несмотря на сильное нетерпение услышать о том, что произошло при чтении духовного завещания. Со дня смерти мистера де-Креспиньи она редко видела своего мужа, и хотя холодность и сдержанность в его обращении с нею очень огорчали ее, она не воображала, чтобы в настоящее время он был более прежнего отчужден от нее или чтобы сердце его исполнено было подозрений. Она отворила дверь своей комнаты, вышла в коридор и стала прислушиваться: но всюду царствовала тишина. Только по временам с нижнего этажа до нее доходил отдаленный стук серебра и посуды в столовой, где старый буфетчик ходил взад и вперед, делая приготовления к обеденному столу.

«Монктону следовало бы прийти ко мне с известием насчет духовного завещания, – подумала Элинор, – он должен бы знать, с каким нетерпением я его жду!»

Она освежила свое разгоревшееся лицо холодной водой и по обыкновению переоделась к обеду. Из уважения к памяти друга ее отца, погребение которого было совершено во время ее сна, она надела черное шелковое платье, и, набросив на плечи черную кружевную косынку, пошла вниз отыскивать мужа.

Повсюду она находила большую тишину, почти неестественную. Странно! Как скоро бывает замечательно внезапное отсутствие кого-либо из обитателей дома даже и в таком случае, когда отсутствующий имел привычки самого спокойного свойства. Элинор заглянула в гостиную, заглянула в кабинет и нашла обе комнаты пустыми.

– Где мистер Монктон? – спросила она у старого буфетчика.

– Он уехал, сударыня.

– Уехал!

– Да, уже около двух часов тому назад. Разве вы не изволили знать, что барин собирается ехать?

Любопытство старика было возбуждено взглядом удивления Элинор.

– Разве вы не изволили знать, что барин хотел отвезти мисс Мэсон на берег моря для перемены воздуха? – спросил он вторично.

– Да-да, я знала, что он собирался это сделать, но не думала, чтобы это было сегодня. Нет ли ко мне

письма от мистера Монктона?

– Есть, оно лежит на камине в кабинете барина.

Элинор пошла в кабинет. Сердце ее сильно билось в груди, щеки покрывались ярким румянцем негодования за оказанное ей пренебрежение. Да, вот и письмо и запечатано его кольцом. Он не имел обыкновения запечатывать своих писем, стало быть, это он считал важным.

Мистрис Монктон сорвала пакет и побледнела при чтении первых строк. Письмо было написано на двух листах почтовой бумаги и следующего содержания:

*«Элинор,*

*когда я просил вашей руки, я говорил вам, что в ранней молодости я был обманут женщиной, которую любил нежно – не настолько, однако как впоследствии любил я вас. Я говорил вам это и умолял подумать о моей погибшей молодости и пожалеть меня. Я умолял вас пощадить меня от вторичного обмана, от вторичного разочарования. Если бы вы не были самой жестокой из женщин, вы, верно, тронулись бы мыслью, как много я должен был выстрадать уже от вероломства любимой мною женщины и, конечно, сжалились бы надо мною. Но вы, очевидно, не знаете пощады. Вы были довольны тем, что*

*нашли возможность возвратиться в эти края и жить вблизи вашего прежнего возлюбленного Ланцелота Дэррелля.»*

Письмо выпало из рук Элинон, когда она прочла эти слова.

«Моего прежнего возлюбленного? – вскричала она! Ланцелот Дэррелль мой возлюбленный!.. Может ли мой муж думать, чтобы я могла любить Ланцелота Дэррелля? Почему могла прийти ему в голову подобная мысль?»

Элинон подняла письмо и села к столу мужа. Потом медленно еще раз перечла первую страницу.

«Как мог он написать мне подобное письмо! – воскликнула она с негодованием, как мог он придумать такие жестокие вещи обо мне после того, как я созналась ему во всем... после того, как я открыла ему тайну моей жизни!»

Она продолжала чтение.

*«С первой минуты вашего возвращения в Толльдэль, – писал Монктон, – я узнал все... горькую, жестокую истину. Трудно было поверить ей тому, кто построил все здание своей будущности на одной обманчивой мечте и основывал счастье всей своей жизни на заблуждении. Расстаться с этой мечтой, расстаться с этим заблуждением – значило обречь себя на одиночество, на отчаяние.*

Я узнал худшее. Я наблюдал за вами, как только может делать это тот, кто положил все свои надежды на правдивость женщины. Вы все еще любите Ланцелота Дэррелля – я в этом убедился. Вашей тайне изменили тысячи доказательств, в сущности незначительных, но обвиняющих сильно, так как они многочисленны. Вы приняли мою руку из расчета, имея в виду выгодное положение в свете взамен пожертвования чувств, и вы узнали слишком поздно, что это пожертвование было свыше ваших сил. Я следил за вами день за днем, час за часом, я видел как по мере приближения свадьбы Лоры ваши страдания возрастали с каждой минутой, как вы становились все беспокойнее, все нетерпеливее и изменчивее в вашем обращении с Ланцелотом Дэрреллем. Наконец в ночь смерти де-Креспиньи гроза разразилась. В саду Удлэндса вы встретились с Ланцелотом Дэрреллем, быть может, случайно, а быть может, и с намерением. Вы старались отговорить его от женитьбы на Лоре, подобно тому, как до того времени уговаривали Лору не выходить за него, но, не преуспев в этом, вы дали полную свободу бешеному припадку ревности и обвинили неверного любовника в несбыточном преступлении. Поймите меня, Элинор, я не обвиняю

вас в оскорбительных проступках против меня, в умышленной измене. Зло, мне вами нанесенное, заключается в том, что вы согласились быть моей женой, между тем как сердце ваше принадлежало другому. Я верю вам в том, что вы старались побороть эту гибельную любовь и приписываю ваше ложное обвинение Ланцелота Дэррелля безумному порыву ревности, скорее чем преднамеренному умыслу низкой души. Я стараюсь сохранить о вас хорошее мнение, Элинор, я любил вас так нежно и новая счастливая жизнь, на которую я надеялся, должна была заимствовать всю свою прелесть от надежды приобрести вашу любовь. Но, кажется, этому не быть никогда. Я преклоняю голову пред назначением судьбы и избавляю вас отуз, которые, вероятно, вам уже стали ненавистны.

Итак, прошу вас написать мне одно последнее письмо и сообщить, на каких условиях желаете вы расстаться со мною? Пусть причиной нашего развода будет несовместимость характеров. Я сделаю все, чтобы доставить вам приличное положение в свете, и надеюсь на вас, что вы сохраните имя жены Джильберта Монктона незапятнанным.

Синьора Пичирилло, вероятно, не откажется помочь вам в этом деле и согласится принять на себя обязанность покровительницы и друга.



*Я оставляю вас полной владелицей Толльдэля, а сам отправляюсь с Лорою в Торкэй, откуда перееду на континент, как только решены будут условия нашего развода и я успею устроить все свои дела.*

*Мой адрес на следующие две недели будет в Торкэй с удержанием на почте».*

*«Джильберт Монктон».*

Вот содержание письма, которое нотариус написал своей молодой жене. Оно поразило все ее чувства, подобно громовому удару. Она долго сидела, читая и перечитывая его. В первый раз после ее замужества она забыла о мести и думала серьезно о другом. Оно было слишком жестоко – это письмо. Ее душою овладело одно чувство – негодование. Она и не подозревала отчаяния, которое могло наполнять грудь Джильберта Монктона в ту минуту, когда он писал это прощальное письмо. Она не знала, как его сильная душа боролась против каждого подозрения, против каждого нового сомнения, подавляя его по мере того, как оно возрастало, и только для того, чтобы пасть наконец от неодолимой силы обстоятельств, из которых каждое казалось новой уликой против его жены. Элинор не могла знать этого, она понимала только, что муж жестоко оскорбил ее и не могла чувствовать ничего, кроме негодования – еще и теперь. Она разорвала письмо на мелкие куски. Ей хотелось бы уничтожить

и его оскорбительные обвинения. Как смел Монктон думать о ней так низко! Холодное отчаяние запало ей в душу тяжелым бременем, пригнуло ее к земле и на время поразило ее бессилием.

Во всем она встречала одни неудачи. Перед смертью мистера де-Креспиньи она не успела увидеться с ним, ей не удалось доказать вину Ланцелота Дэррелля, хотя доказательство его преступления было в ее руках, хотя она сама была свидетельницей его преступных действий. Все было против нее. Случай свел ее с тем человеком, которого она так искала только для того, чтобы возбудить обманчивые надежды и иметь впоследствии совершенную неудачу. А теперь она была покинута, была предметом подозрения мужа – человека, которого она любила и уважала всеми лучшими чувствами природы возвышенной, но искаженной всепоглощающей целью ее жизни. В своем негодовании против Джильберта Монктона, ее ненависть к Ланцелоту Дэрреллю стала еще ожесточеннее прежнего, он был причиной всего: его низкое вероломство отравило ее жизнь со дня смерти ее отца до настоящей минуты.

В то время как Элинор сидела погруженная в грустные размышления о письме мужа, старый буфетчик пришел доложить ей, что обед подан. Почтенный слуга, вероятно, долго уже бродил вокруг столовой, с на-

деждуо открыть на лице его госпожи, при ее выходе из кабинета, ключ к какой-нибудь семейной тайне.

Мистрис Монктон старалась показать вид будто она обедает. Не говоря о желании сохранить внешнее приличие – желание, свойственное людям, даже самым впечатлительным – она хотела услышать что-нибудь о завещании мистера де-Креспиньи, и была вполне уверена, что старый буфетчик снабжен всеми возможными сведениями.

Она заняла свое обыкновенное место за столом, а Джефффриз стал за ее стулом. Она попробовала суп и стала играть ложкою.

– Слышали вы, что-нибудь о завещании мистера де-Креспиньи, Джефффриз? – спросила она, после минутного Молчания.

– Сказать по правде, у нас в людской, четверть часа тому назад, был булочник Бэнкс из Удлэндса, он говорил, будто бы мистер Дэррелль получил все имение старого барина, как движимое, так и недвижимое – за исключением пожизненного дохода двум дев... двум мисс де-Креспиньи, а так как они во всем до крайности скупы, то никто не жалеет, что имение досталось не им. Чего прикажете, хересу или медку?

Элинор машинально взяла одну из своих рюмок и держала ее, пока старик – уже не той ловкой и проворной рукой, как при жизни отца Джильберта Монк-

тона, налил ей вина. Потом он снял со стола суповую чашку.

– Да, – продолжал он, – Бэнкс из Гэзльуда говорит, что мистеру Дэрреллю досталось все состояние. Он слышал об этом от горничной мистрис Дэррелль. Кроме того, мистрис Дэррелль, по возвращении из Удлэндса, сама сообщила всей прислуге это известие и была вне себя от радости, по словам горничной. Мистер же Дэррелль, напротив, был бледен как смерть, при всеобщей радости, никому не нашелся сказать ни слова, а говорил только с тем иностранным господином, с которым он так дружен.

Элинор обратила мало внимания на все эти подробности. Главный вопрос исключительно занимал ее: отчаянная игра Ланцелота ему удалась, победа оставалась за ним. Выйдя из-за стола, мистрис Монктон отправилась в свою комнату, потом собственными руками вытащила из стальной кладовой чемодан и стала укладывать в него самые простые из своих платьев и других принадлежностей туалета.

«Завтра утром я уеду из Толльдэля, – говорила она себе, – по крайней мере я докажу мистеру Монктону, что не желаю пользоваться выгодами моего брака. Я уеду отсюда и снова буду прокладывать себе путь в жизни. Ричард был прав, моя мечта о мести, конеч-

но, была безумной мечтой, и я наконец начинаю думать, что так должно и быть: по всему видно, что низким людям следует иметь успех в этом свете, а нам остается только довольствоваться тем, что мы приносим при этом и видим их торжество».

Элинон не могла без горечи вспомнить о внезапном отъезде Лоры. Она не могла быть побуждаема теми же причинами, под влиянием которых находился Джильберт Монктон. Почему же она рассталась с нею, не сказав ей ни слова на прощанье? Почему? И этому ее горю опять-таки был причиной Ланцелот Дэррелль, как причиной и всех других ее страданий. Ревность, в отношении к нему, внушала Лоре предубеждение против друга.

На следующий день рано утром Элинон уехала из Толльдэльского Приората. Она отправилась на станцию Уиндзора в кабриолете, исключительно предоставленном в распоряжение ее и Доры. Она взяла с собой только один чемодан, письменный прибор и несессер.

– Я еду одна, Мэртон, – сказала она горничной, взятой Монктоном собственно для нее. – Вы хорошо знаете, что я давно привыкла обходиться без прислуги, притом я не полагаю, чтобы вам было удобно жить там, куда я еду.

– Но вы, конечно, едете ненадолго, сударыня? –

спросила девушка.

– Еще сама не знаю, я ничего не могу сказать вам наверняка. Я писала к мистеру Монкtonу, – поспешно отвечала Элинор.

При бледном свете раннего весеннего утра мистрис Монкton оставила дом, в котором мало счастливых минут ей выпало на долю. Она обернулась назад и взглянула на величественный старинный дом со вздохом сожаления. Как могла бы она быть счастлива в этих стенах, поросших плющом! Каким счастьем могла бы она наслаждаться со своим мужем и Лорой, не будь одного препятствия, одной губельной преграды – Ланцелота Дэррелля! Она подумала, чем бы могла быть ее жизнь, если бы торжественный обет, данный ею, не побуждал ее беспрерывно стремиться к его исполнению. Любовь доброго мужа, ласки и привязанность милой девушки, уважение всех ее окружающих – все принадлежало ей, не будь только Ланцелота Дэррелля.

Она бросила еще один взгляд на старый дом, его красные стены виднелись сквозь обнаженные ветви дубов. Она могла еще видеть окно той комнаты, в которой она проводила время. Эту комнату Монкton нарочно отделал для нее. В ней висели богатые темно-малиновые занавеси и стояла статуэтка, им самим выбранная, которая белела при красноватом отблес-

ке огня в камине. Элинор смотрела на все эти предметы и с сожалением расставалась с ними, но гордость ее удовлетворялась мыслью, что она покидает роскошный свой дом и все его удобства для жизни бедной, в одиночестве и лишениях.

«Пусть муж мой по крайней мере увидит, что я не выходила за него для его прекрасного дома, для лошадей и экипажей, – думала она, следя взором за последними трубами, исчезающими за деревьями. – Как низко бы он ни думал обо мне, на это я не дам ему права».

Было еще очень рано, когда Элинор прибыла в Лондон. Она решила не ехать к синьоре: ей пришлось бы тогда рассказать доброй учительнице музыки все, что произошло, без всякого сомнения ей весьма было бы трудно убедить своего старого друга и доказать, что она поступила хорошо.

– Синьора, пожалуй, станет настаивать на том, чтобы я возвратилась в Толльдэль и старалась оправдать себя в глазах Джильберта Монктона, – думала Элинор. – Нет, я никогда не унижу себя перед ним. Он оскорбил меня напрасно и последствия этого незаслуженного оскорбления пусть падут на его же собственную голову.

Как видно, природа молодой женщины была еще так же необузданна, как и в ее детстве, когда бро-

сившись на колени в маленькой комнатке, в Париже, она поклялась отомстить убийце своего отца. Она еще не научилась смирению. Казалось, она еще не была проникнута возвышенным учением Евангелия, не умела переносить незаслуженное оскорбление с терпением и покорностью. Ее письмо к Джильберту Монктому было очень коротко.

*«Джильберт, – писала она, – вы жестоко и несправедливо обвинили меня, но я твердо уверена, что рано или поздно настанет тот день, когда вы узнаете, как неосновательны ваши подозрения! Каждое слово, сказанное мною в доме мистера де-Креспиньи в ночь его смерти, исполнено правдой. Я нахожусь в совершенном бессилии доказать ее и не могу равнодушно присутствовать при торжестве Ланцелота Дэррелля. Тайна утраченного завещания для меня непостижима, но я утверждаю еще раз, что это завещание было в моих руках за пять минут до моей встречи с вами в саду. Если когда-нибудь эта бумага найдется, с ней откроется и моя невиновность. В этом отношении я полагаю всю мою надежду на вас, но оставаться в вашем доме я решительно не могу, пока вы считаете меня тем низким созданием, которым я действительно была бы, если бы ложно обвинила Ланцелота Дэррелля.*



*В Толльдэля возвращусь только тогда, когда невиновность моя будет доказана. Не опасайтесь, чтобы я наложила пятно на ваше илш. Я буду жить своим трудом, как делала это прежде».*

*«Элинон Монктон»*

Письмо это не выражало и сотой доли того негодования, которым было преисполнено сердце Элинон. Ее гордость возмущалась против оскорбления, нанесенного ей мужем, она страдала, тем более что под ее наружным равнодушием, в самых отдаленных тайниках ее сердца, таилась истинная и чистая любовь к этому жестокому Джильбсрту Монктону, позорения которого так жестоко уязвили ее душу.

Соразмерно с силою ее любви, в сердце ее скрывалась и сила негодования. Она уехала из Толльдэля с гневными мыслями, которые возбуждали всю ее энергию и придавали ей мнимую твердость.

Когда Элинон достигла Лондона, то все еще находилась под этим же влиянием. В кошельке у нее было только несколько фунтов стерлингов, поэтому надо было тотчас же подумать о приобретении средств к существованию. Мысль об этом занимала ее всю дорогу от Уиндзора до Лондона, и она приняла уже решение на этот счет. По приезде в Лондон, она взяла кэб и приказала везти себя в небольшую тихую гости-

ницу в Стрэнде, оставила там свой чемодан и другие вещи и отправилась пешком в одну из контор для помещения гувернанток, находившуюся в окрестностях Кэвендишского сквера. Она бывала там и прежде, когда жила еще с синьорой, для справок насчет уроков музыки, но содержательница этого заведения не знала ее настоящей фамилии.

«Я должна принять новое имя, – думала она, – так как я хочу укрыться от Джильберта Монктона и от синьоры. Кстати, мне следует тотчас же написать к этой доброй душе и уведомить ее, что я цела и невредима, иначе она будет мучить себя предположениями на мой счет, когда услышит, что я уехала из Толльдэля».

Содержательница конторы для помещения гувернанток была видная, пожилая девица, в постоянно шумевшем шелковом платье и с глянцевыми косами седых волос, покрытых кружевным чепцом. Она приняла Элинора с торжественной снисходительностью, осведомилась о ее требованиях, о ее познаниях, потом, взяв слегка между тонких пальцев карандаш в золотой оправе, она с минуту оставалась в размышлении. Элинора сидела против нее и следила за выражением ее лица с тоской и волнением. Она нуждалась в доме, в тайном убежище, где могла бы скрываться от света, который, казалось, весь

восстал против нее. Ей было все равно, где бы ни было укрываться, у кого бы ни жить только бы уйти от Монктона, который оскорбил ее напрасным обвинением, уйти от Ланцелота Дэррелля, вероломство которого постоянно торжествовало над ее истиной.

Конечно, она не высказывала этого вслух. Она только выразила желание получить место учительницы музыки, надзирательницы за детьми или компаньонки, считая плату вопросом весьма незначительным.

– Я понимаю, – сказала медленно содержательница заведения, – я вполне понимаю ваши чувства, мисс, мисс...

– Мое имя Виллэрз, – возразила с живостью Элинор, опустив при этих словах глаза на свою муфту.

Глаза содержательницы последовали за ее взором и тоже остановились на соболиной муфте, ценою в двадцать пять фунтов. Монктон подарил ее жене в начале зимы. Она вовсе не соответствовала простому мериносовому платью Элинор, ее шерстяной шаля и ее желанию поступить в гувернантки без большого жалованья. Мисс Бэркгэм, хозяйка конторы, с некоторым подозрением взглянула на хорошенькое личико посетительницы и в рассеянии не договорила начатой фразы.

– Я полагаю, что вы можете представить надежные

рекомендации? – сказала она холодно.

Элинор вспыхнула. В эту минуту представлялась ей непреодолимая преграда при самом начале ее нового поприща.

– Рекомендации? – пролепетала она, запинаясь, – разве рекомендации необходимы?

– Положительно необходимы. Мы ни в каком случае не можем помещать из нашей конторы молодых девиц без самых надежных рекомендаций или аттестатов. Правда, некоторые довольствуются и просто письменными свидетельствами. Что же касается меня, то я считаю личную рекомендацию необходимой, и без этого не решусь предоставить вам место. Элинор приняла очень огорченный вид. Она не имела понятия о таких дипломатических проделках и не знала никаких хитрых уверток. Она разом высказала истину, нисколько не испуганная строгими взглядами мисс Бэркгэм.

– Я никак не могу представить вам рекомендаций, – сказала она, – мои друзья не знают, что я ищу место и не должны этого знать. Уверяю вас, я принадлежу к очень достойному семейству и вполне имею надлежащие сведения для обязанностей, которые беру на себя.

# Глава LI. Мистрис Леннэрд

Мисс Бэркгэм устремила на свою посетительницу взор, исполненный ужаса и удивления.

– Не могли же вы воображать себе, мисс Виллэрз, – сказала она, – что кто-нибудь может доверить вам такую важную обязанность, как надзор за детьми, без других рекомендаций, кроме вашего собственного отзыва о себе, по моему мнению, довольно самоуверенного относительно ваших достоинств.

– В жизни моей я никогда не произносила ни одного слова лжи, мисс Бэркгэм, – ответила Элинор с негодованием, – и если в настоящее время я не могу обратиться ни к кому из моих друзей с просьбой засвидетельствовать мои правила и образ жизни, то это происходит от обстоятельств, которые...

– В том-то и дело! – воскликнула мисс Бэркгэм, – против этого-то именно мы и должны противодействовать. Мое заведение сильно осаждается бесчисленной толпой молодых женщин, которые полагают, что ничего не может быть легче, как повернуться спиной к друзьям и родному крову и пуститься в свет в качестве воспитательницы растущего поколения. Вы, вероятно, считаете меня и мелочной педанткой, мисс Виллэрз, но одному Богу известно, что случилось бы

с растущим поколением, если бы кто-нибудь не имел строгого надзора за входом в классные комнаты детей. Молодые девушки, которым вдруг вздумается быть несчастными в обществе родных, другие разочарованные насчет какой-нибудь мечтательной любви, третьи, которые вдруг вобьют себе в голову, что с ними дурно обращаются их старшие сестры, четвертые, которые, вследствие собственной пустоты и легкомыслия, нигде не могут чувствовать себя довольными – все стремятся к нам и желают быть воспитательницами – «так, для перемены», – говорят они, в надежде найти маленькое развлечение для души и ума – как будто у них есть душа и ум, способные находить в чем-нибудь удовольствие. Это разряд любительниц, которые желают взять на себя обязанность очень серьезную и почтенную, на изучение которой сотни образованных и достойных женщин посвятили самые лучшие, самые цветущие годы их жизни. Эти искательницы мест, не имея основательных познаний, предлагают на продажу свой дешевый, ничего не стоящий товар, и подрывают честь трудолюбивых и добросовестных преподавательниц, которые предварительно сами изучили то, что намерены передавать детям. И этот разряд любительниц несомненно будет иметь успех, мисс Виллэрз, пока будут существовать дамы, которые ужасаясь мысли дове-

рительное дорогое платье неискусной швее, готовы доверить воспитание своих детей наставнице, высшее достоинство которой заключается в ее дешевизне. Я во все не желаю оскорблять ваших чувств, мисс Виллэрз, но уверяю вас, что у меня часто болит сердце, когда я вижу, как отвергаются услуги женщины с тридцатилетним опытом и со всеми сокровищами ума, тщательно и отлично образованной для какой-нибудь девятнадцатилетней девочки, которая умеет с эффектом разыграть фантазию, изуродовать хрустальную вазу раскрашенными бумажками и вдобавок соглашается получать двадцать фунтов в год за услуги, не стоящие и пяти.

Элинор улыбнулась такому энергичному протесту мисс Бэркгэм.

– Я уверена, что вас часто беспокоят особы, не наделенные надлежащим знанием своего дела, – заметила она, – но могу вас заверить, что я не обманываю вас. Многого я на себя не беру, но играю я хорошо, как мне кажется. Могу ли я сыграть вам, что-нибудь? – спросила она, указывая на открытый рояль – прекрасный рояль Эрара, на котором гувернантки при представлении обычно показывали свой талант.

– Я не имею ничего против этого, – ответила мисс Бэркгэм, – помните только, что я никак не могу предложить вам место без рекомендации или аттестата.

Элино́р подошла к роялю, сняла перчатки и пальцы ее забегали по клавишам. В последнее время она мало занималась музыкой: тревожное состояние души делало ее неспособной к какому бы то ни было занятию. Она была слишком беспокойна, слишком взволнована, чтобы делать что-нибудь иное, кроме бесцельного странствования по всему дому, или сидения целыми часами в глубоком раздумья, опустив руки на колени.

Знакомые звуки доставили ей необыкновенное наслаждение; она сама удивилась своему блестящему исполнению, что часто случается с замечательными артистами, когда они по какому-либо случаю долго не играли. Она превосходно исполнила одну из самых блестящих сонат Бетховена, так что даже мисс Бэ́ргэм, которой нередко приходилось слышать хорошую игру, и та сказала шепотом несколько лестных слов.

Но едва ли Элино́р успела просидеть минут пять за роялем, как вошел слуга и подал мисс Бэ́ргэм карточку. Она встала со своего места с видом некоторого неудовольствия.

– Право, я не знаю, что мне с этим делать? – проворчала она про себя. – Почти невозможно устроить что-нибудь в такой короткий срок.

– Извините меня, мисс Виллэ́рз, – прибавила она вслух, обращаясь к Элино́р, – я должна поговорить



с одной дамой. Потрудитесь подождать моего возвращения.

Элинор наклонила голову в знак согласия и продолжала играть. Она закончила сонату и вдруг, случайно увидя на своей руке обручальное кольцо и вместе с ним другое, массивное золотое, усыпанное бриллиантами и подаренное ей мужем в день свадьбы, она быстро сдернула эти кольца с пальцев и положила их в кошелек, среди немногих монет, которые теперь составляли все ее богатство.

Она вздохнула, ей казалось, будто, сняв кольца, она совершенно рассталась со своей прежней жизнью.

«Так будет лучше, – говорила она сама себе, – теперь я вполне убедилась, что Джильберт стал подозревать меня в вероломстве тотчас после нашей свадьбы. Теперь я хорошо понимаю, отчего происходит его холодная сдержанность, которая прежде так удивляла меня».

Элинор сильно задумалась. Припоминая все прошлое, она стала спрашивать себя: не сама ли была виною изменившегося обращения мужа, и, без сомнения, перемене его чувств. Она пренебрегла всеми обязанностями жены, так как душа ее вся была поглощена любовью дочери, она пожертвовала живым для мертвого. Она начинала думать, что совет

Ричарда Торнтонна был гораздо умнее, чем она предполагала в то время, когда отказывалась его слушать. Очевидно, она одна виновата во всем. Классические обеты мести были прекрасны в те дни, когда Медея могла летать на драконах и умерщвляла своих детей на основании принятых обычаев, но вдохновенный учитель, спустя много времени после этого классического века, к сожалению, минувшего – проповедывал, что месть принадлежит одному Богу и слишком страшное орудие для того, чтобы находиться в руках слабых смертных, способных слепо направлять кару небесную друг против друга.

Все эти мысли пришли ей в голову и тяжелое чувство грусти овладело ею. Она стала думать, что впечатление, под которым она действовала в настоящую минуту, было худшим руководителем, какого только она могла избрать.

Она начинала думать, что поступила очень неблагоприятно, уехав в первом пылу негодования из Толльдэля и что, может быть, поступила бы лучше, если б написала Джильберту Монкtonу письмо для своего оправдания, более спокойное, и стала бы терпеливо выжидать его последствий. Но что делать теперь? Пугь ее уже избран. Она должна оставаться при своем выборе, если не хочет показаться самую слабою, самую трусливою из женщин.

«Мое письмо уже на почте, – говорила она сама себе, – Джильберт получит его завтра утром. Я была бы трусихой, если бы отступила назад. Насколько бы я сама ни заслуживала порицания, он тоже поступил со мною очень дурно».

Элинор вытерла слезы, выступившие на ее глазах, когда снимала свое обручальное кольцо и снова начала играть.

На этот раз она выбрала одну из самых оживленных и блестящих фантазий, какую только могла припомнить – настоящее попурри из разных мелодий, искусное смешение шотландских напевов, то веселых, то воинственных и диких, то жалобных и нежных, всегда причудливых донельзя и переходивших порою в самые оригинальные вариации, в самые странные темпы. Пьеса была одним из образцовых произведений Тальберга, и Элинор исполнила ее великолепно. В ту минуту, как она брала последние аккорды, отрывистые и быстрые, как залп мушкетного огня, мисс Бэркгэм вернулась в комнату.

Она имела вид немного недовольный и, казалось, находилась в какой-то нерешительности, прежде чем обратилась с речью к Элинор, которая в это время встала из-за фортепиано и надевала перчатки.

– Право, мисс, Виллэрз, – сказала она, – это для меня совершенно непонятно, но так как мистрис Лен-

нэрд жаеаэт этэго сама, то я...

При этих словах, она вдруг остановилась и начала вертеть в пальцах золотой карандаш, висевший на цепочке ее часов.

– Я вовсе не могу постичь подобной вещи, – продолжала она, – хотя я, конечно, умываю руки от всякой ответственности. Вероятно, вы не имеете никаких препятствий к тому, чтобы ехать путешествовать? – спросила она внезапно.

При таком неожиданном вопросе Элинор широко раскрыла глаза от удивления.

– Имею ли я что-нибудь против путешествий?.. – спросила она, – я...

– Согласны ли вы ехать за границу в Париж, например, если бы я могла вам предоставить место?

– О, нет! – отвечала Элинор со вздохом, – вовсе нет. Впрочем, мне все равно, где ни быть, в Париже или в другом каком месте.

– В таком случае, я полагаю, что могу вас разместить немедленно. В смежной комнате находится дама, которая была здесь уже вчера и поистине причинила мне сильнейшую головную боль своим беспокойным и ребяческим обращением. Как бы то ни было, а она жаеаэт найти в компаньонке молодую девушку, и как можно скорее. В этом-то и все затруднение. Она едет в Париж, сегодня же вечером выезжа-

ет из Лондона, а подумала о компаньонке только вчера после обеда. Она приехала ко мне в страшной тоске и просила, чтобы я познакомила ее с такой компаньонкой, какая ей нужна. Она провела весь вечер в той комнате, я водила к ней множество молодых девушек: каждая, казалось, обладала свойствами, приличными для этой обязанности, на деле весьма легко исполнимой. Но ни одна из этих девушек не понравилась мистрис Леннэрд. Она обошлась с ними очень учтиво, наговорила им тьму любезностей и отпустила их с самыми аристократичными приемами, а потом объявила мне, что все они ей не по душе и что она твердо решила взять только ту, которая произведет на нее приятное впечатление. Она прибавила, что желает очень любить свою компаньонку и совершенно считать ее своею сестрою. Она говорила все это и... Боже ты мой, милосердный! – воскликнула вдруг мисс Бэркгэм, – откуда мне было ей взять в какие-нибудь четверть часа девушку, которая бы пришлась ей по душе и могла быть для нее сестрой? Могу вас уверить, мисс Виллэрз, что голова у меня пошла кругом, когда она уехала вчера вечером, да и теперь тоже начинает кружиться.

Элино́р с большим терпением выжидала, пока мисс Бэркгэм удалось наконец собрать свои мысли.

– Едва ли я могу надеяться, чтоб эта причудливая

леди нашла меня по своему вкусу, – сказала она, улыбаясь.

– В том-то и дело, моя милая! – воскликнула мисс Бэркгэм, – об этом-то именно я и пришла сообщить вам. Вы ей понравились.

– Как понравилась? – повторила Элинора, – ведь она меня не видала?

– Конечно, не видела моя милая, но я, право, не помню, чтобы когда-нибудь встречала особу, которая меня поражала бы таким удивлением. Я почти могу сказать, что она всякого собьет с толку. Я была в соседней комнате и разговаривала с этой мистрис Леннэрд... она очень недурна собою, имеет наружность леди, только в одежде ее заметна маленькая неряшливость. Я говорила с нею, повторяю я, когда вы заиграли вашу фантазию на шотландские мелодии. Мистрис Леннэрд вдруг остановилась, стала слушать и после нескольких минут вскричала внезапно:

– Уж это верно какое-нибудь чучело!

– Почему вы это думаете? – спросила я.

– Старые чучелы почти всегда играют хорошо, – ответила она, – да притом эти уродины нередко бывают и очень образованы. Но я решила бы взять только такую, которая могла бы быть мне сестрой. Я должна иметь ее сегодня же ровно к трем часам, иначе майор Леннэрд рассердится, и я сойду с ума. Итак,

мисс Виллэрз, я объяснила мистрис Леннэрд ваши лета, описала вашу наружность и манеру держать себя, насколько позволяло наше короткое знакомство с вами, и, не успела еще закончить, как она воскликнула: «Эта мне нравится». Так как она умеет отлично исполнять шотландские мелодии и к тому еще миловидна, то я беру ее. Она будет играть мне все утро, пока я рисую на бархате. Не угодно ли будет вам пойти со мной, мисс Биллэрз, чтобы я могла вас представить мистрис Леннэрд?

Элинор взяла свою муфту и последовала за мисс Бэркгэм, но едва они дошли до порога двери, как при входе показались три дамы и хозяйке заведения следовало принять их.

– Уж потрудитесь пойти одна, – сказала она шепотом Элинор, указывая на дверь задней комнаты. – Сделайте мне это одолжение, вы найдете мистрис Леннэрд очень приветливой и любезной дамою.

Элинор охотно согласилась. Она отперла дверь и вошла в нарядно убранную гостиную. Мистрис Леннэрд была женщина маленького роста. Стоя на ковре перед камином, она поднялась на кончики пальцев, чтобы посмотретья в зеркало, пока завязывала светло-голубые завязки своей черной бархатной шляпки. Элинор остановилась неподалеку от двери, в ожидании, что мистрис Леннэрд обернется и, стараясь от-

гадать наперед, какой она может быть наружности? С того места, где стояла мистрис Монктон, нельзя было рассмотреть лица этой дамы.

Мистрис Леннэрд употребила очень много времени на свое важное занятие – завязывание красивого банта.

Наконец, услышав легкий шум шагов Элинора, которая подвинулась немного вперед, мистрис Леннэрд вдруг вскрикнула и обернулась:

– Гадкая девочка, вы меня перепугали!

Не настолько, однако, как Элинора была поражена при виде лица мистрис Леннэрд: она не могла удержаться от восклицания удивления. Лицо это было очень красиво, очень молодо, хотя ей и было около сорока лет. Хорошенькое детское личико, с розовыми щеками, голубыми, как бирюза глазами и самыми светлыми, шелковистыми, белокурыми волосами. Правда, красота ее была германского, несколько глуповатого типа, тем не менее она была совершенством в своем роде.

Однако Элинора была не столько поражена детской, нежной красотой мистрис Леннэрд, сколько сильным ее сходством с Лорою Мэсон. Это было то же самое лицо, только старше двадцатью годами, но заботливо сохраненное, оно не носило отпечатка забот и трудов жизни. Наружностью и обращением мистрис Леннэрд



была совершенно тем, кем, можно было ожидать, будет и Лора, когда доживет до тридцати семи лет.

## Глава LII. Возвращение в Париж

От этого сходства Элинор растерялась до такой степени, что простояла несколько минут неподвижно, устремив на мистрис Леннэрд пристальный взор.

– Боже ты мой! Моя милая! – вскричала эта дама. – Что вы так удивлены? Надеюсь, я не похожа на морское чучело? Фредерик – это майор Леннэрд, знаете, никогда не любил этой шляпки, а теперь и я сама начинаю не любить ее. Мне сдается, что она на голове моей точно куль, но не обращайтесь на нее внимания, милая мисс Виллэрз... так, кажется, назвала мне вас мисс Бэркгэм. Очень приятная женщина эта мисс Бэркгэм – не правда ли? Только немного чопорна. Однако ж, мне еще надо переделать много разных дел до восьми часов. Фред хочет ехать с ночным поездом, потому что он спит почти всю дорогу и тем путь для него сокращается. Поэтому-то я никогда не видела Дувра, иначе, как в темноте. Я не могу представить его себе иначе, как освещенным фонарями, с скользкой пристанью и толпою народа, который спешит и толкается, как будто место виденное мною во сне. Но первый вопрос, который нам следует решить, тот: нравлюсь ли я вам и полагаете ли вы, что могли бы быть для меня сестрой?

Вопрос этот, заданный с большой живостью, окончательно поразил Элинор.

– Ах, ради Бога, не делайте же такого удивленного вида! – вскричала мистрис Леннэрд умоляющим голосом, – вы меня заставляете думать, что я чучело, а вы сами видите, что теперь терять время невозможно. Мы должны тотчас же решить. Я провела здесь весь вчерашний вечер, видела легионы девиц, но в их числе не было ни одной, которая пришлась бы мне по душе, а я единственно из-за этого только и беру себе компаньонку, что желаю иметь при себе кого-нибудь, кого очень могла бы любить и с которой могла бы чувствовать себя вполне свободной. Я уверена, что вы соединяете в себе все эти качества, и если вы полагаете, что полюбите меня так же, как, я уверена, что люблю вас, то мы тотчас и решим это дело.

– Но вам ведь известно, что я не могу представить никаких рекомендаций, – отвечала Элинор, запинаясь.

– Конечно, – отвечала мистрис Леннэрд. – Мисс Бэркгэм мне говорила про все это, будто я стану подозревать вас в совершении убийства или чего-либо другого ужасного, на том лишь основании, что вы не можете в одну секунду подцепить целую полдюжину людей, готовых объявить вас настоящей праведницей. Мне нравится ваш взгляд, моя милая, а кто

на меня с первого раза произведет приятное впечатление, того я обыкновенно люблю со временем. К тому же вы великолепно играете, как желала бы уметь играть я. Прежде я играла увертюру из «Семи-рамыды», еще до моего замужества, но так как Фредерик не любит увертюры и так как мы таскались по всему свету то в каютах, то в палатках, и во всякого рода местах, где нельзя иметь фортепьяно, разве лишь для того устроенных без ножек, то я и отстала. Теперь я дошла до той степени, что с трудом могу сыграть польку без того, чтобы не перескакивать через трудные пассажи.

Мистрис Леннэрд говорила далее, что вопрос о жалованьи должен быть решен между мисс Виллэрз и майором.

— Я всегда предоставляю денежные дела Фредерику, — сказала она, — хотя он и не умеет сводить счетов, он принимает такой вид, как будто умеет, а это служит острасткой для людей. Впрочем, вам иногда придется подождать вашего жалованья, моя милая. У нас часто платежи не производятся вовремя. Если же вы на это будете смотреть снисходительно, то это будет для вас же лучше. Фред, наверное, подарит вам шелковое платье, когда настанет срок уплаты жалованья и он не будет в состоянии с вами рассчитаться. Это он называет подачкой Церберу. Я почти уве-

рена, что деньги, растроченные им на услаждение людей, как он выражается за глаза, были бы достаточны для покрытия наших расходов, если бы мы платили вовремя. Что же вы скажете: дело решено? Принимаете ли вы мое предложение?

Элинор согласилась, не колеблясь ни минуты. Она очень мало услышала из всей добродушной болтовни мистрис Леннэрд. Вся душа ее была поглощена мыслью о понесенной неудачи и чувством, что не имеет более никакой возможности торжествовать над Ланцелотом Дэрреллем. Она упала духом, но не смирилась, она испытывала равнодушие отчаяния, была готова отправиться куда бы то ни было, и закончить свое бесполезное существование каким бы то ни было образом. Она не чувствовала в себе силы, начать новую жизнь по вновь предначертанному плану, откинув прежние мечты, как ошибку и заблуждение. На это она не была еще способна.

Мистрис Леннэрд стала собирать целую кучу разных свертков и пакетиков в беловато-коричневой бумаге, по-видимому, имевших с ней самой что-то общее, как будто родственное – до того казались они незначительными и бесполезными. Мисс Бэркгэм вошла в комнату осведомиться об исходе свидания двух дам. Мистрис Леннэрд отозвалась об Элинор с восторгом, заплатила немного в пользу заведения и вы-

шла, забрав с собой все свои свертки, вместе с Элинор.

После небольшого добродушного спора, она позволила своей спутнице взять у нее несколько пакетов, чтобы облегчить ее. На углу улицы она остановила кэб, ехавший медленным ленивым шагом вдоль улицы.

– Извозчик сдерет с нас! – воскликнула мистрис Леннэрд, – к этому надо готовиться, но я охотнее заплачу лишнее, чем вынесу тот шум, который поднимается, когда я езжу с мужем. Чего тут не бывает? И вызовы в суд и всякого рода неприятные вещи! А все же это мне вполтину не так тяжело, как иметь дело с извозчиками за границей, которые выходят из себя, пляшут на мостовой и поднимают бешеный крик, если их тотчас же не удовлетворишь. Признаюсь, я, право, не знаю чем можно удовлетворить извозчиков в чужих краях.

Мистрис Леннэрд вынула крошечные хорошенькие часы женевской работы с эмалевой доской, украшенной пустыми местами, где некогда красовались брильянты. Лицо мистрис Леннэрд приняло выражение беспокойства и напряженного внимания, пока она смотрела на свои часы, возле которых висело целое собрание непостижимых талисманов, в числе этого хаоса золотых безделушек находились: скелет и лей-

ка, гроб и голландская печка.

– На моих часах теперь половина пятого, – сказала мистрис Леннэрд, после долгого глубокомысленного созерцания своих женевских часов, – итак, надо полагать, что теперь без четверти три.

Элинор вынула свои часы и решила вопрос. Было только половина третьего.

– Стало быть, у меня есть еще четверть часа, – подхватила мистрис Леннэрд, – вот обыкновенный недостаток в хорошеньких часах: или они бегут или совсем останавливаются. Фреди купил мне мои часы и спросил меня на что я желаю, чтобы он истратил деньги: на эмалевую ли красную доску с брильянтами или на образцовую работу часов. Я выбрала красную эмаль. Конечно, я тогда не знала, что брильянты выпадут так скоро, – произнесла она задумчиво.

По пути домой она заехала в шесть магазинов и набрала еще более пакетов в беловато-коричневой бумаге, приобрела коробку, клетку для птицы, новый дорожный мешок, ошейник, фунт чая и других несовместимых между собой предметов, после чего приказала извозчику ехать в Северную гостиницу.

– Мы живем в Северной гостинице, моя милая мисс Виллэрз, – сказала она. – Мы очень часто живем в гостиницах. Фредерик находит выгоднее платить по пятнадцать шиллингов в день за номер, чем держать це-

лый дом и прислугу, покупать уголья, свечи, платить подъемный сбор и тратиться на все эти безделицы, которые так дорого стоят. Мне бы очень нравилась Северная гостиница, если бы коридоры не были так длинны и лакеи не имели бы такого строгого вида. Мне кажется, что в гостиницах лакеи всегда имеют такой вид. Они как будто просматривают вас насквозь и видят, что вы думаете о счете, стараясь отгадать, может ли он быть менее чем в десять фунтов... Но, ах, ты, Боже мой! – вскричала мистрис Леннэрд внезапно, – какая я эгоистка! У меня совершенно вышло из ума, что и вы можете желать съездить домой к вашей мамаше и к вашему папаше, ведь надо же им сообщить, куда вы отправляетесь и уложить ваши вещи.

Элинор покачала головой с грустной улыбкой.

– У меня нет ни отца, ни матери, с кем бы мне надо посоветоваться, – сказала она, – я сирота.

– Сирота! – вскричала мистрис Леннэрд. – Так видно самой судьбой было назначено нам встретиться, я также сирота. Мама умерла, пока я была еще маленьким ребенком, а папа – вскоре после моего замужества. Он был им огорчен, бедный, милый старик! Одно меня утешает, что не горе, а подагра в желудке причинила ему смерть. Все же вы перед отъездом можете желать повидаться с вашими друзьями, мисс Виллэрз?



– Нет, – отвечала Элинор. – Я напишу единственным друзьям, которых имею. Я никого не желаю видеть, не желаю, чтобы кто-нибудь знал, куда я отправляюсь. Я оставила свой чемодан на улице Норфольк и мне будет приятно, если вы мне позволите за ним заехать.

Мистрис Леннэрд отдала это приказание извозчику, и тот поехал по направлению к гостинице, в которой Элинор оставила свой чемодан, а оттуда в Северную гостиницу.

Мистрис Леннэрд ввела свою новую компаньонку в очень хорошенькую, комнату на первом этаже, возле которой находилась великолепная спальная, но роскошному убранству этой комнаты очень вредило то обстоятельство, что дорогая кровать, в восточном стиле, массивные кресла, диваны, туалет и даже умывальный столик были покрыты разными предметами мужского и женского туалета, которые казались разбросанными повсеместно рукой безвредного сумасшедшего, забавлявшегося в комнате.

Среди всего этого беспорядка на большом черном кожаном походном сундуке сидел высокий мужчина, широкоплечий, лет около сорока, с загорелым и добродушным лицом, и со свирепыми усами каштанового цвета и целым лесом густых кудрявых каштановых волос, стриженных под гребенку. Вследствие такой

сильно развитой растительности едва ли можно было Предположить, чтобы кто-нибудь из последователей Джорджа Кумба мог открыть органы, означающие в этом мужчине философа, или великого полководца. Этот загорелый джентльмен, с добродушной наружностью, снял с себя сюртук для удобнейшего исполнения предстоявших ему геркулесовских трудов, скрестя руки и положив ногу на ногу, он качал на кончике пальцев одной ноги свою вышитую туфлю, и с пенковой трубкой в зубах наслаждался отдыхом, сделав первый шаг к трудному делу, шаг этот заключался в том, что он из всех ящиков и шкафов вытаскивал решительно все, что в них находилось.

– Ах, ты, ленивый Фредди! – вскричала с видом упрека мистрис Леннэрд, заглянув в комнату, где был ее властелин и повелитель, – и вот все, что ты сделал?

– Где голубое барежевое платье с оборками? – прорычал майор голосом любезного Стентора. Я ничего не мог делать, пока находился в неизвестности, куда оно девалось: я все время ждал твоего возвращения. Ну взяла ты себе компаньонку?

– Тише! Да! Она в соседней комнате; такая милочка просто ужас, как хороша собой! Если ты много станешь на нее глядеть, я стану ревнива, Фредди. Ты сам знаешь, что очень любишь глазеть на хорошеньких,

хотя сознаться никогда не хочешь. На Регентской улице я не раз это замечала, когда ты воображал, что я только смотрю на шляпки, – прибавила она с упреком.

Майор встал, приподнял свою жену и наделил ее такой полновесной лаской, какую мог оказать только медведь в минуту веселости своей медведице. Майор Леннэрд был шести футов с половиной роста в своих вышитых туфлях, и так же силен, как хорошо выученный гладиатор.

– Пойдем, я представлю тебя ей, – сказала мистрис Леннэрд и повела мужа в гостиную в таком виде, как он был, без сюртука, нисколько не конфузясь.

Способности майора по части разговоров не были разительно-гениальны. Он сделал несколько замечаний насчет погоды, более учтивых, чем новых. Он спросил Элинора, не голодна ли она, не желает ли позавтракать или предпочитает подождать обеда, который будет в шесть часов. Спросил, легко ли она может переносить морские путешествия. Потом он вдруг остановился, не находя более предметов для разговора, помолчал и потребовал себе содовой воды с вином.

Майор Леннэрд имел обыкновение требовать при всех возможных случаях это питье. Он вовсе не был пьяницей, хотя принадлежал к разряду добродушных шумил, только навеселе способных быть при-

ятными собеседниками. Для чего он пил эту смесь, которую непосвященные, пожалуй, сочли бы несколько безвкусной, мог бы пояснить только он сам.

Нельзя предполагать, чтобы он испытывал постоянную жажду; кажется, это питье скорее служило ему средством к занятию слабых умственных способностей, чем удовлетворению физической потребности.

Майор и его жена ушли в спальную и принялись укладывать свои вещи. Когда представлялись слишком непреодолимые затруднения, Элинор призывалась ими, как последнее средство к спасению, и она употребляла все усилия, чтобы превратить хаос в некоторого рода порядок. Важные занятия супругов заняли все время до шести часов, тогда майор надел сюртук и сел к столу.

Но даже и во время обеда укладка вещей не была совершенно оставлена. В промежутках между блюдами мистрис Леннэрд беспрестанно вскакивала и бежала в соседнюю комнату то со шкатулкой для работы, то с письменным прибором, то она схватывала что-нибудь с камина или со столов перед диванами – книгу, разрезной ножик, наперсток, ножницы, перочистку или пачку пакетов – убегала со всем этим в другую комнату и спешила занять свое место до возвращения трактирного слуги, стараясь принять такой вид, как будто и не вставала. Между тем майор усерд-

но работал ножом и вилкой, не отводя глаз от своей тарелки, разве только для маленьких услуг Элинор и своей жене.

Наконец все было готово и адреса наклеены на сундуки и чемоданы. Оглушающая канарейка – которая после обеда пела мучительно громко пронзительным голосом, по-видимому, наслаждаясь шумом и суматохой – была посажена в новую, медную клетку, купленную мистрис Леннэрд. На худенькую, маленькую таксу, черную, с коричневыми пятнами – собственность майора – надели новый ошейник, висячий замок которого замкнули надлежащим образом. Элинор и мистрис Леннэрд надели свои шляпы и шали. Сам майор принял исполинские размеры, вследствие прибавления к его нормальному объему толстого серого пальто, пледа и шерстяного кашне, ярдов в шесть длиной. По счету гостиницы было уплачено в самую последнюю минуту, пока чемоданы складывали на верх кэба, и майор Леннэрд со своими спутницами покатил с шумом к станции Лондонского моста. Оставалось ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы взять билеты и выбрать удобное место в вагонах перед отправлением поезда. И когда они понеслись во мраке холодной мартовской ночи, Элинор почувствовала, что каждое движение со свистом летевшего локомотива отдаляет ее безвозвратно от прошлого.

– В письме Джильберта не было ни одного слова сожаления о разлуке со мною, – думала она. – Я убила в нем чувство любви ко мне.

Было одиннадцать часов, когда они достигли Дувра. Майор Леннэрд спал все время, опустив на уши лопасти своей дорожной шапки – род карикатуры из шерстяной материи на каски храмовых рыцарей. Мистрис Леннэрд, напротив, не спала всю ночь. Она сидела напротив мужа, держа на коленях клетку. Канарейка, наконец утихла и спряталась от света под чехол из зеленой байки. Зато хозяйка ее вознаграждала себя за это молчание постоянной болтовней всю дорогу. Элинор же решительно казалось, как будто с нею другая Лора и нить ее грустных мыслей вовсе не была прервана разговором мистрис Леннэрд.

На следующее утро они приехали в Париж к самому завтраку в Дворцовой гостинице – громадное здание, недавно воздвигнутое, богатое блеском позолоты и ярких цветов... Здесь поселился майор после подробного изложения жене и Элинор той теории, что самые лучшие и дорогие гостиницы всегда обходятся дешевле в общем итоге. Этим правилом майор руководствовался всю свою жизнь и часто был доведен ею до крайне опасного соседства с бездной несостоятельности.

Роскошные залы, в которых теперь находилась Элино́р, вовсе не походили на низенькие, крошечные комнатки Архиепископской улицы, но мысли ее, несмотря на то, беспрестанно возвращались к тому грустному времени.

Все утро она разбирала вещи мистрис Леннэрд, пока эта дама со своим мужем, пользуясь прекрасным солнечным днем, гуляли по улице Риволи, по бульварам, проехали в Булонский лес и пообедали наконец у Вефура. Когда же Элино́р закончила свое скучное занятие и успела разложить все ленточки, кружева, перчатки, воротнички и разные оборочки по ящикам комода изящной работы и в шкаф эбенового дерева с золотыми инкрустациями, она надела шляпку и вышла на шумную улицу.

Слезы выступили на глазах у нее при взгляде на великолепные дворы Лувра и при шуме барабанного боя и мерных шагов солдат. Да, это была та же улица, по которой она шла со своим отцом в последний день его безрадостной жизни. У нее невольно судорожно сжались руки при этом воспоминании мыслям ее живо представился и тот день, исполненный горести и тоски, в который, став на колени, она поклялась отомстить врагу Джорджа Вэна.

Сдержала ли она свою клятву? Она горько улыбнулась, вспомнив, как протекли четыре года, отделяв-

шие ее от той минуты, и какой странный случай поставил на ее пути Ланцелота Дэррелля.

– Я уехала отсюда, когда Ланцелот был еще здесь, – думала она, – а возвращаюсь теперь, когда он в Англии. Неужели мне назначено судьбою ни в чем не иметь успеха?

Элинор отправилась на Архиепископскую улицу. Там было все по-прежнему: тот же самый мясник суетился в своей лавке, те же самые полинялые, набивные занавеси висели на окнах.



# Глава LIII. Преступление Маргареты Леннэрд

Мистрис Леннэрд была очень добра к Элиноор, и если б вообще ласки и приветливое обращение со стороны хозяев дома могли придать спокойствие мистрис Монктон, она была бы совершенно счастлива в своем новом положении.

Но спокойствие было имя – существительное, значение которого даже самое, как я полагаю, было недоступно понятиям майора и мистрис Леннэрд. Они были очень молоды, когда соединились, ошибочно вступили на путь жизни, и с той самой поры оставались в постоянном треволнении, физическом и нравственном. Они походили на двух детей, которые представляют взрослых, продолжают эту игру целых двадцать лет и в конце ее еще остаются такими же детьми, какими были вначале.

Жить с ними – значило находиться в постоянной атмосфере заблуждений и суматохи, иметь с ними какие-нибудь отношения – значило погрузиться в хаос беспорядка, из которого самый ясный ум едва ли мог бы выбраться, не потерпев совершенного расстройства. Самое большое несчастье этих двух лиц

было – их сходство между собой. Будь майор Леннэрд человеком с умом энергичным и твердой волей, или будь он только наделен порядочной долей здравого смысла, он управлял бы своей женой и навел бы в своем доме некоторый порядок. С другой стороны, будь мистрис Леннэрд умной женщиной, она, без сомнения, овладела бы мужем и спасла бы этого добродушного сына Марса от сотни сумасбродств, вовремя приняв серьезное выражение лица или даже – когда этого требовали обстоятельства – и строгим выговором в силу власти жены.

К несчастью, они походили друг на друга как две капли воды. Они были двумя старыми сорокалетними детьми и смотрели на свет, как на большую детскую, обитатели которой не могли иметь другого занятия, как отыскивать забавы и обманывать учителя. Они были великодушны и до такой степени мягки сердцем, что, по мнению их более мудрых знакомых, доброта их доходила до глупости. Их обманывали со всех сторон, употребляли во зло их доверие в течение целых двадцати лет, а они все не приобрели умственного сокровища мудрой опытности, как дорого ни платили за каждый урок. В этом году майор оставил военную службу и остался на половинном жалованьи, он имел на то возможность вследствие смерти одной из его теток, старой девицы, которая отказа-

ла ему восемьсот ф. с. годового дохода. До получения этого приятного наследства наш военный со своей женой должен был существовать своим жалованием, умножаемым иногда случайными благодеяниями, выпадавшими на его долю от богатых родных. Семейство, к которому принадлежал наш силач-майор, было очень многочисленно и принадлежало к аристократии. Главою его был маркиз, который нашему майору приходился дядей.

Итак, эта парочка взрослых детей решила наслаждаться весь остаток своих дней, и для начала этой новой жизни праздности и веселья майор привез свою жену в Париж, откуда они намеревались ехать в Баден-Баден для свидания с некоторыми из аристократических двоюродных братьев майора.

– Он сам мог бы, моя милая, наследовать титул маркиза, – рассказывала мистрис Леннэрд Элиноор, – если б умерли семнадцать его двоюродных братьев. Но как я говорила бедному папаше – когда он ворчал на меня за невыгодную партию, которую я сделала – нельзя же надеяться, чтобы семнадцать двоюродных братьев отправились на тот свет единственно для того, чтобы одолжить нас и доставить Фредди титул маркиза.

Может быть, ничто другое не могло быть счастливее для Элиноор, как эта жизнь в постоянной суете

и хлопотах, в которой мысли вечно находились в напряженном состоянии от ничтожных забот и волнений, в этом постоянном расстройстве одинокая женщина не имела времени думать о своем собственном горе или об одиночестве, на которое обрекла себя. Только ночью, когда она уходила в маленькую комнатку, находившуюся на одном из самых верхних этажей Дворцовой гостиницы и на четверть часа ходьбы от комнаты майора и его жены, только тогда она имела время вспоминать о торжестве Ланцелота Дэррелля и о несправедливых подозрениях ее мужа. Но и тогда она не могла долго размышлять о своем несчастье, она обыкновенно была изнурена и телом и душой, вследствие путаницы и волнения дня. Естественно, она должна была скоро засыпать и разве только видеть во сне причину своих страданий.

Эти сны были для нее гораздо мучительнее, чем тревожения целого дня, потому что во время их она постоянно возобновляла борьбу с Ланцелотом Дэрреллем, постоянно находилась накануне победы и никогда не торжествовала.

Майор оставался в Париже гораздо дольше, чем предполагал: взрослые дети находили этот город бульваров очаровательным местом для их игр и разбрасали очень много денег на дорогие обеды в известных ресторанах, на мороженое, на билеты в опе-

ру, на новые шляпы, на перчатки Пивера, на духи Любеиа и на извозчиков.

Они продолжали жить в дорогой гостинице, согласно теории майора, что самые дорогие в итоге обходятся самыми дешевыми. Иногда они обедали за общим столом с двумя-тремя посетителями и убивали много времени в больших залах, играя по маленькой, смотря в стереоскопы, перелистывая газеты, прочитывая разнообразные отрывки или с напряженным вниманием изучая в фельетоне главу какого-нибудь романа, пока, наконец, им не придется стать совершенно в тупик от множества трудных слов, которые приводили их в отчаяние.

После завтрака майор обыкновенно оставлял свою жену с компаньонкой, а сам уходил или в комнату для чтения полежать на диване, или в обширную курильную, расхаживать по каменному полу и курить сигары. Иногда он пил содовую воду с вином, или читал английские газеты у Галиньяни, или выжидал прихода почты, или отправлялся в кафе Гилль повидаться с соотечественником. В другой раз он останавливался, чтобы посмотреть на худощавых молодых солдат, которые учились на дворах Лувра, или на зуавов со смуглыми лицами, которые совершали такие чудные подвиги в Крыму. Иногда ему случайно приходилось набрести на какого-нибудь седовласого ветера-

на, который сражался под знаменами Наполеона I. Он заводил с ним дружеский разговор, ставя каждый глагол в самом озадачивающем невозможном времени и угощал старика рюмками светлого коньяка.

Тогда мистрис Леннэрд приносила свои пяльцы, ящик с красками, бархат, кисти и остальные принадлежности и совершенно предавалась восхитительно-му занятию живописи на бархате. Этот талант был приобретен ею весьма недавно в шесть уроков по гинее за каждый, во время ее последнего непродолжительного пребывания в Лондоне.

— Молодая девушка, которая давала мне уроки, называла себя мадам Асканио де-Бриндизи, но я готова ручаться, мисс Виллэрз, что эта хвастунья была истая уроженка Лондона из низших слоев общества. В объявлениях своих она говорит, что посредством этого изящного занятия каждый может приобретать по пять фунтов в неделю, а я могу вас уверить, решительно не понимаю, каким бы образом могла я заработать пять фунтов в неделю. Я около месяца трудилась над этой подушкой для дивана, она стоит мне уже тридцать пять шиллингов, но до сих пор еще не закончена. Майору неприятно видеть меня за работой, что вынуждает меня заниматься, когда его нет дома, как будто это большое преступление рисовать на бархате. Если бы вы были так добры, моя милая, и заши-

ли мне перчатки: они распоролась на большом пальце, а настоящие перчатки Пивера по четыре франка с двадцатью пятью... как их там называют, не должны бы пороться таким образом. Майор правду говорит, что виновата я сама, зачем беру номер шесть с четвертью. Я так была бы вам благодарна, – прибавила мистрис Леннэрд убедительно, садясь за свою работу у одного из больших окон, – я чудо как подвину вперед мою работу, – восклицала она, – если император не вздумает поехать кататься, в таком случае я уж должна буду ее бросить и смотреть на него: он такой душка!

Элинор имела искреннее желание, как говорится в объявлениях, быть во всем полезной леди, у которой жила. Она одарена была возвышенной душой, способной сильно негодовать за каждое оскорбление, была чувствительна и горда, но не имела ложной гордости. Она не стыдилась исполнять того, за что взялась, и если бы по какому-нибудь поводу добровольно взяла на себя обязанность кухарки, то исполняла бы ее усердно, по мере своих сил. Вследствие этого, она зашивала перчатки мистрис Леннэрд, чинила ее тонкие кружевные воротнички и старалась ввести нечто вроде порядка в ее туалете, она убирала окурки сигар, которые майор имел обыкновение оставлять на всем, что попадалось ему под руку, и была крайне

полезна. Мистрис Леннэрд объявила ей положительно, что не может более существовать без своей милой мисс Виллэрз.

– Но я знаю вперед, что появится противное создание! – восклицала мистрис Леннэрд, – вы проживете таким образом некоторое время, заставите полюбить себя и тогда именно, как мы на вас не надышимся, вы нас бросите, чтобы выйти замуж, и тогда мне придется взять такое же старое чучело, как была мисс Пэллистер, которая жила у меня до вас. Она никогда не хотела оказать мне ни малейшей услуги, а все толковала об одном и том же, как она принадлежит к знатному роду и на привыкла жить в зависимости. Уверяю вас, я часто желала, чтобы она происходила из самого простого семейства. Да уж я знаю, что это непременно случится и именно тогда, когда мы будем ценить вас всего более, вы возьмете да и выйдете замуж за какого-нибудь отвратительного человека.

Элинор вспыхнула и покачала головой.

– Я не считаю это вероятным, – сказала она.

– Да, вы это теперь так говорите, – возразила мистрис Леннэрд с видом сомнения, – но вам нелегко меня убедить. Я знаю, что вы вдруг возьмете да и выйдете замуж, но вы не ожидаете того, сколько горя навлечете на себя, если выйдете замуж слишком рано, как я, например, – прибавила она, роняя кисть на свою



работу и глубоко вздохнув.

– Горе? Любезная мистрис Леннэрд, – воскликнула Элино́р, – мне, напротив, кажется, что вы никогда в жизни не знали горя.

– Кажется, Гамлет! – воскликнула мистрис Леннэрд трагически поднимая глаза, – нет, оно есть, я не знаю мнимых страданий, – говорит королева Гамлету – или Гамлет говорит это королеве, что, впрочем, может быть совершенно все равно. О! мисс Виллэ́рз, как счастлива была бы моя жизнь, если бы не губельные последствия моего собственного преступления, преступления, которое я никогда не могу загладить – ни-ког-да!

Элино́р очень испугалась бы этих слов, не будь они произнесены самым веселым тоном. Мистрис Леннэрд отодвинула от себя пальцы и бросила в беспорядке свои кисти на дорогой стол из розового дерева. В Дворцовой гостинице была одна изящная дорогая мебель, палиссандр, эбеновое дерево, позолота и бархатные драпировки; скромный стул красного дерева, простой коврик и ситцевый занавес был бы облегчением для утомленного взора – и она сидела, скрестя руки на угол стола с пристальным неподвижным взглядом ее светло-голубых глаз, которому старалась придать трагическое выражение.

– Преступление, мистрис Леннэрд! – повторила

Элино́р с тоном ужаса и удивления, не столько вызванным ес настоящим испугом, чем сознанием, что от нее ожидают подобного восклицания.

– Да, моя милая, пр-р-е-ступление! Преступление, не слишком сильное слово для поступка той женщины, которая кокетничает с человеком, преданным ей от души, накануне самого дня свадьбы, тогда как самое богатое приданое ей приготовлено за его же счет, не упоминая уже о куче дорогих подарков, о бриллиантах в таком же количестве, как мусор, полученных ею от него – а потом убегает с другим. Может ли что-нибудь быть ужаснее, мисс Виллэрз?

– Ничего не может быть ужаснее, – сказала Элино́р, видя, что мистрис Леннэрд ожидает от нее подобного отзыва.

– О, не презирайте же меня! Вы не станете меня ненавидеть, мисс Виллэрз? – вскричала мистрис Леннэрд, – вы почувствуете к тому склонность – я это знаю, но не делайте этого. Я совершила подобное преступление – я совершила его... но я все же не такое низкое создание, каким могу вам казаться, я поступила таким образом более для моего папаши – право так.

Элино́р решительно недоумевала, каким образом непохвальный поступок мистрис Леннэрд против ее жениха мог принести пользу ее отцу, и выразила нечто

в этом роде.

– Вот видите, душа моя, чтобы пояснить вам это, я должна возвратиться к самому началу всего, то есть к тому времени, когда я была в пансионе.

Так как мистрис Леннэрд очевидно извлекала большое наслаждение из этого разговора, то Элинор имела слишком доброе сердце, чтобы поощрить ее к рассказу. Таким образом, живопись на бархате была брошена, но крайней мере на этот день, и жена майора вкратце передала историю своей жизни мистрис Монктон.

– Вам надо знать, моя милая, – начала мистрис Леннэрд, – что мой бедный папаша был владельцем поместья. Некогда он был очень богат, по крайней мере принадлежал к некогда богатому очень древнему роду, хотя менее знатному, чем родство майора. Однако ж так или иначе через сумасбродство одного или другого, мой бедный папаша находился в страшной нужде, и его поместье в Беркшире было... как это называется? заложено, что ли?

– При слове Беркшир Элинор слегка вздрогнула, что не ускользнуло от внимания мистрис Леннэрд.

– Знаете вы Беркшир? – спросила она.

– Да, часть его.

– Итак, моя милая, я уже сказала вам, что поместье бедного папаши было заложено и перезаложено и ед-

ва ли у него оставалось что-нибудь, что бы он мог назвать своим, исключая ветхого старого дома, в котором я родилась. Кроме того, он имел пропасть долгов и жил в постоянном страхе, чтобы кредиторы не засадили его в тюрьму, где ему пришлось бы закончить свои дни. Не было ни малейшей вероятности, чтобы он мог уплатить свои долги иначе, как посредством чуда. Все это, как вы видите, было очень грустно. Однако по молодости своей я мало имела об этом понятия, а папаша поместил меня в один модный пансион в Бате, где воспитывались его сестры и где, он был уверен, что может иметь кредит до окончания моих наук.

Элинор, усердно зашивая распоротую перчатку, сначала слушала эту историю довольно равнодушно, понемногу, однако она стала слушать с большим участием и, наконец, опустила руки на колени и бросила шитье, чтобы лучше следить за рассказом мистрис Леннэрд.

– Там, в этом пансионе, мисс Виллэрз, я встретила свою звезду – ту звезду, которой назначено было управлять моей судьбой – то есть майора. Он был тогда ужасно молод, без малейшего подозрения бакенбард, вечно сидел у кондитера на самой фешенебельной улице и ел клубничное мороженое. Он только что поступил на службу и квартировал со своим полком

в Бате. Его сестра, Луиза, была вместе со мной в пансионе мисс Флорэторн. Однажды утром он пришел ее навестить, а я случайно именно в то время твердила в гостиной свой урок музыки. Вот как мы встретились, и с этой минуты наша судьба была решена.

Я не стану распространяться насчет всех наших свиданий, устроенных Луизой и вообще очень неудобных. Фред должен был влезать на стену нашего сада, упираясь на одни носки сапог. После он мне рассказывал, что штукатурка совершенно истирала кожу на носках его сапог и тем, естественно, эти свидания влекли за собой ужасные издержки, но чему не подвергаются из-за любви? Сам он должен был цепляться за что мог. В таком неудобном положении, когда изо всей его особы была видна одна только верхняя часть его головы до подбородка, он сделал мне торжественное предложение своей руки и сердца. Я была молода и глупа, мисс Виллэрз, я приняла его предложение, не подарив ни одной мысли моему бедному папаше, самому снисходительному из отцов, который всегда позволял мне делать все, что я хотела, и поистине находился в долгу на сумму пятидесяти фунтов в одной игрушечной лавке Уиндзора за куклы и разные вещички, которые покупал для меня, когда я была еще маленькая.

Итак, с этой минуты я и Фредерик принадлежали

друг другу. На другой день утром он опустил кольцо с бирюзой в кусты, находившиеся в конце нашего сада, и нам с Луизой пришлось его искать более часа. Мы были помолвлены, но недолго нам было дозволено наслаждаться теплым солнечным лучом взаимной любви. Спустя две недели, полк Фредерика послали в Мальту, и я стала несчастна. Не стану останавливаться на моих страданиях, быть может, вовсе для вас не интересных, мисс Виллэрз, скажу вам только, что ночь за ночью моя подушка была смочена слезами и что, не оказывая мне Луиза такого живого участия, я, кажется, умерла бы с горя. Мы постоянно переписывались через Луизу, и эта переписка служила мне единственным утешением.

Между тем понемногу приблизилось время моего выхода из пансиона отчасти потому, что мне пошел восемнадцатый год, отчасти потому, что папаша не мог более платить мисс Флорэторн – и я вернулась в ветхий дом наш, в Беркшире. Там я все застала вверх дном, а бедного папашу в страшном унынии. Его кредиторы стали безжалостно нетерпеливы, преследовали его всеми возможными судебными вызовами, описями, приговорами суда и другими подобными юридическими ужасами. Если они могли бы посадить его в две тюрьмы за раз, я думаю, они это сделали бы, так как одни хотели, чтобы он был заключен

в одной тюрьме, а другие настаивали на том, чтобы он сидел в другой, а все вместе это было просто ужасно!

Теперь надо вам сказать, что у папаши был один только старый друг. Он был нотариус и имел Собственную большую контору в Сити. Он то и вел дела моего отца, этот друг недавно умер, а единственный его сын, получивший богатое наследство после смерти своего отца, гостил у папаши, когда я приехала домой из пансиона.

Я надеюсь, мисс Виллэрз, что вы не припишете мне слишком высокого мнения о себе, но для ясности моего рассказа я вынуждена сказать, что в то время я слыла очень хорошенькой девушкой. Меня считали первой красавицей в пансионе, а когда я возвратилась в Беркшир и стала выезжать, обо мне подняли страшный шум. Конечно, моя милая, заботы о деньгах, странствующая жизнь и французские обеды не под силу слабому пищеварению: все это произвело во мне большую перемену, как вы легко можете понять, и теперь я ни капли не похожа на то, кем была прежде.

Молодой нотариус, гость папаши – я не скажу вам его имени – считая очень неблагородным даже постороннему лицу называть имя того, которого я так обманула, был очень ко мне внимателен. Я, впрочем, не обращала на него внимания, хотя он был очень

хорош собой, имел благородную внешность и ужасно был умен. Сердце мое оставалось верно Фредерику, от которого я получала через Луизу письма, раздирающие душу. Он сообщал мне в них, что часто находится на одной нитке от самоубийства, отчасти от комаров, отчасти от разлуки со мною, отчасти от долгов на честное слово товарищам-офицерам, не имея в виду никаких средств, чтобы их уплатить.

Я не говорила папаше о моей помолвке с Фредди, потому, моя милая, что знала вперед, как он станет ворчать, как станет упрекать меня в том, что я связала себя с бедным прапорщиком. Конечно, Фредерик мог бы в то время стать маркизом, между ним и этим титулом тогда было всего только одиннадцать двоюродных братьев.

Однажды папаша поехал со мною кататься, пока молодой нотариус ходил на охоту, дорогой папаша стал мне говорить, что молодой человек отчаянно в меня влюблен, судя по некоторым невольным им высказанным словам, что это будет его спасение, папашино, то есть, если я выйду за него, так как в подобном случае он знал наверняка, что молодой человек, по своему великодушию и благородству, заплатит его долги, папашины, то есть. И тогда он может уехать в чужие края и доживать остаток дней своих в совершенном спокойствии. Сцена, которая произо-



шла между нами, мисс Виллэрз, раздирала мою душу. Я сказала папаше, что люблю другого. Я не смела ему сказать, что дала уже слово бедному милому Фредерику... а папаша умолял меня пожертвовать тем, что он называл безумной мечтой пансионерки и несколько поощрить молодого человека с возвышенной душой, который, без сомнения, вывел бы его из самого ужасного положения, а для меня был бы превосходным мужем. Да, моя милая мисс Виллэрз, после долгих убеждений, после того, как я пролила целый океан слез, я по просьбе папаша подала некоторую надежду молодому нотариусу.

Я вынуждена называть его молодым нотариусом, потому что вообще с понятием о нотариусе обыкновенно соединяются седые волосы, полнота и синие очки. Недели через две он сделал мне предложение, и я приняла его, хотя сердце мое оставалось верно Фредерику и я все еще переписывалась с ним чрез Луизу...

Лицо Элинор стало очень серьезно на этом месте рассказа и мистрис Леннэрд перетолковала это выражение ее лица безмолвным упреком.

– Да, я знаю, я поступила очень дурно, но что же мне было делать, ради самого Бога? С одной стороны, меня сводил с ума папаша, а с другой – Фредерик, который клялся, что застрелится, если я не стану ему

писать с каждой почтой.

Одним словом, мисс Виллерз, молодой нотариус, которого я теперь стану называть моим женихом, поступил крайне великодушно. Во-первых, он купил поместье папаши, вовсе не за тем, чтобы оно ему было нужно, а потому только, что папаше необходимы были деньги. Сверх того, он дал папаше займы еще более денег, чем стоило все имение, чтобы дать ему средство покончить свои счета со всеми кредиторами и купить билеты государственного займа, процентами которых он мог бы жить за границей. Конечно, это было очень великодушно с его стороны, тем более что сам он считал это совершенным пустяком, утверждая, что моя любовь вознаградила бы его за еще большие жертвования. Вы понимаете, он воображал, что я его люблю, я даже пробовала, не могу ли полюбить его и бросить бедного Фредерика для папаши, но чем более я старалась изгнать его образ из моего сердца, чем более я была холодна в моих письмах, тем более письма его становились раздирающими. Он напоминал мне в них слово, данное в саду в Бате, и объявлял торжественно, что ежели я изменю ему, то его кровь падет на мою голову. Таким образом, куда бы я ни обернулась, везде жизнь мне представлялась тяжким бременем.

На уплату долгов и приведение в порядок папень-

киных дел понадобилось некоторое время, даже с помощью моего жениха. Наконец все было устроено, и мы отправились путешествовать по Европе. Нас сопровождал мой жених. В Лозанне должна была совершиться свадьба. Нужно ли мне говорить, как несчастна я была во все это время! Я сознавала всю низость моего поступка, когда обманывала лучшего из людей, может быть, хуже всего было то, что мой жених имел ко мне неограниченное доверие, что я ни сказала бы, или ни сделала – исключая моего последнего действия – ничто не могло бы поколебать его веры в меня. Иногда он говорил о моей молодости, о моей детской наивности, и я наконец вообразила себя совершенной Лукрецией Борджио. Ах! мисс Виллэрз, это было ужасно! Часто я была готова броситься к его ногам и рассказать ему все про Фредерика, но мысль о бедном папаше, мысль о деньгах за имение, которые нечем было возратить, осуждала меня на молчание, и день проходил за днем, а я все продолжала обманывать лучшего из людей. Видите, я зашла слишком далеко и не имела возможности возвратиться. О, моя милая! В этом и заключается наказание за всякое вероломство. Обманув кого-нибудь однажды, вы должны продолжать идти далее и далее, от одной лжи к другой, до тех пор, пока почувствуете себя самым низким созданием на свете.

По крайней мере я испытывала это, когда прелестные наряды, драгоценные вещи и все, что мой жених выписал для меня из Парижа, привезено было ко мне. Если я могла бы ходить на золоте, я полагаю, что этот сумасбродный человек – хотя он, впрочем, был человеком очень умным, а только от меня без ума – едва ли счел бы слитки самого чистого золота достойными служить мне мостовой. Шелковые материи и атласы – атлас тогда не был еще так пошл надо вам сказать – были так толсты, что могли бы стоять, если вздумалось бы кому-нибудь их поставить, кружева... Однако я не стану на этом останавливаться: я уверена, что вы уже с нетерпением ожидаете конца рассказа, который вам, верно, надоел, что так, долго длится.

– Нисколько, мистрис Леннэрд, – возразила Элинор серьезно, – напротив, я очень заинтересована вашим рассказом. Вы не можете себе представить, какое живое я принимаю в нем участие.

Мистрис Леннэрд очень обрадовалась позволению продолжать. Она принадлежала к числу тех женщин, которые находят величайшее наслаждение в рассказе истории их собственной жизни, или нескольких замечательных в ней случаев.

– Настал канун свадьбы, – продолжала мистрис Леннэрд торжественным голосом, почти наводящим ужас, – когда непредвиденный переворот моей судь-

бы вдруг разразился надо мною, как громовой удар. Панаша и мой жених ушли куда-то вместе, я осталась одна в квартире, занимаемой нами в Лозанне. Было уже около часа пополудни, на мне было одно из шелковых платьев, привезенных из Парижа, и я чувствовала себя довольно примиренной со своей судьбой. Я решила прилагать все усилия, чтобы составить счастье моего будущего мужа и доказать ему мою благодарность за доброту к моему отцу. Вообразите же себе мой ужас, когда мне доложили, что меня желает видеть дама – англичанка – и прежде чем я успела решить принять ее или нет, в комнату стремительно вбежала Луиза Леннэрд, вся в пыли, в измятом платье, как была с дороги, а в то время не было железных дорог в Лозанну.

Итак, моя милая, мисс Виллэрз, молчание Фредерика, которое я приняла за покорность обстоятельства, было в самом деле совершенно тому противоположное. До Луизы дошел слух о моем замужестве. Она написала об этом брату, а тот почти совершенно сошел с ума, и так как ему в то время полагался отпуск по расстроенному здоровью – климат нанес ему страшный вред – то он тотчас же выехал из Мальты. Он и сестра его вздумали уговорить старую тетку – которая очень любила Фредерика и теперь ему оставила свое состояние – ехать с ними в Швейцарию,

и вот она только что приехала. Старушка-тетка была совсем разбита от дороги и не имела и тени подозрения, каким орудием служит.

Вы видите сама, мисс Виллэрз, всякое – даже самое жестокое сердце – было бы тронутو подобной преданностью. В ту минуту я забыла все великодушные моего жениха и свято обещала Луизе – которая, по правде сказать, была в этом деле главным двигателем – в этот же вечер повидаться с Фредериком, хотя бы только на несколько минут. Конечно, я не сказала ей, что свадьба назначена на следующий день. Я слишком боялась ее негодования, она сердечно любила своего брата и была свидетельницей моего торжественного обета верной любви в саду, в Бате, но люди в гостинице все рассказали ей – противные сплетники! Последствием было то, что когда я встретила с Фредериком на паперти собора, пока папаша и мой жених сидели еще за столом и пили вино, Фредерик был в таком положении, что на него страшно было смотреть.

Я не в состоянии описать этой сцены. Когда я вспоминаю ее, то она мне кажется сном, полным смятения и шума, совершенным хаосом. Фредерик говорил мне, что приехал из Мальты требовать меня как свою невесту и называл моего жениха бароном в золоте и драгоценных камнях, как говорится в бал-

ладе «Алонзо Храбрый», которую он учил наизусть етце в школе. Бедный, милый Фредерик! Теперь, когда я увидела его опять, мое сердце, которое всегда оставалось ему верно, было еще более прежнего исполнено нежности к нему. С другой стороны, Луиза – девушка с очень твердым характером – напала на меня, называя меня корыстолюбивой, вероломной, лицемерной. Фредерик то бросался передо мною на колени на этой холодной паперти, поминутно вскакивая, когда сторож, который обыкновенно показывает собор иностранцам, смотрел в нашу сторону. Едва ли я понимала что говорю и что делаю, когда Фредерик почти силой взял с меня обещание бежать с ним в эту же ночь вместе с Луизой и обвенчаться, как только мы найдем пастора, который мог бы нас соединить.

Я не в состоянии передать вам событий этой страшной ночи, мисс Виллэрз. Довольно того, что я убежала из дома отца, не взяв решительно ничего с собой, и что Фредерик, Луиза и я, мы совершили втроем самое ужасное путешествие большей частью в дилижансе и, почти до смерти разбитые тряской, добрались из Лозанны в Париж. Там Фредерику удалось, с помощью некоторых друзей и соотечественников, отыскать протестантского пастора, который обвенчал нас в доме английского консула, не без боль-

ших, однако, затруднений и проволочек, во время которых я ежеминутно ожидала прибытия моего взбешенного жениха.

Однако ж нотариус ничего подобного не сделал. Впоследствии я слышала от папаши, что он не имел ни малейшего намерения меня преследовать и положительно требовал, чтобы мне ничем не препятствовали поступать как я желаю относительно Фредерика. Если он поехал бы за мною в погоню, мисс Виллэрз, я, без сомнения, вернулась бы и вышла за него, я очень слаба характером и, такова уж моя натура, я все исполняю то, чего от меня требуют другие.

Он этого, однако, не сделал, ходил тихо, бледный как призрак, и твердо переносил смешное положение, в которое был поставлен побегом его невесты накануне свадьбы. Потом он расстался с папашей, отправился в Египет, плывал по Нилу и делал всякого рода заморские проделки.

– И вы никогда с тех пор его не видели? – спросила Элинор, с живостью.

– Только один раз, – отвечала мистрис Леннэрд, – а это и есть самая странная часть рассказа. Около трех лет после моего замужества я жила в Лондоне. Мы с Фредериком были очень, очень бедны. В то время еще не прощала ему старая тетка того, что он так ловко ее провел, и нам приходилось жить одним



его жалованьем. Только иногда нам помогала Луиза. Вскоре после нашей свадьбы она вышла за богатого негоцианта. У меня был только один ребенок, маленькая девочка полутора лет, в честь богатой тетки Фреда ей было дано ее имя. Полк Фредерика отправлялся в Индию, я тоже готовилась к отъезду, в Соутгэмптоне я должна была с ним встретиться. Я очень страдала при мысли, что должна взять с собой мою крошечку: все говорили, что климат убьет ее. Я нанимала меблированные комнаты близ Юстонского сквера. Однажды я была очень грустна и сидела в сумерках у топившегося камина, держа на коленях мою крошку. Представьте же себе мое удивление, когда дверь вдруг отворилась и кто же входит – тот, которого я так жестоко обманула!

При виде его, я вскрикнула, но он просил меня не пугаться. Тогда я спросила его: простил ли он меня? Он ответил что старается простить. Он был очень серьезен и спокоен, но хотя и старался принять ласковый вид, в его обращении со мною заметна была какая-то сдержанная суровость, которая мне внушала страх. Он недавно возвратился из своего путешествия на Восток и чувствовал себя, как говорил он, одиноким и несчастным. От отца моего он слышал, что я еду в Индию и вынуждена взять с собой мою девочку, не имея средств пристроить ее у кого-нибудь

в Англии. Он предложил мне взять ее и воспитывать как собственную дочь, если на то согласится мой муж.

Кроме того, он обещал обеспечить ее, в случае своей смерти, и дать ей хорошее приданое, если доживет до ее замужества. Весьма правдоподобно, что она будет наследницей всего моего состояния, – говорил он, – но единственным условием с его стороны было то, чтобы ни я, ни отец не имели более никаких на нее прав. Мы должны были совершенно отказаться от нее и довольствоваться тем, что иногда через него получим о ней известие.

– Я человек одинокий, мистрис Леннэрд, – сказал он, – даже мое богатство бремя для меня, жизнь моя бесцельна и пуста. Ныне ничто не побуждает меня к труду, мне некого любить, некому покровительствовать. Отдайте мне вашу маленькую девочку: я буду лучшим для нее отцом, чем, может быть, ваш муж.

Сначала мне казалось, что у меня никогда не достанет сил для подобного решения, но мало-помалу, однако, его серьезные и убедительные доводы заставили меня усмотреть против моей собственной воли, выгоды его предложения. Я не имела даже достаточно средств, чтобы нанять няньку, которая поехала бы со мной в Калькутту. Я напечатала в газетах объявление, не найдется ли такая, которая желает возвратиться в Индию и решится ехать со мною за плату

за переезд, но никто не отозвался на мой вызов. Итак, я решила написать Фреду и спросить его, согласен ли он расстаться с нашей малюткой. Со следующей почтой я получила от Фреда коротенькое письмо.

– Я согласен, – писал он, – на корабле с ребенком страшная мука, и для нее гораздо лучше остаться в Англии. Я послала его письмо к нотариусу и на следующий же день он привел няньку, женщину степенную и пожилую, и увез мою дорогую малютку.

Видите ли, мисс Виллэрз, ни я, ни Фред, мы не представили себе вполне той мысли, что навсегда расстанемся с нашим ребенком. Мы имели перед глазами одно удобство настоящей минуты, возможность оставить ее в Англии, не платя денег, пока мы подвергались всем возможным опасностям дальнего плаванья. Но – увы! Когда проходили годы, один за другим, когда мы схоронили наших двух детей, рожденных в Индии, я страшно стала скучать по моему ребенку, потерянному для меня навсегда. Если я не была бы той, кого люди называют легкомысленной, если бы Фред и я не жили бы так согласно и так или иначе всегда вместе, были счастливы, несмотря на все наши заботы, я думаю, что грусть по моей девочке убила бы меня. Но я стараюсь покориться судьбе, – заключила мистрис Леннэрд с глубоким вздохом – Каждые полгода я имею известие о моей малютке, хотя никогда

не получала слова от нее самой; я даже сомневаюсь, знает ли она, что имеет на этом свете мать. У меня есть ее портрет – мое сокровище, она очень похожа на меня, как я была лет двадцать тому назад.

– Да, она очень похожа, – отвечала серьезно Элинор.

– Похожа? Так вы ее знаете?

– Да, милая мистрис Леннэрд, странные случаи бывают в этом мире, а тот случай, который свел нас вместе может считаться одним из самых удивительных. Я близко знаю вашу дочь. Ее имя Лора – не так ли?

– Да, ее зовут Лорой Мэсон Леннэрд, в честь богатой тетки Фреда, Лоры Мэсон.

– А вы урожденная Маргарета Рэвеншоу?

– Господи Боже мой! – вскричала мистрис Леннэрд. – Да вы, кажется, знаете все обо мне.

– Я знаю и то, что человек, которого вы обманули, Джильберт Монктон, владелец Толльдэльского Приората.

– Конечно! Толльдэль принадлежал моему бедному папаше, он продал его мистеру Монктону. О, мисс Виллэрз! Если вы знаете его, вы должны очень меня презирать.

– Я только удивляюсь, что вы могли...

Элинор вдруг остановилась, вспомнив, что окончание ее речи не могло быть очень лестно для добро-

душного майора. Мистрис Леннэрд отгадала причину ее внезапного молчания.

– Я знаю, что вы хотели сказать, мисс Виллэрз. Вы хотели сказать, что удивляетесь, как я могла предпочесть Фреда Джильберту Монкtonу, я совсем на это не обижаюсь. Я знаю так же, как и вы это знаете, что мистер Монкton гораздо, гораздо выше Фредерика и по уму, и по положению, и по образованию, и по всему. Но видите ли, – прибавила мистрис Леннэрд с заискивающей улыбкой. – Фред так пришелся по мне.

## Глава LIV. Одиночество

Элино́р было очень трудно отвечать на вопросы мистрис Леннэ́рд о том, как она знала Джильберта Монкто́на и его питомицу, и она была вынуждена признать-ся, что она была учительницей музыки Лоры в Гэзль-уде.

– Но я должна просить вас не говорить мистеру Монк-тону, что я с вами, если вам случится писать к нему, – сказала Элино́р, – я имею особенные причи-ны желать, чтобы он не знал, где я теперь живу.

– Разумеется, моя милая, – отвечала мистрис Лен-нэ́рд, – я не скажу ему, если вы этого не желаете. А писать к нему, я так же мало подумаю, как и летать по воздуху, разве напишу несколько вежливых строк, чтобы поблагодарить его за то, что он известил меня о Лоре. Он пишет мне раз в полгода о моей милочке, и как я его ни умоляю, он не позволяет мне видеться с нею. Она почти еще ребенок, – писал он мне в сво-ем последнем письме, – и я опасаясь вашего влияния на нее. Я не из мстительного чувства удаляю от вас дочь. Когда ее характер образуется, а правила уста-новятся, вы увидите ее. Будто я злодейка! – вскрича-ла в заключение мистрис Леннэ́рд, – и заражу мою родную дочь!

Элинор улыбнулась и покачала головой.

– Милая мистрис Леннэрд, – сказала она, – для вашей дочери, может быть, очень полезно быть под надзором такого человека, как мистер Монктон. Она такая же добрая и веселая, как вы, только несколько слаба...

– И я тоже слаба. Да, я совершенно понимаю вас, мисс Виллэрз. Моя слабость – мое несчастье. Я не могу говорить людям «нет». Доказательства того, кто последний говорил со мной, всегда кажутся мне сильнее доказательств того, кто первый говорил со мной. Я принимаю впечатления быстро и неглубоко. Я была тронута до глубины сердца добротой Джильберта Монктона к моему отцу и намеревалась выйти за него, как обещала и быть ему верной и послушной женой, а этот бедный, глупенький Фред приехал в Лозанну и все твердил, что с ним дурно поступают и что он хочет убить себя: я сочла своей обязанностью убежать с Фредом. Видите, у меня нет собственного мнения и я всегда готова подчиняться влиянию других.

Элинор долго и глубоко раздумывала об истории, которую она слышала от мистрис Леннэрд. Вот где заключался источник всех подозрений Джильберта Монктона. Он был обманут самым жестоким, самым неожиданным образом прелестным, ребяческим со-

зданием, в невинность которого он верил безусловно, он был проведен и одурачен светло-русый ангелом, чистосердечные лазурные глаза которого сияли на него, как ему казалось, светом истины. Он был обманут ужасно, но не умышленно, до того времени, как Маргарета Рэвеншоу бросила своего жениха, она имела намерение оставаться ему верной. К несчастью, Джильберт Монктон этого не знал. Человеку, так жестоко обманутому, трудно было поверить, чтоб изменница все время не имела намерения поступить с ним так вероломно. Между Маргаретой и нотариусом объяснения не было, и он совсем не знал, как она убежала. Он знал только, что она бросила его, не предупредив ни одним словом об этом смертельном ударе, не написав ему на прощанье ни одной строчки, которая облегчила бы ему его горе. Легомысленная, пустая женщина не была способна измерить глубину любви сильного мужчины. Маргарета Рэвеншоу знала, что в ее натуре было весьма мало божественного и никогда не надеялась внушить сильную привязанность высокой и благородной душе. Она была способна понять любовь Фредерика Леннэрда, которая обнаруживалась смутными протестами и выражалась длинными, школьными письмами, в которых сомнительная ореография молодого человека стиралась ее слезами. Но Марга-



рета не могла понять силы чувств, не обнаруживавшихся образом стереотипов. К несчастью, для гармонии мироздания, благоразумные мужчины неблагоприятно влюбляются. Лучшие и благоразумнейшие мужчины легко поддаются наружным очарованиям, которые они принимают за внешние признаки внутренней грации, и Джильберт Монктон любил эту легкомысленную, капризную девушку, как будто она была самой благородной и великой женщиной на свете. Поэтому удар, поразивший его, был очень тяжел и самым губительным его последствием было превращение доверчивой природы в подозрительную.

Он рассуждал, как многие мужчины рассуждают при подобных обстоятельствах. Его обманула женщина, следовательно, все женщины способны обманывать.

Элинор казалось очень странно жить с предметом первой любви Джильберта Монктона. Будто мертвец встал из могилы, потому что Элинор смотрела на эту старую историю, на которую намекали гэзльудские сплетники, как на историю, принадлежавшую к такому давнишнему прошлому, что ей казалось, будто героиня романа, непременно должна была умереть!

А она жила себе превесело, не тревожась ничем, кроме смутного опасения об увеличивающейся полноте, вызываемой французскими обедами. Она пред-

ставляла самый поразительный контраст с тем образом, который представлялся воображению Элинора, как предмет первой любви Джильберта. Мистрис Монктон почувствовала ревность при мысли, что муж ее когда-то нежно любил эту женщину. Ее муж! Имела ли она еще право называть его этим именем? Не разорвал ли он супружеские узы между ними по своей собственной воле? Не оскорбил ли он честь и правдивость Элинора своими низкими и неосновательными подозрениями? Да, он сделал все это, однако Элинора еще любила его! Она узнала силу своей любви только теперь, когда была в разлуке с мужем и не надеялась никогда увидеть его лица, смотрящего на нее с добротой. Она знала теперь, что план ее мщения против Ланцелота Дэррелля не удался и это оставило большую пустоту в ее душе. Теперь она в первый раз подумала о своем муже и узнала, что она любит его.

– Ричард был прав, – думала она беспрестанно, – цель моей жизни была жестока и неженственна. Я не имела права выходить за Джильберта Монктона в то время, как моя душа была полна сердитых мыслей. Ричард был прав. Бедному отцу моему не будет спокойнее в могиле, если я заставлю Ланцелота Дэррелля поплатиться за свое злое дело.

Элинора не сейчас отказалась от своего плана мще-

ния, но мало-помалу весьма медленно душа ее примирилась с мыслью, что ей не удалась ее месть и что ей теперь ничего больше не осталось, как постараться оправдаться в глазах любимого ею мужа.

Она любила его и гнев, заставивший ее убежать из Толльдэльского Приората, добровольно отказавшись от всяких прав на его имя и покровительство, начал теперь проходить. История мистрис Леннэрд набросила новый оттенок на прошлое, и Элинор прощала поведение своего мужа. Он имел привычку спокойно переносить все горести. Кто мог сказать, какую тоску чувствовал он при мысли о фальшивости его молодой жены?

– Он не преследовал Маргарету Рэвеншоу, – думала Элинор, – и он не делает попыток, чтобы отыскать меня. А между тем он, может быть, любит меня так истинно, как любил ее. Наверное, если Господь не услышал моей молитвы о мщении, то Он даст мне возможность оправдаться.

Она могла только слепо надеяться на какую-нибудь возможность оправдаться, а эта возможность могла никогда не наступить. Элинор была очень несчастна, когда думала об этом, и только постоянная суматоха, в которой майор Леннэрд и его жена держала всех своих домашних, спасала ее от жестокого страдания.

Все это время она совсем не знала, что в нача-

ле второго столбца «Тхшез» появлялось объявление каждый день около месяца, объявление, о котором пустые люди составляли всевозможные предложения.

*«Элино́р, воротись. Я поступил опрометчиво и жестоко. Я верю тебе».*

*«Д. М.»*

Майор Леннэрд каждый день читал «Times» в кофейной Галиньяни, но так как он был не весьма проницательным наблюдателем, он не обратил внимания на повторение этого объявления, да и не упоминал о нем дома.

Элино́р скрывала свое горе в самом веселом городе на свете, между тем, как Джильберт Монктон рыскал то туда, то сюда, тоскуя по своей потерянной жене.

Я думаю, что сострадательные ангелы плачут иногда о бесполезных муках, о напрасной тоске, которые безумные смертные налагают сами на себя.

## Глава LV. Виктор бурдон переходит к неприятелю

Мистер, мистрис Леннэрд и Элинор Монктон остались около двух месяцев в Дворцовой гостинице. Апрель сменился маем и атмосфера в городе бульваров совсем не походила на холодный воздух английской весны.

В один из таких теплых майских дней майор Леннэрд непременно захотел отвезти свою жену и ее компаньонку обедать в ресторан недалеко от Биржи, где пасторальный эпикуреец мог обедать в саду, увитом зелеными фестонами и при музыкальном журчании фонтана. Элинор нечасто сопровождала майора Леннэрда и его жену в их прогулках, которые обыкновенно заканчивались обедом, но на этот раз майор Леннэрд настоял на том, чтобы Элинор поехала вместе с ними.

— Это последний обед, которым я угощу Мег в Париже, — сказал он, — потому что мы должны ехать в Брюссель в субботу, и я хочу, чтобы обед был отменно хорош.

Элинор покорила, потому что ее новые друзья были очень добры к ней, и она не имела никакой при-

чины сопротивляться их желаниям. Для нес было гораздо лучше находиться с ними в каком-нибудь веселом месте, как бы ни пуста и ни притворна была эта веселость, чем оставаться одной в великолепной гостиной Дворцовой гостиницы и размышлять о своих неприятностях и думать о той ужасной ночи, в которую она ждала отца на Архиепископской улице.

Ресторан близ Биржи был наполнен посетителями в этот солнечный майский день, и оставался только один пустой столик, когда майор со своим обществом вошел в зеленую беседку, где журчание фонтана не слышалось среди звона ножей и вилок. Было семь часов, обедающие ели очень скоро, а говорили еще скорее.

Возле той беседки, в которую майор Леннэрд привел своих дам, находилась другая, такая же, где обедало несколько французов. Элинор сидела спиной к этим людям, которые почти закончили обед и, судя по разговору их, кажется, порядочно выпили. Мужчина, очевидно угощавший других, сидел уткнув ноги в кучу пустых бутылок и звон рюмок, хлопанье пробок заглушало разговор.

Элинор не слушала этого разговора и не отличала ни одного голоса, ни одного слова от другого среди шума толпы, пировавшей в саду. Ей довольно было труда, чтобы слушать мистрис Леннэрд, которая бол-

тала весь обед, примешивая к толкам о кушаньях критические замечания о нарядах дам, сидевших в других беседках.

– Вам надо съесть этих красненьких... раки, кажется, их называют. Как вам нравится эта шляпка... нет не та, а черная с лентами персикового цвета? Вы находите хорошенькой ту даму, что сидит напротив нас? Нет, она вам не очень нравится и мне также. Мне нравится вон та в голубом шелковом платье, если бы ее брови не были так густы.

Обед заканчивался, майор занимался жареной курицей, а мистрис Леннэрд соскабливала ложкой варенье с пирожного, когда Элинор вдруг вскочила, едва переводя дух, испуганная голосом в ближней беседке.

– А потом? – спрашивал кто-то.

– Потом, – отвечал человек, голос которого становился более хриплым и густым по мере того, как пустые бутылки у ног президента делались многочисленными – мой молодчик отказался дать мне банковый билет в тысячу франков.

– Ты слишком дорог, друг мой, – сказал он мне, – тебе уже было заплачено довольно щедро. Притом, что эта была за важная вещь?

– Ага! – говорю я, – вот оно что, мой милый, – тебе начинает надоедать твой сообщник. Очень хорошо, у него также есть своя гордость. Когда так я про-

суть с вами, месье Ланцелот Дэррелль.

Это то имя поразило слух Элинор и пробудило старое чувство во всей его силе. Элинор вскочила, обернулась и прямо посмотрела на общество в ближней беседке. Человек, только что говоривший, также встал и потянулся через стол за бутылкой. Таким образом, лица их встретились и Виктор Бурдон, нугешествующий приказчик, узнал пропавшую жену Джильберта Монктона.

Он выронил рюмку, в которую наливало вино, и пролил его в рукав своего сюртука, с опьяненным удивлением смотря на Элинор.

– Вы здесь? – закричал он с таким взглядом, в котором изумление смешивалось с сильной радостью и какой-то пьяный восторг осветил лицо толстого француза.

Даже в пылу его удивления, Элинор заметила это смешанное выражение в его глазах и удивилась. Прежде чем она успела заговорить, Бурдон оставил свое общество и сел на пустой стул возле Элинор. Он схватил ее руку обеими своими руками и наклонился к ней, между тем как она отодвигалась от него.

– Не бойтесь меня, – сказал он по-французски, – а вы не знаете, что я могу оказать вам великую услугу, и вы также мне. С этим месье Монг... целотом я поспорился навсегда после того, что я для него сделал:



он поступил неблагодарно со мной. Но зачем я говорю вам об этом? Вы были в саду, когда умер этот бедный старик – этот де-Креспиньи. Вы помните, вы знаете... Я путаюсь, я пообедал слишком сытно. Неудобно ли вам завтра в пять часов быть в Палэ-Ройяльском саду? Там бывает музыка по вторникам. Хотите встретиться там со мной? Я должен сказать вам нечто очень важное. Вспомните, что я знаю все. Я знаю, что вы ненавидите этого Лонг... целота. Я дам возможность отомстить. Вы придете – не так ли?

– Приду, – быстро отвечала Элинор.

– К пяти часам? Я буду ждать вас у фонтана.

– Хорошо.

Бурдон встал, шатаясь, взял свою шляпу и воротился к своим друзьям. Майор и мистрис Леннэрд все это время сидели вытаращив глаза на пьяного француза. Он говорил с Элинор громким шепотом, но ни Фредерик Леннэрд, ни жена его не запомнили настолько того французского языка, который вбивали им в голову в школе, они умели только заказать обед или поспорить с хозяином о недобросовестном числе восковых свечей, поставленных в их счет, кроме этого, их познания во французском языке были очень ограничены, так что Элинор могла объяснить своим друзьям только то, что она знала месье Бурдона в Англии и что он привез ей очень важное известие, которое она должна

была услышать на следующий день в Палэ-Ройальском саду.

Мистрис Леннэрд, женщина необыкновенно добродушная, охотно согласилась отправиться вместе с Элинор на это свидание.

– Разумеется, я пойду, душечка, и с удовольствием, право, это забавно и будто в романе, отправляться на свидание с этим пьяным французом, только, верно, он не будет пьян завтра. Мне это напоминает французский роман, который я читала по-английски, и как, стало быть, он, верно, изображал заграничные обычаи, но так как майор знает куда мы идем, то в этом, разумеется, нет ничего дурного.

Обед уже подавался в дешевых ресторанах, оркестр уже играл между пыльными деревьями и цветами, у фонтана уже прогуливались дети, няни и те, кому нечего было делать. Была уже четверть шестого, потому что мистрис Леннэрд потеряла свой зонтик в последнюю минуту и минут десять было потеряно на его поиски. Виктор Бурдон уже сидел на скамье у фонтана, но встал и бросился вперед при приближении двух дам.

– Я пойду посмотреть на лавки ювелиров, мисс Виллэрз, – сказала мистрис Леннэрд, – пока вы будете говорить с вашим другом. Пожалуйста, придите за мной, когда я буду вам нужна. В половине седьмого

майор придет к нам сюда, мы будем обедать у Вефура. Прощайте.

Мистрис Леннэрд сказала последние слова французу, любезно поклонлась ему и ушла, Виктор Бурдон указал на скамью, с которой только что встал, и Элинора села. Француз сел возле нее, но на почтительном расстоянии. Все следы опьянения прошлого вечера исчезли. Француз был совершенно хладнокровен сегодня, и около его рта было какое-то выражение решимости, а в светлых, зеленоватых глазах какой-то холодный блеск, который не обещал ничего хорошего для того, на кого он сердился бы.

Он говорил теперь по-английски. Он говорил замечательно хорошо, с самым легким французским акцентом.

– Я не буду терять понапрасну время, и сейчас приступлю к делу, – начал он. – Вы ненавидите Ланцелота Дэррелля.

Элинора колебалась! В слове «ненависть» есть что-то страшное. Люди питают это ужасное чувство, но не решаются прямо выражать его. Это слово слишком ужасно. Оно сродни убийству.

– Я имею основательную причину не любить его... – начала она. – Француз пожал плечами и перебил ее.

– Да, вы ненавидите его! Вы не хотите этого сказать, потому что это слово не так сладкозвучно. Оно

вас... как это у вас говорится? Оно вас шокирует, а между тем вы его ненавидите и имеете причину ненавидеть его. Да, я знаю теперь кто вы. Я этого не знал, когда увидел вас в первый раз в Беркшире, но теперь я знаю. Ланцелот Дэррелль не умеет сохранять секретов, он сказал мне, что вы дочь того бедного старика, который убил себя в Сент-Антуанском предместье – этого довольно! У вас великое сердце, вы хотите отомстить за смерть вашего отца. Вы видели нас в ту ночь, когда завещания были переменены?

– Видела, – отвечала Элино́р, смотря на француза с глубоким презрением.

Он говорил об этом плутовстве так хладнокровно, как будто это было самое благородное и самое обыкновенное дело.

– Вы были там в темноте и видели нас, – сказал Бурдон, наклонясь к Элино́р и говоря шепотом, – вы подсматривали, вы подслушивали, а потом пошли в дом обвинить Ланцелота. Вы объявили, что завещание было поддельное, что им заменено подлинное. Вы были этому свидетельницей, уверяли вы: вы рассказали все, что вы видели, но вам не поверили, почему? Потому что вы сказали, что подлинное завещание У вас в кармане и не могли найти его: оно исчезло.

Француз сказал это тоном торжества, а потом вдруг остано́ился и пристально взглянул на Элино́р. Но-

вый свет блеснул в ее душе. Она начала понимать тайну пропавшего завещания.

– Оно исчезло, – вскричал Бурдон, – не оставив никаких следов, никаких признаков. Вы сказали, чтобы обыскали сад, сад был обыскан, но безрезультатно, тогда отчаяние овладело вами. Ланцелот насмехался над вами. Вы были огорчены: вам не верили! С вами поступили жестоко и вы убежали. Так это было или нет?

– Так, – отвечала Элинор.

Она тяжело дышала и не спускала глаз с этого человека. Она начала думать, что, может быть, она могла добиться своего оправдания только посредством этого бесчестного француза.

– Куда же девалось завещание? Оно не сквозь землю провалилось. Оно не могло взлететь на воздух. Куда девалось оно?

– Вы взяли его у меня! – закричала Элинор. – Да, я помню, как близко прошли вы мимо меня. Эта бумага была слишком велика, и не могла уместиться в кармане моего платья. Кончик высунулся и вы...

– Я сделал все возможное, чтобы дать вам урок! Когда молодые и прелестные дамы вмешиваются в подобные дела, неудивительно, что они делают ошибки. Я все время наблюдал за вами. Я видел, как вы переменяли бумаги, и вытащил завещание из вашего

кармана так легко, как мог бы вытащить вот этот носовой платок.

Кончик носового платка, обшитого кружевами, виднелся между складками Элинориного платья. Француз взял кончик кружева своими пальцами и выдернул носовой платок с такой легкостью и с таким проворством, которые могли бы сделать честь мастеру искусства воровать из карманов. Француз, смеясь, отдал платок Элинор. Она почти не заметила этого поступка – так глубоко была поглощена мыслью о пропавшем завещании.

– Стало быть, завещание у вас?

– У меня.

– Но зачем вы отняли сто у меня.

– Зачем? По многим причинам. Во-первых, потому, что всегда хорошо захватить все, чего другие не могут сохранить, во-вторых, потому что всегда хорошо иметь такую карту, о которой противник в игре ничего не знает. Всегда хорошо иметь в рукаве сюртука лишнего короля, когда играешь в экартэ. Это завещание – мой лишний король.

Француз молчал несколько времени после того, как нанес то, что он, по-видимому, считал поразительным ударом. Он смотрел на Элинор искоса, с хитрым блеском в своих маленьких глазках.

– Должны мы быть друзьями и союзниками, – вдруг

спросил он.

– Друзьями! – закричала Элинор. – Вы забываете кто я! Вы забываете чья дочь я? Если в последнем письме моего отца было только написано имя Ланцелота Дэррелля, вы тем не менее были сообщником в злодействе, которое было причиной его смерти. Без сомнения, ученик был достоин учителя.

– Стало быть, вы отвергаете мою дружбу? Вы не желаете знать, какой документ находится в моих руках? Вы обращаетесь со мной свысока? Вы отказываетесь вступить в союз со мной?

– Я употреблю вас, как орудие, против Ланцелота Дэррелля, – отвечала Элинор, – так как, кажется, вы поссорились с вашим другом.

– Поссорились. Когда кошка вытащила каштаны из огня, ее прогоняют, как самое бесполезное животное. Вы понимаете? – кричал француз внезапно превратившись<sup>4</sup> вместо украшения для камина в брикстонской гостиной, но впоследствии покорился популярному взгляду на этот предмет и начал чесать волосы.

Майор и мистрис Леннэрд также бывали гостями в Толльдэле, и Лора узнала счастье отцовской и материнской любви – отцовская любовь выказывалась

---

<sup>4</sup> Так в бумажной книге. Возможно, ошибка набора, пропуск страниц (Прим. верстальщика).

в беспрестанных подарках золотых и брильянтовых вещей, купленных в кредит, материнская любовь обнаруживалась сумасбродным восторгом к сыну и наследнику Ланцелота Дэррелля, румяному мальчишке, который явился на свет в 1861 году и казался гораздо красивее «Умиряющего гладиатора», посланного Дэрреллем на выставку в том же году.

Детские голоса раздавались и в тенистых аллеях старинного сада, в Приорате, и во всем Беркшире не было женщины счастливее прелестной жены Джильберта Монктона.

Победа Элинор была настоящей женской победой, а не суровым, классическим мщением. Нежное сердце женщины восторжествовало над опрометчивым обетом девушки, и враг бедного Джоржа Вэна был предоставлен единственному Судье, приговор которого всегда правдив.